

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1992

9

1992

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 9 (809)

Сентябрь, 1992 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Экология и культура	3
<hr/>	
ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ — Незримый приязни круг, стихи	13
СЕМЕН ЛИПКИН — Записки жильца, повесть	16
ЛАРИСА МИЛЛЕР — Начать издаюка, стихи	74
НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВА — Три стихотворения	75
НИНА КРАСНОВА — Про любовь и про другое, стихи	76
ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ — Бесконечный тупик. Фрагменты книги	78
ЛЕВ КОТЮКОВ — Чужая жизнь, стихи	121
<hr/>	
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ	
ПОЛЬ ВЕРЛЕН — Стремлюсь и трепещу, стихи. Перевод с французского и предисловие Александра Ревича	123
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
ФЕЛИКС СВЕТОВ — Чистый продукт для товарища	127
ПУБЛИЦИСТИКА	
ПЕТР ВАЙЛЬ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС — Потерянный рай. Фрагменты книги. Послесловие С. Залыгина	135
РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР	
ЧЕСЛАВ МИЛОШ — О католицизме. Перевод с польского, предисловие и примечания Владимира Британишского	166
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
О СУДЬБАХ РУССКИХ МАЛЬЧИКОВ (1941—1945). Публикация, вступительное слово и примечания Павла Проценко	182
<i>Предварительные итоги XX века</i>	
СТАНИСЛАВ ДЖИМБИНОВ — Коэффициент искажения. Революция и культура	207

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- А. МОТОРИН — Лирический прилив 222
ОЛЬГА ПОСТНИКОВА — Стихи недавних лет. Опыт повторного чтения 228

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- Литература и искусство* 235
Лев Осповат. Его боренья.
Ю. Шрейдер. Последняя книга эпохи ГДР.
Политика и наука 239
С. Ларин. Летописец московского быта.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- ПИСЬМО М. И. МОЛОЗИНОВА 242
КОРОТКО О КНИГАХ:
Алексей Гурок.— I. Мария Петровых. Избранное. Стихотворения. Переводы. Из письменного стола. II. Е. Ю. Кузьмина-Караваева. Избранное. ♦
В. Вахрушев.— I. Ивлин Во. Черная беда. Роман. II. Энтони Бёрджесс. Трепет намерения. Роман. ♦
Борис Ряховский.— Зуфар Фаткудинов. Откровения XX века 248
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 253
ATTENTION! 255
SUMMARY 256

КО ВСЕМ ДРУЗЬЯМ «НОВОГО МИРА»

Дорогие друзья! Как и все независимые издания, «Новый мир» переживает трудные времена. Денег, собранных в прошлом году по подписке (4 р. 70 к. за номер), учитывая катастрофический рост цен на бумагу и типографские услуги, очевидно не хватает на 12 журнальных книжек. Тем не менее мы делаем все от нас зависящее, чтобы выпустить полный комплект журнала. Мы обращаемся к вам с просьбой о поддержке — отдельные подписчики, общества книголюбов, фонды, учреждения и организации в стране и за рубежом, имеющие желание и возможность помочь «Новому миру», могут перечислить пожертвования на счет журнала:

рублевый: р/с № 100608135 во Фрунзенском коммерческом банке Москвы МФО 201412 (просьба делать обязательную пометку: «В поддержку «Нового мира»);

валютный благотворительный счет:

Konto A. Neimanis

№ 6311113 [DM]

№ 806328910 [US - \$ and any other foreign currency]

BLZ 70020270 Bayerische Vereinsbank

München Germany

Обязательная пометка: «In support of «Novy Mir».

РЕДАКЦИЯ «НОВОГО МИРА»
БЛАГОДАРИТ
ФОНД ГОРБАЧЕВА
ЗА ПОДДЕРЖКУ И СОТРУДНИЧЕСТВО

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

*

ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

С чего же все-таки, с какой заметки следует начать эту тему — о культуре и экологии? Имея в виду, что именно культура и наука прежде всего сделали человека антиприродным (в отличие от всех других живых существ). И без культуры нам нельзя, и с ней зашли в тупик. Наука, а техника тем более, которые приводят нас к экологической гибели,— это ведь тоже культура.

* * *

Все живые существа, будучи произведениями природы, какими они были созданы, такими и оставались на века, на миллионы лет, ходят в том, в чем их когда-то природа-мать родила, питаются теми же продуктами, передвигаются по земле все тем же пешим ходом, все так же летают и так же плавают, и только человек составил исключение из этого правила: он саморазвился до неузнаваемости. И культурно и антиприродно.

А саморазвитие его — это не что иное, как постоянное развитие его потребностей, и вполне естественно, что природа в конце концов не потерпит ни одного живого существа с беспредельно возрастающими потребностями, она скажет такому существу: или — ты, или — я!

Отчуждение человека от природной жизни через культуру началось, должно быть, с театра: не будучи удовлетворен реальной жизнью как таковой, человек постигал искусство ее изображения, ее истолкования, и вот собственные представления о жизни стали для него существеннее, чем сама жизнь. Такой субъективизм: я этого хочу, значит, это закон не только моего собственного существования, но и всего окружающего меня мира.

Культура, развиваясь, накапливала свои ценности — произведения великих писателей, художников и музыкантов, великие научные открытия. Но опять-таки: не может быть накоплений без потерь, не может быть накоплений исключительно со знаком плюс — если плюс имеет место, значит, где-то и в чем-то накапливаются и минусы, величины с обратным знаком. И действительно: накапливался тот наш всечеловеческий субъективизм, который отчуждает нас от природы, от ее непреложных законов.

Если бы этот субъективизм, ничем не ограниченный и ни в каких единицах не измеряемый, не оказывал решающего воздействия на окружающий нас мир, который, увы, строго ограничен количественно! Но возникает злободневный вопрос: а возможно ли в принципе дальнейшее (причем все нарастающее количественно) продолжение жизни с ее «культурным субъективизмом», от которого мы не в силах да и не хотим отказываться? Не хотим, хотя прекрасно понимаем, что в нашем распоряжении и всего-то-навсего шарик Земли с длиной окружности по экватору чуть более 40 тысяч километров (четыре перелета из Москвы в Нью-Йорк), поверхность шарика — 510 миллионов километров в квадрате, из них менее трети — суша.

На каждого жителя Земли ныне приходится менее 2,5 гектара суши, на этой площадке занимают свое место горы, пустыни и прочие неудобья, здесь же размещаются леса, пашни, пути сообщения, селитебные земли, разработки полезных ископаемых, производственные и бытовые отвалы. Что и говорить — полезно было бы в каждом городе создать такую вот показательную модель «Твоя Земля» размером для начала в 2,5 гектара, пропорционально разместив на ней

все эти категории суши, а через каждые лет десять соответственно росту населения рядом строить новую, уже уменьшенных размеров модель. Это было бы весьма наглядное учебно-экологическое пособие!

Ученые уже в нашем веке определили ту единицу измерения, с помощью которой если не в абсолютных, так в относительных величинах можно выразить суммарное потребление человеком природных ресурсов в разные периоды его существования. Это — килокалория. Сравнение оказалось возможным и дало такие результаты: в доисторические времена потребление составляло 2—4 тысячи килокалорий на человека в сутки, в феодальном обществе — 20—25 тысяч, а нынче в таких развитых странах, как США, — 200—250 тысяч. Сюда, в эту сумму килокалорий, входит и пища, и потребление электро- и всякой другой энергии.

Теперь проследим за ростом числа потребителей. Десять тысяч лет назад численность населения Земли составляла 5 миллионов человек, ко времени Римской империи — 150 миллионов, в 1840 году она достигла миллиарда, этот первый миллиард возник за девяносто лет, последний же, пятый миллиард родился всего за двенадцать. В среднем, полагают ученые, суммарное потребление энергии человеком по отношению к «доисторическому» (природному) периоду увеличилось в 5 тысяч раз.

Само собою разумеется, пишут в своем труде «Глобальные экологические проблемы» А. С. Монин и Ю. А. Шишов, ничего подобного не было предусмотрено природой. Ее кладовые опустошены, ее противостояние нарушителям ее законов и порядков иссякло.

* * *

Культура и саморазвитие совершили и еще одно открытие в общественном человеке, это открытие — революции. В то время как природа от начала до конца эволюционна, на том она и стоит, человек прежде всего в стремлении к бесконечному перераспределению жизненных благ революционен в смысле социальном, национальном, научно-техническом. Результаты же революций, опять-таки в отличие от эволюций, оказались непредсказуемыми во всех смыслах, и меньше всего — в смысле экологическом.

Революции перераспределения не однажды заканчивались всеобщим сокращением, потребностей и нищенством, а нищенство лишено принципа разумной экономии, без экономии нет экономики, без экономики нет и экологии, а есть только политика, которая неизменно выдает себя за великое новшество вообще, за новшество перехода от одной экономики к другой, в частности, скажем, от капиталистической к социалистической, а нынче — от социалистической к капиталистической. На самом же деле ни в том, ни в другом случае нет новизны, а есть древняя эгоистическая страсть борьбы за власть, за материальные и иные блага. За справедливость, которая в конце концов сводится к замене одного эгоизма другим, ничуть не лучшим.

* * *

Смена государственного строя — это еще и акт отчаяния, это признание неспособности к естественному усовершенствованию той действительности, которую мы сами же своими руками и создаем, признание того, что мы сами себя загоняем в тупики, из которых не видим выходов, кроме разрушительных по отношению к окружающей действительности. Но человечеству, как и всей природе, не дано начинать сначала.

Есть ли большая трагедия, чем эта? Есть ли уверенность в том, что из материала величайшего пессимизма и отчаяния можно построить оптимизм и светлое будущее?

Право, непонятно: почему это дни, в которые совершались революции, из года в год отмечаются как великие праздники? Праздники — чего? Крови? Насилия? Спасения? Но от кого и от чего имело место такого рода спасение если не от самих себя?

* * *

В самом деле, ну какой новый идеал выдвинул самый партийный партиец Ленин, если во главу угла своего учения он поставил все тот же принцип перераспределения благ и все тот же принцип обогащения, на пути к которому

социализму было указано обогнать капитализм? А результат? Социалистическое обогащение тут же обернулось разрухой и нищенством. От этих бед военный коммунизм спасался в капиталистическом нэпе. И — спасся. В тот раз. А набравшись за счет нэпа кое-каких сил и самоуверенности, первое, что сделал, — уничтожил тех, кто его спас: первоклассных специалистов — инженеров и ученых еще той, еще «царской» закалки, умельцев-ремесленников и трудяг-крестьян. Тут же обустроил он и Соловки, обширную сеть «трудовых лагерей» — это была вполне реальная альтернатива существованию любого из граждан, гражданок и несовершеннолетних жителей передового государства. Государство это тут же и вернулось к военному коммунизму, к его р-революционным методам и к революциям как таковым — сельскохозяйственной (коллективизация), промышленной (индустриализация), военной (милитаризация), пропагандистской (цензура, доносительство, репрессии). Все это никак не экология общества и его культуры.

А дефицит и всегда-то был движущей силой коммунистической экономики, на нем строилась государственная политика, преодоление дефицита должно было вызывать — и ведь вызывало — энтузиазм трудящихся масс. И все эти десятилетия мы не столько приобретали и покупали, сколько «доставали».

* * *

Ну а где было «достать» государству? Конечно, в природе. Больше нигде. Ничего другого социализм и не мог. Политика и экономика — все отзывалось на ней, за все государство и общество расплачивались ею. Тем более что природа досталась командному составу социализма богатейшая и совершенно задаром, да и нынче остается в командных руках — догадаться бы только, что и как с ней надо делать, если поступать по-человечески, разумно. И нравственно.

Нет, еще никогда не было столь жестокого разрушения последовательности между тремя «э» (экономия — экономика — экология), которое, развернувшись в СССР в 30-е годы, нарастающими темпами продолжается и в наши дни. В отношениях с природой у нас все тот же военный коммунизм, все та же узкопартийная политика — грабить можно, если это в интересах моей партии и моей политики, — хотя революционные партии в цивилизованном мире уже становятся анахронизмом.

* * *

Истинный прогресс XX века в том, кажется, только и выразился, что уходят, а в развитых странах ушли уже в прошлое социальные революции. И это опять-таки не что иное, как экология и эволюция, только социальные. И вот уже партии заменяются нынче безуставными движениями — миротворческими, зелеными, милосердными и всякими иными. Другое дело революции технические. Та же НТР представляет для природы, вероятно, не меньшую опасность, чем большевизм, но в том-то и дело, что она более привлекательна и в большей степени достигает того мирового значения, о котором большевизм мечтал. Однако природе от этих сравнительных «преимуществ» не легче, природа ни с чем не сравнима, она единственна и не революционна, а только эволюционна, именно поэтому три указанных выше «э» (в начале или в конце их перечня — значения не имеет) должны быть дополнены «э» четвертым: Эволюция.

Эта всеобъемлющая и обязательная для человечества связь, будучи нарушена, приводит к апокалипсису, на первых порах — к обнищанию и хаосу. Примеров тому с избытком и в Южной Америке и в Африке. О России и говорить нечего. Все эти невзгоды — это тоже культура, ее порождения, ее слабости.

* * *

Конечно, рядом с культурой то и дело возникает и действует тот ее антипод, тот ее «анти», на который всегда можно списать все несчастья. Даже Христос немислим без Антихриста. Но религия в отличие от культуры никогда и не скрывала этого своего порождения, считалась с ним. Противопоставляя злу добро, она в то же время искала равенства и компромисса между всеми и всем в явлении смерти, перед которой всё и все равны на земле, как равны и в мире небесном. Равны, поскольку богатство в небесах никому не нужно. Но вот культура — та запирается, та амбициозна и фантазирует вплоть до обещаний рая на земле, вплоть до того великолепного коммунизма, в котором самые высокие идеи существуют в обнимку с самым низким прагматизмом.

Еще античный поэт-стоик Клеанф (331—232 гг. до н. э.) сказал:

Зло принимая за благо, без усталы мечутся люди
И добывают плоды нежеланные лживой надежды.

Боже мой, как давно были известны истины нашего существования! Тот же Клеанф в молодости был кулачным бойцом, но вот — постиг. А мы?

* * *

Ну а если мы встанем перед необходимостью в области природоохраны тоже прибегнуть к средствам революционно-запретительным, к жестокому нормированию, к суровым репрессиям? И такого рода действия, кажется, уже predetermined. Только вот сумеем ли мы их осуществить? Они ведь должны быть разумны и точно рассчитаны в отличие от действий революционных — стихийных и непрогнозируемых. Отрицая стихийность, сумеет ли разум сам по себе осуществить совершенно необходимые и заранее запланированные эволюционные акции? Вот уж где, когда и в чем умственной деятельности человека предстоит выдержать решающий экзамен. И экзамена этого не избежать.

* * *

Любимая игра истории — игра в истины, а любимое занятие культуры — саркастическое и не весьма доброжелательное опровержение древних догм как бы с целью их нового и оригинального утверждения в современном мире. Культура ведь гордится своей демократичностью, а какая демократичность может быть без опровержения (толкового и не очень) консерватизма? Человек, в частности демократ, никак не может примириться с постоянством догматов, с их неизменностью и натуралистичностью, но эта непримиримость сама по себе не менее консервативна, чем консерватизм.

* * *

Эту двойственность нашего и культурного и некультурного сознания отчасти можно уяснить на двух примерах из области творчества — научного и художественного.

В XX веке французские ученые П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа ввели понятие ноосферы, это биосфера, окружающая земной шар, в которой природные силы взаимодействуют с силами человеческого разума. В. И. Вернадский развил это понятие, когда определил место разума как главного импульса подобного взаимодействия, именно этот импульс и обеспечивает наше будущее. Таков научный подход к проблеме. Экологический подход.

Другая оценка того же явления и понятия, в основе которого лежит сомнение (науке ведь сомнение не свойственно), представлена творчеством Андрея Платонова, который, по существу, утверждает, что ноосфера, созданная человеком, может оказаться сильнее своего создателя — человека с его реалистически-эгоистическим разумом, что именно ноосфера (хотя Платонов нигде не употребляет это слово) может сделать человека своим рабом и действовать на свою же собственную гибель так, как это делают герои «Котлована», с тупым энтузиазмом копя себе могилу, или герои «Чевенгура», бессмысленно уничтожая природную степь.

В предшествующие времена художественная литература внушала нам, что в человеке, в его душе, может вмещаться целый мир страстей, понятий, чувств. Платонов же показывает, что искусственный мир, окруживший нас, может вытеснить из человека его душу и заполнить пустоту вполне нелепыми, но массовыми и потому дисциплинированными понятиями. И человек оказывается не способным к бунту против такого рода порабощения. Может быть, ему только и остается что надеяться на бунт компьютеров, которые этой способности сопротивления, кажется, еще не потеряли?

* * *

Итак, наша страна — это, кроме всего прочего, еще и полигон, на котором испытываются модели Вернадского и Платонова. Платоновская модель нынче весьма оригинальна: никто ведь и никогда не придумывал рыночной экономики без конкуренции, но с огромным дефицитом товаров, никто не делал ставку на спекуляцию и посредничество между нищими.

* * *

Как часто приходится слышать о том, что мир непредсказуем и неясен. Отнюдь: мир ясен как стеклышко, неясны в нем только, и только, мы сами.

Это я еще и к тому, что экология нынче едва ли не единственная в своем роде деятельность, которая пытается передать ясность мира человечеству, передать его психологии, его практическому поведению. Конечно, эта ясность уже далеко не иконная и не библейская — те времена наша история прошла, проскакала торопливо, с презрением, а главное, слишком мало позаимствовала оттуда экологии. Сейчас мы и рады бы в чем-то вернуться к прошлому, но — невозможно, ведь когда еще, в какие времена мы возомнили себя мастерами будущего. Вот и домастерились.

* * *

С учетом нашего опыта мир идет, пытается идти к беспартийности, памятуя о том, что партийность — явление временное и как таковое никогда не создало ни одной вечной культурной ценности. С партийных позиций не творили ни Шекспир, ни Леонардо да Винчи, ни Ньютон, ни Толстой, ни Достоевский, ни Вернадский, ни братья Вавиловы, ни даже Шолохов, активный член ЦК КПСС.

* * *

И вот я вижу еще одну особенность экологии: она беспартийна. Партии — с их уставами, программами, членскими взносами и билетами, с их дисциплиной — так и не создали нетленных ценностей: и Микеланджело, и Бах, и Сахаров, и Солженицын, и даже Кант и Гегель не были партийцами. Они имели высокие убеждения, но именно такого рода убеждения могут быть и должны быть свободными, в то время как партийность никогда не свободна, в лучшем случае она добровольно-принудительна, но и это не гарантирует общество от ее диктатуры и опричнины.

Опричнина ведь может быть и правой и левой, а партии, если они действуют «широкомасштабно» и в то же время дисциплинированно, то и дело становятся либо националистическими, либо даже террористическими партиями. Что и то и другое значит, мы хорошо знаем, где-где, а в этом деле прошлое достаточно красноречиво. И то и другое — р-р-революционно, в то время как весь мир эволюционен. Вот и получается, что партийность, по сути дела, антиприродна. А значит, и антиэкологична.

* * *

Экология уже сегодня находит себя не столько в партиях, сколько в общественных движениях — в зеленом движении, таком, положим, как «Гринпис», в движениях частных и региональных, но совершенно необходимых: движение в защиту Арала, Санкт-Петербурга, Беловежской пуши, Кузбасса, Волги, Донбасса, Архангельска.

В том же смысле поучителен опыт ФРГ: там возникло очень сильное зеленое движение, но вот оно оказалось прибранным к рукам парламентской партией зеленых. И что же? И оно сразу же потеряло свою привлекательность для общества: партия есть, а движение в значительной мере заглохло и вручает свои функции государственному аппарату.

В принципе беспартийно и утверждение о том, что «повелевать природой можно, только повинуюсь ей». Но это, по всей вероятности, самое природное, самое демократическое, самое беспартийное и самое трудное управление из всех возможных. Вот еще когда, в XVII веке, Бэкон высказал эту истину.

* * *

Чем большая социальная и правовая несправедливость имеет место в обществе и государстве, тем в большие противоречия с природой это общество и государство вступают. Недаром же руками узников ГУЛАГа, равно как и «раскулаченных» крестьян, и совершались преступления против природы — вырубались леса, строились каналы и водохранилища, которые наносили чудовищный урон природе и которые в нормальных условиях, при наличии только свободной рабочей силы, никогда построены не были бы. Итак, наш социализм был авантюризмом, авантюризмом прежде всего по отношению к природе как таковой, а одновременно и по отношению к человеку как существу природному.

Именно этой природности социалистическое государство и хотело нас лишить, и — уввы! — это оказалось вполне возможным. Подобная работа продолжается и нынче — иначе не может быть: в нашем государстве царит хаос, а кому же в первую очередь и поднимать голову во время хаоса как не авантюризму?

Имея в виду перспективы на будущее, лишь то государство оправдывает себя, которое, во-первых, будет минимально расходовать природные ресурсы, а во-вторых, максимально сокращать потребности своих граждан. Экономия в глобальном масштабе предусматривает именно эти условия.

Но таких государств нет, да и будут ли они когда-нибудь?

* * *

Возможно, социализм был бы и неплох, если б был осуществлен лет триста тому назад, задолго до наступления научно-технической революции, которая любую современную государственную систему толкает в экологическую бездну. Дело разवे что в сроках — одни в этой бездне окажутся раньше, другие чуть позже, но и то верно, что если в бездне окажутся одни, значит, вскоре и все другие.

* * *

И все-таки еще остается хотя и сомнительная, но единственная надежда — на культуру. На Фауста и даже на таких литературных героев, которые в свое время, явившись пусть и безмолвно, но воскликнули: Фауст, посторонись — Гришка Мелехов идет! И не потому, что Гришка Мелехов так хорош, а потому что он, образ истинный и природный, не мог вписаться в социальные программы и платформы.

* * *

Дело еще и в том, что однозначных надежд уже нет, что нынче для нас каждая надежда — это выбор, и тем более необходимо определить: где искать? в какой сфере? что осталось такого, в чем поиск все еще небезнадежен?

Осталась-то все та же культура. Сколько бы и как бы мы ее ни упрекали, в каком бы состоянии она нынче ни была.

Если лет тридцать тому назад энциклопедии определяли культуру как совокупность двух составляющих — искусства и науки, то нынче уже и понять невозможно, что же она такое. Это и «специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности... в системе социальных норм и учреждений», и «качественное своеобразие исторически-конкретных форм этой жизнедеятельности», и «особенности поведения сознания, поведения и деятельности людей в конкретных сферах общественной жизни», и т. д. и т. д. Чем больше ссылок на «конкретность», тем дальше уходят авторы подобных определений от конкретности и определенности. Все это так.

Ну а жить нам хочется или уже нет? Что-то не верится, будто нет, а это значит, что культура должна стать культурой не только своего собственного, но и всеобщего выживания.

Именно культуре выживания — а нынче она приобретает именно такое значение — необходимо внедриться и в науку, и в любую другую человеческую деятельность, глобальную и повседневную.

* * *

В культуре выживания особая роль будет, наверное, принадлежать искусству и в силу его общей убедительности, и потому, что оно находится в самых бескорыстных, в самых честных отношениях с природой, — ни живопись, ни музыка, ни поэзия (а вся без исключения художественная литература когда-то называлась поэзией) непосредственно не претендуют ведь на природные ресурсы, не загрязняют атмосферу, реки и моря. Бессмертие и бессмертные — все те же Шекспир, Ньютон и Пушкин — не уничтожают и не унижают, а лишь дополняют друг друга, и это, похоже, единственное безопасное, никому и ничем не угрожающее обогащение. Вспомним нынче, что культура когда-то начиналась с познания природы, она же первой обратилась к звездному небу и космосу (космоцентризм) и последней учится (теперь уже нередко) воспринимать природу как хранилище материальных благ.

Правда, в конце концов и культура тоже забыла (а помнила когда-то), что природа есть не только причина, но и закон, а всякое существование всегда подзаконно. Что если нарушен закон существования, значит, и существования не будет.

* * *

Ну а что такое экология, которую мы должны усвоить, которой должны руководствоваться? Наука? Общественное движение? Культура выживания? Партия зеленых? Инстинкт самосохранения? Мистическое учение об апокалипсисе? Не будем совершенно исключать ни того, ни другого, ни третьего — пусть все, что может в этом понятии соединиться, соединяется, ведь разделение наших знаний о жизни на бесконечное число наук и саму жизнь тоже размежевало на отдельные, изолированные друг от друга части и составляющие.

Едва ли не единственным методом познания давно уже стал анализ, и это притом что жизнь — самый сложный в мире симбиоз. Но вот симбиотического-то мышления мы и лишены (лишили сами себя). И даже слова нет такого, которым называлось бы симбиотическое мышление («синтез», «синтетическое мышление» — это нечто иное); но откуда же мы знаем, что мышление аналитическое — прямой и главный путь к познанию мира, человека в мире и даже его судьба? Может быть, именно это незнание, эта ограниченность и привели нас к экологическому кризису?

Так вот, требуя глубоких специальных знаний, экология — не только знание, но и сознание, доступное каждому. Она сама современность и злободневность всех злободневностей, она же и классическая древнегреческая философия, поскольку призывает к осуществлению ее постулатов.

* * *

Еще не умея определить, что же такое экология, мы уже осознаем ее необходимость, ее цели и задачи, а это более чем трудная, это вечно-трагическая, а нынче до предела обострившаяся ситуация: знание и очевидность цели и незнание средств ее достижения.

Но даже и в этой ситуации, когда государственные деятели понятия не имеют о том, какое же все-таки государство они призваны создавать и утверждать, когда единственно что они неплохо умеют, так это обещать, и тогда экология должна оставаться непреложной составляющей любой государственной деятельности и каждой культуры. Если нет этой составляющей, все остальное теряет смысл. Нынче в первую очередь это должны учитывать политики.

* * *

Правда, сама-то культура далеко не готова к исполнению своей новой (а по существу, вечной) обязанности.

В культуре как ни в какой другой области отражается характер и свойства человечества. За свою долгую жизнь блестяще исполнив целый ряд своих обязанностей истинных, но и не пренебрегая деятельностью более чем сомнительной, культура практически оказалась неспособной к преодолению тех обстоятельств, которые сама же и создала, — обстоятельств апокалипсических.

Культура, если исключить из нее просвещение, связанное с программами, более, чем какая-то другая область деятельности, свободна — беспрограммна, непредсказуема, — а потому формально необязательна, и теперь эта необязательность (прежде всего по отношению к проблеме выживания) берет свое. Как говорится, доигрались! И все-таки — кто же владеет возможностью приблизить нас к тем принципам, благодаря которым мы все еще существуем, если не культура? К тем, которые она не без презрения и сарказма то и дело называет догмами — социальными, религиозными, идеологическими и прочими (неизменна ведь наша любовь к тем прилагательным, за которыми теряется смысл существительного)?

* * *

Если прилагательное обозначено словом «временное», существительное — словом «жизнь», то и сочетание это нас, пожалуй, устраивает. Мы к нему привыкли, хотя по сути дела если уж и временны, так только мы в жизни, но не сама жизнь.

Ведь и человек на земле явление отнюдь не временное и преходящее, а реликтовое, ведь он пережил смену климатов, оставшись самим собой, тогда как во всей остальной жизни произошли невероятные пертурбации: неузнаваемо изменился мир существ позвоночных и беспозвоночных, ползающих и летающих и даже мир растений, в том числе простейших. И только человек на суше да вот

еще население вод — рек и океанов — оказались способными выдержать все испытания времени.

Значит, наша приспособляемость — это наш серьезный шанс на будущее. Реализация же этого шанса опять-таки за культурой, за наукой генетикой, способной к созданию наиболее приспособляемых рядов и видов.

* * *

Конечно, приспособляемость — палка о двух концах. В смысле экологическом это одно, в смысле губительно-политическом, о котором можно говорить словами Питирима Сорокина, — совсем другое. Еще в 1922 году Питирим Сорокин писал: «Изменения, испытанные населением России... типичны для всех крупных войн и революций. Последние всегда были орудием отрицательной селекции, производящей отбор «шиворот-навыворот», т. е. убивающей лучшие элементы населения и оставляющей жить и плодиться «худшие», т. е. людей второго и третьего сорта».

Такую-то вот антропологическую экологию обеспечила нам наша история.

Конечно, нелегко целиком согласиться с автором этих слов, но ведь и опровергнуть его тоже нелегко, если учесть происшедшие с тех пор потери во второй мировой войне, потери в репрессиях, при коллективизации и в войнах, да и в тех межнациональных «местных» войнах и дискриминациях, которые являются результатом нашей славной перестройки. Наш интеллект так и не может доказать своей способности повернуть перестройку в надежном, то есть в экологически спасительном направлении: мы как уничтожали безумно свою природу (повторяю: на том и стоял социализм), так и продолжаем это безумие в еще больших масштабах, как выбрасывали в презренный «зарубеж» будто ненужный хлам наш интеллект в лице, скажем, Солженицына и Бродского, а еще раньше — Бердяева и Франка, а еще раньше — русского дворянства, так и нынче всячески способствуем оттоку теперь уже в дружественный нам капиталистический мир своих ученых, музыкантов, художников, инженеров, как уничтожали человеческое достоинство и право на жизнь через карательные органы, так и уничтожаем их — пусть несколькими иными способами (в межнациональных столкновениях прежде всего) — по сию пору. Нынче если у человека нет врага — так он, кажется, уже и не совсем человек, если он никого не обидел, никого не назвал негодяем и подлецом, так он и не демократ, если никого не проклял — то и не консерватор.

* * *

О первейшей обязанности техники.

Парадоксально, но такие виды энергии, как солнечная, энергия ветра, приливов и отливов, носят название альтернативных. Вот она — искаженность, нелепость, внеисторичность нашего мышления: ведь альтернативны самой природе и в историю культуры привнесены совсем недавно электро- и атомная энергия, да и проект первой паровой машины был разработан всего-навсего двести тридцать лет тому назад. В то же время энергией солнца и ветра люди пользовались тысячи лет до этого, и вот они-то, природные солнце и ветер (а ветер тоже возникает в результате солнечной деятельности), нынче уже «альтернативны»? А может ли быть природа альтернативна чему-то другому на земле? А если может — тогда что это «другое»?

Будет продолжаться род человеческий или нет в ближайшие десятилетия? На этот вопрос призвана ответить все та же культура, в частности техника, еще раз в частности — энергетика: сумеет ли она уразуметь, что чему является альтернативой, сумеет ли сосредоточить рассеянные природные энергии в некоей точке их потребления и распределения или не сумеет? Современность ее, цивилизация отличаются еще и тем, что нам теперь уже совершенно необходима энергия, сосредоточенная на шинах электростанций, в реакторах АЭС, в то время как древнему человеку это было ни к чему: он и от солнца разжигал огонь, и под парусами пересекал океаны.

Итак, способны ли мы использовать изначальные способы существования человека, или эти способы, притом что они хорошо известны и понятны, утеряны нами навсегда?

* * *

Итак, альянс двух калек — практической экологии и отвлеченной от проблем практического существования культуры, — альянс, оба участника которого те-

перь ищут места, кажется, где-то уже на задворках не только экономики, но и действенного общественного сознания, дело сомнительное. Но — необходимое. И, как не очень удачно говорят у нас, — внеочередное. Другого-то выхода нет. Хорошо, если бы был...

В чем же может конкретно осуществиться этот альянс? В программах радио и телевидения? В учебных программах школ и вузов? В популярных статьях и научных разработках? В экологизации научных учреждений, начиная с Академии наук?

* * *

Самое главное — во взаимопроникновении культуры в экологию, экологии в культуру. Ведь и та и другая — две самых универсальных области деятельности, уже по одному этому задача спасения жизни на Земле не может не объединить их.

Когда речь идет о культуре в самом широком и универсальном смысле, речь идет еще и об элементарном порядке жизни, о способности предвидеть последствия того, что будет завтра в результате сегодня. Если на то пошло, так все это опять-таки есть экология: завтрашняя, она определяется сегодня. Ни в одной другой области как в экологии «сегодня» все в большей и большей степени оказывает влияние на «завтра». Это очевидно. Однако дело-то в том, что и эта очевидность не производит на нас не только должного, но попросту скольконибудь действенного впечатления. Произведет ли? Или только тогда, когда в этом уже не будет смысла?

* * *

В плане межгосударственного экологического сотрудничества совершенно необходимым представляется создание:
международных экологических школ;
международной экологической инспекции;
международного экологического суда (трибунала, арбитража).

* * *

Одним из самых значительных событий в программе выживания, а значит, и культуры, была Международная экологическая конференция в Рио-де-Жанейро (июль этого года). И вот что она показала: Россия не столько участвует в этом движении, сколько тянет его назад, практически она оказалась способной продемонстрировать тезис «пусть идет как идет».

* * *

Когда наука изучает клетку, затем молекулу, затем атом и атомное ядро — она изучает строение мира, то есть истину, но когда на основе своих открытий та же наука создает атомное и водородное оружие — при чем тут истина?

Выдающиеся ученые легко и не без приятности попадались на эту удочку — раз-два и клюнул. После отмывались, страдали, оправдывались — все бывало (а иногда и ничего не бывало, так и умирали в высоком сознании выполненного долга), но и в том и в другом случае не они первые осознавали, что истина искажена их руками и умами. Первыми приходили к этому заключению гуманитарии, оно зрело в обществе, и без протеста общественного дело бы шло так, как оно шло.

Но что же представляло собою это общественное сознание? Как его-то следует назвать и определить? Это сознание — экологическое, то самое, без которого общество теперь уже не выживет, оно должно проникнуть во все области науки, техники и производства и демилитаризовать их, исходя из того, что демилитаризация нынче — это все то, что направлено к выживанию, а милитаризация — к нашей гибели.

* * *

Конечно, всю эту всеобщую экологизацию, как и чувство человеческой природности, можно назвать наивностью, даже глупостью, читая многих и многих современных писателей и публицистов, я так именно их и понимаю. Но ведь все отвергнутое требует разумной, то есть достоверно прогнозируемой альтернативы. Без прогноза это снова «великий Октябрь», снова «великая пролетарская», снова тот самый большевизм, который выдавал за науку собственный бред. Отсутствие

представлений о том, каким завтра будет наше государство, это то же, что и отсутствие понятий и разумных действий экологического порядка.

Можно представить дело и так: нам нынче не до экологии, нам бы спастись сегодня, а завтра видно будет... Но даже и спасаясь, все-таки можно тратить природу с умом, а можно — безумно. Кажется, этот выбор все еще остается за нами, или же и к нему мы уже потеряли способность? Прежде чем стать государственным или общественным деятелем, человеку нужно экологизироваться, то есть приобщиться к природности, к ее логике и тем началам, из которых человечество когда-то произошло, к тому прошлому, в котором, хочет он того или нет, всего человеческого больше, чем в нынешнем. Оттуда же произошли и наша духовность, и наш психологический и физиологический опыт приспособляемости к природе и к самим себе, отсюда светит нам нынешним культура выживания.

* * *

Из этого опыта мы извлекли очень мало, почти ничего.

Но и тут вопрос: а сумеем ли мы распорядиться этим «почти» сегодня? Ведь именно сегодня делает завтра.

Нет ни конца ни края и вряд ли может быть край тем сферам человеческой деятельности, тем понятиям, в которые должна, в которые обязана нынче проникнуть экология, и для нее одной задача эта вряд ли посильна. Но для экологии и культуры, вместе взятых, шансы возрастают даже и не вдвое, а во много раз.

Да, во времена хаоса культура покидает массы. Одиночки при любых условиях могут создавать выдающиеся культурные ценности: Солженицын «записывал» в собственной памяти свои произведения, шагая руки за спину в колонне заключенных, Карамзин писал очередную главу «Истории государства Российского» в то время, когда в соседней комнате стоял гроб с телом его любимой жены, у Вернадского рождались гениальные идеи во время гражданской войны и красного террора. Примеров множество. Множество, потому что творцы знали — будет будущее. Нынче экологическое сознание ставит этот постулат под сомнение.

И это происходит еще и потому, что такова уж наша психология: мы способны заранее чувствовать бедствие, но чувство радости и счастья существования — никогда, они для нас непредсказуемы, они — дело случая.

Экология и культура, если они хотят спасти человечество, должны стать силой жизнеутверждающей, изыскивая для этого все имеющиеся возможности. Я уже упоминал о возможностях экологической приспособляемости, иначе говоря — живучести. И непримиримость по отношению к экологической и нравственной гибели — это тоже выживание.

В задачу экологии и культуры, вместе взятых, входит еще и еще отыскивать формы и виды общечеловеческой живучести. Не может быть, чтобы их больше не было, что их нельзя уже ни открыть, ни развить.



ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ

*

НЕЗРИМЫЙ ПРИЯЗНИ КРУГ

* *
*

О чем под утро сад шептал? —
Уж не о том ли приоткрытом,
А все же тайном и размытом,
Где влажен зеркала кристалл?

Всей кожей к сути прикипев,
Уже почудившейся где-то,
Вздыхал он шумно и отпето
И вздрагивал, оторопев.

Всей ночью жертвуя легко
Для неизбежных, невозможных
Каких-то поисков тревожных,
Он был и здесь, и далеко.

Всей кровью душною прилив
К чему-то бьющемуся рядом,
Он слух свой спаивал со взглядом,
Неугомонен и пытлив.

Какой-то заговор бубнил
Так монотонно и бессонно,
Что некто, глядя с небосклона,
Звездой ключик обронил.

И сразу шелкнуло внутри,
В незримой прорези замочной,—
И что-то с меткостью заочной
Прошло как нить сквозь фонари.

Как будто ветер пролистал
Алхимиков «Немые книги» —
И в этом шелесте и сдвиге
Блеснули камни и металл.

И дверь открылась — предо мной,
Уже отхлынув от истока,
Пылало золото Востока
Воздушной лавою сплошной.

* *
*

Одолееет ли сердце грусть,
Уведет ли во тьму напев —
Мне сегодня приснится пусть
Венецийский крылатый лев.

То ли бусина из земли
Вдруг сверкнет, как зеленый глаз,
То ли в синей мелькнет дали
То, что видишь не в первый раз.

Киммерийский притянет брег —
И подолгу на нем стоишь,
Без восточных щедрот и нег
Проникаешь в покой и тишь.

Только ветер повеет вдруг —
И полынь на холмах качнет,
И незримый приязни круг
Расширяться уже начнет.

И расширенные зрачки
Иноземцев, бродивших здесь,
И подземных стихий толчки
Помнят здешние высь и весь.

А на юге всему хвала,
Что продлил человеческий сев,—
И лежит на тропе зола,
И слетает листва с дерев.

* *
*

Тирсы Вакховых спутников помню и я,
Все в плюще и листве виноградной,—
Прозревал я их там, где встречались друзья
В толчее коктейльской отрадной.

Что житуха нескладная — ладно, потом,
 На досуге авось разберемся,
 Вывих духа тугим перевяжем жгутом,
 Помолчим или вдруг рассмеемся.

Это позже — рассеемся по миру вдрызг,
 Позабудем обиды и дружбы,
 На соленом ветру, среди хлещущих брызг
 Отстоим свои долгие службы.

Это позже — то смерти пойдут косяком,
 То увечья, а то и забвенье.
 Это позже — эпоха сухим костяком
 Потеснит и смутит вдохновенье.

А пока что — нам выпала радость одна,
 Небывалое выдалось лето,
 Пьем до дна мы — и музыка с нами хмельна
 Там, где песенка общая спета.

И не чуем, что рядом — печали гуртом,
 И не видим, хоть вроде пытливы,
 Как отчетливо все, что случится потом,
 Отражает зеркало залива.

* *
 *

Для смутного времени — темень и хмарь
 Да с Фороса ветер безносый.
 Опять самозванство на троне, как встарь,
 Держава — у края откоса.

Поистине ржавой спирали виток
 Бесовские силы замкнули.
 Мне речь убережь бы да воли глоток,
 Чтоб выжить в развале и гуле.

У бреда лица и названия нет —
 Глядит осьмиглавым драконом
 Из мыслимых всех и немислимых бед,
 Как язвой, пугает законом.

Никто мне не вправе указывать путь —
 Дыханью не хватит ли боли?
 И слово найду я, чтоб выразить суть
 Эпохи своей и юдоли.

Чумацкого шляха сивашскую соль
 Не сыплет судьба надо мною —
 И с тем, что живу я, считаться изволь,
 Пусть всех обхожу стороною.

У нас обойтись невозможно без бурь:
 Ну, кто там? — данайцы, нубийцы? —
 А горлица кличет сквозь южную хмурь:
 — Убийцы! Убийцы! Убийцы!

Ну, где вы, свидетели прежних обид,
 Скитальшы, дельцы, остроумцы? —
 А горлица плачет — и эхо летит:
 — Безумцы! Безумцы! Безумцы!

Полынь собирайте гурьбой на холмах,
 Зажженные свечи несите, —
 А горлица стонет — и слышно впотьмах:
 — Спасите! Спасите! Спасите!



Откуда бы музыке взяться опять?
Оттуда, откуда всегда
Внезапно умеет она возникать —
Не часто, а так, иногда.

Откуда бы ей нисходить, объясни?
Не надо, я знаю и так
На рейде разбухшие эти огни
И якоря двойственный знак.

И кто мне подскажет, откуда плывет,
Неся паруса на весу,
В сиянье и мраке оркестр или флот,
Прощальную слава красу?

Не надо подсказок — я слишком знаком
С таким, что другим не дано, —
И снова с ее колдовским языком
И речь и судьба заодно.

Мы спаяны с нею — и вот на плаву,
Меж почвой и сферой небес,
Я воздух вдыхаю, которым живу,
В котором пока не исчез.

Я ветер глотаю, пропахший тоской,
И взор устремляю к луне, —
И все корабли из пучины морской
Поднимутся разом ко мне.

И все, кто воскресли в соленой тиши
И вышли наверх из кают,
Стоят и во имя бессмертной души
Безмолвную песню поют.

И песня растет и врывается в грудь,
Значенья и смысла полна, —
И вот раскрывается давняя суть
Звучанья на все времена.



СЕМЕН ЛИПКИН

*

ЗАПИСКИ ЖИЛЬЦА

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В сущности, ничего не изменилось. Так же, как в юности, он пробирается по улице, прижимаясь покатым плечом к домам, хотя улица широка и немногочисленна; так же, как в юности, испачкан его левый рукав, в правой руке он держит книги; так же, как в юности, он, кажется, не замечает насмешливо-удивленных взглядов прохожих, которых, помимо странной походки, невольно поражают этот высокий чистый лоб, эти голубые чистые глаза, глаза ребенка и безумца.

Он снова поселился в доме Чемадуровой. Видимо, он один из редких счастливых: здесь он родился, здесь и умрет, если не случится ничего более дурного.

Подумать только: произошла великая революция, менялись у нас разные правительства, утвердилась советская власть, отгремела вторая мировая война, а все жители, даже дети, которые уверены, что дом этот всегда был наполовину разрушен, называют его по-старому: дом Чемадуровой. Секретарша из жилищного отдела горисполкома, когда Лоренц подал ей заявление, сказала, с неестественной живостью моргая накрашенными ресницами:

— Ватутина, сорок восемь? Это на Романовке? В центре города? Что вы мне говорите, я родилась в центре города, такой улицы у нас нет. Дом Чемадуровой? Так бы и написали, а не морочили бы голову!

Не привилось новое название улицы. В четырнадцатом году ей пытались присвоить имя генерала Скобелева, в двадцатом — Троцкого, в двадцать восьмом — Десятилетия рабоче-крестьянской милиции, в сорок первом — Антонеску, в сорок пятом — генерала Ватутина, а улица как была, так и осталась Покровской, и ничего тут не поделаешь, даже самые сильные власти, не говоря уж о почтальонах, вынуждены в таком пустяке склониться перед упрямством горожан.

Лоренц почему-то был убежден, и довольно долго, что Покровская улица получила свое название от собора. Этот собор, единственный в нашем городе, когда-то делил Покровскую на две неравные части: шумную и тихую. Во время гражданской войны он был уничтожен, и на его месте в годы реконструкции разбили сквер.

Сравнительно недавно Лоренц вычитал в старинной газете, что собор воздвигли в конце прошлого века, когда улица уже называлась Покровской — благодаря небольшой церкви, той самой, в которой Антон Васильевич Сосновик был до конца своей жизни старостой.

Собственно говоря, вход в церковь был со стороны Треугольной площади, а на Покровскую она выходила лишь невысокой серой стеной с узкой калиткой и крохотным окошком сторожа. Робкая, всегда пыльная трава росла у ее подножья, и пахла трава как-то странно, по-церковному: не то миром, не то ладаном. Взрослые, деловые люди не замечали этой стены, она терялась среди множества лавок и мастерских.

Когда-то в нашем городе в первых этажах торговали и мастерили. Впоследствии двери были заложены камнем на аршин от асфальта и превращены в окна.

Исчезли магазины, образовались квартиры. И только легкие шторы из гофрированного железа, поныне опускаемые с помощью палки с крючком, напоминают о былой оживленной деятельности.

Правление артели «Канцкультпром», где Лоренц работал вторым бухгалтером, помещалось на Богадельной, наискосок от Фруктового пассажа. Чтобы попасть в Публичную библиотеку, Лоренц должен был пройти всю Покровскую от начала до конца.

Было только три часа дня. Работу прекратили так рано, потому что председателя правления Дину Соснович и первого бухгалтера вызвали в райком партии. Вчера в местной газете появился фельетон под названием «Грязная игра». Артель среди прочих товаров производила деревянные шашки и домино. В фельетоне речь шла о том, что черная краска легко сходит, пачкает руки. Само по себе дело было не очень страшным, так как еще год назад артель сама поставила в центре вопрос о непригодности черной краски. Но не был ли фельетон связан с тем, что на прошлой неделе арестовали мать Дины? Ах, для чего понадобилось мадам Соснович после той трагедии, что она пережила, опять приниматься за старое! Зарабатывала Дина порядочно, восемьсот зарплаты да еще имела по пятьдесят ежемесячно с каждого из трех цехов. Она сама как-то перед ним расхвасталась: приносят на дом и без вычетов. На двоих хватало. Живет же он на четыреста двадцать в месяц. Как непонятны, как глупо-несчастливы люди!

Покровская улица упиралась одним концом во Фруктовый пассаж (теперь там зоопарк), другим — в море. И не только мостовая и тротуары, — иная, высшая связь была между высокотрубными пароходами, приходящими из дальних стран и неожиданно, волшебным возникавшими в конце улицы, и кричащей и вместе с тем невинной роскошью Фруктового пассажа — несметной сокровищницы дынь, помидоров, винограда, слив, яблок. Это была та связь, которая никогда не станет цепью, — союз вольного труда и вольного простора, древнейшее братство земледелия и мореплавания. А между ними на Покровской располагались торговля, ремесла, просвещение.

Как само детство, сладко пахли акации, те самые акации, которые видели все, все. Сколько раз он вспоминал о них там, в Польше, в Германии. А цветы их, болезненно-нежные цветы! Когда он сосал их, долго оставалась во рту пряная прохлада. Сколько раз он вспоминал и эти дома и вывески — не новые, а прежние, с «ятью» и твердым знаком. Война окончилась несколько лет назад, от многих домов остались одни коробки, иные — трехэтажный красный, с зимними балконами или вон тот длинный и узкий, где был трактир, а потом клуб табачной фабрики, — исчезли, и пустыри заросли невысокой травой. Трактир был на втором этаже, на первом — магазин восточных сладостей Назароглу, широкий брезентовый тент над окнами выдавался далеко вперед, и тень от цветов акации чернела на сером брезенте, как древняя клинопись. Сколько знакомых лиц мерещится ему! Они собирались вечерами в этом трактире — слесарь Цыбульский, огромный и куцелый, столяр Димитраки, маленький, пергаментнолицый, с черным ежиком волос, Ионкис, дамский портной, изящный, самоуверенный. Иногда приходили господин Кемпфер, «полунинтеллигент», как он сам себя называл со смешной гордостью, и господин Лоренц, бухгалтер, а с отцом и он, Миша, папин хвостик. Он слушал, слушал, пил чай вприкуску, ел горячие бублики с маком, а они говорили, говорили — о кайзере и Ллойд-Джордже, о Пуанкаре и Миллюкове, о Чхеидзе и Ленине.

В одном популярном романе с неподдельным юмором высмеяны бессильные болтуны в пикейных жилетах, с апломбом разглагольствующие на политические темы. Как близоруки подобного рода авторы-насмешники! Он, Михаил Федорович Лоренц, человек с высшим образованием, чьи работы в свое время удостоились опубликования в «Вестнике языкознания» Академии наук, до сих пор удивляется тому пониманию сложнейших ситуаций, уму, наконец, прозорливости, какими были исполнены вечерние разговоры в шумном, веселом зале трактира, где под низким потолком плавали пахучий пар и папиросный дым. И как знать, не заключается ли свобода именно в том, что люди труда, надев вечером жилеты, быть может, безвкусные, сидят в трактире, пьют чай, едят бублики с маком и, никого не боясь, политиканствуют как им вздумается.

Прощай, трактир, прощай, клуб табачной фабрики, где заправилкой была Рашель, — но это уже другие воспоминания.

Коробки, коробки, двухэтажные, трехэтажные. Нельзя сказать, что город сильно пострадал, но Покровской досталось больше всего. Мертвы проемы окон, а какая жизнь ему чудится в них, сколько лиц, близких и дорогих, дорогих и незнакомых. Его считают странным, малахольным, как здесь принято выражаться, он знает, что над ним посмеиваются, но как он любит их всех, всех, мертвых и живых. Он сросся с ними, как плоть с душой, он иногда чувствует, что он тоже был расстрелян, сожжен, он тоже прятался в подполе, он тоже вместе с ними вышел на свет Божий, с непривычки пугаясь яркого солнца и цепляясь за камни.

Его необыкновенная память, которой, как колдовству, удивлялись учителя и ровесники, сохранила приметы улицы чуть ли не тридцатилетней давности. Вот здесь был всегда такой вкусный запах: булочная Пирожникова... Вывески могли бы превратиться в забавную игру лингвиста: булочная Пирожникова, москательная Красильщикова, портной Я. Портной. А сколько фамилий украинских, еврейских, греческих, польских, турецких, армянских! И все же город был русским, он настаивает, чисто русским, потому что Россия — это не только окающая или акающая речь, березка над прудом, сени и сеновалы, «авось» да «анадысь», она не застывшая мордовская вышивка, Россия — это Россия с ее чрезвычайно пестрой, энергичной историей, с ее первым сатириком-молдаваном, с эфиопскими губами ее величайшего поэта, с мореплавателем Берингом и потомком выкреста адмиралом Нахимовым, с банком «Лионский кредит», с бельгийским трамвайным обществом, с декабристом Пестелем, с теософами и декадентами, гайдамаками и большевиками, с ним, Михаилом Федоровичем Лоренцем, да, да, Лоренцем, и даже со знаменитым окулистом, гордостью городских властей Севостьяновым, членом «Союза русского народа» при старом режиме, ректором университета при румынах и нынешним сталинским лауреатом.

Лоренц проходит мимо высокого дома, такого милого его сердцу. Со стороны Покровской дом хорошо сохранился. Он занимает целый квартал. Не видно, что разрушен задний одноэтажный флигель, где жили они, Лоренцы, где на подоконнике лежал этюдник несчастного Володи Варути, где размышлял Цыбульский и напевала Рашель, где духом кислых щей несло из окна дворника Матвея Ненашева. Обугленная стена, зияющая внутренностями, стоит на Николаевском проспекте, окна и дверь внизу, в бывшем магазине церковной утвари Чемадуровой, бывшей владелицы дома, заложены пористым камнем, и нет уже того подпола, где три года пряталась мадам Сосновик с Диной. А на Албанском переулке ничего от дома не осталось, ни кирпичика, ни бревнышка, — ничего от столярной мастерской Димитраки, от жилья Кемпферов, скорняка Беленького. Теперь все они, живые, поместились в двух когда-то богатых квартирах — одна над другой — Помолова и Кобозева, с окнами на Покровскую. В первом этаже, в огромном магазине Кобозева, где люди в давние годы покупали оптом и в розницу трико, драп, шевиот, и рядом, в магазине дамского портного Ионкиса, теперь учреждение с длинным аббревиатурным названием.

Замечает ли Лоренц, что балкон Дины вот-вот обвалится? Что весеннее солнце припекает стену, а на гвозде, в авоське, висит с таким трудом купленное мясо? Нет хозяйек, ни молодой, ни старой, комната пуста. Впрочем, балкон еще держится, и Лоренц благополучно проходит под ним, чувствуя плечом тепло родного дома.

Яркие афиши кино, цирка, театров наклеены на фанерные щиты, закрывающие пустырь. Но разве стал для него пустырем этот небольшой, итальянской архитектуры дом с четырьмя высокими окнами, с крохотной, как у присяжного поверенного, вывеской на дверях с цветными стеклами: «Парикмахер Антуан». Отсюда, из этих блистающих дверей, добровольно вышел в свой последний путь парикмахер Антуан, вышел, чтобы слиться с толпой обреченных, еще в безумии, еще тупо чего-то ожидавших у здания милиции. Он вышел, а старуха Чемадурова, маленькая, толстая, застыла на ступеньках, шептала что-то белыми, дряхлыми губами и не то махала ему рукой, не то осеняла его беспомощным крестным знамением. Он вышел, впервые не покрасив густую шевелюру и эспаньолку, и все увидели, что этот восьмидесятилетний огненноглазый красавец давно уже сед. Однако вряд ли они обратили на это внимание. Только он, малахольный Лоренц, стоявший напротив, у изваяния Лаокоона и его сыновей, обвитых змеями, мог в такую страшную минуту думать о шевелюре и эспаньолке Антона Васильевича Сосновика. Оно и сейчас белеет посреди зелени, это изваяние, а

на той стороне улицы и сейчас виднеется надпись на мраморной доске. Удивительно, что она сохранилась при оккупантах:

«Здесь, в здании бывшего участка, в январе 1920 года были зверски замучены деникинскими палачами коммунисты-комсомольцы:

Любарская Рая
Гимельфарб Лева
Помолов Константин
Ближенский Болеслав
Калайда Алексей
Варгавтик Борис».

Почему нет рядом другой надписи, в память о других замученных? Может быть, потому, что не шесть, а сто шестьдесят тысяч фамилий надо было бы поместить на мраморной доске? Но тогда пришлось бы вывесить еще один, третий список, список многотысячных других жертв, замученных другими палачами.

Вот и сквер, где когда-то белел, круглился, купался в небесной лазури собор. Этим кварталом, магазином Генриха Шпехта, заканчивалась шумная часть улицы. Кто у нас не помнит магазина Генриха Шпехта, кто из сверстников Лоренца не вступал с бьющимся сердцем в это внушительное царство тетрадей, перьев, пеналов, ранцев, карандашей, линейек, пряжек с гербами гимназий? Может быть, только юные забияки простолюдной Романовки не приходили сюда, но вряд ли, в нашем городе все дети учились. За кассой в глубине магазина сидела Марта Генриховна, дочь хозяина, и ее желтое лицо, жидкие косицы и прекрасные кроткие глаза были как бы символом тернистого пути и добра науки. Высокий, с редкими лошадиными зубами человек в штучных брюках и в пиджаке из черного альпака радостно двигался навстречу покупателям. Ликование было в его каштановых зрачках:

— Бонжур, мадам Пшерадская! Младшего привели? Внука? Никогда бы не поверил! Нет, я серьезно! Господин Бакаляр, куда вы определили наследника? В коммерческое? Что вы говорите, у него же такие способности, город гремит! Ну конечно, в гимназию они нас не допустят. Вообще, скажу я вам, эти добровольцы... Мальчик, не трогайте ничего руками!

Дети считали, что этот человек и есть Генрих Шпехт, а когда Лоренц хвастался, что живет с ним в одном доме, что его фамилия Кемпфер, что он приказчик Шпехта, — над ним смеялись. Над ним часто смеялись...

Он сделал еще несколько шагов, перешел через торцовую мостовую, и улица резко изменилась. Вдали показалось нечто необыкновенное, вечно-новое: море. Здесь никогда не было ни мастерских, ни магазинов, но здесь было то, что законно рождается вместе с мастерскими и магазинами: университет.

Приезжие всегда восхищались европейским обликом нашего города. Но Лоренц полагал, что не в портиках банков на Кардинальской улице, не в могучих портовых сооружениях, а именно здесь, в строгих зданиях университета, — священные камни Европы. Не отрицая изыска архитектуры, обдуманной прелести колонн различных орденов, придирчивые знатоки говорили об эклектичности местного зодчества. Они ошибались: не эклектичность, а синтез. Основаниями этих зданий были пытливая мысль и огнедышащее слово итальянского Возрождения, французских энциклопедистов, немецких мудрецов.

Однажды, после февральской революции, маленький Миша гулял здесь с отцом, навстречу шли студенты в помятых фуражках и в светло-серых тужурках. «Товарищи, грандиозная новость: Григулов записался в богоискатели!» — услышал Миша голос бородатого студента, лицо которого было похоже на портрет писателя Гаршина.

— Папа, что такое богоискатели?

Почему-то эта фраза навсегда врезалась ему в душу. Как все дети, он рисовал себе жизнь неизменной, менялся только он сам, становился взрослым, высоким, и вот уже говорят о нем: «Грандиозная новость: Лоренц записался в богоискатели!»

Потом он действительно стал взрослым, высоким, вошел в массивные двери университета, но оказалось, что изменилась жизнь, а не он, Миша Лоренц. Жаркий август догорал за его спиной, а здесь веяло каменной прохладой. В

напечатанном на машинке списке, прибитом рядом со старой газетой-ильичевой, он не нашел своей фамилии, хотя блестяще сдал экзамены: он был сыном бухгалтера, он не имел права на высшее образование. Через год его все-таки приняли: помогла Рашель, написавшая письмо Гриневу, члену ЦК партии.

Он не менялся, менялась жизнь, и вот уже разразилось то, чего иные в городе пугливо ждали, смутно хотели,— война, и наш город стал Транснистрией, и Лоренца вызвал к себе в ректорский кабинет профессор Севостьянов и произнес:

— Юный мой коллега, я все знаю, вас недооценивали большевистские ученые бонзы.

Эта фраза тоже навсегда врезалась ему в душу, она была сказана в тот самый день, когда тех, обреченных, увели на бойню. На другое утро Лоренц покинул родной город и с тех пор ни разу не был в университете.

Для иных города и дома, где они когда-то жили, люди, среди которых они когда-то жили,— что коробка «Казбека». Пока в ней есть папиросы, коробка кое-что значит, на ней даже иногда записывается адрес, телефон. Но вот папиросы кончились, и коробка выброшена из кармана, из памяти. Может быть, потому, что жизнь Лоренца, в конце концов, была не очень богата впечатлениями (о тех месяцах в Каменце, об Анне — потом, потом), но дома, квартиры, улицы, люди, с которыми он был едва знаком, едва связан, не умирали в его душе, в его сознании. Они жили в нем постоянно, постоянно и причудливо менялась в нем связь между ними. Не потому ли так часто дробилась его мысль на десятки ассоциаций с выпадающими звеньями, и собеседнику не всегда было с ним легко. «Золотое сердце у Миши, но как хочешь, Дина, он все-таки малахольный»,— передала ему, лукаво и ласково улыбаясь, Дина слова мадам Сосновик. И сейчас вот закружились, заметались в нем, забились быстрые, мелкие воспоминания об университете. Здесь пришла ему мысль (не новая, как потом оказалось), что за ломаной линией Дунай — Припять — Висла буква «р» не терпит за собой йотированной гласной. Лестница, на которой он столкнулся с военруком и так постыдно-униженно выслушивал его брань. Он помнит: «Смотрите-ка на него, строит из себя прибитого мешком из-за угла!» Тихая, холодная лаборантская с окном в городской сад, на крышу павильона, где за столиками ели разноцветное мороженое (увы, в научной иерархии он так и не поднялся выше звания лаборанта), скрипучий книжный шкаф, Потешня, Веселовский, «Die Sprache als Kunst» Гербера.

Прощай, университет, с тобой, каменным, покончено, и, кажется, навеки. А если ты превратился теперь в кровь сердца, то кто должен об этом знать? «Что мы с этого будем иметь?» — как спрашивают в нашем городе.

Он приближается к морю. Прежде чем свернуть по Севастопольской к библиотеке, он садится на каменную скамью. Эта скамья существует с тех пор, когда здесь была конечная станция трамвая. Сколько он помнит себя, не было, кажется, такого дня, солнечного или сырого, чтобы не сидело на скамье, когда ни придешь, два-три человека. Кто они — бездельники, зеваки, мечтатели? Не гудки сирены, а таинственная сирена моря зачаровывала их? Здесь не сидели няни с колясочками, одинокие женщины (парочки — только по ночам), всегда — мужчины, когда-то в котелках и панамах, потом — в кепках, сейчас в фуражках или шляпах. Ей-богу, главную прелесть европейских городов (они вовсе не города-спуты, Верхарн наивен) составляют зеваки и мечтатели. Возможность работать несколько часов в день, жить без прописки и паспорта, бродить по городу, мечтать, думать — это и есть счастье. В особенности когда внизу — море.

Оно окружает наш город с трех сторон. Нет ничего общего между морем у берегов и морем открытым. У берега море такое, каков берег. Расплавленной железной массой, маточной жидкостью шумит оно у подножья фабрик и заводов. Разноплеменными голосами детей и взрослых, сутолокой кухни и двора полны его волны, набегающие вместе с арбузными и дынными корками на пляжный песок, на опрокинутые сваи развалившихся дамб, заполняя впадины для крюков. С казарменным однообразием течет оно вдоль желтых обрывистых скал, над которыми загорелые пограничники в трусах (а на песке зеленеют фуражки) играют в футбол. Как молдаване на своих возах, с деревенской воловьей медлительностью и покорностью, движется оно со стороны степи, сонно бормочет в сырых прибрежных балках. Оно скрежещет серым металлом, осыпается черным блестящим углем, поднимается мукой в парусиновых мешках, сверкает перламутром рыбой чешуи у причалов, у гаваней, в порту.

А над открытым морем люди не властны. Море у берега похоже на берег, люди в море похожи на море. Оно бежит, как во времена Тезея, единой облачной волной, волна может быть смиренной, может быть грозной, но всегда она — свобода. Лоренц одинок, ни с кем пока не связан (Дина энергична, но отступит), нет у него даже дальних родственников. Что мешает ему перемахнуть сейчас через невысокий парапет, спуститься по замшелым камням вниз, пролезть через отверстие в каменной ограде, миновать склады таможни и ринуться в лиловую густоту моря, ринуться из самодержавия необходимости в бурное безвластие свободы? Что мешает?

— Он, конечно, он! — услышал он гундосый голос.

Лоренц поднял голову. На него смотрел единственным, мутным и хитрым, глазом (на месте другого была отвратительная яма) длинноногий, давно не бритый человек в рваной шинели, в фуражке без козырька, в галошах, надетых прямо на портянки. Из его гнилозубого рта пахло водкой.

— Узнать нельзя? Правильно, рамоли, совершенно рамоли. Любуемся морем? Понятно. Справа — баркасы, дамбы: коричневые фона. Засим — лиловые и серые. Слева — руины турецкой крепости. Аркада дворца. Ностальгия — жуткое дело. Испытал. Напомню: Володя Варути, суаре у Лили Кобозевой.

Лоренц уже узнал его. Это был Лиходзиевский, художник, халтуривший под праздники вместе с Володей Варути. Пижон, золотая молодежь. «Если задумаю жениться, жену выберу на пляже. Без дураков. А то возьмешь, а у нее пальцы на ногах друг на друга лезут», — вспомнилось Лоренцу. И тогда уже Лиходзиевский говорил в нос: для шику, наверно. Но это было в нем не самое худшее. Лоренц мог бы вспомнить и другое.

— Господи, как же вас...

— Война. Опустился. Работаю носильщиком на вокзалах. Внештатно. Почасовик. Таскаю с базара корзины толстых евреек. Вот вы тоже воевали. Наслышан. А пока мы с вами кровь за родину проливали, Володя Варути рисовал в газете примара Пынти карикатуры на вождя. Пятнадцать лет дали. Мало.

— Да, ужасно.

— Помните, шутили: незаконный сын румынского виконта. Хорошие шуточки. Румынская кровь сказалась.

— Ну знаете ли, генерал Власов...

— Власов — еврей: Вальдман. Из чекистов. Короче: вы опять в университете?

— Нет, в артели, бухгалтером.

— Ясно. Каждый жить хочет. Дураков нет. Думал взять у вас пятерку, но раз в артели — дайте угол. Вульгаризм: двадцать пять. Или вы подлец?

Лоренц вытащил из бокового кармана три рубля.

— Благодарю, дружище. Адрес тот же: дом Чемадуровой? Буду беспокоить. Адье по-английски.

Но Лиходзиевский ушел не сразу.

— Хорошие были вечера у Лили Кобозевой, — вдруг сказал он, вскинув бровь над пустой глазницей и чуть притопывая ногой в галоше. — Где она, кстати, не слышали? До сих пор помню одно ваше изречение. Это я не из подхалимства, хотя и подхалимством не гнушаюсь, — но для чего мне? Деньги вы мне и так дали и еще дадите.

— Какое изречение? — несколько неестественно улыбнулся Лоренц. Неужели, искалеченный, опустившийся, он и сейчас опасен?

— Наизусть помню, а сколько лет прошло. И война. Все были, что называется, потрясены. Вы сказали в тот летний беспечный вечер: «Понятие реализма надо заменить понятием — литература и искусство для Бога и людей. Тогда социалистический реализм, естественно, — литература и искусство для дьявола и нелюдей. А модернизм — идолопоклонство, а идола бывают красивые и уродливые». Как, запомнил? Талант! Это я о себе.

Он двинулся к парапету. Одноглазый оборванец сохранил раскачивающуюся походку южного франта. Он сделал то, с чего хотел бы начать Лоренц: перемахнул через парапет и спустился вниз, в порт, к морскому вокзалу.

Лоренц вспомнил, что Дина Сосновик просила его купить на обратном пути хлеб (только круглый, артельный). Других денег у него нет. Опять скажет: «Миша, вы такой ученый, а жизни не знаете».

Загудела сирена. Три тридцать или четыре? Скорее четыре. Пора в библиотеку.

Публичная библиотека, наше замечательное книгохранилище, изменялась на глазах у Лоренца. Все меньше становилось странных посетителей. Но еще в тридцатых годах сохранились чудачки: чернобородый юноша с лицом Христа, босой, в длинной, до пят, рубахе; армянин в цилиндре и визитке, бакенбардами подчеркивающий свое удивительное сходство с Пушкиным; математик, круглоплечий деревенский парень, уверявший, что сделал величайшее открытие. Книги требовались редкие, журналы читались лишь для того, чтобы убить время ожидания. Просторная курилка в подвале, рядом с уборной, была политическим клубом и академией наук. Некоторые шли прямо в курилку (даже не курящие) и проводили там долгие радостные часы. Теперь Публичную библиотеку посещают только учащиеся, изредка — солидные, аккуратно одетые доценты. Требуются лишь одни ходкие учебники. Любителей чтения, запойных, — нет. Очереди огромные, речь малоинтеллигентная.

Лоренц тоже не занимается серьезной наукой. Он читает старые, дореволюционные журналы, газеты. Зарывается в глубокое прошлое. Воспоминания о былой жизни. Но разве эти воспоминания не рождают и жизнь будущую?

ГЛАВА ВТОРАЯ

В восьмидесятых годах прошлого столетия приехали в наш город в поисках счастья два молодых человека: Давид Сосновик и Рафаил Кемпфер. Оба высокие, смуглые, черноглазые, оба уже неверующие, уже немного знавшие по-русски: голоса просвещения долетели и до их волынского местечка.

Кемпфер был всегда весел, разговорчив, интересовался политикой. Сосновик был красивым. Они мечтали о зубоврачебной школе, о либеральной профессии, как тогда выражались, но с грамотой они знакомы были слабо, с деньгами — едва-едва, и пришлось им поступить — Сосновику в парикмахерскую Антуана, Кемпферу в писчебумажный магазин Генриха Шпехта-старшего.

Антуан, Антон Павлов, был не просто парикмахером, а куафером. Мужчины не посещали его заведение на Покровской. Он завил и причесывал жен негодянтов, капитанов дальнего плавания, видных чиновников. С волнением и робостью вступали к нему степные херсонские помещицы. К жене градоначальника он ездил на дрожках на дом. Он выписывал журналы из Парижа, и самоновейшая прическа становилась ему известной на пятый день, не позднее, чем в Петербурге. Не знаю, как относились к нему светские дамы, но, вероятно, они удивились бы, узнав, что жители квартала считали Антона Павлова человеком образованным, состоятельным, весьма почтенным. Уроженец Москвы, он кичился тем, что не терпит нашего южного солнца, южного моря, южной лени. Возможно, что он увлекался славянофильством. По праздникам он надевал поддевку из тонкого сукна, сапоги (у нас их носили только военные), зимой — бекешу. Когда он, важный, коренастый, невысокого роста, рыжебородый, проходил с женой и дочерью, рослыми, грудастыми, красивыми, тоже несколько по-театральному одетыми, то вся улица искренно восхищалась ими. Ему принадлежал особняк, в котором, по заверениям местных краеведов, некогда собирались греческие патриоты и пили за здоровье Александра Ипсиланти. В особняке было несколько комнат и огромный зал, называемый будуаром: здесь работал Антуан с двумя подмастерьями. Как-то в детстве Лоренц заглянул в этот будуар, и ему показалось, что ничего более прекрасного он не видел и никогда не увидит. Особенно поразило его зеркало, занимавшее всю стену целиком.

Антуан не очень охотно принял Сосновика в свое заведение.

— Жидов я люблю, — признался он жене, — живут серьезно, не то, что наши, не пьют, корень свой помнят, — но что скажет клиентура?

— Увидишь, дамы будут без ума от него, — уговаривала жена. Она с дочерью Пашей уже сами были без ума от этого робкого, стройного, большеглазого красавца.

Антуан взял его в подмастерья — и не прогадал. Давид Сосновик быстро овладел парикмахерским искусством, стал настоящим художником. Градоначальница впервые самолично посетила заведение Антуана, чтобы взглянуть на красавца, о котором во всех гостиных без умолку тараторили дамы.

Кончилось дело тем, что Давид и Паша страстно влюбились друг в друга. Давид забыл свое волынское местечко, забыл, как мать в пятницу вечером, в парике, благословляла худыми руками тонкие свечи, забыл самого себя — он крестился. Золотое марево закружило его, он пришел в церковь, и там было

золотое марево — от блеска иконостаса, лампад, парчовой ризы дьякона. Слегка картавя, он произнес «Символ веры» и стал Антоном — в честь будущего тестя, и Васильевичем — в честь о. Василия, толстого, краснощекого молдаванина. Неверующему Сосновику очень понравился обряд крещения, а неверующий Кемпфер проклял своего друга. Впрочем, через год они помирились.

Хорошей парой были Прасковья Антоновна и Антон Васильевич, одевались они по последней моде, ими тоже любовалась вся улица. Когда Павлов умер, Сосновик унаследовал особняк и фирму «Парикмахер Антуан» и стал таким же почтенным, состоятельным, всеми уважаемым человеком, как его покойный тесть. Жену своего он обожал, никогда не знал другой женщины, и Прасковье Антоновне все завидовали. Детей у них не было.

Повезло и Рафаилу Кемпферу в большом городе. Он добился отличного положения у Генриха Шпехта-старшего, был деятелен, предприимчив, выгодно женился. Правда, жена его страдала тиком и зубы у нее были некрасивые, но зато она принесла ему в приданое десять тысяч. На свадьбе были Сосновики, и Антон Васильевич только улыбался, выслушивая острые, но добродушные насмешки ортодоксальных весельчаков. А Прасковья Антоновна сияла, как царица, и все гордились такой гостьей.

Бог праотцев как бы в отместку Сосновику усиленно благословлял брак приказчика. По именам детей можно было судить о политических настроениях Рафаила Кемпфера. Старшего назвали Абрамом, но тут ничего не скажешь: покойный дедушка был Абрамом. Родившийся через год мальчик получил имя Александр — в честь царя-освободителя.

— Я обожаю этого просвещенного монарха, — говорил Кемпфер, — он же гениальный человек! И его убили!

Через четырнадцать лет, неожиданно для соседей, родился третий сын, Теодор: в это время Кемпфер был заморожен сионистическим учением Теодора Герцля:

— Вы читали «Новое гетто»? Гениальная книга!

После манифеста 17 октября Кемпфер пересмотрел свои убеждения.

— Евреи должны любить свою родину, Россию! — кричал он в толпе, собиравшейся по праздникам во дворе синагоги. — Мы — русские иудейского вероисповедания. В культурной Германии этот вопрос решен гениально!

Он умер от рака во время первой мировой войны, пятидесяти пяти лет от роду. Сосновик, по-прежнему стройный и красивый, пришел на похороны. Он впервые после долгих лет иной жизни увидел на кладбище на памятниках буквы, которые он учил в детстве, которые в детстве учил и его Спаситель, и сердце его дрогнуло. Когда Кемпфера опустили в могилу, Антон Васильевич обыденным движением снял котелок и перекрестился. Всех это неприятно поразило. А Сосновик плакал.

Кемпфер оставил в «Лионском кредите» шестнадцать тысяч. Это были хорошие деньги, хотя и не довоенные. Дети не могли на него обижаться. Если не считать желтых лошадиных зубов, унаследованных от матери, старший сын Абрам-во всем повторял отца. Он тоже был принят в приказчики к Генриху Шпехту — сыну старого Генриха Шпехта, — тоже выгодно женился, тоже был деятелен и предприимчив. Александру, застенчивому, слабому здоровьем, удалось поступить в университет в счет процентной нормы. Он преподавал русскую словесность и латынь в частной гимназии Нейдинга. Самому младшему, Теодору, когда умер отец, было восемнадцать лет. Он с грехом пополам дотягивал коммерческое, посещал казино, луна-парк и публичные дома.

Семейная жизнь Абрама Кемпфера, члена правления общества приказчиков-евреев, сложилась не очень удачно. Жена его, Зинаида Мойсеевна, была истеричкой. Ежедневно она устраивала сцены ревности и зависти. Ревновала она безо всяких оснований, завидовала иступленно всем соседкам — из-за их любящих мужей, богатых нарядов, обстановки, посуды, удачных покупок. Ее пожирал огонь тщеславия. Трудолюбивая, щедрая и, в сущности, добрая, она как бы была создана для горя. Приходя с базара, она уже на лестнице кричала:

— Муженечек мой! Дает мне столько денег, что можно закупить весь Привоз! Рыбный ряд, куриный ряд, фруктовый ряд, печеночки, — сил моих больше нет! Другие идут на базар с одним рублем и живут, как богини. На что мне хоромы? С милым рай и в шалаше!

В восемнадцатом году у них родилась девочка — Фанни, в двадцатом — сын, Рафочка. Рафочка страдал запорами, об этом знал весь дом Чемадуровой, знал и то, что во всем виноват Абрам Кемпфер. Зинаида Мойсеевна приводила и доказательства:

— Разве таким бывает внимательный муж? По-моему, мадам Квасная — счастливица. Плохо ей, что ли, если ее муж — простой снощик и грязный пьяница? Зато как он любит своих деток, это же примерный отец!

Такие восклицания раздавались в том самом году, когда наш город одичал, никто не работал, за буханку хлеба отдавали золотые часики или горностаевый воротник, в магазинах помещались детские интернаты, из их окон смотрели на прохожих лица, полные недетского отчуждения и злобы, трамвайные рельсы казались остатками древних веков, изящные дамы в деревянных сандалиях и черных перчатках по локоть предлагали сахарин, на пустых и длинных базарных полках были только малай и мамалыга.

Ворота запирались в семь часов вечера, мужчины, неуклюже держа — по очереди — единственную винтовку, стояли на посту, охраняли дом от налетчиков. Свободные от военных занятий играли в карты, в пятьсот одно. Чаще всего собирались у гостеприимных Лоренцев. Зинаида Мойсеевна скандалила, кричала: «Картежник, ты загубил мою жизнь!» — но Абрам Кемпфер играл каждый вечер.

Квартира Лоренцев состояла из двух комнат с кухней. Кухней почти не пользовались: вода не шла, плиту не топили. Лоренц помнит: круглые стальные часы пробили двенадцать раз. Мать спала, мужчины играли в карты, он, Миша, читал «Войну и мир», в блюде с деревянным маслом догорал толстый шнур от Мишиной рубашки, румынка остыла. У игроков была другая коптилка, с фитилем настоящим. Кемпфер записывал остро, щегольски отточенным карандашом. Внезапно ворвалась Зинаида Мойсеевна — в шали поверх длинной нижней рубахи, растрепанная, худая.

— Абрам, иди, я зарезала твоих детей, — сказала она низким, цыганским голосом. Губы ее тряслись, глаза лихорадочно горели.

Все ринулись к Кемпферам. Дети спокойно спали. Зинаида Мойсеевна не смутилась:

— Ну, картежник, ну, красавчик с лошадиными зубами, теперь ты будешь знать, как оставлять меня одну на всю ночь. Посмотри на людей, они же презирают тебя.

Игроки поникли лысеющими головами.

В квартире Кемпферов было шесть комнат. В самой маленькой, но с балконом, жил учитель гимназии Александр Рафаилович, рядом, в двух смежных, — Теодор с матерью, в остальных — семья Абрама. Ежедневно в шесть утра, не раньше и не позднее, появлялся на балконе Александр Рафаилович с лейкой. Напевая что-то из Гуно или Верди, он поливал кадки и горшки с цветами (у нас эти горшки назывались вазонами). А над ним, на балконе третьего этажа, скорняк Беленький, держа во рту мелкие гвозди, прибывал к дощечке шкурку мокрого каракуля или воротник из выдры-котика. Внизу, в полуподвале Димитраки, уже осыпались прозрачно-золотистые браслеты стружки.

Албанский переулок, половину квартала которого занимал дом Чемадуровой, был интендантством шумной, торговой Покровской. Отсюда завозили товар с английскими наклейками в магазин Кобозева. Здесь помещались чаеразвесочная, винные подвалы, колониальные лавки. Напротив чаеразвесочной — фирма «Лактобациллин» с коровником в черном дворе. Запах мокрого меха, сухих стружек, рогожи, терпкого вина, чая в больших цыбиках, запах сладких и недолговечных плодов, запах коров и лошадей, скрип телег, нежный и дальний звон церковного колокола, степной пожар заката, одноколки, в которых сидели колонистки-молочницы с пузатыми бидонами, — все это дышало Европой, ганзейским союзом, чудом возникшим в самом центре большого русского города. Дома были и новые и прошлого века, с галереями внутри двора, с шелковицами, — эти дома принесло сюда прибором Средиземного моря, и волны приборя как бы смывали слова Шпенглера о том, будто Россия — апокалиптический бунт против античности.

Часто приходили студенты-архитекторы с досками и рулетками, делали замеры уже едва намечающихся пилоэстров, орнаментов. Самым новым зданием был построенный в восьмом году Немецкий клуб, и его сумрачные готические башни были видны издалека.

Жители нашего города и поныне славятся в России своей крикливой деловитостью, коммерческой изворотливостью, циничной практичностью. Может быть, это верно, со стороны виднее. Но тот, кто здесь родился, вырос, видел и другое. Видел здесь умных, образованных рабочих (а какая это прелесть — образованный русский рабочий!), дельно рассуждавших о Лассале и Бакуanine, читавших Прудона и Плеханова, с южной непосредственностью декламировавших в садиках на окраине стихи, кажется, Скитальца: «Мой Бог — не ваш Бог, мой Бог — мститель», с южным пылом устраивавших стачки и забастовки, возводивших баррикады. Видел здесь совершенно непригодных к так называемой практической деятельности беспечных бессребреников, полунищих философов, математиков, меломанов, для которых встреча с другом, спор о Ницше или Вагнере были важнее заработка, насущных вопросов карьеры.

Какая странность: революцию подготавливали люди, которых окружающее общество, деловое и практичное, всегда считало фантазерами, болтунами, чудаками, — и революция же первые свои удары обрушила на мечтателей, на интеллигентных нытиков и спорщиков. Низкий поклон вам, никчемные чудаки и неудачливые фантазеры, праздно болтающие Рудины и сомневающиеся Гамлеты, в вашей нерешительности — великие решения, в нытье вашем — блистательные надежды, в кажущемся безволии — революционная воля, вы — щебень, вы — лагерная пыль настоящего и строительный материал будущего, уничтоженные, вы побеждаете!

Рос на Албанском переулке Миша Лоренц, и все уже понимали, что растет чудака и неудачник. Чудаком был и Александр Рафаилович Кемпфер. Примет его чудачества столько, что не знаешь, с чего начать. Тонкий ценитель женской красоты, он на всю жизнь остался холостяком и девственником. Он был убежденным вегетарианцем. Он посещал платный кружок пения. Он изучил эсперанто. Равнодушный к одежде (а у нас любил хорошо одеваться), к своей внешности, он тщательно следил за своими поистине ослепительными зубами и ногтями. Если при этой операции присутствовал посторонний, то Александр Рафаилович обычно говорил:

— Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. *Qued erat demonstrantum.* Что и требовалось дока-зать.

Он всегда что-то напевал, дома и на улице. Он утверждал, что русская литература — величайшее создание человечества, и прибавлял, что так и умрет космополитом. Тем, чем для других были охота, рыбная ловля, коллекционирование разных разностей, карточная игра, была для него латинская поэзия, забава и наслаждение. Он не понимал фразы: «Нудная гимназическая латынь». Поэты древнего Рима жили с ним рядом, где-то по соседству, дышали тем же морским воздухом, беседовали с ним, веселились, остряли, печалились. Он сам себе готовил, отдельно от семьи (он признавал только толокно и каши — источник здоровья и долголетия), и картина была такая: рукою в рваной перчатке он придерживал над спиртовкой кастрюлю с длинной ручкой, бросал из-под пенсне косою взгляд в поваренную книгу и читал (в который раз) маленький томик Горация.

Зинаида Мойсеевна сладко и долго надеялась, что ее деверь все-таки женится, уйдет жить к жене (так ей рисовалось) и они займут его дивную комнату с балконом.

— Ах, Саша, — говорила она, — почему нужно стряпать в комнате? Это же негигиенично. Я, конечно, не имею вашего образования, хотя и не унижу себя в любом обществе, только мне кажется, что мужчине не подобает заниматься таким делом. Если бы вы знали, что о вас говорят соседки, — это тысяча и одна ночь. Ну вот, он уже сердится. Это же говорится так, в теплом семейном кругу. Если у вас есть такая фантазия, готовьте себе на здоровье.

— Так-так-так, — отвечал Александр Рафаилович и делал по-своему.

Он не любил Зинаиду Мойсеевну. Он знал, что она добра, внимательна к нему (она иногда доставала ему частные уроки), но ее истерики, скандалы причиняли ему страдание. Ее мещанский склад ума казался ему отвратительным. Однажды он даже ушел (в первый и последний раз) ночевать к знакомым: в этот день стало известно, что большевистская революция развеяла их шестнадцать тысяч — вместе с банком «Лионский кредит». Мать и братья встретили эту весть скорее спокойно — что поделаешь, судьба! Зинаида Мойсеевна неистовствовала. И досталось же тогда от нее Николаю II, Керенскому, большевикам, Абраму Кемпферу и всем ее врагам, будь они трижды прокляты!

В двадцатом году, в ту холодную зиму, когда частная гимназия Нейдинга стала совшколой № 4, Александр Рафаилович, один из немногих учителей, продолжал преподавать. В старом драповом пальто читал он в замерзшем классе голодным ученикам «Хоря и Калиныча», получая ежедневный паек: четверть фунта ячки и полфунта глинистого, клейкого, кислого хлеба. «Это же не хлеб, а макуха», — говорили в доме Чемадуровой, беззлобно посмеиваясь над учителем.

Вот он возвращается из школы. «Мороз и солнце, день чудесный, что и требовалось дока-зять», — бормочет он себе под нос и уже напевает из «Гугенотов». Чудной картуз едва прикрывает его большую, коротко остриженную голову, уши побелели. Драповое пальто, длинное и порывшее, греет слабо. Он бережно прижимает паек к тому месту, где отскочила пуговица. А на улице голод, запустение, мороз.

— Это вы, Миша? Ну и укутали же вас! Что у вас за книга?

— «Война и мир», — подчеркнуто скромно, как ему кажется, отвечает Миша Лоренц. Ему трудно привыкнуть к тому, что Александр Рафаилович говорит ему «вы».

— Не рано ли вам, дружок, читать такие серьезные вещи? Я-то начал в пятом или в шестом классе, а вам еще одиннадцати, кажется, нет.

— Но я все понимаю, все, все, спросите меня, — голосом, захлебывающимся от счастья, почти кричит Миша, — даже по-французски понимаю, вниз, в перевод, не заглядываю! Мне Помолов, Павел Николаевич, дал. Богатая у него библиотека!

— Дело не в том, чтобы понимать фабулу. Такие книги следует читать, наслаждаясь каждой фразой.

У Александра Рафаиловича много дела: надо затопить румынку, приготовить кашу — он с утра не ел, — обогреться после холода давно не топленной школы. Немало дела и у Миши Лоренца: надо пойти в «АРА», выстоять в длиннющей очереди, чтобы получить у американских филантропов маисовый пудинг, стакан какао и сайку. Какао и пудинг — себе, сайку — родителям. Но вот они стоят битый час и болтают о пустяках. Чудаки!

— Если вы, Миша, так ладите с французским, то непременно прочтите в подлиннике «Боги жаждут» Анатоля Франса. Зайдите вечером ко мне, я вам дам. Какой аромат исходит из этой книги, какая в ней сила! Наш друг Цыбульский видит во всем одну лишь дурную сторону. Вот прочел бы Франса, понял бы — великую революцию не в белых перчатках делали. Что и требовалось дока-зать.

Откроем правду: в доме Чемадуровой, за редким исключением, не очень любили большевиков. А уж если всю правду открыть, то очень и очень не любили. Александр Рафаилович принадлежал к редким исключениям. Он одобрял все: и голодный военный коммунизм, и нэп, а впоследствии — даже тридцать седьмой год. Он всегда был чужд революционному движению, и большевики очаровали его не обаянием грядущей свободы, а обаянием власти, смелости, новизны. Нападки на большевиков казались ему результатом узости, ограниченности, мешанства. «Недаром немцы, — говорил он, — произвели слово «филистер» от «филистимлянин». Они, филистимляне, тоже не понимали, если верить старой книге, где свет истинный».

Не терпел мешанства и младший брат Александра Рафаиловича, юный Теодор.

Любители чтения, вероятно, заметили, как изменился в литературе образ мешанина. В девятнадцатом веке мешанин — это самодовольный обыватель, бескрылый, осторожный бюргер. Ему противопоставлялся человек широких взглядов, с душой мятежной и беспокойной, жаждущей самопожертвования во имя святых идеалов. В двадцатом веке, отмеченном торжеством трудолюбивого плебса, мешанин стал постепенно изображаться иначе. Это маленький человек большинства, избиратель. Он верит в силу парламентаризма, в науку, в прогресс. Чаще всего он голосует за социал-демократов. Любовь его кончается браком. Он отдает долги. Он примитивно принципиален. При этом он еще и глотатель газет. А противопоставлялся этому человеку в толпе — сверхчеловек, свободный от узаконенной морали, признающий только одну разновидность силы — насилие, только одну разновидность любви — себялюбие, издевающийся над болтливим парламентаризмом, над крохоборческими усилиями большинства осчастливить жизнь большинства. В девятнадцатом веке с мешанством воевало свободомыслие. В двадцатом веке в борьбу с мешанством вступает рвущийся к власти националистический социализм.

Теодор никогда не читал ни Ницше, ни Пшибышевского, ни Гамсуна, ни русских декадентов. В девятнадцатом веке он был бы шалопаем. В двадцатом

веке он стал тем, кем должен был стать. Вряд ли он даже сознавал, что ненавидит мешанство, — и ненавидел его. Ненавидел домашний быт, мелочные, повседневные заботы, жалкие, приказчиьи грезы Абрама Кемпфера, жалкие отвлеченные рассуждения Александра Кемпфера, жалкие слова укоризны, которые он каждый день выслушивал от матери. Теодор презирал свое коммерческое училище, тусклых и честных преподавателей, соучеников — и тех прилежных, кто уже целился на место в банке, и тех умных, развитых, кто объявлял себя эсдеком или эсером. Почему же он все это презирал и ненавидел? Потому что он алкал богатства, но не обладал ни смелостью, ни терпением, ни такой практической сметкой, которая не вступала бы в конфликт с уголовным кодексом и всеми десятью заповедями. Он алкал общественного блеска, но не было у него ни ума, ни способностей. Цели его не были ясны ему самому, но он чувствовал, что достигнет их только обходным путем. Он говорил таким же, как он, завсегдаемая магазина восточных сладостей Назароглу:

— Помешались на идеях. Болтуны, идиоты. Я не то что идею — родную маму продам за туфли «джимми» или пальто реглан.

Станным местом был этот магазин восточных сладостей. Публика, заходившая сюда выпить стакан сельтерской с шербетом, не подозревала, какие темные дела творились в задних комнатах, где хорошенькие девушки варили халву и рахат-лукум. Говорили, впрочем, что они составляют гарем хозяина, горбуна Назароглу, не то турка, не то грека неопределенного возраста. Во всяком случае, две из них как-то из-за него подрались — их визг и площадная брань перешли из задних комнат в магазин. Назароглу (его у нас называли Назаркой, и он к этому привык) спокойно смотрел на драку, здоровался чуть заметным, но учтивым движением густоволосой головы со входившими покупателями и равнодушно бормотал:

— Тише, Надичка, не надо, Маницка.

А когда Надичка и Маничка, одержав друг над другом пиррову победу, удалялись, он так же равнодушно бормотал: «Скандаль баба любит», как будто это его не касалось. И впервые увидев его большие выпукло-матовые глаза, безвольные руки, всегда опущенные ниже колен, вялую, но отнюдь не медленную походку, вы бы подумали: его в этом мире ничего не касается. А между тем его день был наполнен делами и делишками, таинственными, стремительными, этот вялый уродец с длинными руками поспевал повсюду, и ничего нельзя было прочесть в его недвижных матовых глазах.

Молодые бездельники, спекулянты, скупщики и поставщики краденого, налетчики и кокаинисты очень любили задние комнаты магазина восточных сладостей. Ходили слухи, что туда частенько заглядывают и более серьезные люди. Об этом вспоминали потом, после нэпа, когда Назароглу в течение нескольких лет оставался единственным в городе владельцем частного предприятия.

Теодора однажды там избили, и его румяное, свежее лицо было на две недели изуродовано сине-красными отеками. После этого маловеселого события он исчез и появился в городе вместе с добровольцами. На нем была папаха, черкеска и золотые погоны. Он всем, даже нам, мальчишкам, смотревшим на него с восторгом и завистью, показывал визитную карточку: «Барон Теодор Рафаэлевич Кемпфер». Над надписью, в углу — изображение кольчуги с крестами, видимо, герб. Теодор сорил колокольчиками¹. Иногда, как почтительный и удачный сын, он прогуливался с матерью, полуглухой и страдающей тиком, по приморскому бульвару и представлял ее новым знакомым-офицерам:

— До сих пор не может прийти в себя: большевики сожгли наше родовое поместье в Лифляндии.

В доме Чемадуровой поговаривали, что Назароглу купил у него за бешеные деньги чемодан с кокаином.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Смена временных правительств сказывалась на доме Чемадуровой сменой жильцов, иногда тоже временных.

При первых большевиках поселились рядом с Лоренцами мадам Варути с сыном Володей, ровесником Миши. Говорили, что она была не то содержанкой,

¹ Колокольчиками назывались денежные купюры, выпущенные Добровольческой армией.

не то гражданской женой румынского коммерсанта, который во время революции бросил ее и убежал в Бухарест.

Она утверждала, что пела в опере, но злые наши языки брезгливо роняли: шансонетка.

Она кое-как перебивалась уроками пения, довольно редкими, перепиской нот, распространением билетов на симфонические концерты. От прежней безбедной жизни она сохранила серебряную сумочку в виде густой сетки, кольцо, две золотые вилки и такую же ложку в изящной коробке. Седоусый хмурый поляк, оценщик в ломбарде, хорошо знал эти вещи. Ее гордостью были также подлинный этюд Куинджи и чучела разных птиц, собранные в раме под стеклом.

Высокая, большеботая, худая, она всегда одевалась во все черное: черная соломенная шляпка, черное платье, черная вуаль с мушками. И лицо у нее было смуглое, почти черное, с родинками, — казалось, будто мушки перешли с вуали. «Пиковая дама!» — кричали ей вслед мальчишки; автором этого прозвища, довольно меткого, была Зинаида Мойсеевна.

В голодный год мадам Варути торговала бубликами, тайно выпекаемыми изворотливыми частниками, не осложнявшими свою жизнь регистрацией в финотделе. Босиком, в старом муаровом платье, в вуали, она ходила по дворам с большой плетеной корзиной, покрытой белоснежным полотенцем, подолгу болтала с хозяйками и с какой-то печальной кичливостью говорила: «Мой муж, знаете ли, был ужасный ловелас» — и при этом глаза ее вспыхивали рамповым огнем. И соединение босых грязных ног, вуали, слова «ловелас», произносимого с мягкими «эль», вызывало не улыбку, не жалость, а — странно сказать — уважение. У нее был приятный грудной голос, хотя и несколько хриплый.

Миша Лоренц, трудно сходявшийся с товарищами — он был постоянным предметом насмешек трех младших Беленьких, отчаянных сорванцов, — сразу подружился с ее сыном Володей. Он чуть-чуть заикался, этот стройный, тихий, хорошо воспитанный мальчик. Длинные, как у девочки, волосы придавали ему сходство с итальянским бродячим музыкантом. Его большие темные глаза с мохнатыми ресницами были похожи на пчел. «Прямо Иисус Христос», — говорила Зинаида Мойсеевна, намекая, между прочим, на то, что и православный Бог и Володя Варути были незаконнорожденными. Учился Володя из рук вон плохо, к тому же, под влиянием улицы, начал в последнее время материться, но зато он превосходно рисовал, акварелью и маслом. Мадам Варути, тайно от сына, показывала соседкам его пейзажи — лодку у рыбачьей мазанки, сети в море, закат, пронзенный башнями Немецкого клуба.

В восемнадцатом году, при немцах, появился у нас солдат-австриец Николаус. Дворник Матвей Ненашев долго чесал затылок, раздумывая, кого бы из жильцов наградить таким постояльцем, но к солдату подошел Ионкис с сантиметром на шее и, узнав, что Николаус тоже портной, взял его на постой к себе. Ионкис его хвалил: «Толстый австриец умеет сделать штуку работы».

Солдат охотно подрабатывал. Вещи свои он держал в казарме (койки для него там не нашлось) — кроме большой кружки из обожженной глины, на разноцветных плиточках которой были написаны имена Лейбница, Гегеля, Канта, Лессинга и прочих мыслителей. Это была, как объяснил Николаус, студенческая пивная кружка, и наши мальчишки бегали с ней по нескольку раз в день в бакалейную лавку за пивом для Николауса. Дети его любили, у него самого было детское лицо с ясными круглыми глазами.

Он шил, сидя на широком желтом подоконнике, поджав жирные ноги, и когда Ионкис выходил из мастерской, весело подмигивал детям, игравшим у его раскрытого окна в классы или тепку. Все смеялись, а громче всех — Николаус, очень довольный собой и теплым солнечным миром приморской осени. Как все портные, он любил петь, и чаще всего — революционные стихи Гервега:

Und du ackerst, und du säst,
Und du nietest, und du nähst,
Und du hämmerst, und du Spinst,
Sag, mien Volk, was du verdienst².

² Ты пашешь, ты и сеешь,
Ты клепаешь, ты и шьешь,
Ты куешь, ты и прядешь,
Скажи, мой народ, что ты зарабатываешь. (Подстрочный перевод.)

Женщины ставили его в пример своим мужьям, он был приятно вежлив, встречаясь с хозяйкой, идущей с поганым ведром к мусорному ящику, он быстро снимал свою солдатскую шапочку, в которой были заколоты две-три иголки.

После работы он вел бесконечные споры со слесарем Цыбульским. Оба они были убежденными социал-демократами, обоих мучило то, что Плеханов и Каутский, с противоположных позиций, одобрили войну, оба высоко ценили и Плеханова и Каутского, но спорили, потому что было о чем спорить.

— Видишь ли, Николаус,— говорил Цыбульский на дурном немецком языке рабочего-эмигранта,— мы с тобой с юных лет затвердили: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей». Хорошие слова, лучше не скажешь, а на деле что получилось? Возьми вот меня. От царской России имел я только цепи, да казачьи плети, да тюрьму. Ты знаешь, я работаю на товарной станции. И когда я вижу, как твои немцы отправляют в Германию вагоны с нашей мукой, с нашим салом, как они хозяйничают на нашей русской земле, на нашей русской железной дороге, у меня сердце обливается кровью, и я вижу, что, кроме цепей, у меня было сокровище, Россия, и я потерял его. Мутрно у меня на душе от всех этих центральных рад, грузинской автономии — ни к чему все это. В такие минуты я помню только то, что я — русский и больше всего на свете люблю Россию. И получается, что у меня и у черносотенца Севостьянова одни чувства. Я знаю, ты мне ответишь: «Это плохо». А кто говорит, что это хорошо? Но это так, и с этим надо считаться, если ты не демагог. Да, Николаус, мы неплохо подготовились к борьбе с капиталом, но растерялись, когда пришла пора бороться с национализмом. Растерялись не потому, что мы дурные люди, а потому, что мы — люди. Национальное пока еще сильнее, гораздо сильнее интернационального. Кричи не кричи, а это так. Даже социал-демократы, всемирное братство революционеров, поддались национальному чувству. Что же сказать об остальных? Ты думаешь, что национализм — это только немецкий кайзер или наш Пуришкевич? Пошевелим мозгами, тогда пойдем, что даже в санкюлотах, в движении Гарибальди уже был национализм. Земля с ее племенами, народностями, нациями существует уже тысячелетия, а сколько лет нашему Интернационалу? Пустяки! Когда-то одно маленькое пастушеское племя где-то между Тигром и Евфратом пришло к мысли о существовании единого незримого Бога. Эта мысль потом овладела умами и сердцами чуть ли не половины человечества, но с каким трудом овладела, сколько преград было на ее пути! Даже в самом этом маленьком пастушеском племени то и дело возникали языческие капища, идолы. Да, да, Николаус, человеку нужны идолы, хотя он и дошел уже до понимания незримого Бога, единого для всех людей. Понятие всечеловеческого братства так же трудно для человека, как понятие единого незримого Бога. Человеку подавай нечто существенное, идола, и теперь этот идол — национализм. Вот апостол сказал: «Все равны перед Богом, нет ни элина, ни иудея». Великие слова первого интернационалиста. Хорошо, кажется? Мировая религия, не так ли? Так на тебе, она раскололась на католиков, арианцев, православных, лютеран, старообрядцев, идет резня, варфоломеевские ночи, убивают, насилуют, грабят. Сколько веков понадобилось для утверждения религиозной терпимости, и ты думаешь, что она уже всюду победила? Шутись! Мы должны извратить себя от национальной нетерпимости, избавиться от нее всех людей на земле, а это трудно, очень трудно, для этого нужно, чтобы на всей земле окончательно, навеки восторжествовала демократия. А знаешь, Николаус, когда это будет?

— Когда мы уничтожим капитализм,— сердито сказал Николаус.

Больше обожглись глаза Цыбульского под косматыми бровями.

— Нет, Николаус, мы ошиблись. Мы ошиблись. Дело не в капитализме. Я не обвиняю наших лидеров, я такой же, как и они, только глупый и необразованный. Мне жаль их, жаль себя, это наше горе и наша судьба. Нам, людям, нужны идолы, мы хотим поклоняться им, и это поняли выделыватели идолов. Смотрю я издали на Ленина, я видел его как-то раз близко, как тебя, в Париже было дело. Он самый искусный из выделывателей идолов, но и он еще не знает, что его идол окажется иным, чем был задуман. Поверишь ли, я всегда смеялся над украинскими спилковцами, над Бундом, да и у наших товарищей, у пепезовцев, не все мне казалось ладным, а теперь чуточку поумнел, вижу, что дело это глубоко сидит в людях.

Николаус качал круглой головой, сопел, раздражался:

— Товарищ Яков, люди несовершенны, но мы должны их исправить, на то мы и социалисты. А то, что ты говоришь, извини за грубость, мне слушать противно.

— Противно? Что бы ты запел, если бы я жил на постое у тебя, в прекрасном городе Вене, и русские офицеры отправляли бы в Питер ваши машины, обувь и прочее? Эх, Николаус, Николаус, у меня душа горит, а ты мне прописи читаешь. Как исправить людей? Декретами? От этих декретов еще подымется в мире такое шовинистическое зловоние, что все задохнется, и я и ты. Только демократия может сделать всех людей братьями, и для этого надобны сотни лет ее царства. А ты думаешь, что стоит свалить Николку или кайзера — и сразу, тяп-ляп, рухнут национальные перегородки, церкви и кирхи, мечети и синагоги. Иди, иди, Николаус, надо тебе отметитья в казарме, не то фельдфебель нервничать будет.

И Николаус, качая наголо остриженной круглой головой, шел в свою казарму, а наутро, расстегнув крючки серой куртки, надув щеки, уморительно сморщив пыльно-бурые брови, брызгал водой на дамский жакет со стороны бортовки, а потом шипел так, как паровой утюг в его мясистой веснушчатой руке.

Таким он запомнился жителям. И когда, почти через четверть столетия, немцы снова приближались к заставам города и сердце сжималось от ужаса, все-таки думалось: не может быть. Обойдется. Жили же мы при немцах в восемнадцатом, и не так уж плохо жили. Люди работали, торговали, учились, устраивали вечеринки, политиканствовали в трактирах и кофейнях, посещали театры. Конечно, мало было радости оттого, что в тех же кофейнях и театрах важно, как хозяева, сидели кайзеровские солдаты и офицеры, но они никого не трогали. Все настойчивее становились слухи об их бесчинствах в селах, однако крестьяне по-прежнему приезжали в город с мукой, маслом и живностью, всего было вдоволь. Симпатии немцы к себе не вызывали, они и не могли ее вызвать в городе, где военная дисциплина, вообще армия, авторитеты ни во что не ставились, а благоговейное отношение к кайзеру считалось идиотизмом, но и враждебного чувства к ним не было. Петлюровцы, например, были более ненавистны.

Если уж говорить о наших симпатиях, то ими пользовались французы. Они сменили немцев на Пасху, в апреле, и Николаус исчез навсегда из нашего дома. Случилось так, что совпали три Пасхи — православная, католическая и еврейская. А может быть, и не совпали, а следовали одна за другой, и казалось, что весь многонациональный город справляет семейный праздник, общий праздник, только дома разные, гости разные, закуски и обряды разные.

Миша Лоренц хорошо помнит, как они с Володей были в церкви, как Антон Васильевич добродушно погрозил им пальцем, сиял вечер, и сияла церковь небесной, звездной славой, все было торжественно, пышно и радостно, а в католическом храме святого Петра, с паперти которого были видны порт и маяк, вратарь эдема на выцветшей росписи улыбался прихожанам, священник, совсем молодой, тоненький, похожий на алхимика в своей черной сутане, читал проповедь с балкончика, и их удивило, что балкончик помещался сбоку, что золотая дарохранительница утопала в простых полевых цветах нашего киммерийского юга, а еще больше поразили их курчавые коричневые африканцы, солдаты Франции, пришедшие помолиться вместе с местными поляками, французами и итальянцами. Они странно крестились, прикладывая ко лбу и груди всю пятерню. Выходя из храма, они посылали воздушные поцелуи хорошеньким прихожанкам, дочерям кондитеров и модисток.

Потом мальчики пошли на Пушкинскую, в главную синагогу, с трудом пробрались в здание сквозь нарядную толпу, оживленными кучками разливавшуюся по широкому двору, но оказалось, что в синагоге пусто, сидят одни старики, склонившись над откидными столиками и раскрытыми молитвенниками, а наверху, отдельно, — старухи. Самое интересное было во дворе. Здесь острили, политические противники спорили, крича и жестикулируя, разглагольствовали витии — часовщики, сапожники, портные, вышивальщики, обойщики. Молодежь теснилась около плотного, приземистого человека средних лет, в цилиндре, слегка косоглазого, с толстой, как краковская колбаса, складкой на шее и светлыми, золотистыми, легкими усами. Мальчики узнали, что это — Бялик, знаменитый еврейский поэт, и их рассмешило, что бывают поэты, похожие на мясников, и то, что вообще у евреев могут быть свои поэты... Дикий

виноград уже нависал живым зелено-рыжим шатром над колодцем, как будто перенесенным сюда из Аравийской пустыни, трава росла между широкими серыми плитами, хмелем дышал ветерок с невидимого, но такого близкого моря и струился между прутьями ржавой ограды, отделявшей двор синагоги от шумной улицы.

Да, это были хмельные дни, все было хмельным: и вино на праздничном столе, и хрупкий, уже не духовный, а обмирщенный звон колоколов, и первый, еще не пронзительный, но уже всепокоряющий запах акаций, без приторного соблазна, молодой и невинный, и небо такой синевы, что хотелось и смеяться, и плакать, и сладко молиться чему-то неведомому, но так властно зовущему, и стремительное обновление могучих старцев — каштанов, и весеннее солнце, по-летнему горячее под тентами меховых магазинов, и музыка «Марсельезы».

Эта музыка опьяняет самого немзыкального человека. Есть и другие гимны свободы — «Интернационал», «Варшавянка». Это гимны суровой, трагической, полной самоотверженности борьбы. А «Марсельеза» — это счастливый хлеб свободы, хмель свободы, запах ее цветов, ее солнце, ее праздничное, всечеловеческое ликование.

В южных городах, когда приходит лето, вся жизнь переносится на улицу, но теперь это наступило весной, уж такая была весна. Между тротуаром и мостовой, на широкой светло-зеленой кромке, под каштаном или дубом устанавливался стол для граммофона или игры в лото. Вокруг стола быстро возникала толпа, и как-то незаметно оказывались в ней французские моряки. Они пели со всеми, обнимали визжащих девушек, вмешивались в игру, отчаянно споря, и сами играли на выкидку. Так было, и — хочешь не хочешь, а в сознании города в одно слились и необычно теплая весна, и три Пасхи, и улицы, полные нарядной толпы, ветра, солнца, безумно веселых, карнавальных звуков апрельского моря, и французы. А впрочем, быть может, французы мало чем отличались от немцев, и все это наделал вакхический хмель «Марсельезы».

Во всяком случае, не без причины именно в это время в наш город устремились приезжие из голодного Петрограда. Думается, что их тоже манил не только хлеб, но и хмель «Марсельезы». Они добирались на крышах вагонов, в теплушках, их карманы были набиты противоречивыми удостоверениями: разные попутные режимы подтверждали их благонадежность.

Приехал из Петрограда и Вольф Сосновик, родной племянник Антона Васильевича. Конечно, и речи не могло быть о том, чтобы племянник поселился в просторном доме дяди и тетки, да еще с беременной женой и девятилетней дочерью-калекой. Что общего было у этого зубного техника-еврея и у почтенного Антона Васильевича и Прасковьи Антоновны, никогда раньше не слышавшей о нем? Да и вряд ли приютила бы у себя Прасковья Антоновна и своих собственных родственников. Разве это было удобно в таком богатом заведении, которое посещают дамы из самого высшего бомонда?

В нашем городе во всех магазинах имелись задние комнаты, нередко полутемные, освещаемые либо сверху фонарем, либо стеклянной дверью, смотревшей на двор. Там жили хозяева победнее, ремесленники, мелкие лавочники, а более зажиточные снимали отдельные квартиры, и тогда в задних комнатах устраивались склады, мастерские, а то ночевали там холостые подмастерья или приказчики.

Была такая комната и позади магазина Чемадуровой, с окном, выходящим в парадный ход самой владелицы дома, с подполом (до Чемадуровой магазин принадлежал виноторговцу), и там-то поселилась семья приезжих Сосновиков: Чемадурова приютила ее по просьбе Антона Васильевича.

Одни мужчины нравятся только мужчинам, другие — и мужчинам и женщинам, третьи — только женщинам. Вольф Сосновик относился к третьему типу. Женщины любили его, потому что чувствовали, что он любит их и только их. Его круглые глаза, щегольские, чуть рыжеватые усы, постоянная веселость, здоровая, хорошо одетая плоть сулили им одну лишь радость, легкость жизни без ее нудных забот, семейных сцен, болезней, безденежья. Такие мужчины обычно очень плохие отцы и мужья, но их обожают и жены и дети. Люди они большей частью пустые, но среди женщин, даже некрасивых, они умнеют, по-настоящему умнеют, обмана здесь нет.

Застенчивая Фрида Сосновик беззаветно любила своего мужа. Она была умнее Вольфа и понимала это, но свой ум она считала слабостью, а пустоту

Вольфа — силой. Она не хотела уезжать из Петрограда, у нее были дурные предчувствия, но разве она могла пойти наперекор Вольфу? А он рвался на юг, к французам.

Безропотно переносила Фрида тяжесть дороги, долгой, иногда опасной, духоту зеленого вагона (ей, беспомощной, с раздутым животом, приходилось особенно трудно), безропотно переносила жизнь в сырой, полутемной комнате.

Она не любила свое временное жилье со ржавым засовом на дверях, ведущих в магазин, окно с решеткой, гул шагов и стук дверей парадного хода, куда выходило это окно, и большую часть времени проводила на дворе. На дворе она и готовила. Над шведской плитой поднимался, властно распространяясь, запах жидкого гусяного сала, фаршированной рыбы, хрена — дразнящий, вкусный запах еды изгнания.

Еля, ее девочка, страдала детским параличом. Ее ножки были одеты в гипсовые бандажи, коричневые, с блестящими крючочками для шнурков. Она почти всегда сидела на дворе рядом с матерью на низкой складной скамеечке с парусиновым сиденьем, читала или мыла куклу в игрушечном корыте. Эта начитанная девятилетняя девочка почему-то любила возиться с куклой. Больно было на них смотреть, когда они шли к дворовому крану, мать — с ведром, Еля — с красным в синюю каемку ведром, шли переваливаясь, слабые, одна — с восьмимесячным животом, другая — на кривых гипсовых ножках.

В доме у них достаток. Говорили, что зубной техник вывез из Петрограда золото, что он ходит на черную биржу в наш Пале-Рояль, что скоро эта семья переедет в хорошую квартиру. По словам Вольфа, в Петрограде они жили отлично. У него было нечто вроде чиновничьей шинели с пелеринкой (как у Гоголя, а, не правда ли?), и он рассказывал, блистая круглыми глазами и золотом зубов, как, бывало, выйдет он, Вольф Сосновик (такой, каким вы меня видите!), на Невский, кликнет ваньку, скажет: «Поди!» — и полетит, а кругом снег, вежливые городовые, газовые фонари... Миша Лоренц слушал его с восторгом, но однажды Вольф вынул при нем свои золотые зубы и опустил их в граненый стаканчик. Миша испугался, в этом было что-то нечеловеческое, и долгое время он с трепетом смотрел на пустого болтуна Вольфа Сосновика.

Мишу и Володю Варуги, не находивших себе товарищей среди соседских забияк, тянуло к несчастной, всегда спокойно-веселой девочке с таким странным, неужным произношением. Иногда они брали ее под руки и вывели гулять в Николаевский сад, осторожно переходя мостовую, и женщины умиленно смотрели на них, а некоторые плакали чистыми, освежающими душу слезами. А дворничиха Матрена Терентьевна, люто ненавидевшая, как нам почему-то казалось, нашу буйную детвору, наставительно восторгалась:

— От хороши хлопчики, тряся их матери! И жидивочка хороша, така разумна, троянда моя! Оченята, як черешня, а говорить, як птаха, як та кацапка!

Дети сядились на круглый парапет из искусственного гранита с сиреневыми искрами, сиреневыми казались искры фонтана — влажные песчинки заката, — сиреневым было платье Ели. Лоренц уже забыл, о чем они говорили тогда — о приключениях доисторического мальчика? о Летнем саде или о Павловске, куда Еля однажды поехала с родителями? — но помнит, что им было весело, не хотелось идти домой ужинать. Помнит он (разве можно его забыть?) и тот ужасный день.

Накануне ушли неожиданно из города французы. Ждали не то большевиков, не то петлюровцев. Город привык к быстрой и частой смене властей. В этой смене была и надежда, и некоторые долго не могли избавиться от обольщающей привычки. Например, даже в двадцать восьмом году подшучивали над слесарем Цыбульским — он будто бы, просыпаясь от грохота будильника, рано утром спрашивал жену: «Рашель, они еще не ушли?»

В ту пору как никогда стало ясно, что все человечество — это жители, от слова «жить», а власти — нечто отличающееся от жизни, мешающее жизни, потустороннее: оно врывается в наш мир, обладая иными измерениями, иными законами притяжения. Вероятно, именно в ту пору местоимение «они» впервые приобрело новый, отчужденный смысл. Шли годы, люди рождались, старились, умирали, но «они» были бессмертны, как злые духи. «Они» устраивали погромы, облавы, пытали в застенках контрразведки, производили реквизиции, изъятия излишков, сажали в тюрьмы, высылали на Соловки, выдавали продовольственные карточки, объявляли о всеобщем обязательном обучении, шли в поход на

Рим, выбрасывали на прилавки мясо, галоши, чайники, бомбили, оккупировали города и деревни, душили в газовых камерах, загоняли людей в гетто, временно отступали, выпускали облигации займов, восстанавливали разрушенное войной хозяйство — эти разноликие, разноязычные, рожденные среди людей, похожие на людей, внутри себя нередко враждующие, но одинаково ненавистные жителям «они».

Да, власти менялись, французы были получше, немцы — похуже, денкиницы были любезны большинству, большевики — меньшинству, но петлюровцы — это совсем другое дело, петлюровцы — это погром.

Конечно, и другие были не без греха. Люди, будучи стадными, подчиняясь побудке, ищут общности. Классовая общность (а это уже начинали подсказывать опыт и инстинкт) оказалась вздором. Рабоче-крестьянская революция принесла горе прежде всего рабочим и крестьянам. Так, может быть, спасение в другой общности, национальной? Не будем забегать вперед, чтобы встать в затылок римским чернорубашечникам и мюнхенским громилам. Заметим, однако: если мы, русские, и поныне порою не мыслим национальной общности без национальной ненависти, то что же говорить о тех рассветных кровавых годах? Антон Иванович Деникин, умный и честный человек, внук крепостного крестьянина, вряд ли был антисемитом, но его отряды, врываясь в местечки, угрожающе пели:

Смело мы в бой пойдем
За Русь святую
И всех жидов побьем,
Сволочь такую.

И ничего не могли поделать ни Деникин, ни служившие под его знаменем интеллигенты, среди которых были и евреи: добровольцы устраивали погромы — правда, не в больших городах, а в местечках, вдали от взоров начальства. Устраивали погромы и отдельные лихие отряды армии Буденного, в особенности кубанские и донские казаки, уставшие от жестокой, отвратительной вьедливости комиссаров-долгоносиков. Впоследствии Буденный вспоминал, что Троцкий называл его конницу бандой, а его, Буденного, — атаманом и говорил: «Куда он поведет свою ватагу, туда она и пойдет».

Но у буденновцев была такая сила, которой не было у денкинцев: идея. И большевистская идея быстро справлялась и расправлялась — ибо иначе она бы тогда погибла — с разбойными еретиками. Изумительное свойство большевистской идеи, залог ее торжества — сочетание жестокой бессмысленности преступления с разумом прекрасного. Чернь, ведомая вождями, думая, что движется к прекрасному, бессильно и трусливо приписывает бессмысленность совершаемых ею преступлений другой нации: так понятней. Не всегда при этом надо уничтожать другую нацию. Например, Махно (ему, сам того не зная, потом подражал Антонеску) позволял своим хлопцам убивать и грабить жидов, но только не в столице анархии, в своем Гуляй-Поле, и там евреи чувствовали себя в безопасности.

Социалист Петлюра, как позднее социалист Гитлер, не скрывал, что хочет уничтожить евреев. Его герб — изображение гайдамака на лазурном фоне — утверждал преемственность его армии от тех, кто несколько веков назад, при Богдане Хмельницком, залил Украину еврейской кровью. Но не мог Украине дать счастье Петлюра, как не дал ей счастья и Богдан.

На этот раз шли успокоительные слухи. Стало известно, что с петлюровцами заключили соглашение большевики. В доме Чемадуровой мнения по этому поводу разделились. «Одна шайка», — бурчал Цыбульский. «Да, но погрома не будет, большевики не позволят, — возражал скорняк Беленький. — Лично я, клянусь жизнью детей, пережил семь погромов. Хотя это было, но это факт. Если я вру, пусть я не доживу до завтрашнего дня, пусть меня семьдесят семь раз закопают живым в землю. Если большевики договорились с этими злыднями, значит, все будет хорошо, чтобы я так видел своих детей здоровыми, как это правда. Поверьте мне, я не такой человек, чтобы разбрасывать слова, как пьяный матрос разбрасывает медяки».

Беленький был чудовищный лгун, но говорил он с таким убеждением, что заставлял себя слушать. Слушать его слушали, однако все с облегчением вздохнули, когда мадам Чемадурова объявила через своего приказчика, чтобы соседи пришли рано утром в ее магазин. Это было хорошо придумано, не станут же петлюровцы искать евреев в магазине церковной утвари!

Утром была тишина, тревожная тишина безвластия. Французские корабли ушли, а петлюровцы скакали со стороны степи и еще не успели вступить в город. Но злое дело уже делалось. В синодальной типографии печатались черносотенные прокламации. (Так как их не пришлось в те дни распространить, то через год, при большевиках, когда реквизировали все имущество типографии, прокламации достались школьникам, и на оборотной стороне мы решали на них арифметические задачи.) Некоторые видели, как разезжал по городу на собственных дрожках светило — окулист Севостьянов. Он стоял в котелке, в демисезонном пальто с узким бархатным воротником, благостно улыбающийся, опираясь одной рукой на плечо кучера, а другой на что-то указывая двум темным личностям, сидевшим позади него. Чудодейственные руки, возвращавшие людям зрение, теперь указывали путь в кромешную тьму, которая жила в душе целителя глаз.

Железные шторы магазинов были прикреплены болтами к земле, у будок, где продавались жареные каштаны, стили оставленные на произвол судьбы жаровни, ворота были заперты, сквозь их крошечные окошечки с фанерными задвижками было видно, как невысокий ветерок с моря, предвестник ожидаемой бури, медленно катил по опустевшим улицам свернувшиеся, как жест, листья. Осень в этот день бастовала. Плесневело ее виноградное мясо на лозах, падали ее яблоки, созревшие для своей гибели, гнили в гавани на дубках ее арбузы, томилось вино в ее давилнях, буро-красный лом ее листьев загрязнил улицы, а золотая осень — где же она была, лядашая? Бродила ли она в полусонном отупении по берегам нежилого, холодеющего моря, дрыхла ли без просыпу в позабытой Богом слободской мазанке? А может быть, не пришла еще ее пора, и тем, кто сажал и растил, дано только в жалкой, слабой старости собирать свои сгнившие плоды.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Наступил полдень, а форма государственного правления была все еще неизвестна жителям. Город стал медленно оживать. Поднялись шторы магазинов, и сентябрьское густое, плотное солнце легло на галантерею, посуду, меховые шкурки, готовое платье. Открылись ворота, появились прохожие.

Есть опыт тысячелетних мук, опыт инквизиции, костров, виселиц, массовых убийств, но этот опыт ничтожен по сравнению с опытом труда, торговли, дружеских бесед. Напрасно думают, что враги жизни легко обманывают наивное, забывчивое человечество. Опыт печали стоек и велик, но если бы он одержал победу над опытом счастья, то нельзя было бы жить на земле.

— Миша, не хотите ли полчаса прогуляться, до Кардинальской и обратно? — спросил Александр Рафаилович.

Мише больше улыбалось в эту минуту побыть с Володей и Елей, но предложение учителя показалось ему лестным. Мише бояться нечего, он православное дитё, а какой молодец Александр Рафаилович!

— Все они не понимают, что проснулась могучая народная сила, — сказал учитель. — И большевики направят эту темную силу куда следует.

Конечно, он сознавал, что с мальчиком смешно вести такие разговоры, но что поделаешь, если никто в доме Чемадуровой не понимал, что проснулась народная сила (они в простоте душевной сами себя считали народом и вот не проснулись), а Александру Рафаиловичу мучительно хотелось высказаться.

Они дошли до небольшого Греческого базара. Это был почти правильный круг, образованный старинными домами причудливой постройки, с колониальными, без окон, лавками внизу, крытыми галереями наверху — кусочек Генуи, Балкан. В центре этого круга помещалась восьмиугольная общественная уборная, на чьих стенах записывались похабные блестящие приморского фольклора и чей запах смешивался с запахом ванили, прелых листьев, приклеенных пылью к горячей земле, с нерусским запахом фиников и кофе. Базар был почти пуст, кое-где вяло торговали. Внезапно из-за каменного столба для афиш показался человек с редкой бородкой и красными, испуганными глазами.

— Сумасшедшие, куда вы идете, они уже здесь, прячьтесь! — крикнул он и, перебирая ногами, вскочил в одну из лавок. Она тут же за ним закрылась.

Александр Рафаилович и Миша повернули назад. У Карантинной они услышали топот и побежали. Вдруг они увидели греческую кофейню. Ее летний зал был просто частью улицы, почти до самой мостовой доходила ограда. Между

каменными столбиками, как паруса, надутые ветром, зыбились продранные брезентовые занавеси. Из того же брезента был сделан тент. Сама кофейня была разумеется, заперта, люди скрылись быстро — стулья опрокинуты, на одном из столов остались кости нардов, на асфальтовом полу среди подвижных солнечных пятен валялись раскрытая полураздавленная коробка папирос «Сальве» и прибор наргиле.

Они вошли в летний зал, присели, тяжело дыша, и стали смотреть сквозь продранные занавеси. Появились петлюровцы.

Это хаты с соломенными папахами и вишневыми садочками, это дикое, буйное поле, это запорожская сечь, это половецкая кочевая орда хлынула в город мирных ремесел и магазинов, банков и таможи, думы и биржи, кофейни и университета, казарм и заводов, в город, в котором не сеяли, не жали, не задавали корм скотине, но который жил за счет тех, кто в поте лица сеял и жал, — город столь опасный, коварный и притягательный.

Понимаем ли мы сущность восстаний? Кто, собственно говоря, восстает? Ну хорошо, в Париже строили баррикады знатоки Сен-Симона и Фурье. Не последние дураки были и у нас на Сенатской площади. А кто были те повстанцы, которых повел Муссолини? Или те, что в американском городке поднялись против судьи и шерифа и линчевали негров? Или те, что в октябре семнадцатого года громили булочные, а потом приходили ночью с мандатом, чтобы изымать излишки у перепуганных жителей? Простые люди, мы с вами, рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция. Не разными путями шли к Петлюре и в Красную Армию, не разными. Семнадцатый год имел предшественников в прошлые времена, даже в глубокой древности, но только в семнадцатом году впервые за всю свою победную мощь народ восстал не против деспотии, а против демократии. Националистический социализм (родившийся у нас в России) и сейчас не прекратил свое движение. Он, националистический социализм, иногда называемый фашизмом, есть самое реакционное движение самых широких народных масс.

В город ворвался, видимо, передовой отряд. Всадники, живописно одетые в лохматые шапки, в бурки, в пестрые жупаны, в английские френчи, в кожаные штаны, ловко, небрежно сидели на лошадаках, казавшихся маленькими по сравнению с этими рослыми, загорелыми богатырями, обвешанными патронными лентами, с пистолетами, саблями.

Они были веселы и если пьяны, то от спирта победы, от захвата этого всегда нарядного, богатого, с презрительным прищуром города. Один из всадников, с перекошенным от сабельного удара ртом, играл на гитаре что-то заунывное, играл неумело, но зато сидя верхом! Другой, без шапки, остриженный, как сечевик, с косичкой, почему-то держал в свободной руке большую бронзовую чернильницу. «Пан писарь», — подумал Миша. Впереди, но не самым первым, скакал красивый, с черными усиками над пухлой губой, совсем молоденький завоеватель. Знамя, желто-лазурное, как небо, трепетало над шоколадной гривой его коня. С краю возвышался великан, пожилой человек в очках, похожий на капельдинера в нашем оперном театре. Голубая матерчатая нашивка в виде бутона виднелась во впадине его остроконечной смушковой шапки. Он толкнул нагайкой соседнего верхового (того, кто играл на гитаре) и громко крикнул:

— Дивись, яка красуня! «Ах, аставьте миня, маладой человек, я масковська баришня!»

Он указал нагайкой на афишу с поясным изображением артистки Веры Холодной, еще на прошлой неделе выступавшей в иллюзионе «Экран жизни». Все, кто услышал его передразнивание москалей, засмеялись беззлобным смехом.

Уэллс рассказывает о гениальном биологе, который на необитаемом острове после мучительных висекций превращал шакалов, гиен, волков, тигров, собак в людей. Эти существа при невнимательном взгляде уже ничем не отличались от венца творения, но они не умели смеяться. А петлюровские ордынцы смеялись, как люди, рожденные от людей, у них были матери, сестры, невесты, они, наверно, знали человеческое горе, человеческую радость. Они даже любили погрузить, поплакать, и не только пьяными слезами. Почему же город закрылся от них ставнями, шторами, воротами, засовами, почему ни одна живая душа не покажется на улице?

Нет, вот она, живая душа. Напротив кофейни на чугунных ступеньках чьей-то наглухо забитой квартиры сидела старая женщина. Рядом с ней стояло

ведро с горячими кукурузными початками, лежал носовой платок — на нем была насыпана крупная желтая соль.

— Бабуся, почему пшенка? Яку валюту берэш? — крикнул всадник в бурке.

Старуха ничего не ответила, только привстала и низко поклонилась, и петлюровцы опять громко рассмеялись: шутка их товарища насчет валюты показалась им удачной.

Мише они очень понравились. Ему чудилось, что он видел их уже раньше, много раз, на базаре, когда они лениво лежали на возах, остро пахнувших сеном и животной плотью, а их бойкие жинки, в чистых платочках до самых бровей, вынимали из сена поросят, гусей, яйца, торговались, длинно божились. Они говорили не по-русски, назывались хохлами, и вот они переоделись запорожскими казаками, и это так весело. Странно, что заморских зуавов никто не боялся, а эти славные хлопцы внушают всем такой ужас.

Отряд скрылся за поворотом, оставив запах степи, коня, кожи — и другой, идущий от кучек, разбросанных лошадыми по торцовой мостовой. До дома Чемадуровой было только два квартала Николаевского проспекта. Александр Рафаилович взял Мишу за руку и побежал. На бегу он все успел сказать:

— Вот она, народная армия, армия крестьянской революции. Мещане берут напрокат лодку и, напившись, поют в море о Стеньке Разине. А стоит появиться живому Разину — дрейфят. Что и требовалось дока-зять.

Он уже в душе приветствовал петлюровцев. Он готов был приветствовать всякую власть, и прежде всего — сильную и рожденную плесом. Александр Рафаилович Кемпфер, милый чудак, сам того не сознавая, презирал побежденных и языческим, бескорыстным обожанием обожал победителей. Впрочем, таким ли уж бескорыстным? Возразят: а корысть в чем?

А в том корысть, чтобы быть ближе к власти, к ее пазухе. Националистический социализм античеловечен, если под человеком понимать божественную душу в животной плоти. Но этот же социализм удивительно человечен, если под человеком понимать двуногое, владеющее средствами и орудиями производства, пожирающее живую плоть и убивающее себе подобных в условиях общественной жизни. Необычайная, поразительная сила фашизма в том, что он живет не вовне, а внутри нас. Если извлечь из человека душу, то окажется, что все, из чего состоит наша плоть, и есть фашизм. А велика сила плоти! Индийская «Бхагавадгита» учит, что человек, стремясь к совершенству, должен отказаться от хотения. Хотения плоти суть основа фашизма, ибо животное-человек — хочет. Фашизм начался давно — тогда, когда человеческая плоть отвергла свое божественное происхождение.

Человек хочет не только денег, еды, водки, одежды, услад похоти. Он хочет уважения, хочет быть какой-то ступенькой выше другого человека, — потому-то национально-социалистическое государство всегда сословно, всегда ступенчато, оно лишает льгот и привилегий одних и щедро, но не навсегда, отдает их другим. Вот лейтенант в царстве смерти, в дыму и пламени, вступает в партию по боевой характеристике, без кандидатского стажа. Какая ему от этого корысть? Немец дошел до Волги, еще неизвестно, как сказал поэт-лауреат, по какой рубеж Россия и что будет с Россией. Потом, если выживет, лейтенант скажет, что был тогда охвачен высоким душевным порывом. Но почему этот душевный порыв привел его именно в ту партию, которая у власти? Почему не пошел он, скажем, к адвентистам седьмого дня? Потому что то был не душевный порыв, спала его божественная душа, а животная плоть хотела, даже на краю гибели она не хотела, ибо была плотью, и он тянулся к большой и жаркой пазухе.

Когда Миша пришел домой, он увидел, что мама лежит на кровати с головой, повязанной полотенцем. От нее пахло уксусом. Папа, Федор Федорович, без пиджака, в незастегнутой жилетке (кадык его был сдавлен твердым крахмальным воротничком), дрожавшими руками наливал валерьяну, отсчитывая губами капли.

— Явился, босяк? Где пропал? Маму в гроб загнать хочешь? Давно ты у меня ремешка не пробовал!

Ремешок был иероглифом гнева. Миша его никогда не пробовал.

— Папа, не сердитесь, я гулял с Александром Рафаиловичем, до Кардинальской и обратно. Папа, я петлюровцев видел!

У Федора Федоровича была привычка — неслышно, одними губами как бы повторять слова собеседника. Миша любил эту папину привычку, даже пытался ей подражать. Он подошел к отцу, ухватился за его подтяжки, потерся носом о нижнюю пуговицу жилетки.

— Мишенька, поешь, родной, синенькие и помидоры, а потом грушу, только ты ее помой, я забыла, — как всегда, слабым голосом сказала Юлия Ивановна. — Мы еще с тобой немецким не занимались. Как тебе не стыдно так меня мучить, сколько я дум передумала, а тебя нет, и у Цыбульских нет, и у Володи. Евреи прячутся у Чемадуровой, я решила, что ты там, с Еличкой, пошла, а тебя нет. Разве можно в такое время уходить из дому? Вода не идет, на кухне стоит миска с водой. Достань из шкафа свежее полотенце, суровое.

Миша жадно ел и расписывал петлюровцев. Шутка сказать, еще никто их не видел, а он видел.

— Папа, Александр Рафаилович говорит, что это проснулась народная сила.

— Он дурак, — рассердился Федор Федорович. — Университет окончил, а в жизни разбирается, как индюк в итальянской бухгалтерии. Ну пойдем, проведем соседей. Это позорно, что ты именно сейчас покинул своих друзей.

— Миша, возьми грушу для Елички, — сказала Юлия Ивановна. — Возвращайтесь поскорее. Господи, спаси несчастных, покарай злодеев!

— Юля, мы только на минутку. Я к тебе пришлю Рашель.

— Да, да, надо вам туда, ступайте. А разве Рашель...

— Дома сидит. Не верит, что будет погром. Цыбульский орал на нее, но она ведь упрямая.

В магазин Чемадуровой пошли со двора, через комнату Сосновики. Двери в комнату были раскрыты настежь, мебель придвинута к стенам, чтобы легче было убежать, если погромщики все-таки ворвутся к Чемадуровой. А куда убежать?

Федор Федорович постучал, пройдя с Мишей через всю комнату, в железные двери магазина:

— Откройте, это я, Лоренц.

Засов на дверях со стороны магазина был снят и косо упирался в пол. В магазине была полутьма. Шторы на всех окнах спущены, свет проникал через узорное стекло наружных дверей, и этот солнечный свет улицы казался тоже испуганным, он с какой-то унижительной робостью ложился на паркет, на длинную темную стойку, на иконы, пустые оклады, кресты различной величины, на полки, где стояли чаши, подсвечники, кадилницы, фонарики, не распроданные на Пасху, где лежали ризы, сложенные исподом кверху, пакеты с восковыми свечами. И на лица падал этот свет, на лица стариков, мужчин и женщин, которые обрели первоначально-ханаанские черты. И на лики падал этот свет, на лики апостолов, и они ожили среди соплеменников своих, и византийские их глаза, выдавшие нездешнюю красоту, спасительное чудо, наполнила простая, грубая, земная правда страдания.

Лицо притихшей Зинаиды Мойсеевны стало прекрасным от страха за себя, за мужа, за свою девочку. Она стояла, прижимаясь спиной к холодной кафельной печке и обнимая старую свекровь. Ионкис в визитке (он вчера гулял всю ночь у родственников на свадьбе) и столяр Димитраки сторожили у наружных дверей, на которые умышленно не были спущены шторы: здесь, мол, православные, бояться им нечего. Казалось, что смугло-желтое лицо Димитраки написано восточным богомазом.

На собственной табуретке сидела жена Ионкиса, мелкокурчавая пышная красавица, и часто дышала своими большими белыми яблоками в шелковых сумках лифчика. Фрида Сосновик лежала животом кверху на вытертом кожаном диванчике: здесь обычно сживали в своих холщовых подрысниках оптовые покупатели — священники из окрестных степных сел. Вольф снимал батистовым платочком капельки пота со лба жены.

У крайнего подоконника в серой мгле шепотом беседовали мужчины: скорняк Беленький, Абрам и Александр Кемпферы, подмастерье Ионкиса Бориска Варгавтик. Скорняк мучился: он порывался подробно рассказать о том, как Троцкий запретил Симону Петлюре устраивать еврейские погромы и за это отдал ему Одессу, Херсон и Николаев, кое-что он слышал, кое-что придумал сам, он знал, что этот рассказ будет приятен Бориске, который, говорят, что-то начал крутиться последнее время возле большевиков (а почему бы не сказать приятное человеку?). Слова так и вырывались из его рта, но Беленький боялся оскорбить чувства их спасительницы Чемадуровой.

Детей не было видно — они прятались за длинной стойкой, пересекавшей весь магазин. В конце стойки на высоком, с лесенкой, стуле грузно возвышалась у кассы-конторки маленькая Чемадурова, уже тогда старая, но еще крепкая. Золотой

крестик смутно мерцал на ее полной груди. Она сурово, как бы нехотя отвечала на какие-то горячие речи мадам Варути, наклонившейся к ней из-за конторки.

То, что вместе с искавшими спасения находились Чемадурова, Димитраки, Федор Федорович, мадам Варути, что именно в магазине церковной утвари спасались преследуемые, не было в те времена случайностью. Потом времена переменились.

Люди, строго и привычно дожидавшиеся своей участи, пыльная полоска света, дрожавшая в помещении, — не напоминало ли все это картину из годов раннего христианства? Полумрак, блеск икон и крестов, блеск расширенных глаз святых мучеников и живых, грешных людей — так, наверно, было в катакомбах Рима при Нероне, в малоазийских провинциях при Юлиане Отступнике, в Александрии во времена Ипатии. И подобно тому как на полотне, очищенном от нелепых, вялых красок ремесленника, проступает могучая старая живопись, — проступили и в том, распятом, черты сына плотника из горной Галилеи, и он стал похож на Абрама Кемпфера, на Беленького, и его глаза, прежде недвижные, наполнились бездонным и жарким, вдохновенным и деятельным стремлением спасти детей своих.

Никаких звуков не доходило с Николаевского проспекта, всегда такого оживленного, и это молчание города только усиливало страх. Миша зашел за стойку. Внутри ее, в длинном чреве за полузакрытой задвижкой, спали на матрасике годовалые ровесницы — Соня Ионкис и Фанни Кемпфер. Трое младших Беленьких, здоровые драчуны и зубоскалы, играли в подкидного дурака. Еля Сосновик, выгнув насколько могла кривые гипсовые ножки, сидела на низком чемоданчике. «Здесь, наверно, спрятано золото Вольфа», — вспомнил Миша разговоры взрослых. Володя Варути, хотя и сидел на полу, казался выше Ели. Он говорил, заикаясь сильнее обычного:

— Никакого Бога нет. Сама посуди: разве можно было создать Землю за каких-нибудь шесть дней? Она миллиарды лет была раскалена, может, триллионы лет охлаждалась. Ну, естественно, появились на ней живые существа, крохотные, вроде бактерий.

— Как же они все-таки появились? Из ничего?

— Дурочка, подумай: откуда на человеке появляются вши? От грязи. А Земля же была грязная. Вся трудность в том, чтобы возникло хоть что-нибудь живое, а тут и человеку появиться — плевое дело.

Еля задумчиво отвечала:

— А мне хочется верить в Бога. Я люблю его. Я люблю читать Библию, особенно про Иосифа, как братья его продали в Египет. Такая странность: когда читаю, я плачу, но мне хорошо...

— Здравствуй, Еля, — сказал Миша и дал ей грушу.

— Спасибо. Где ты был?

— Я видел петлюровцев.

— Вот брехун, — сказал Володя.

Раздался стук в дверь из комнаты Сосновики. Еля сползла с чемоданчика. Женщины завопили. «Не бойтесь, — крикнул стоявший у двери Маркус Беленький, взрослый сын скорняка, — это Костя Помолов!»

— Только большевиков мне тут не хватает, — сказала Чемадурова. — Имя отца позорит. Не надо впускать этого грабителя.

Но Костя Помолов уже вошел в магазин. Миша навсегда запомнил это мгновение: растерянное лицо альбиноса Маркуса, болезненно-белосое (потом это лицо стало другим, совсем другим), и нескладная фигура Кости Помолова, который снял фуражку с двумя молоточками, заморгал близорукими глазами и начал:

— Товарищи...

— По вертепам сидят твои товарищи, а здесь честные люди, — отрезала Чемадурова.

— Товарищи, погрома не будет. Сейчас в городской думе выступил с речью атаман Хмельюк. Он приветствовал нашу славную Красную Армию, с которой Петлюра заключил соглашение. Мы выберем Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Гидра империализма будет обезглавлена. Атаман товарищ Хмельюк заявил: «Мы вышибем стул из-под задницы Пуанкаре!»

— Я же говорил, среди этих гайдамаков есть интеллигентные люди, — вмешался Беленький.

Помолов продолжал:

— Самое главное: атаман Хмелюк заверил, что петлюровцы, как социалисты украинской нации, никогда не устроят погрома. Пусть население живет и работает спокойно. Ни один волос не упадет с головы еврея.

— Что я вам говорил! — возликовал Беленький. — А! Паршивые евреи, никогда мне не верят!

Трое младших Беленьких захохотали.

— Пусть Бог благословит большевиков, в конце концов, они лучше других, — сказала Зинаида Мойсеевна и, опасливо посмотрев на владелицу дома, быстро исправила ошибку: — Но если бы я сшила саван для них, я бы успокоилась.

Чемадунова обвела магазин властным взглядом своих узких, каких-то инородческих глаз, остановила их на Косте Помолове, на Бориске и медленно проговорила:

— Цыбульский всех нас умнее, а он сказал: «Одна шайка». Возиться мне с вами ни к чему, мне торговать надо, но я советую вам провести ночь в магазине. Большевикам да петлюровцам верить нельзя. Как христианка, я должна вам помочь, это мой долг, а вы поступайте как знаете.

— Конечно, о чем речь, ночевать будем тут, — сказал Беленький. — Пусть Бог семью семь раз воздаст мадам Чемадуровой за ее доброту, аминь.

— Аминь, аминь, — повторила Зинаида Мойсеевна и заплакала.

Учитель Александр Рафаилович вышел из магазина нарочито твердой походкой. И Миша опять подумал: какой он храбрый!

В городе уже знали, что погрома не будет, и все же опасались: а вдруг будет? Но на другое утро женщины, как всегда, пошли на базар, появилась дворничиха Матрена Терентьевна с черной, жесткой метлой и совком, почтальон принес «Новости Юга» с речью атамана Хмелюка. Дворник Ненашев вывесил на балконе квартиры Помолова желто-голубой флаг. У него рядом с метлой и деревянной лопатой на одно и то же древко были намотаны все знамена, кроме красного: дворник не любил его.

Так начался этот день. Володя Варути в новой — перелицованной — матросской блузе пришел к Мише и сообщил:

— Слышал? В Немецком клубе теперь будет украинский театр. Декорации привезли, на двух подводах. Пойдем, сейчас там репетиция. Елю с собой возьмем.

Миша никогда не был в Немецком клубе. Лоренцы уже в прошлом веке обрусели, у них не было ни родственников, ни даже знакомых среди колонистов-менонитов и городских немцев. Миша видел, как по воскресеньям у серого здания с островерхими башнями собирались нарядные господа, веселые, вежливые, со степным загаром на упругих щеках, те, что попроще, были в твинчиках с бархатными нагрудниками, женщины были очень худые или очень толстые — середины не было, — мальчики были одеты, как взрослые, как на картинках из книг Де Амичиса или Гектора Мало — с галстуками, в широкополых шляпах с резинками, — и в руках были плетеные круглые корзины с едой. Однажды Миша заметил, что в клуб входил Теодор Кемпфер с дамой, Миша узнал ее, то была Марта Генриховна, всегда сидевшая за кассой в писчебумажном магазине Генриха Шпехта.

Фойе клуба, выстланное квадратными плитками из итальянского мрамора (камни мостовой — остывшую лаву, изверженную Везувием, — тоже когда-то вывезли из Италии), было теперь грязно, заплевано. Широкая лестница, тоже мраморная, после первого пролета раздваивалась, и там, где раздваивалась, на стене был изображен Гутенберг за печатным станком. Кто-то по лицу изобретателя вывел мелом самое короткое из тех слов, которые не нуждались в печатном станке. Впоследствии, когда Немецкий клуб стал клубом транспортных рабочих (по-простому — грузчиков) имени Юделевица, вместо Гутенберга появился на стене Карл Маркс, как бы своим происхождением связуя прежних хозяев с теми, кто дал клубу новое имя.

В дневной тишине театрального зала раздавались голоса актеров. Мальчики, дрожа от нетерпения, взяли Елю на руки и довольно быстро взобрались по лестнице. Володя смело открыл темно-красную, с витой резьбой дверь, и они вошли в холодный зал. Он был почти пуст, сидело человек двадцать—тридцать, не больше, все в папахах.

«Вона католычка!» — донеслось со сцены. Мишу как будто озарило, как будто ударило в сердце: актеры показывали инсценировку «Тараса Бульбы» в украинском переводе. Дети сели в последнем ряду. Один из тех, в папахах, обернулся, но ничего не сказал. А на сцене становились живыми неистовый Тарас, храбрый

Остап, влюбленный Андрий, прекрасная полячка, противный, лебезящий Ян-кель. Еля слушала самозабвенно. Она еще плохо понимала чужую речь, но ведь Гоголя-то она читала. После вчерашнего тяжелого дня, после ночи, проведенной под укрытием стойки в магазине церковной утвари, она перенеслась в праздничный, светящийся мир. Володя скучал, плохо слушал, смотрел на немногочисленных зрителей. Почему они пришли на генеральную репетицию? Почему некоторые из них что-то записывают? Начальники, должно быть, над артистами начальники.

— Деревья нарисованы жутко, стволы косые, сейчас упадут, — шепнул он Еле на ухо, но у Ели не было сил, чтобы сказать ему «замолчи», она жила там, среди запорожцев и поляков, кровь ее побежала горячо, даже показалось ей, будто по ногам до самых пальцев побежала, она была счастлива.

А Мише мерещилось, что на сцене те самые всадники, на которых они вчера с Александром Рафаиловичем смотрели сквозь продранные брезентовые полотна греческой кофейни.

Когда занавес опустился, все сидящие впереди поднялись через оркестр на сцену. Догадка Володи, видимо, была правильной — то были представители петлюровской армии, взявшей в свои руки дело искусства.

Мальчики, взволнованные, оживленные, даже не заметили, что идут слишком медленно, что не помогают Еле сойти с лестницы. Наконец они опомнились и взяли девочку на руки. Вдруг они услышали голос: «Культурна ориентация на захид...» — и в фойе появились двое в синих венгерках, с револьверами на боку. Из-под папах выглядывали жидкие, будто приклеенные чубы. Один был невысокий, с коротким, сильно вздернутым носом, с почти вертикально стоящими ноздрями, кривоногий, другой — долговязый, с большим коричневым родимым пятном над белосой бровью, рябой. Увидев детей, рябой сказал тоненьким, вкрадчивым голосом:

— Дивитесь, Таддей Захарович, ось и жиды до нас прийшли. Выбачте, я их розпытаю.

И он спросил у детей тем же вкрадчивым, мягким голосом, наклонив голову:

— Звядкыля вы, диточки? Вы жиденята?

— Мы не жиды,— сказал Володя и быстро перекрестился. — Мы с Албанского переулка, здешние дети, тут рядом живем.

— А ну скажи: кукуруза.

— Кукуруза.

— Гарно казав. А зараз ты, доню моя, скажи. — И рябой посмотрел на Елю.

— Кукуруза,— сказала петербургская девочка и добавила: — Я еврейка. А вы сами говорите неправильно, по-деревенски.

— По-деревенски? Ах ты Хайка!

Рябой размахнулся. Еля упала. Голова ее громко стукнулась о мраморную плиту, кривые ножки поднялись чуть-чуть вверх и застыли. Рябой пихнул ее блестящим сапогом. Она покатилась вниз, и на мраморе осталась кровь и еще что-то серое, что бывает на базаре на земле в мясном ряду.

— Нема вашей Хайки,— растерянно пробормотал рябой.

Его спутник испуганно улынулся — может быть, тоже от растерянности.

Миша взял Елю на руки. Она не дышала, глаза ее были закрыты, и Миша, которому жизнь казалась бесконечной, впервые понял, что есть смерть. И с тех пор смерть стала в нем жить. Три минуты ходьбы было отсюда до дома, они пришли втроем и уходят втроем, они есть, а Ели нет, хотя она лежит у него на руках, в сиреновом платье, с двумя ленточками, оставшимися на разможенной головке, и, как всегда, недвижны ее кривые гипсовые ножки.

Мальчики внесли в комнату Сосновиков мертвую Елю. Фрида в тот же день преждевременно родила, но девочка оказалась здоровой, выношенной. Ее назвали Диной.

— Бог берет, Бог дает,— сказали соседки.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В семнадцатом году, когда из Петрограда пришло известие, что свергли царя (у нас революции не было, она произошла по телеграфу), когда зарегистрировались политические партии, выяснилось, что среди большого количества кадетов, не столь значительного — эсеров, меньшевиков, бундовцев, анархистов и

монархистов есть в нашем городе и большевистская партия, представленная, правда, одним-единственным деятелем, а именно — Костей Помоловым.

Все знавшие его отца искренно сочувствовали Павлу Николаевичу Помолову. Как не везет, говорили в трактире по соседству и в доме Чемадуровой, этому высокоинтеллигентному, обаятельному человеку в семейной жизни! Жена его, Любовь Степановна, была из простых. Чулки у нее всегда спадали с распухших ног, она курила, но не так, как великосветская дама, грациозно, элегантно, а как неряшливый мужчина, ее грудь и двойной, постоянно перетянутый живот были осыпаны пеплом. Их старший сын женился на дочери жандармского офицера, известного черносотенца, наверно, такой же хулиганке, как ее отец. Мало этого удара, так на тебе, младший сын оказался большевиком!

В действительности же Павел Николаевич Помолов был баловнем судьбы. Он составил себе имя еще в бытность свою помощником присяжного поверенного, когда помогал патрону в шумевшем деле Бейлиса. Роль Павла Николаевича была, конечно, не очень заметная, но участие, пусть скромное, в большом политическом процессе явилось для молодого адвоката началом удачи. Женитьба на дочери хозяина нескольких молочных магазинов упрочила его положение. У него с каждым днем увеличивалась практика, он разбогател. Коллеги не очень его уважали, он брался за нечистоплотные дела и всегда их выигрывал. Это была, что называется, богато одаренная натура. Он писал неправильным белым ямбом трагедии (главным образом на исторические или библейские темы, одна из них даже была поставлена любительским кружком в клубе «Урания»), превосходно владел тремя европейскими языками — у него были способности к языкам, — печатал статьи о театре под псевдонимом Альцест, сам играл на домашней сцене. Дамы его боготворили. Его широконосое, бугристое лицо могло, по их горячо высказываемому мнению, вблизи показаться некрасивым, но увидев эту гордо посаженную голову с львиной гривой седеющих волос (выражение одной из поклонниц), холеную бороду и усы, властную, свободную походку артиста и барина, услышав его сильный, чарующий голос, вы, уверяли дамы, даже не зная его, решили бы: это выдающаяся личность.

Основную часть его клиентуры составляли негоцианты — армяне, греки, евреи, поляки, он умел обворожить их тем, что приветствовал каждого на родном языке. В доме Павла Николаевича бывали Бунин, Мечников, Туган-Барановский, Юшкевич, заезжие музыкальные знаменитости. Большим успехом в городе пользовались его эпиграммы на градоначальника Вороного. При Керенском Павел Николаевич был избран гласным городской думы от кадетской партии. С Любовью Степановной он обращался круто, научил ее молчать в обществе и снисходительно, порою матерински нежно смотреть на его галантные похождения, впрочем, тщательно им скрываемые.

Нередко случается, что у полного жизни, искрометного веселья, блестящего отца сын растет вялым, застенчивым нелюдимом, и все о нем говорят: «Он старик по сравнению со своим отцом». Так говорили и о Косте Помолове. В двенадцать лет он уже надел очки, в шестнадцать начал сутулиться, был неряшлив, неделями не посещал баню, живя в приморском городе, не научился плавать, да и вообще не ходил на море. Мало того что он был близорук и, следовательно, обладал богатыми возможностями наткнуться на встречаемых, он еще имел привычку читать на ходу, и только чудо, постоянная опора одержимых, спасало его от пролеток, трамваев — но не от ругани прохожих.

Он читал книги по математике, электротехнике — в ту пору науки сравнительно молодой, — интересовали его и социальные вопросы. Он не любил отца, и увлечение Павла Николаевича изящной словесностью казалось Косте фарисейством, и до боли было ему невыносимо слушать, как Помолов-старший в кругу избранных, замирающих от художественного подъема, возвещает адвокатским голосом какое-то стихотворение в прозе с революционным намеком или вслед за Надсоном обнадеживает: «Верь, настанет пора, и погибнет Ваал».

После гимназии Костя поступил не в университет, как того желал отец, а в Политехнический, чтобы, став инженером, быть поближе к рабочей массе. Произошло это не без влияния Гринева.

Весной 1916 года нелегально приехал в родной город известный своими статьями, посвященными статистике, социал-демократ Гринева (настоящая фамилия его была Гринберг). Явки он не нашел, в городе остались одни ликвидаторы, и среди них — Цыбульский, который еще на рубеже нынешнего века был

у него, у Гринева, в подпольном кружке. Цыбульский устроил своего старшего товарища, можно сказать, учителя, в богатой и безопасной квартире Помолова, и адвокат весьма этим гордился, хотя втайне и трусил.

Отойдя после возвращения из эмиграции от активной политики, Цыбульский все эти годы любовно и почтительно, в беседах с тем же Костей, вспоминал имя Гринева, вспоминал, как тот, еще будучи студентом, руководил чтением участников кружка, а читали они все подряд — и Степняка-Кравчинского, и Рубакина, и «Овода», и «Записки из Мертвого дома», и книгу Карла Каутского «Экономическое учение Карла Маркса». Вспоминал он и такой эпизод, а Костя с упоением слушал.

Гринева (в то время — товарищ Мика) сочинил текст листовки. Ее отпечатали в подпольной типографии, а Цыбульскому было поручено ее расклеить. Вот и пошел он поздней ночью по пустынной улице, в одной руке — листовки, в другой — ведро с кисточкой. В начале Провиантской он услышал шаги. Цыбульский вбежал в подворотню. Выглянув через некоторое время, он узнал нескладную фигуру длинного и тощего Гринева. «Что вы делаете здесь, товарищ Мика, вы все испортите, идите домой!» А Гринева: «Я не могу сидеть дома, когда вы в опасности. Возьмите меня в помощники». И как ни противился, как ни сердился Цыбульский, а Гринева пошел с ним вместе и правой, с детства парализованной рукой поглаживал листы, только что приклеенные Цыбульским к стене.

Еще рассказывал Цыбульский о том, как умно и хлестко спорил Гринева в Париже с Лениным, как однажды он повез их, рабочих-эсдеков, по дешевому летнему тарифу из Парижа в Швейцарию, чтобы познакомиться с Георгием Валентиновичем, и когда они, сойдя с поезда, добрались до виллы, к ним вышла дочь Плеханова, извинилась и сказала, что отец не может их принять, он болен. Вероятно, так оно и было на самом деле, но Цыбульскому почему-то стало горько на душе. Теперь, оказалось, Гринева пошел с большевиками, стал пораженцем. В большой, о четыре окна, библиотеке Помолова, где нелегальный спал на кушетке (утром ее уносили в комнату Кости), Цыбульский проговорил с ним всю ночь. Эти два человека еще любили друг друга любовью памяти, но уже далеко разошлись их дороги. Впоследствии Цыбульский много думал о Гринева, особенно когда начался процесс правотроцкистского блока. Смешно было сомневаться в преданности Гринева революции, в его бескорыстии. Но получилось так, что его непрактичность в обыденной жизни стала и политической непрактичностью — и даже глупостью, когда ему выпало заниматься государственными делами. Например, он изобрел пятидневку, от которой вскоре пришлось отказаться. Он мыслил остро, но не сильно. И все же не мог понять его Цыбульский, не мог понять, зная честность и смелость Гринева, его панегирик Сталину, напечатанный в центральной газете еще в 1933 году.

Цыбульский был знаком с десятком видных деятелей партии. С одним он сидел в тюрьме, с другим встречался в эмиграции. Он знал Мартова, чей приобретенный в магазине готового платья пиджачок топырился разнородными, подчас противоречивыми, но ловко наперед составленными резолюциями, знал двух его симпатичных братьев, которых ласково именовали «мартышками», знал Потресова — холодно-вежливого, замкнутого, заикавшегося, похожего на нотариуса из французских романов, знал Ираклия Церетели — кавказского златоуста, осторожного, нервного, легко обижавшегося, знал вальжного, холеного, порусски рыжеватого Стеклова-Нахамкиса, неверного в дружбе, плюсуна и женолюба, знал Троцкого — обворожительного до гениальности, на необычных, высоких каблуках (чтобы казаться выше ростом), громкоголосого, надменного, с недобрим, умным, царственно-пронзительным, не ожидающим ответа взглядом. Несколько раз он видел и слышал Ленина, однажды беседовал с ним минут пятнадцать.

Странное и тягостное впечатление производил на него вождь отколовшейся воинствующей группы. Казалось, что Ленин вел себя среди них, рядовых эсдеков, естественнее и гораздо проще всех прочих лидеров. Но что-то хитрообдуманное виделось Цыбульскому в этой естественности. Однажды к столику, за которым в парижском кафе сидел Ленин со своими, как их называли меньшевики, «бонч-бруевичами» (сами меньшевики всегда садились за другие столики), подошла молодая женщина. Ленин быстро встал, вытер рот бумажной салфеткой, пожал женщине руку и стоял до тех пор, пока она, поговорив с ним, не направилась к другому столику, и Цыбульский почувствовал, что воспитан-

ность эта врожденная, естественная, наверно, в традициях семьи. А вот когда Ленин смеялся так называемым заразительным смехом или хлопал собеседника-рабочего по коленке (однажды после жаркого спора он и его так похлопал и сказал: «Вы меня не поняли, товарищ Яков»), — Цыбульскому во всем чудились расчет, игра, крайний интерес к последователю и полнейшее равнодушие к человеку. Самой главной чертой характера Ленина казалась ему неискренность. У Ленина не было чувства юмора, но он часто смеялся — так нужно было для пользы дела.

Запомнился мимолетный случай. Мартов начал дискуссию, пародируя «Ревизора»: «Должен вам сообщить пренеприятное известие — к нам приехал новый марксист, товарищ Ленин». Все рассмеялись, весело рассмеялся и Ленин — и быстро, сухо расстался с улыбкой, как актер, исполнивший нелюбимую роль.

Раснянского мещанина Чаусского уезда Могилевской губернии Тихона Петровича Цыбульского мать называла Михасем, а жена и товарищи Яковом. Отец его служил проводником на железной дороге, и была у отца одна, всепоглощающая страсть: скопить деньги и соорудить собственный дом на окраине Могилева, на Луполове. Десять лет семья жила впроголодь, питаясь одной бульбой, мать вставала засветло, спускалась к Днепру — она была прачкой при городской больнице, — дети, Михась и Тихон, не учились, воровали яблоки в садах богатых мещан, бегали с гиком за иконой католической Божьей Матери. Наконец была приобретена земля, построен одноэтажный дом, деревянный, на каменном фундаменте. Казалось, муки семьи кончились, но не тут-то было. Дом сгорел, потянулась длинная, многолетняя тяжба со страховым обществом. Михась плюнул, мальчишкой ушел из дому, стал учеником в слесарной мастерской.

В первый год нового века он вступил в РСДРП — вскоре после возникновения этой партии. За участие в забастовке он отсидел три месяца в тюрьме — его выпустили так быстро, потому что ему еще не было девятнадцати лет.

Сосед его по камере был уроженцем нашего города, оба они одновременно вышли на волю, и тот уговорил Цыбульского поехать с ним на юг. Цыбульский сразу нашел работу в порту, связался с подпольным кружком, которым руководил Гринев. Марксистское учение поразило молодого слесаря своей религиозной, почти евангельской простотой. Теория прибавочной стоимости объяснила ему весь мир и рабочего человека в мире. Прелесть и сила учения заключались в чудесном соединении трансцендентности и эмпиризма. Цыбульский не мог бы это сформулировать, но хорошо почувствовал. Он стал умелым пропагандистом и организатором, устраивал забастовки в кустарных мастерских, собирал вокруг себя adeptов, попадал, и каждый раз счастливо, ненадолго, в тюрьму, где много читал — русских и европейских классиков и тогдашних властителей умов — Андреева, Горького, Чирикова, Короленко, и популярную научную литературу, читал жадно, с памятьливостью самоучки. В пятом году имя товарища Якова стало довольно известным в определенной среде, а то, что он слесарил в порту, помогло ему связаться с восставшим броненосцем.

После подавления революции его бросили в Томский централ, он бежал (политические в те времена, случалось, из тюрем бежали), ночью приехал домой, в Могилев, и получил за красненькую от хитроумного писаря паспорт на имя своего брата Тихона, мирно служившего, как и отец, проводником на железной дороге. С паспортом на имя брата Михась — Тихон Петрович Цыбульский, партийная кличка Яков — направился в Варшаву, прожил зиму и весну в Берлине, а потом переехал в Париж, где оседали русские социалисты. Сперва он бедствовал без работы, но довольно быстро устроился слесарем-водопроводчиком: помог земляк-белорус.

Цыбульский немало передумал за эти летящие, напряженные годы революционной деятельности, тюрем, чтения и странствий. Эдуард Бернштейн первым поколебал его марксистскую непримиримость. «Все вроде так, да что-то не так», — сначала смутно, потом все более явственно чувствовал он. И вот это «не так» особенно сильно бросалось ему в глаза, когда он наблюдал Ленина и тех, кто был с Лениным.

Цыбульский присутствовал при многих спорах, он помнил еще Кричевского, рабочедельцев, пожалуй, одно время сам к ним склонялся, он видел, что спорящие не находят истины, но непременно хотят ее найти, непременно хотят, чтобы рабочему человеку жилось лучше. И только Ленин отличался от других и, может быть, был сильнее других — потому что ему не нужна была истина, потому

что он испытывал глубочайшее равнодушие к рабочему классу. Он хотел многого. Чего же? Цыбульский понял это позднее, когда разразилась первая мировая война: Ленин хотел власти. Может быть, это властолюбие было не целью, а способом утвердить идею? Цыбульский это допускал. А понял ли Цыбульский уже тогда, что зло коренилось не только в Ленине, но и в марксизме, что это учение как никакое другое со времен средневековых религиозных войн, овладев массами, может привести вожака к неограниченной власти?

Теперь наконец мы постепенно распознаем, что атеистический марксизм находится по самой сути своей в ближайшем родстве с теми ересями, которые, стремясь превратиться в самодержавное правосерие, привлекали к себе воспаленные людские полчища. С кромвелевских лет не рождалась в Европе доктрина такой жестокой и притягательной силы. Эта доктрина околдовывала не особи, а множества. Она делалась всесильной потому, что учила животную плоть: «Духа нет, а ты, плоть, и есть дух, и твоя победа есть победа духа».

Новобранец Карла Маркса в начале века, Цыбульский чем дальше, тем острее ощущал, что воинство, к которому он принадлежит, заблудилось. Он все еще благоговел перед своими архистратигами, но уже в этом благоговении любовь главенствовала над уважением. Сам того не сознавая, он смотрел на большевизм как на оборотня. Но впрямь ли под румяной личиной оборотня таилось прожорливое чудовище? Во всяком случае, пораженчество было Цыбульскому противно. Он любил Россию, этот слесарь из белорусского города.

Гриневу не удалось обратиться Цыбульского в большевистскую веру, которую он сам стал исповедовать недавно. Но жена слесаря Рашель и Костя Помолов были в восторге от Гринева. Слушая резкие, закованные в логическое железо речи Гринева, такого с виду слабого, нескладного, да еще с парализованной правой рукой, Костя, такой же нескладный и слабый, дунь — и свалится, как бы обретал возможность укорениться, наполниться силой.

Теперь, после нашей победы над гитлеровцами, нам стало несколько легче если не постигнуть, то хотя бы попытаться постичь то движение, которое началось в семнадцатом году, и мы, еще не добравшись до сути его, способны установить по крайней мере одну, может быть, и не главную, но примечательную закономерность. Идеологи, вожди движения и у нас и за границей, были, как правило, натурами не совсем здоровыми. Кто страдал припадками, кто умер от прогрессивного паралича в нестарые свои годы. Как и среди воров, немало было среди функционеров первых — да и последующих — призывов людей с искаженной психикой. А опирались они на особи здоровые до тупости. Им нужен был не мыслящий тростник, а бездумная палица.

Когда начал свою функционерскую деятельность Костя Помолов, для него такой опорой стал гигант кочегар Тарадаш. До захвата власти партия еще не думала о новом типе своих членов, и Помолов, вовлеченный в нее Гриневым, еще походил на Гринева. Дальнейшая история партии состоит в том, что она становилась все более близкой к черни, умные заменялись ловкими, интеллигенты — чиновниками. Если человек хотел выдвинуться, то он мог сколько угодно проявлять свою готовность совершать преступления, проявлять бесстрашие, исполнительность, физическую развитость, хорошую память, но только не ум. Действительно умным оказывался тот, кто тщательно скрывал свой ум.

Когда Миша Лоренц был в Германии, один военный журналист, заехавший к ним в Каменц, рассказал с опаской и восторгом: Сталину захотелось объявить себя генералиссимусом; было решено, что маршалы, собравшись, предложат ему этот суворовский титул. Собрались, предложили. Дали слово маршалу Еременко. Он сказал: «Я тоже предлагаю присвоить нашему дорогому товарищу Сталину звание генералиссимуса. Это укрепит авторитет товарища Сталина в народе и армии, да и мы его будем больше бояться, когда он станет генералиссимусом». Сталин улыбнулся, ответил: «Пусть Еременко не беспокоится за авторитет товарища Сталина. А бояться он меня все равно будет, даже если я останусь маршалом». Журналист в этом анекдоте увидел безмерную глупость Еременко. Напрасно. Может быть, в том-то и состоял ум боевого маршала, чтобы показаться простачком-дурачком...

Как и многих матросов каботажного плавания, кочегара Тарадаша поздно мобилизовали, а тут подоспели большевики, мир хижинам, война дворцам, и Тарадаш, и года не пробыв на фронте, вернулся домой. Он испытывал благодарность к большевикам, вызволившим его из окопов, и ни разу в голову не пришла

ему мысль, что воевавшая Европа обрела мир — и хижины ее и дворцы — и одни только русские продолжают воевать, но уже не с немцами, а с русскими. Когда Помолов как дважды два объяснил ему программу партии, Тарадаш и сам стал большевиком. Собственно говоря, партии в нашем городе еще не было, создавался комитет, и в него-то вошел Тарадаш. Все, что он знал, он узнал от Помолова, но искренно был убежден в том, что до всего дошел своим умом, и он с жаром излагал Помолову те самые прописные истины, которые от него же впервые услышал. Раньше он выделялся среди товарищей ростом и силой. Теперь он хорошо видел, что он и умнее других. Он побеждал в спорах, потому что собеседники размышляли, а он верил, они не знали дороги, а он знал. Он был высокомерен, но каждому давал возможность сравняться с собой, стать таким же умным, сознательным. «Главное — поймать идею за фост», — самодовольно поучал он товарищей.

Связался с Помоловым и Болеслав Ближенский, принятый в партию на румынском фронте. Его имя было у нас в городе небезызвестно, он писал и изредка печатал в местной газете стихи, а в столичном журнале с декадентской обложкой были опубликованы два или три эрудитных его обзора художественных выставок (к нам как-то приехал Матисс, показал свои картины молодой Шагал). До сих пор непонятно, что привело его в партию большевиков. Близкие друзья знали, что женщинами он не интересовался. У него был ами, пианист из иллюзиона, неприятно хорошенкий, угреватый блондин с балетными движениями, но тот был равнодушен к политике. Когда большевики захватили город в первый раз, Болеслава Ближенского назначили редактором губернской газеты. Тогда же стали в городе заметными фигурами Перкель и Соцердотов.

Уму непостижимо, как сумел Перкель при своих весьма посредственных способностях не только попасть в университет в счет процентной нормы, но и возвыситься до приват-доцента. Правда, он был из зажиточной семьи и трудолюбив, но все, подлежащее процентной норме, были чрезвычайно трудолюбивы, одних способностей, даже блестящих, было недостаточно. Перкель приобрел некоторое имя как автор многочисленных, бесцветных и утомительно длинных статей по экономике, истории и этнографии нашего края. Накануне революции он удостоился ругани Ленина (с приставкой не то «архи», не то «квази»), но Ленин при этом отметил ценность и благонадежность собранных Перкелем данных. Вступление Перкеля в партию воспринималось как приобретение.

Если Костя Помолов был вдохновением партии, Тарадаш — ее мускульной силой, то Ефим Перкель — ее респектабельностью. Большевики строили свое царство не на год, а на вечность, им до зарезу нужна была респектабельность — во всяком случае, больше, чем это могло показаться на первый взгляд. Хотя Троцкий угрожал, что если они уйдут, то так хлопнут дверями, что мир содрогнется, — уходить большевики не собирались. В ту пору какого-то ориентального, безкусного краснбайства Перкель среди своих считался плохим оратором, но это не совсем так. Наши горожане отличались от великорусских, они больше читали, больше были связаны с Европой, больше нуждались в логике. Им надо было все понимать умом, измерить общим аршином, одной элоквенции не хватало, чтобы закружились головы. И вот Ефим Перкель с помощью благопристойных, профессорски-округленных эвфемизмов преобразил грабежи, аресты, расстрелы, абсурдность экономики, обнищание — в нечто естественное, необходимое и даже отрадное. Для тех, кто не любил большевиков, то есть для большинства, его речи были пустым, отвратительным звуком, но те немногие, кто хотел прийти к большевикам, кто хотел быть обманутым, находили в его избитых словах поощрительное успокоение, радость. Эффект был именно в слиянии стертости привычной лексики с невиданной жестокостью нового порядка.

Оратором партии сразу же заявил себя Соцердотов, священник Пантелеймоновской церкви, всенародно снявший с себя сан. Он украшал свои иеремиады притчами, текстами из Священного Писания. Бороду он не остриг, только укоротил, одевался с небрежным изяществом, был хорошо сложен, грассировал. Цыбульский считал его мерзавцем, но доказательства не приводил, нельзя же было считать доказательством такое высказывание слесаря:

— Одна рожа чего стоит, мышинный жеребчик!

Известно было некое событие в жизни расстриги, которое, однако, могло послужить и к его украшению.

Когда свергли царя, на Романовке началось волнение среди жен рабочих. Они двинулись к публичному дому, чей фонарь горел там, где Присутственная улица полого спускалась к Герцогскому саду. Женщины были охвачены яростью, потому что каждую субботу, чуть смеркалось, публичный дом поглощал деньги и любовь их мужей. Теперь пробил час возмездия! В руках у женщин были скалки, лопаты, метлы и другое холодное оружие. Соцердотов, тогда еще в рясе, долгогривый, как и они, вел их в правый бой, но в то же время призывал к организованности. Домашние хозяйки ворвались в заведение, избили до полусмерти его обитательниц, реквизировали деньги, вино и шоколадные конфеты и наконец подожгли ненавистный дом. Блудницы, иные в чем мать родила, под гогог мальчишек бежали от гнева огня и толпы. Одну из них, совсем еще молоденькую, Соцердотов привел к себе. Когда он снял с себя сан, он расписался с ней по-новому.

Таков был наш первый большевистский комитет. Возглавлял его приехавший по поручению Москвы Гринева. Первая утрата постигла комитет при французах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Одну из комнат магазина восточных сладостей Назароглу часто посещал матрос французского военного корабля. Крепко сбитый, несколько грузный для своих лет, плосколицый, он тихой, какой-то воровской походкой, не глядя на горбатого Назарку, на покупателя, проходил через магазин в комнату, окном глядевшую на черный двор. Занимался он мелкой валютной спекуляцией: обменивал твердые франки на зыбкие ассигнации недолговечных правительств. Назарка прибавлял франки матроса к другим франкам, лирам, леям, фунтам, долларам, делал большие дела (при нэпе оказалось, что ему принадлежат два небольших дома — четырех- и пятиквартирный). И оккупант-француз не был внакладе, он получал женщину и водку. Получал он и высокое политическое удовлетворение, но уже не через Назарку, а при посредстве более интересных и уважаемых лиц.

В прожектерской голове Гринева созрел план: начать разлагающую работу среди французских военных моряков. План был одобрен в Москве. Из комитетской горстки была выделена группа, названная «Иностранной коллегией». Руководителем группы Гринева назначил Перкеля, а ее единственным членом — Тарадаша. Перкель и сочинил первую листовку — еще до поступления в наш университет он проучился два года в Сорбонне, французским владел свободно. Гринева, однако, не понравилось сочинение Перкеля, он сам составил новый текст. Перкель его перевел, а Костя Помолов размножил от руки. Косте втайне от Цыбульского помогала Рашель. Магазин восточных сладостей стали посещать Тарадаш и Перкель. Они сделались собутыльниками французского военного моряка (Перкель, рискуя здоровьем, пошел и на это). Плосколицему матросу были переданы листовки.

Имелись ли среди французских моряков праправнуки Сен-Жюста и Марата? История тех дней упрятана, искажена. Мы можем только — на основании позднейших событий — предполагать. Ученик Перкеля и Тарадаша действовал как способный представитель сообщества нового типа. Скрытую теплоту раздумий и настроений он старался превратить в энергию немедленного действия. Листовки забелели в кубриках одного из кораблей, но не того, на котором служил плосколицый. Он, бесспорно, был не робкого десятка, но при этом хитер и осторожен. Неизвестно, произвели ли впечатление листовки на французских моряков, хотя, кажется, и назревало среди них брожение — слабая искорка того перманентного пожара, который, едва вспыхнув, так и не охватил Европу.

Француз оказался даже изобретательней своих большевистских наставников. По его совету у румын отыскивали латинский шрифт и выпустили несколько номеров газеты «Le communiste», которую назвали органом французской национальной группы «Иностранная коллегия» комитета партии. Командиру 156-й французской дивизии доложили, что один номер найден в гальюне дредноута «Эрнест Ренан», а другой вслух читали зуавы из Алжира. Командир дивизии, генерал Бориус, был неглуп. Он сказал: «Мы пришли в Россию, чтобы бороться с большевизмом, рассматривая его не как болезнь чисто российскую, а как источник заразы, который может распространиться по всей Европе». И фран-

цузское командование поступило решительно и жестоко. Была устроена засада. Схватили Перкеля, Тарадаша и двух налетчиков из «Косарки», о которой речь впереди. У этих двоих были с французами отношения деловые, не политические, ограниченные валютными операциями.

Тарадаш, Ефим Перкель и двое из «Косарки» были расстреляны. Никто в городе не слышал о каком-либо волнении среди французов. Вскоре их корабли отплыли на родину.

Что же, вздорной была затея Гринева? Напрасно погибли два большевика и двое из «Косарки»? Нет, что бы ни делали большевики, всё шло им на пользу! И так еще будет долго, ибо они и чернь — едины, а страшна чернь, ставшая властью! Казалось бы, провалилась операция прожектера Гринева, тяжелую утрату понес его комитет, и без того еще не окрепший, — но так только казалось. То, что было бы неудачей, трагедией для старого, добольшевистского сообщества, превратилось в блестящую удачу для сообщества нового типа. На основании действительно происшедших, но разрозненных и второстепенных случаев государственных историки создали сказочно красивую версию мятежа, государственные писатели превратили ее в религиозный миф, дети узнавали из учебников о совместном подвиге русских большевиков и храбрых французских матросов. Когда пишутся наши записки, развернулась борьба с космополитизмом, многие из нас возмущаются тем, что Ефима Перкеля вычеркнули из святцев. Что касается обоих налетчиков, то они давно и прочно причислены к лику советских святых, об их истинной деятельности упоминать запрещается. А над плоским лбом иностранного матроса засиял нимб. Он стал одним из основателей французской коммунистической партии. Ленин вбил для себя опору в землю Франции.

Комитет, впрочем, оправился довольно быстро. Его укрепили приезжие, направленные Москвой. Увеличивалось, хотя и медленно, и число сочувствующих среди местного населения. К ним принадлежал Бориска Варгавтик, подмастерье дамского портного Ионкиса. Бориска жил далеко от дома Чемадуровой, на окраинной Романовке, где гнездилась банда налетчиков. Банду почему-то называли «Косаркой». Говорили, что Бориска связался с налетчиками. При первых большевиках он вместе с сотоварищами из «Косарки» ворвался в магазин Кобозева. Утром его нашли в подъезде дома Чемадуровой со стороны Албанского переулка. Он лежал на вывороченном асфальте, обнимая тюк серой саржи. Под головой у него был отрез английского сукна. Чуть поодаль валялась зингеровская машинка — одна головка, — бог весть как сюда забредшая. Бориска был мертвецки пьян.

Кто-то из жильцов дома осторожно отнес украденное старому господину Кобозеву, но не в магазин, а на его квартиру в третьем этаже: так было вернее. Кроме прислуги, в квартире никого не было: владелец магазина куда-то скрылся. И правильно сделал. При французах он вернулся, и опустошенный магазин опять стал оживленно торговать всевозможными сукнами и прикладом.

Между тем Бориску в то памятное утро перенесли из подъезда во двор, поближе к общей уборной, подставили его бесчувственную курчавую голову на тонкой юношеской шее под широкую струю из крана. Придя в себя, Бориска заплакал, стал у всех просить прощения, певуче клялся по-еврейски, что навсегда забудет о налетах. «Глупый, дрянной мальчишка», — сердился Цыбульский. Одетый с иголочки Ионкис простил своего подмастерья — он в нем нуждался, Бориска был, в сущности, законченным мастером, а женщины в этот год будто с ума сошли, так наряжались, — простил, но при условии, что Бориска покинет Романовку, будет жить в городе, подальше от налетчиков. Костя Помолов нашел для Бориски комнату в подвале сапожника. Он решил сделать из Бориски Варгавтика стойкого большевика.

Однажды, когда в городе были петлюровцы, Костя и Бориска стояли на Покровской, напротив магазина восточных сладостей. Мимо них прошел щеголь-крепыш и, не глядя на Бориску, не останавливаясь, ласково и грозно сказал:

— Жаль мне твою маму, Варгавтик.

Он вошел в магазин Назарки, а Костя спросил:

— Кто это?

— Так, вы не знаете...

Костя заметил испуг Бориски, догадался:

— Он из «Косарки»?

— Из «Косарки». Но я с тех пор от них...

— Знаю. Партия тебе доверяет. Войдем в магазин, ты меня с ним познакомишь.

Бориска посмотрел на Костю с тупым недоумением. Что общего у этого идейного студента, сына самого Помолова, с каким-то налетчиком? Но тот, из «Косарки», угрожал ему, и Бориска подумал, что будет неплохо, если с помощью Кости он смягчит гнев своих бывших друзей, которых покинул.

Знакомство состоялось. У Кости была цель (а он постепенно уверовал в то, что цель — это все), поставленная перед ним Гриневым: вступить в переговоры с вожакom «Косарки».

Прозвище вожака — Факир — пользовалось у нас шумной, недоброй славой. Факир был порождением многонационального города, тем сложным химическим соединением, в котором составные элементы утратили свои первичные качества. Частая смена властей в нашем городе привела к безвластию. Полицейская сила лишилась главного: традиции. Она была обескуражена и развращена, как женщина, которой торгует собственный муж. Но грабители безнаказанно совершали налеты на банки, магазины и квартиры богачей не только потому, что умели использовать слабость тогдашней полиции. У них была великолепно поставленная разведка. Им служили добропорядочные с виду граждане, которые сами в налетах, разумеется, никогда не участвовали, но снабжали «Косарку» необходимыми сведениями. Говорили, например, что налетчики недурно оплачивали такого рода услуги Теодора Кемпфера. Мещанское — исконное и великое — понимание частной собственности рушилось, в той чаше революции, к которой жадно тянулась молодежь, бродил и хмель грабежа, весь государственный аппарат потрясенной России был, в сущности, большой «Косаркой» — в той же мере, в какой вожак налетчиков был маленьким вождем, дуче, фюрером, каудильо.

Хорошего среднего роста, широкий в плечах, тонкий в поясе, с напряженным гипнотическим взглядом — Факир был особенно страшен бандитам, когда глаза его кругло раскрывались, но зрачки при этом странно исчезали, — он вошел в комнату легко, артистично, с той привычкой вызывать интерес и поклонение, которая быстро вырабатывается у таких людей. На нем был превосходно сшитый пиджак в широкую клетку, брюки галифе с наколенниками из кожи, на голове кепи с накладными патями, какие носили редкие в ту пору автомобилисты. Его ожидали, сидя на табуретках за круглым столиком без скатерти, довольно грязным, Помолов и Бориска. За другим столом, вернее, за кухонным низким шкафчиком в углу, сидела спиной к ним девушка и, не оборачиваясь, рассказывала программу циркового представления, одновременно с помощью простейшей машинки изготавливая из бежевых вафельных плит кружочки для мороженого. Табуретка была ей ощутимо узка.

Факир, глядя только на Костю, сказал:

— Мадемуазель, будьте добры, принесите нам сифон сельтерской и три порции мороженого, три двойных.

Девушка поднялась, улыбнулась и, уверенная в том, что на нее смотреть приятно, мягко удалилась.

Голос у Факира был резкий, произношение — скажем так — менее новороссийское, чем предполагал Костя. Продолжая смотреть только на Помолова, Факир сказал:

— Бориска, тебе полезно подышать воздухом.

Бориска, замороженный взглядом своего бывшего вожака и с опасливой преданностью взглянув на вожака нового, на Костю, вышел из комнаты. Не протягивая руки, Факир предложил:

— Будем знакомы, мосье Помолов.

Девушка принесла сифон и мороженое, Факир одну порцию царственно оставил у нее, и девушка, поблагодарив, опять улыбнулась, теперь для того, чтобы показать, что она не из Ямполья и понимает серьезность предстоящей беседы. «Мерси», — сказала она и покинула гостей. Факир надавил краник сифона, наполнил стаканы холодной пузырчатой водой и сказал:

— Я весь внимание, мосье Помолов.

Костя смутился. С чего начать? Он начал с программы большевиков. Факир слушал его, как бы ободряя и ни в коем случае не выказывая скуки. Косте все больше нравился его собеседник. Страсть и сердечность были в голосе Кости, когда он воскликнул:

— То, что делает ваша «Косарка», есть экспроприация экспроприаторов.

— Как вы определили? — Факир действительно заинтересовался.

— Фабриканты, банкиры, купцы, помещики грабят пролетариев и незаможников, а вы грабите награбленное.

— Правильно. Как вы назвали? Повторите, пожалуйста.

— Экспроприация экспроприаторов.

Факиру тоже понравился Помолов. Он сказал:

— Поедем как-нибудь на Романовку, к моим хлопцам. Грубые лица, но золотые сердца. Образования — никакого. Придет ли, эх, то времечко! Вот вы им и прочтете лекцию.

Слово «лекция» он произнес с «э» оборотным. Костя продолжал, испытывая удовольствие от беседы:

— Надо вам заметить, что мы, большевики, противники эсов (Факир кивнул, показав, что понял сокращение и понимает большевиков), вообще противники террора. Это методы эсеров, у которых превозносится предводитель и презираются слепо ему повинующиеся исполнители. Герой и толпа.

— Извините, что вы кончили? — прервал Костю Факир.

Костя досадливо отбросил его слова тонкой, слегка дрожащей рукой:

— Какое это имеет отношение к делу? Я ушел с третьего курса Политехнического. Институт подождет, а революция ждать не может.

— А я думал, что вы юрист, как ваш папа. Замечательная личность. Он буквально спас одного нашего хлопца от буржуазного суда.

— Налеты служат только вашему личному обогащению. Вино, женщина, красивая одежда. А дальше что? Между тем вы и ваши друзья вышли из трудового народа, вы социально близки рабочему классу. Я предлагаю вам стать на правильный путь, помочь делу пролетариата.

— Как помочь? Экспроприацией экспроприаторов? Или всей хеврой вступить в большевистскую партию?

— Помочь деньгами.

— Много вам нужно?

— Сто. На первых порах.

— Сто — чего?

— Сто тысяч.

Глаза Факира загорелись весело, разбойно.

— Размах — залог успеха. Кто просит сто рублей, тот, простите за выражение, дерьмо. А тот, кто просит сто тысяч, уже напоминает мне человека, и он достоин удачи. А удача, как известно из книг для чтения по истории средних веков, перед мальчиками ходит пальчиками, перед зрелыми людьми ходит белыми грудьми. Итак, я узнал, что вы просите. А что вы даете?

— Одного сознания, что вы — вместе с бойцами за великое дело, вам, конечно, мало?

— Мало.

— У меня есть полномочия предложить вам на выбор: либо «Косарка» вольется в ряды Красной Армии, превратится в особый полк, а вы будете назначены командиром полка, пойдете воевать с беляками за советскую власть, либо вам будет предоставлен пост заместителя председателя районного Совета Романовки.

— А что во втором случае получают мои компатриоты?

— Они получат возможность честно трудиться, никто этих товарищей не попрекнет прошлым.

— Мало.

— Чего вы хотите?

— Когда придет Красная Армия, вы нам дадите три дня спокойно поработать в городе. А потом мы будем вместе бить белых или черных.

— Я изложу ваши условия комитету.

— Иначе и быть не может. Без Гринева ничего решить нельзя. А он не дурак, если понял, что нам надо быть вместе. Скажите ему, что я доверяю комитету, но голый бенемунес меня не устраивает.

— Объяснитесь.

— Как только мы договоримся, всему городу уже сейчас (вы это умеете делать) должно стать известно, что большевики заключили соглашение с «Косаркой», что наши налеты вовсе не налеты, что они служат общему делу партии.

— Вы имеете в виду соглашение о ста тысячах?

— Нет. Денежные расчеты всегда немного грязные. Соглашение чисто идейное. Выпустим совместную листовку. Сочинить ее можете сами, а подписываем и вы и мы. А что касается ста тысяч, то вы их получите у господина Назароглу. Расписка Гринева как следует, по проформе. Между прочим, если деньги нужны вам на предметы первой необходимости, то кое-что можете со скидкой приобрести у меня: японские карабины, германские лимонки, американские кольты.

Гринева был доволен. Группа, чтобы стать политической партией, нуждалась в деньгах. Ведь когда-то Ленин, объяснял своим сотоварищам Гринева, чтобы пополнить партийные фонды, поощрял налеты большевика-грузина, абрека Сталина, на кавказские банки, и теперь, продолжал Гринева, этот Сталин очень близкий Ленину человек.

Когда город заняла Красная Армия (эту кратковременную эпоху мы называли «вторые большевики»), «Косарка» превратилась в особый полк. Ее даже одели лучше, чем других, во все новое, Факира не обманули, большевики всегда пунктуально выполняют свое слово, его назначили командиром полка. Потом, на фронте, выяснилось, что бывшая «Косарка» держится обособленно, воюет неохотно, склонна к грабежу и насилиям, а командир потворствует бандитским настроениям, дискредитировал малоопытного комиссара, направленного в полк, подбив его на участие в грабеже. Полк был расформирован в районе Бирзулы, Факира по приговору ревтрибунала расстреляли. Такая же участь постигла его ближайших сподвижников. Что стало с остальными — неизвестно.

При вторых большевиках, захвативших город после французов и петлюровцев, Помолов был назначен председателем губчека. Учреждение поместилось в многоэтажном красивом доме на Александровской площади, в которую вливалась улица того же названия. На площади на высоком и узком постаменте вот уже полстолетия возвышался бюст Александра II. Бюст свалили, он был заменен изваянием головы Карла Маркса. Со стороны улицы голова выглядела пристойно, но сзади было нечто голое, неприличное, будто весь южный город-озорник, нагнувшись и спустив штаны, решил показать новой власти, как он к ней относится.

В доме, который заняла чека, был прежде банк Жданова. Его вместительный подвал с зарешеченными, в земле прорубленными окнами пригодился карательному органу революции: здесь устроили внутреннюю тюрьму. Влево от дома, если смотреть на него со стороны Александровской улицы, простирался, слегка наискосок, широкий мост над нижним этажом города, над портовой улицей. По этому мосту арестованных везли вниз, где на спуске к морю помещался единственный в нашем городе гараж. Почему-то считалось, что расстрелы не должны быть слышны, они производились под автомобильный вой.

Людей расстреливали не потому, что они были врагами революции, а потому, что они могли ими стать.

Раньше подвал банка наполнялся деньгами, бумажными, металлическими. Теперь — живым человеческим веществом, чтобы превратить его в мертвое, недвижимое. Выпьем мы за того, кто писал «Капитал», за идеи его, за его идеал.

Близорукий, нескладный Костя Помолов, одержимый бессребреник, стал грозой города. Воры сочиняли о нем песни, полные ужаса и восторга. По его приказу убивали фабрикантов, банкиров, купцов, священников, домовладельцев, директоров гимназий, чиновников, посетителей ночных ресторанов, монархистов, кадетов (выходцев из социалистических партий тогда не брали).

Не миновала беда и дом Чемадуровой. Случилось это так.

Скорняк Беленький, страстный враль, чья утомительная божба всегда содержала ассиро-вавилонскую седмицу, почему-то спал не дома, как все люди, а на подоконнике в парадной, спал не раздеваясь, накрытый предназначенной для продажи шубой. Почему этот далеко не бедный человек, искусный ремесленник, отец семейства, известный своей деловой сметкой, спал в парадной? Соседи говорили разное. Одни уверяли, что у него дурная болезнь и жена выгоняет его по ночам из дома. Им возражали: что же, весь день она его терпит, ест с ним за одним столом и только ночью, не стыдясь детей, заставляет его спать на подоконнике в холодной парадной, без одеяла и простынь? А если он пристаёт к ней ночью, то разве она не может от него запереться? Тем более что их старший сын Маркус — здоровый альбинос — не даст свою маму в обиду. В конце концов находили правильный ответ: ему просто нравится спать в парадной. Наши соседи

понимали то, чего не хотели понимать марксисты: человек непостижим, постичь его почти невозможно, надо дать ему жить.

В темную большевистскую ночь к нам в дом вступили трое вооруженных и предъявили дворнику Матвею Ненашеву свой мандат. Один из троих остался в неосвещенном подъезде, а двое других в сопровождении дворника начали производить обыск в квартирах. Старшим был матрос (дворник потом говорил о нем: кацап), а помогал ему не кто иной, как Бориска Варгавтик, в новой кожанке и в сапогах. Они выстукивали стены, ища спрятанные заграничные деньги, а главное — драгоценности. Вспоминали жильцы добродушие матроса. Мальчику, сидевшему во время обыска на горшке, он пожелал: «Сери, сери, завтра праздник». Отметили благородство Бориски: видно, по его настоянию чекистские посланцы миновали квартиру Ионкиса, бывшего Борискиного хозяина. Миновали и квартиру Помолова, но это само собой разумелось: отец председателя губчека мог не опасаться изъятия излишков. Не был произведен обыск и у Цыбульского: тот показал вошедшим к нему чекистам свой билет члена РСДРП(м). Тогда этот билет имел еще кое-какую положительную силу. Характерная для России несработанность механизмов огромной и пока еще неуклюжей государственной машины была людям на пользу.

Ни крупных драгоценностей, ни денег не нашли, но пригодилась хорошая одежда, белье, скатерти, портьеры, картины, серебряные ложки, ножи, вилки, посуда. Мадам Варути, у которой забрали последнее, не удержалась, крикнула: «„Косарка“ так не грабила!» — но Бориска, который лучше, чем она, знал, как грабила «Косарка», спросил ее: «Гражданка, вы хотите, чтобы мы и вас взяли вместе с вашими ложками?» — и мадам Варути замолчала. Дворник с лицом, безразличным от ненависти, тащил за чекистами реквизированное добро и складывал в подъезде возле того, третьего.

Именно с этой ночи изъятия излишков закрепились в нашем городе — точнее, в его торгово-ремесленной части — понятие «воры», часто заменяющее понятие «они». Помню женский крик на дворе в предвоенные годы, полный отчаянного упования крик: «Беги на Бессарабскую, говорят, эти воры выбросили в магазине скумбрию!» Продолжим, однако, рассказ.

В одной из парадных, где некрутой дугой устремилась вверх деревянная лестница, чекисты увидели безмятежно храпевшего на подоконнике скорняка Беленького. С его скрюченного тела сорвали енотовую шубу. Уже одно то, что он спал в парадной, насторожило солдат революции. Его квартиру обыскивали особенно тщательно. Добыча была немалая: с десятков мужских шуб без верха, несколько каракулевых саков, котиковых манто, длинные меховые палантины, шапки, горжетки с головками зверьков. Все, нажитое долгим трудом, умением, умом. Беленький кричал, плакал, целовал Борискины сапоги, бился о них лысой головой. Плакали и трое младших его забияк, только жена и старший сын Маркус, угрюмо не поднимая глаз, молчали. Беленького увели. Больше мы его никогда не видели. Семья просила выдать его труп, но трупы чека не выдавала, разве что в исключительных случаях.

Вскоре пришли добровольцы. Город вздохнул с облегчением. Конечно, и Деникин был не мед. Горе жителей заключалось в том, что добровольцы, сравнительно хорошо понимая, чего они не хотят, не знали в отличие от большевиков, чего им надо. О если бы деникинцы это знали! Если бы догадались взять у своих врагов ту крестьянскую программу, которую те взяли у эсеров, и выдать ее за свою. Если бы, если бы...

Среди добровольцев были разные люди, но было у них нечто общее: все они не понимали большевиков. Для одних большевики обозначали конец единой и неделимой России — между тем именно большевики укрепили державность России, как это и не снилось Романовым. Для других большевики были слишком левыми, слишком далеко идущими в социальных преобразованиях — между тем именно большевики укрепили докапиталистическую, феодальную, сословную систему. Да, разные люди были среди добровольцев, были и либералы, и даже эсеры, и ничему не научившиеся монархисты, но и эти не переходили за черту идилической жестокости дофашистской формации. Совершались всевозможные мошенничества, иные офицеры спекулировали, но в городе было вдоволь недорогой еды и одежды. Раздавались погромные речи, но погромов не было. Выходили газеты различных направлений — кроме большевистской. А самое главное — и в этом добровольцы отстали от большевиков на целую эпоху —

разрешалось свободно трудиться и свободно торговать изделиями своего труда. Особь не считалась виновной за одну лишь принадлежность к общности.

Павла Николаевича Помолова вызвали в контрразведку, спросили, где его сын Константин, он сказал, что не знает, ему поверили, он действительно говорил правду, отпустили, и его красивый голос опять раздавался в суде. Вместо имени Константина Помолова загремело другое, актерски-безобидное: Браслетов-Минин. То был начальник контрразведки, генерал. Своих опричников он почему-то набирал из дагестанских горцев. О нем мало что известно, так как он был деятелем наивного периода карательных органов: он брал виновных.

И опять беда постигла дом Чемадуровой. Арестовали Костю Помолова и Бориску. Некоторое время ходил слух, что их выдал Болеслав Ближенский. Слух явно бессмысленный, так как Ближенского расстреляли вместе с Костей, Бориской и несколькими комсомольцами, расстреляли, как доньше напоминает мраморная доска на стене бывшего участка, в январе 1920 года. Говорили, что расстреливал самолично Браслетов-Минин. Еще говорили, что предателем был вовсе не Болеслав, а его дружок, пианист из иллюзиона, а предал он по причине ревности. Павел Николаевич хлопотал за сына, у него были влиятельные знакомые в добровольческом командовании, но мало оставалось времени, а Браслетов-Минин торопился: с трех сторон приближалась к городу Красная Армия.

Впоследствии, когда Павел Николаевич сам вступил в партию, прикрыв свое бывшее кадетство героической смертью сына, и прославился у нас как замечательный лектор по вопросам литературы, театра, музыки (в адвокатах страна перестала в ту пору нуждаться), он узнал, что и дружок Ближенского проник в партию. Павел Николаевич забил тревогу. Пианиста вызвали куда следует. Он быстро во всем сознался: да, он предал членов комитета. Они скрывались в катакомбах под так называемым павловским домом — большим доходным домом на Полтавском поле за вокзалом, пианист об этом знал. Предатель оправдывался тем, что Браслетов-Минин подвергал его неслыханным нравственным и физическим мукам (бил хлыстом, топтал сапогами при шпорах, устраивал ему очную ставку с каким-то молодым греком, якобы любовником Ближенского). Пианиста вышвырнули из рядов партии, но дело прекратили за давностью лет.

А мать Кости, Любовь Степановна, повредила в уме. Она пережила Костю на десять лет, но до самой смерти своей не выходила на улицу. Мы, дети, играя летом на дворе, да и потом, достигнув отрочества, вдруг останавливались, задирали головы, почувствовав ее внимательный, больной взгляд. Она сидела у раскрытого окна второго этажа, ее седая, коротко, по-мальчишески остриженная голова была странно неподвижна.

Армия Деникина бежала морем в Константинополь, и город в третий раз заняли большевики. Все в простоте душевной надеялись, что они опять заняли его на время, но оказалось — на веки вечные. Тенистая, тихая улица за полукруглой стеной Политехнического была названа улицей Помолова.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Наш город особенно хорош на исходе лета, на исходе дня. Еще горяч и душно-ярок солнечный свет, но предчувствие сумерек уже наполняет и нас, и небо, и улицы, и это предчувствие, не освобождая от тягот земной юдоли, объединяет наше мышление с миром горним, запредельным. Спасительная лень думать о предстоящих заботах и сладчайшая догадка, что умирание дня есть всего лишь умирание повседневности и начнется необыкновенная, таинственная, связанная с нашей душой жизнь звезд и вечер будет воздушным мостом к утру мира. Улицы бегут к морю, и оно божественно хотя бы потому, что оно есть, оно всегда с нами, а мы его не видим. И пусть нам знаком каждый поворот, каждый дом, чуть ли не каждый платан — все ново, как нова в детстве сказка, десятки раз нам рассказанная.

Предосенний день, предосенний час. У Лоренца немного кружилась голова — он был голоден. Когда он открыл английский ключом дверь, перед ним во всю ширь темной передней стояла мадам Ионкис. Организм! Этот анекдот, как вычитал где-то Лоренц, любил рассказывать Лев Толстой. Однажды государь (Николай I), увидев из ложи певицу потрясающей толщины, спросил у стоящего

позади князя Урусова, своего адъютанта: «Урусов, что это такое?» «Организм, ваше величество!»

Мадам Ионкис не только не была похожа на прежнюю пышную южанку — в ней с трудом угадывались бы черты одухотворенного существа, если бы она, выйдя навстречу Лоренцу, не заплакала. «Неужели из-за ареста Фриды Сосновик?» — удивился Лоренц. Эти женщины не ладили друг с другом. Обычная коллизия коммунальных квартир. На третий этаж плохо поступала вода, в особенности летом, и пользование кухней и уборной было источником ссор, едких оскорблений.

Когда-то просторная квартира Кобозева стала тесной, захлавленной. Теперь, после войны, здесь жили пожилой инженер Кобозев, сын владельца магазина, мать и дочь Сосновики, портной Ионкис с женой, пергаментнолицый седой Димитраки (в комнате, вход в которую был через кухню, — раньше там спала кухарка Кобозева), семья Маркуса Беленького в двух комнатах и он, Лоренц. Жена Димитраки, которой грозила слепота от заболевания сетчатки глаз, находилась сейчас в институте Севостьянова. Совершенно правильно заметил Энгельс, что жилищный вопрос может убить человека. Это замечание было взято на вооружение, и уже давно человека убивали и с помощью коммунальных квартир.

Мадам Ионкис переливчатым, почти девичьим голосом (не верилось, что он исходит из этой телесной массы) попросила:

— Мишенька, зайдите к нам на минуточку.

В их комнате специально для мадам Ионкис дверь переделали таким образом, чтобы она вдвигалась в стену, как в купе мягкого вагона. Сама комната, широкая, трехоконная, была обставлена по нашему послевоенному времени богато. Из Ташкента Ионкисы привезли ковры, красивую восточную посуду. Ионкис, удивительно хорошо сохранившийся для своих шестидесяти шести лет, чертил по сукну то белым, то голубоватым мелком. Работая в артели, Ионкис после трудового дня брал на дом частные заказы. Оказавшись в бедственном положении, когда ее отец попал в долговую тюрьму, диккенсовская крошка Доррит стала зарабатывать на хлеб ремесленным трудом в своей убогой, но отдельной квартире. В социалистическом государстве это считалось преступлением, за это давали срок. К счастью, соседи Ионкиса были порядочными людьми, знали друг друга десятки лет, а милиция была в доле.

Головка зингеровской машины была втянута в дыру стола, а вся машина таилась под текинским ковром, на котором стоял в бронзовой рамке портрет Сталина в маршальской форме. Отрез, исчерченный разноцветными мелками, простирался на большом обеденном столе. С краю сукно было загнуто, чтобы уступить на клеенке место листу бумаги, на которой было что-то отстукано пишущей машинкой. Возле бумаги сидела в красном плюшевом кресле женщина лет тридцати. Ее смуглое измученное лицо показалось Лоренцу знакомым. Он подумал, что длинные серьги, вдетые в маленькие уши, похожи на гербы исчезнувших азиатских государств. Чудесные волосы были черны до синевы. Грустно и значительно улыбаясь (ее не портил даже длинный нос яфетических очертаний), она сказала:

— Миша, вы меня узнаете?

— Как это он тебя не узнает, когда ты моя копия, — пропела мадам Ионкис. — Миша, вы же помните Соню совсем маленькой.

Лоренц знал, что Соня Ионкис оставалась в нашем городе при оккупантах, но чудом спаслась. Она жила в другом конце города, у Герцогского сада. В доме родителей она не появлялась, Лоренц теперь увидел ее в первый раз после своего возвращения из Германии. Года за два до войны, вспоминал он, случилась неприятная история. К Ионкисам ворвалась нестарая, крупная женщина, устроила скандал, обзывала Соню по-всякому: Соня отбила у нее мужа. О Соне пошла дурная слава. Но потом дело, кажется, поправилось, Соня окончила медицинский техникум и вышла замуж за грека по имени Сандрик (иначе его никто не называл, хотя у него был уже взрослый сын от другой жены). Сандрик служил тренером спортивной команды пишевиков. Теперь у Сони был другой муж, шофер грузовой машины, имел живую копейку. Но беда в том, что Сандрик накануне прихода немцев сделал ей греческий паспорт на имя Софьи Адриановны Кладос. Бесспорно, лучше было — и в поликлинике и вообще — именоваться Кладос, чем Ионкис. Но жизнь не стоит на месте, ленинизм не догма, а руководство к действию, и вот оно — действие, акция: всех наших сограждан греческой национальности выселяли из города. Жильцы дома Чемадуровой,

давно знавшие семью Ионкис, должны были письменно подтвердить, что Соня никакая не гречанка, а Софья Ароновна, еврейка. А может быть, при нынешних веяниях ей лучше было бы остаться гречанкой? Как темно, Господи, как темно кругом... Миша прочел умело составленный текст и подписался под неуверенными буквами Маркуса Беленького.

Вся жизнь Маркуса Беленького была неуверенной. Три его младших брата, озорные ровесники Мишиного детства, сгорели в танке. Всем троим было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Маркус был официально признанным, заброшюрованным, загазетированным братом трех героев. Поговаривали даже, что школе, где учились (весьма посредственно) прославленные герои, надо присвоить имя братьев Беленьких, но анкетные данные семьи стали теперь неподходящими. Вместе с тем местные власти Маркуса не обижали, он с семьей получил не одну, а две комнаты, ему дали непыльную и небезвыгодную работу в управлении скорняжных мастерских нашего города.

В тот страшный осенний день 1941 года, когда Миша Лоренц смотрел на толпу обреченных, которых погнали на бойню, перед ним на мгновение промелькнуло искаженное безумием отчаяния лицо альбиноса, лицо Маркуса Беленького. Маркус был расстрелян в двуногой куче, но остался жив. Он даже не ослеп, только лицо его превратилось в окровавленное и навсегда застывшее месиво. Сколько горя приносили ему в юности большая белесоватость лицевой кожи, большая седина, краснота глаз, как он был глуп, говорил он себе, и как тяжело, ужасно был наказан за свой глупый стыд. К тому же в детстве его раздражало, когда соседки болтали, будто его мать, беременная им, засмотрелась на белого кролика, которого ее муж собирался освежевать, а шкурку выделывать, — потому-то, мол, Маркус и родился белесым, с кроличьими глазами.

Когда ночью на бойне он понял, что жив, когда, раздвигая мертвые тела взрослых и детей, он выбрался за колючую проволоку, когда он полз в бурьяне, он почувствовал, что тяжело ранен, но не видел своего безобразия. Впервые он увидел себя в мутно-зеленом зеркале лимана, но у него еще хватило силы и счастливого непонимания, чтобы заплакать. Больше он никогда не плакал.

Его приютила крестьянка в деревне Вradiевка. Что заставило мать шестилетней девочки, миловидную солдатку с длинным, худым, но крепким и свежим телом, малограмотную, но толковую, не только спрятать еврея (а прятать пришлось и от румын и от односельчан, и не день, не два, а целых три года), но и лечь с ним, обезображенным, похожим на нечистую силу, целовать те куски мяса, где положено быть губам? Ничтожен тот, кто подумает, что она это делала, как иные говорили, «для здоровья», и не объяснишь это одной только женской жалостью. То Бог был в ней и с ними, и почувствовал ли Маркус его присутствие? Она выходила его, спасла, и Маркус не оказался, как некоторые, неблагодарным, женился на ней, потому что отец девочки, прежний муж, хотя и вернулся с войны, к жене не пришел, и не потому, что узнал о Маркусе, а потому, что встретил городскую, в Проскурове, что ли.

Нет, не был Маркус неблагодарным, был хорошим, заботливым мужем и отцом, любил и своего сына и не свою девочку. А та его называла папой, хотя знала, что у нее есть другой, настоящий папа. Маркус готовил вместе с ней уроки, отводил ее в школу, крепко держа ее за руку на тихой мостовой, но до самой школы не доводил, сворачивал за угол. Так же как никогда он не смотрел в зеркало, не смотрел он людям в глаза, не верил, что они не пугаются его лица. Он верил только жене и детям, а вне их был чужой мир, чужой и враждебный. Почему он, расстрелянный, спасся — один из ста шестидесяти тысяч, виновных только в том, что были нацией? Почему не спасся его отец, расстрелянный в двадцатом, виновный только в том, что любил беззлобно приврать, а перед чекистами в том, что он, скорняк, имел несколько шуб без верха? Почему три его брата сгорели в танке ради торжества тех, кто расстрелял их отца? Враждебность мира была непонятна. Что еще тебя ждет, расстрелянный Маркус?

А что будет с нашими греками, что ждет старого столяра Димитраки и его жену?

Новая тревога не помешала Лоренцу с удовольствием выпить стакан сладкого чая, а домашнее печенье, приготовленное кариатидными руками мадам Ионкис было выше всяких похвал. Он пожелал Соне удачи и пошел к себе.

В сравнении с комнатой Ионкисов его узкая, в форме трапеции, комната была обставлена нищенски, но Лоренц не замечал этого. Он только жалел о

своей небольшой, но ценной библиотеке, уничтоженной войной. Правда, после демобилизации ему удалось кое-что приобрести, книги стоили теперь дешево. Сегодня буквально за гроши он купил Данилевского, того самого, который, если судить по статье Владимира Соловьева, задолго до Шпенглера рассматривал историю не как поступательное движение, а как смену циклов.

Он начал читать, ожидая возвращения Дины из райкома партии. Как-то само собой случилось, что со дня ареста Фриды Сосновик они стали обедать вместе. Это их сближает, думала Дина. Она не скрывала, что хочет выйти за него замуж. Ее можно было понять. Война уничтожила не только книги. Женихи убиты, а она уже не первой молодости. Миша Лоренц старше ее всего на девять лет, и он холост, без хвоста, малахольный немного, не приспособленный к жизни, но ее энергии хватит на двоих. Смешанные браки, столь ценимые еврейскими девушками до войны, теперь не одобрялись, а Миша к тому же был не только русским, но и немцем. Дину это не останавливало, и Фрида была бы довольна, ведь Миша вырос на ее глазах, если подумать, так он лучше иного еврея. Дине мерещилось, что Миша к ней неравнодушен, но робок, слишком робок. Это ей нравилось и сердило ее.

А Лоренц не мог забыть, что Дина родилась в тот день, когда он и Володя Варуги внесли мертвую Елю в комнату Сосновиков. С того дня прошло тридцать лет. Как он был счастлив, узнав, что Фрида и Дина спаслись. Он написал им письмо из Германии на старый адрес, написал, почти не надеясь, что придет ответ, но ответ пришел, Дина сообщила Мише, что мать его умерла. Когда он вернулся, Сосновики встретили его как родного и в первое же воскресенье, купив на Привозе цветы, пошли вместе с ним на Второе христианское кладбище, где вечным сном спали его родители. Оказалось, что Дина весь послевоенный год ухаживала за могилой, а это было нелегко, трамвай на кладбище не шел. Лоренца тронуло это до слез. Дина была добра и привлекательна, он любил ее, но не так, как она хотела. После того, что у него произошло с Анной, он уже не мог, казалось ему, любить Дину так, как она хотела.

Почему арестовали Фриду Сосновик, шестидесятилетнюю больную женщину, столько перенесшую во время оккупации? Что она совершила против советской власти? Неужели опять речь идет о коже? Но нет, он бы это заметил раньше, Фрида занималась исключительно домашним хозяйством, да и места теперь у нее не имелось для такой работы. А что будет с четой Димитраки? Неужели вышлют? Нельзя утверждать, что до войны дом Чемадуровой сильно пострадал от репрессий. Его жильцы, в общем, были далеки от коллективизации и оппозиции. Хотя как сказать, в царской России считалось бы, что на дом обрушилась чума арестов. В 1925 году, когда стали у нас, как и по всей стране, брать бывших меньшевиков, эсеров, бундовцев, анархистов, взяли и Цыбульского, но провел он в допре всего лишь несколько месяцев, весну и лето. Трамваем, который увозил наших крикливых горожан к морю, в немецкую колонию Либенталь, Рашель и Миша ездили к нему с передачей, раз в неделю разрешались свидания, в камере сидели только двое.

Тюрьма называлась домом принудительных работ. Заключение, главным образом воров, принуждали работать в различных мастерских.⁹ Цыбульского сделали старшим в кузнице. Власть осознавала себя неторопливо, она двигалась к всеистребляющей жестокости уверенно, однако без ненужной спешки. Мишу Лоренца легко пропускали в тюремную кузницу. Это было одноэтажное здание из красного кирпича, построенное по образцу наших царских военных училищ. Миша по просьбе заключенных выбегал на волю, покупал в пригородной лавчонке папиросы, халву, белый хлеб. Когда он возвращался, тюремщик ощупывал его: искал вино. Однажды тот, уже привыкший к мальчику, не притронулся к нему, только спросил: «Горилка есть?» «Отнюдь нет», — ответил Миша. «Тогда выкладывай». Над этой фразой смеялись впоследствии студенты — однокурсники Миши... Работавших кормили в тюрьме по-красноармейски: борщ с куском свинины, гречневая каша от пуза.

Никаких последствий для Цыбульского этот краткий арест не имел. Его допрашивал следователь-комсомолец Наум Уланский, толстый, круглолицый и румяный. Во время войны смершевец, теперь генерал, недавно он потребовал в газете смертной казни для отщепенцев — врачей-убийц. Цыбульского он называл «товарищ», сокрушался, что тот, имея такое богатое революционное прошлое, вовремя не распознал предательскую сущность Второго и двухполовинного

Интернационалов, задушевно беседовал в своем кабинете с Рашелью, по-партийному говорил ей «ты». В конце концов Цыбульский дал подписку, что не будет заниматься антисоветской деятельностью, что порвал с партией Плеханова и Мартова (что было сущей правдой), и его выпустили. Более того, через четыре года его сделали членом горсовета (он стал бесплатно ездить в трамвае): вспомнили, что в 1921 году, когда Троцкий посетил наш город и приехал в легальный меньшевистский клуб (на углу Александровской и Полицейской), Цыбульский не подал ему руки, хотя тот протянул ему свою как бы для крепкого рабочего рукопожатия. Троцкий был одет по-военному, Цыбульскому показалось, что он выглядит даже моложе, так же властно и пронзительно горели его глаза сквозь стекла пенсне, так же трубен был его голос, так же необычно высокими были его каблукы, но появилось и нечто новое: привычка повелевать не приверженцами, а подчиненными и что-то неестественное было в сочетании пенсне и военной формы, семитского лица и русского купеческого чванства. Разумеется, слесарь не подал руки второму человеку в государстве совсем не по тем причинам, которые могли потом понравиться государству. И на Троцкого, по-видимому, этот попахивающий глупым либерализмом бессилия жест не произвел ни малейшего впечатления, он произнес блестящую, громовержащую речь, а клуб на другой день закрыли.

Когда кончился нэп, арестовали Чемадунову. Ее продержали в тюрьме на Либентальской дороге около года. Требовали, чтобы старуха сказала, где она прячет свое золото. Она и в самом деле кое-что припрятала у друзей (у Фриды Сосновик, например). Ее выпустили под новый, 1931 год. Фрида ожидала ее у ворот тюрьмы. Квартиру у старухи отобрали, магазин церковной утвари дочиста разграбили, но Чемадуновой разрешили жить в магазине. Это была большая милость. Там, где стояла раньше касса-конторка, сложили печь-плиту, дымоход вывели через окно на улицу, провели в магазин воду, соорудили кран, а уборная была общая, во дворе. Чемадунова ходила туда через комнату Сосновиных.

Вольф Сосновик в 1927 году получил из Америки от каких-то дальних родственников шифс-карту, он обещал сразу же по приезде взять в Нью-Йорк жену и дочь, но пропал. Ходили слухи, что он преуспел, но так говорили обо всех уехавших в Америку. Фрида Сосновик бедствовала с девочкой на руках, пока не занялась выгодной, хотя и вредной, тяжелой и опасной работой. Дочь выросла без отца. Только после войны пришло неожиданно от Вольфа первое письмо.

Кажется, в один день с Чемадуновой или днем позже арестовали и Кузьму Кобозева. Невдумчивый очевидец мог бы предположить, что владелец магазина, где при нэпе бойко продолжалась оптовая и розничная продажа всевозможных сукон и приклада, поступил умнее Чемадуновой. Предвидя на основании дискуссионных листков «Правды» конец нэпа, он заранее исподволь распродал свои товары (наш червонец тогда обладал ценностью и прочностью), помещение магазина добровольно освободил, вызвал к себе из Ленинграда сына Андрея со снохой и внучкой: старый человек живет при детях. Но советскую власть не перехитришь. Кобозев умер в тюрьме. Достались ли сыну, Андрею Кузьмичу, его деньги? В доме Чемадуновой в этом не были уверены.

Кобозев-младший, Андрей Кузьмич, был инженером путей сообщения. Еще в студенческие годы он, белопокладочник, женился на актрисе. Через два года она от него ушла, и ушла некрасиво — с мужеподобной подружкой по прозвищу Джонни. Семья Кобозевых была старообрядческая, отца возмутил этот брак, он порвал с сыном, даже подумывал жениться вторично, родить детей. Но сын приехал к отцу, бросился ему в ноги, и вскоре старый купец нашел ему новую жену, из хорошей, тоже старообрядческой семьи. Вторая жена была намного моложе Андрея Кузьмича, тоненькая, как подросток. Их единственная дочь Лиля была ровесницей Миши Лоренца.

Судьба преследовала Андрея Кузьмича. Через год после того как в тюрьме умер его отец, произошло в нашем доме не совсем обычное событие. Миша Лоренц, вернувшись из университета, увидел, что со стороны Покровской собралась перед домом огромная толпа. Войдя в нее, Миша быстро почувствовал, что толпа — веселая. На мостовой стояло несколько телег. На морды битюгов были надеты торбы с сеном. Потом, сняв опустевшие торбы, ездовые в красно-армейском обмундировании поили битюгов водой, которая поступала по шлангу из водопроводного люка. Позади телег стояли рядом две лошади. На одной,

гнедой масти, сидел надменно скучающий коновод. Он держал в шелковом поводу каракового жеребца, ласкового красавца под седлом с бархатной попоной. Караковый спокойно позволял собой любоваться и только изредка музыкально ржал.

Толпа загудела, расступилась, когда на улицу вышли тоненькая Кобозева и молодой, можно сказать, юный помкомроты с тремя кубиками в петлицах. Кто-то уже узнал, что он служит в Перекопской дивизии. В это время на балконе появился Андрей Кузьмич. Он был в чесучовом пиджаке, при галстукке, но в домашних туфлях. Его старорежимность подчеркивали раскольничья борода и усы. Пенсне с черным шнурком привычно поблескивало над его простонародным носом. Казалось, его нисколько не смущают эта огромная толпа зевак, этот публичный отъезд жены с другим, молодым. Может быть, он вспомнил уход первой жены, такой грязный, и это помогло ему понять и комическую сторону нового несчастья?

Несколько красноармейцев, лоснившихся от приварка, таскали между тем мебель, всякое барахло, грузили на телеги. Толпа вслух удивлялась: зачем младший Кобозев вышел на балкон, да еще — посмотрите! — он улыбается, бородач! Слава Богу, что хотя бы дочка не идиотка, где-то спрячется от стыда. А что сказать про влюбленную парочку? Посмотрите, они держат друг друга за руки, а она ведь лет на десять старше командира, косметика ей не поможет. Какие наглые, счастливые глаза у этой твари, она видит только своего любовника, даже не взглянет на людей, не потревожится, аккуратно ли нагружаются вещи на телеги. Не его добро найдито, а свекром. Какой был хороший человек, умница, соседям распродал после праздника остатки за бесценок, и вот он умер в тюрьме, а его сноха ограбила дурачка мужа, ей на все наплевать. Раньше были шлюхи великосветские, а теперь — советские.

Наконец погрузку закончили, помкомроты подхватил сияющую Кобозеву, усадил в седло на каракового, который стал бить мостовую темной ногой в белом чулке, уселся и сам позади возлюбленной. Кобозева, прижавшись к командиру, послала мужу на балкон воздушный поцелуй. Андрей Кузьмич ответил ей тем же. Военный транспорт удалился, пыль улеглась, но толпа долго не расходилась, обсуждала происшедшее. Никто Андрею Кузьмичу не сочувствовал.

И Миша Лоренц не мог его понять. Поведение образованного человека, уважаемого на предприятии за блестящий инженерный ум, ошарашивало какой-то арлекинадой двадцатилетнего студента. Миша был с ним знаком, Андрей Кузьмич казался ему человеком незаурядным, он много знал, и не только по специальности, был интеллигентом не только потому, что получил высшее образование. С рабочими он был вежлив, но не заискивал перед ними, как другие недобитки из ИТР. И они его ценили, никогда при нем не матерились, зная, что он этого не любит. «Староверы — они не пьют, не курят, не матерятся» — это объяснение всем нравилось. Он и Цыбульский работали в железнодорожных мастерских, Цыбульский — мастером, Андрей Кузьмич — главным техноруком, они иногда выходили вместе в ранний утренний час, вместе садились в трамвай, но почти не разговаривали друг с другом, даже во время ожидания трамвая, а у нас это ожидание длилось долго. Андрей Кузьмич не терпел политики, а Цыбульский только ею и жил. Мало кто знал, что Андрей Кузьмич глубоко религиозен. В старообрядческую церковь он не ходил по той простой причине, что ее снесли (она раньше помещалась за Фруктовым пассажем и мешала организованному там зоопарку). В отличие от отца, который говаривал, что Бог не в бревнах, а в ребрах (то есть не в храме, а в душе), Андрей Кузьмич не питал вражды к православиям и охотно посещал бы единственную действующую Покровскую церковь, если бы ее не захватил причт из кадров митрополита Введенского: «живая» церковь внушала Андрею Кузьмичу неясные опасения.

Христианское ли смирение, природное ли добродушие, бесконечное ли разочарование во всем, что происходило вокруг, развивающееся ли в нем, безволие заставили его выйти на балкон и с покорной, тусклой улыбкой смотреть на опозорившую, бросившую его жену, на толпу, которая больше презирала его, чем жалела? Или два неудачных брака убили в нем надежду на любовь женщины, и он с улыбкой не столько смиренной, сколько всепонимающей склонил черную с белым гусарским клоком голову перед неотвратимой, а поэтому не такой уж страшной, хотя и немилосердной судьбой?

Нам с трудом дается понимание структуры нового государства, суть нового политического движения, — как же нам разобраться в том большом и сложном мироздании, каким является душа одного человека? Ньютон, а потом Эйнштейн невольно доказали, что мир, в котором живет человек, проще человека.

Вскоре волны антиинженерных процессов ударились и о наш берег, и партийная ячейка железнодорожных мастерских решила принести на заклатие Андрея Кузьмича. Выбор жертвы казался удачным со всех сторон. Сын крупного торговца, хозяина всем известного магазина, старообрядца-изувера, скрывшего от молодой советской власти деньги, товар и драгоценности и понесшего заслуженную кару; чуждается рабочих и выдвигенцев, занимающих инженерные должности благодаря своей преданности пролетарскому делу, а не диплому, выданному царским университетом; на собраниях сидит как чурбан, отмалчивается; на демонстрациях трудящихся задумчив; бородат, как служитель культа; опираясь на предельные нормы, мешает развитию ударного труда; в быту неустойчив (ушла жена).

Все как будто складывалось недурно, но произошла осечка: рабочие отказались наброситься на Андрея Кузьмича. А из двоих, кто, можно сказать, рвался на трибуну (оба они были членами партии), один, по фамилии Уланский (тот, чей сын служил следователем ГПУ), был из тех завязтых ораторов, которых ячейковые остряки называли забегальщиками: с помощью отвлеченных выкладок они опережали то или иное партийное постановление, что тоже плохо, и при этом их нередко заносило. А другой, по фамилии Емец, не имея на то указания, свою речь излагал басенными стихами, что в принципе хорошо, но лишь к месту, как самодеятельность.

Кое-кто из умников выдвинул кандидатуру Цыбульского: все-таки ветеран рабочего движения, старый мастер, хватит ему пассивничать. Авторитет у него в массе огромный, жена — коммунистка.

Цыбульский наотрез отказался выступать против Кобозева. Доводов никаких не привел, одну матерщину. Между тем яичко-то дорого ко Христову дню, надвинулись другие насущные идеологические задачи, и об Андрее Кузьмиче забыли.

Нехорошо, неуютно стало в доме Цыбульского. В одной квартире жили два чужих человека. Они мало разговаривали друг с другом, да и виделись мало. Когда Рашель возвращалась из клуба табачной фабрики, было уже за полночь. Цыбульский спал, даже во сне под одеялом тело его ощущало свой вес и огромность, а из-под кудлатой головы выползала на тумбочку верхняя подушка. И Рашель спала, когда муж рано утром зажигал примус и, выпив стакан чая с молоком, съев большой кусок ситного хлеба, слегка покрытый повидлом или почти жидким бесцветным маслом, уходил на работу. В выходные дни Рашель старалась быть с мужем подольше, но томилась, скучала, рвалась в клуб. Там бурлило море новой жизни, а здесь человека выбросило за борт его собственное глупое упрямство. Он, Цыбульский, который был борцом за рабочее дело, теперь брюзжал вместе с врагами рабочих, со всеми этими бывшими торговцами, кустарями-одиночками, интеллигентными хлюпиками, до смешного бессильными в своей злобе, хотя иногда пока еще опасными.

А какая была любовь, какое счастье! И познакомились они не где-нибудь, а в Париже, в эмигрантской русской читальне. Она подошла к нему и спросила (Цыбульский часто со смехом вспоминал эту неловкую фразу): «Товарищ, какой орган у вас в руке?» Цыбульский поднял голову — и покраснел от восторга и смущения: перед ним стояла красавица. Если бы он был верующим, то подумал бы, что серафим с высокой грудью, в замысловатой широкополой, по тогдашней моде, шляпе, в длинном, узком, темно-зеленом жакете сошел к нему с парижских небес.

Рашель служила манекенщицей в конфекционе. Ветер революционного движения случайно подхватил и занес ее в Париж. Она поехала за мужем-студентом, он был из богатой семьи и бросил ее. Впрочем, они не были повенчаны. Не венчалась она и с Цыбульским — в России ей пришлось бы для этого креститься, а ей не хотелось, противно, — они и потом не зарегистрировались, и поэтому, когда Рашель арестовали, Цыбульскому, который к тому времени прожил с ней чуть ли не четверть века, вполне законно отказывали в свидании.

Рашель не взобралась наверх, вступив в партию, хотя заслуги ее были общеизвестны: она помогла Помолову во время легендарного мятежа французских моряков, выполняла задания большевистского комитета в годы граждан-

ской войны, ее рекомендовал в партию сам Гринев, член ЦК, что и стало отчасти причиной ее гибели.

Рашель назначили заведующей клубом табачной фабрики (бывшей Попова), сказали: «Работай весело, с выдумкой». Это было ей по душе. Она любила петь, еще в парижском кафе с удовольствием плясала, а потом, уже в России, в голодные, полутемные вечера, при свете коптилки, мучительном и печальном, Рашель, в зимнем пальто, танцевала перед Цыбульским, большим, влюбленным, и, согрешая, неунывающая, отдыхала у него на коленях, гладила его кудлатую голову.

Клуб табачной фабрики прослыл в городе образцовым. Его охотно посещала молодежь, даже не работавшая на фабрике. Когда Назароглу, получив разрешение, уехал в Константинополь (он захватил с собой двух девушек, мулла засвидетельствовал, что Назарка взял этих русских в жены по мусульманскому обряду) и магазин восточных сладостей закрыли, Рашель переоборудовала магазин под библиотеку. Лестница, возведенная в пространстве одной из задних комнат, соединяла библиотеку со вторым этажом, где и помещался клуб в бывшем здании трактира. Библиотека устраивала театрализованные живые рецензии на книги, здесь горячо обсуждались знаменитые тогда произведения пролетарской литературы, отражавшие вопросы пола, нового быта, реконструкций, — сочинения Малашкина, Либединского, Гладкова, Богданова и бестселлер комсомольской юности «Мощи» Калининкова. Успехом пользовалась и книга под значительным названием «Записки примазавшегося», имя автора позабылось. В клубе недурной драматический кружок развивался под руководством Павла Николаевича Помолова, который сам писал пьесы (на темы революционной борьбы зарубежного пролетариата) и сам их ставил и даже в них играл (роли пришедшего к бунтарям учителя или прозревшего кюре). Из кружка вышло несколько профессиональных актеров. Это было то краткое время, когда, после смерти Ленина, несмотря на безработицу, гегемон жил, веря, надеясь и недальновидно спесивясь.

Для того чтобы сильно выдвинуться, Рашели не хватало прямолинейности, жесткости, корыстолюбия и тщеславия. Но, занимая скромную должность, она была известна в губкомах партии и комсомола. Нужно учесть, что членов партии, особенно в нашем городе, было не так много, как теперь, после войны, и все они были на виду. К тому же Рашель любили именно за ее недостатки — она не была карьеристкой, никому не становилась поперек дороги, умела в ту спартанскую пору со вкусом одеваться, ее женственность еще привлекала партийный актив.

Цыбульский никогда не ходил на демонстрации трудящихся. Его ругали, он мрачно и сердито молчал. В праздничные дни он сидел дома, пил вишневую наливку, злился, был невыносим. Рашель, до своего вступления в партию, стояла в толпе зевак на зеленой кромке тротуара, с завистью смотрела на демонстрантов, направлявшихся по Покровской улице к зданию городской думы, где теперь помещался губком. Если случалась задержка, а случалась она часто, нынешнего жесткого порядка тогда еще не было, демонстранты танцевали на мостовой, пели «Кирпичики» или еще что-то про первого красного офицера.

И вот настал тот первомайский день, когда Рашель рано утром, по праву властвующих, впервые пошла на демонстрацию, и сердце у нее дрожало от радости, что она — как все, что она — со всеми, и Цыбульский, огромный, небритый, в грязном рабочем костюме, вышел на кромку тротуара, тоже впервые, — и увидел Рашель. По-прежнему стройная, чудно сложенная, она впереди своей колонны двигалась спиной к последующему потоку и шутиливо дирижировала хором, а молодежь табачной фабрики пела хорошо, с чувством, радуясь юношеской, нежной зелени, певческой общности, радуясь жизни — тяжелой, бедной, но сулившей невиданные новшества.

Цыбульскому показалось, что он и жена встретились глазами, но Рашель, видимо, этого не заметила, прошла с колонной дальше, а Цыбульский побрел домой.

Так они стали жить вдвоем, она — в кружении интересной работы, он — в недвижимом одиночестве. Иногда он подзревал, что она ему изменяет. Ей было уже за сорок, но на нее заглядывались — он замечал — даже молодые.

Забрали ее сравнительно поздно, в тридцать восьмом году, 2 ноября, под праздник. Цыбульский уже сразу после убийства Кирова стал за нее бояться, но

ничего ей не говорил, — да она и не поняла бы его. Они жили под одной крышей, как живут под одним небом существа разных пород. Но когда, в 1938 году, Гринева был приговорен к расстрелу вместе с Бухариным и Цыбульский увидел страх и какое-то безумное смятение Рашели, сердце его сжалось от любви и боли, он заговорил с ней:

— Рашель, убежим, спрячемся от этих убийц. Оставим в доме все как есть, сядем в ночной поезд, с пересадкой для верности, безопасности доберемся до Могилева, устроимся у брата. А там видно будет.

— Не смей называть коммунистов убийцами! Гринева расстреляли, потому что он предатель! Я никогда и никуда не убегу, моя совесть перед партией, перед Сталиным чиста!

Рашель сердилась, но Цыбульский понимал, что не на него она сердилась, а на себя, на свой страх, на свое смятение. Выходило, что не Цыбульский был выброшен за борт корабля революции, а она, коммунистка. То, во что верил Цыбульский, продолжало обладать естественной жизнью, напоминавшей жизнь дня и ночи, дождя и зноя, а то, во что уверовала она, рассыпалось оскорбительно быстро и тлетворно. Но стыдясь признаться в унижающем душу страхе, в начинающемся губительном прозрении и как бы забыв, что именно она восторгалась Гриневым как большевистским лидером, что именно ей Гринева дал рекомендацию в партию, ей, а не старому революционеру Цыбульскому, который эту партию ненавидел, Рашель крикнула:

— Твой Гринева был агентом гестапо!

Тогда рассердился Цыбульский:

— Для меня что Бухарин, что Сталин, что Гринева, что Молотов — одна шайка. Но как ты могла поверить, что Гринева или Бухарин связаны с Гитлером, служили ему за деньги? Хватит с них того, что они служили Ленину, а потом Сталину. И к чему это им, когда через год-другой Сталин непременно вступит с Гитлером в союз, потому что Гитлер ему ближе, нужнее и даже милее, чем американская или английская демократия! Если ты ненавидишь Гитлера, то не можешь любить Сталина. Альбо рыбка, альбо скрипка.

В клубе с недавнего времени стали смотреть на Рашель как на чужую. В тот день, 2 ноября, она поздно вернулась оттуда, была в разгаре подготовка к октябрьской годовщине. Дома ее ждали низовые работники органов. Начался обыск.

Цыбульский заранее спрятал у знакомых некоторые фотоснимки, которые, скажем правду, тешили его тщеславие, — например, те, где он был снят вместе с Карлом Либкнехтом и Даном (Берлин), с Раковским (Париж). Он чуял, что эти снимки способны, когда нагрянет горе, повредить Рашели, но не мог предвидеть, что следователь поставит, между прочим, ей в вину совсем другое: принадлежащее Цыбульскому и изъятое при обыске полное собрание сочинений Плеханова, изданное в советские годы.

Фамилия следователя была Шалыков. Это был тот самый Шалыков, который несколько лет назад вел дело Лили Кобозевой. Он обвинял Рашель в связи с Бухариным через Гринева. На допросах приговаривал: «Опять я вами недоволен». Не бил ее.

Областное управление ОГПУ (а потом НКВД) теперь разместилось на Мавританской улице, самой красивой в нашем городе и в былом аристократической. Улицу называли по имени мавра Али, знаменитого корсара. Его упомянул Пушкин в «Евгении Онегине». Разбогатева и став почтенным жителем зарождающегося города, корсар основал эту улицу, где великолепные особняки и дома-дворцы стояли в один ряд, а напротив густо и мягко зеленел Екатерининский парк.

Рашель, сразу постаревшая, угнетенная тем, что давно не мылась, мучимая жаждой (кормили тюлькой, а пить почти не давали), вытаскиваемая на ночные допросы из битком набитой женщинами камеры, видела в большом венецианском окне у следователя древнейшее население земли — деревья, увенчанные звездами. Во время допросов Шалыков был то в штатском, то в военном. Одетый в штатское, он больше говорил сам, чем допрашивал, а говорил о том, о чем писали в те дни газеты, но с такими откровенными подробностями, от которых сердце Рашели останавливалось. Рассказывая о грандиозных суммах, регулярно получаемых от Гитлера Бухариным, Зиновьевым и Каменевым, он прибавлял: «Конечно, и Ленин получал деньги от кайзера, но для революционной борьбы,

а эти изверги продавались ради личного обогащения, счета, сволочи, открывали в швейцарских банках». В военном Шалыков был нарочито сух, резок. Связями Рашели с Бухариным—Гриневым не интересовался. То прямо, то исподволь подводил он Рашель к личности первого секретаря нашего обкома Загоруйко. Следователь навязывал Рашели близкое знакомство с главным человеком области. Рашель однажды видела Загоруйко в оперном театре на торжественном собрании в честь юбилея не то газеты «Брдзола», не то бакинской стачки. Когда-то Загоруйко командовал действовавшей в наших краях дивизией, и газеты раболепно прибавляли к его фамилии и должности — «семикратно орденосный». В роковом году цифру сократили, стали печатать: «трижды проклятый».

Шалыков только один раз ударил Рашель, ударил по щеке, и не пятерней, а кулаком. Слегка шепелявя, поправляя галстук (он был в штатском), Шалыков с какой-то сердечностью, может быть, и непритворной, сказал:

— Решили дать вам десять лет. Но если вы напишете, что Загоруйко принуждал девушек табачной фабрики к сожигательству, укажете два-три имени, вам сбавят два года. А вы знаете, что такое два года в лагере?

— А за что я получу восемь?

— Идиотка, — рассвирепел Шалыков и размахнулся, сжав пальцы, крестьянские тяжелые пальцы, в кулак. Может быть, его рассердило то, что он желал Рашели добра, а та, глупая, его не понимала? И Рашель получила десятку.

Когда Лоренц вернулся из армии, ему сказали, что пришла весть, будто Рашель вышла замуж в Казахстане, работает воспитательницей детского сада в городе Темиртау. Еще сообщили Лоренцу, что Цыбульский эвакуировался на последнем пароходе. Недалеко от Феодосии пароход подорвался на нашей мине. Многих пассажиров подобрали шлюпки, но Цыбульского среди спасенных не было.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Лампочка вспыхнула, Лоренц открыл глаза. Он заснул над книгой: с ним это случалось редко, может быть, в первый раз. Ласково, как мать или жена, заглядывая ему в лицо, близко стояла Дина Сосновик, круглобедрая, крепенькая, что называется, не уколупнешь. На ней был ситцевый халатик. Она удивительно походила на Вольфа. В детстве она была золотоволосой, с годами сильно потемнела. У нее были большие глаза, синие, добрые, иногда с милой хитрецой. Такого же цвета глаза, но с обманчивым простодушием, были у Анны. Жива ли она? Несколько портила лицо Дины нижняя толстая губа — подарок Фриды.

— Проголодался, беденький? Пойдемте кушать, Миша, суп — во! — И она подняла большой палец.

Суп действительно благоухал. В открытое окно Сосновиков бесстрашно влетали бабочки, о чем-то спорили, мирились и улетали. Лоренц ел так, будто сорок верст отмахал, и этим доставлял Дине истинное наслаждение. Она рассказывала, играя большими глазами, помогая рассказу выразительными жестами:

— Когда мы пришли в райком, Рамирева (старшего бухгалтера) тут же вызвали к инструктору, я его знаю, шмаравозник, ему подчиняются все артели, и со всех он берет. Мне велели пойти в кабинет Бабича. Я ждала часа два, хотя в приемной никого не было и в кабинете у него никого не было, я бы услышала. Секретарша, намазюканная шикса, все время болтала по телефону, фильмышпильмы, сеансы-мансы. Наконец раздался где-то под столом его звонок, она меня впустила к Бабичу. Вы его никогда не видели? Некультурный жлоб, типично хуторской. Скорее я могу быть генералом де Голлем, чем он — секретарем райкома. Между прочим, он тот еще трус. Во время разговора я ему сказала: «Сломаете палец, товарищ Бабич, и вообще противно, когда мужчина при женщине ковыряет в носу да еще смотрит, что у него там было». Он моих слов испугался, сразу прекратил. О чем был разговор? Сначала, для виду, о нашей артели. Я ему заявила, что фельетон — сплошное вранье. План мы перевыполняем по валу и ассортименту, без авралов, работаем слаженно, по подписке на заем занимаем второе место в районе, отчетность в ажуре. А что краску нам дают паршивую, так разве мы виноваты? Мы получаем из фонда. Тут он мне: «Все же будь самокритичной». Мишенька, вы, конечно, знаете, когда они тыкают, так

это хороший признак. Вдруг — новая тема: «За что посадили твою маму?» Какой подлец: я должна знать, за что посадили маму! Я так ему и сказала: «Это вы мне должны сказать, за что посадили мою маму!» Он опять перешел на «вы»: «Сколько посылок вы получили от отца?» — «Три». — «Что в них было?» — «Шмотки». — «Какие?» — «Все перечислить? Вот, например, эта кофточка, что на мне». Вы же помните, Миша, мою кофточку, как раз сегодня я ее надела, чистая шерсть, легче пуха, красная с белой каемкой, вырез треугольником, с отворотами. Правда, она чересчур плотно облегает наше женское хозяйство, но это теперь модно. Этот лапчарон посмотрел на меня (я поняла, что он грязный бабник, если бы я была свинарка, то он был бы пастухом, мы пели бы вместе народные песни) и дословно мне сказал: «Вам должно быть стыдно надевать ношенные вещи, которые американские бизнесмены выбрасывают в мусорный ящик». Как вам это звучит, Миша? В артели все ахнули, когда увидели кофточку, на ней была наклейка, мне перевели: «Шерсть — сто процентов», а он говорит: «Ношенная вещь!» Я молчу, я не в коровнике родилась, надо терпеть, когда мама в тюрьме. Но поп свое, а дяк свое: «Сколько писем вы получили от Вольфа Сосноу?» Папа там, в Америке, переделал свою фамилию, кто знал об этом, кроме меня и мамы? Значит, Бабич уже до нас читал папины письма. Я отвечаю: «Четыре письма мы получили, две открытки и два фото: на одном папа в гамаке посреди лужайки перед его домом, на другом — он и его сын от новой жены, с теннисной ракеткой в руке. Вся корреспонденция у меня в шкатулке, если бы знала, я бы вам принесла». Понимаете, Миша? Суть в том, что я от него ничего не скрываю. «Ваш отец хвалит в письмах американский образ жизни?» — «Пишет о себе, каеся, что нас бросил, просит у мамы прощения. Теперешняя его жена зубной врач, у них свой кабинет». — «Частный?» — «Нет, что вы, товарищ Бабич, в Америке же социализм!» — «Иронизируете? Я своим вопросом хотел подчеркнуть, что ваш родной отец — винтик, и не такой уж маленький, капиталистической машины. Звал он вас к себе, в американский рай?» — «Звал в гости». — «Что вы ему ответили?» — «Спасибо за приглашение». — «Почему от партии скрыли о переписке с загранижителем?» — «Я не скрывала, сообщила нашему парторгу Рамиреву, он сейчас здесь, в райкоме, можете у него спросить». Бабич помолчал, странно посмотрел на меня (вы же знаете, Миша, как они умеют смотреть) и сказал, опять на «ты»: «Подумай, Соснович, почему так получается: ни у меня, ни у моих друзей нет родственников за границей, а у вас всюду — в Америке, в Аргентине?» — «У кого — у нас?» — «У евреев». — «А разве у вас, украинцев, нет родственников в Канаде?» — «Так то у западнюков, у бандеровцев. Так их надо перевоспитывать, они в социалистических условиях живут недавно. А упорствующих, националистов, мы выселяем». — «Значит, и евреев надо выселять?» — «Подумай, обо всем подумай, Соснович. Времени у тебя будет много, мы тебя снимем с должности. Не обижайся, ты коммунистка, сама понимаешь: мать в тюрьме, а дочь возглавляет предприятие. Нельзя, авторитет потеряла у членов артели. Добейся, чтобы мать выпустили, если хочешь остаться в партии». — «Как же я могу добиться?» — «Тебя вызовет следователь, посоветует. Между прочим, как это ты и твоя мать, хотя вы евреи, остались живы на оккупированной территории?»

Дине надо было выговориться, но, окончив рассказ, она расплакалась. Лоренц погладила ее по голове, поцеловал мокрую щеку. Она, как будто ждала этого, ответила долгим, острым поцелуем в губы. Они ласкали друг друга, сидя рядом перед грязной посудой, а потом Дина поднялась и с невинной, радостной решительностью заперла дверь изнутри на ключ. Они разделись, легли. Он думал, что не любит ее, а только утешает. Он не знал еще, что любит ее, и когда взял ее руку в свою и почувствовал, как не по-женски груба ее рука, он вспомнил ее рассказ: рукавицы истлели, новых Редько не приносил с неделю, на нее и на маму, объясняла она, осталась только одна пара, а загрузка, конечно, ручная — «вы же понимаете, Миша, так в России выдывали кожу еще до Петра Великого, кожевники сплошь и рядом заболели сибирской язвой». И вот вся эта почти трехлетняя жизнь в подполе, почти без свежего воздуха, среди едких газов и паров, нечеловеческое существование среди нечеловеческого страха... И он поцеловал изъеденную суспензией ладонь, поцеловал так, как будто прикоснулся губами к другой ладони, распятой. И он понял: то, что она пережила, выше так называемой образованности, так называемой душевной тонкости, и пусть некоторые ее выражения режут ему слух, некоторые повадки ему не нравятся — не

ей надо стыдиться, а ему, потому что зимы и весны в тесном, зловонном подполе подняли ее к престолу Господнему. Он уже любил ее, не понимая, что ему выпало редкое на земле счастье, чудо — познать женщину, которую любишь, и ему сделалось хорошо, сладко, молодо. Тогда, в Каменце, с Анной, ему хотелось после этого отодвинуться от чужого, да, да, чужого тела, а теперь все было иначе, прекрасно, ее плоть стала домом его сердца, он гладил ее, а она его, и не было чуждости, было счастье, потом она по-матерински, безгрешно и щедро, подставила, а он стал целовать покорно отвердевавшие во рту соски ее больших, уже милых и родных грудей, он смотрел ей в глаза, она то открывала их, то блаженно закрывала. «А мать ее сейчас в тюрьме», — подумал Лоренц, чтобы унижить себя, втоптать в прах свое плотское счастье, но счастье не хотело быть плотью и прахом, оно взметалось в небеса, на свою родину.

Дина была второй женщиной в его жизни и первой любовью. У нее было несколько случайных, коротких связей, она рассказала ему все, и он рассказал ей о Каменце, об Анне. Она ревновала к тому, что было, а он знал уже то, что ничего не было ни у нее, ни у него, вселенная родилась, когда они соединились, и донныне на земле никто не чувствовал того, что чувствовали они.

Но вправду ли ничего не было? Разве не было счастья, не было ежедневного ожидания счастья? Разве не было счастья с той немкой, с ее кукольным смехом, с ее изменами мужу, любовнику, любовникам? С той, которая вопреки жесткой подноготной жизни принадлежала ему? Принадлежала? Ему? Нет, это он ей принадлежал, он, победитель рейха, был таким же покорным приказчиком ее ласк, каким приказчиком в ее пивнушке в Каменце, ее покорно и хозяйственно волнуемой плоти был ее несчастно-настойчивый муж. Из-за нее он, Лоренц, глупо, ничтожно повел себя с генералом, но не потому, что любил ее, а потому, что чувствовал себя обязанным ее любить. И любовь кончилась не потому, что Анна получила срок, а потому, что обязанность есть конец любви.

А разве Дина сразу узнала, что любит его? Она хотела выйти за него замуж, потому что очень хотела выйти замуж, а он был неженатый, добрый, порядочный, подходил ей по возрасту, она с детства привыкла его уважать. Но теперь каким-то необыкновенным, внутренним зрением она увидела, что всегда его любила, что всегда ей были милы этот высокий лоб, эти голубые глаза, это целомудрие, эта непрактичность, она росла рядом с ним, но как долго она шла к нему! «Мы, хотя и жили в одном доме, только сейчас нашли друг друга в бесконечном мире», — сказала ему Дина, и он понял, что это истина. Она стыдилась великого счастья, потому что была великая беда, мама в тюрьме, и умилял его этот стыд, и все в ней было истинно, близко, чудесно: и ее энергичная, порою неправильная, с певучими длиннотами речь, и резкие жесты, и улыбка, и взгляд, и то, как она ест, и то, как она доверчиво, с тихим ликованием раздевается при нем донага, и то, как она гордится его начитанностью, неприспособленностью к жизни — трудной и неправедной жизни, — и то, как она с явным удовольствием глядится в зеркало, нарочно с победительным вызовом судьбе выпячивая некрасивую нижнюю губу, и то, как она для него стряпает, и то, как она задумывается, и то, как она молчит, и то, как она не молчит. Еще их слияние могло называться блудом, потому что не было узаконенным, могло называться грехом, потому что в это время Фрида сидела в тюрьме, но то был не блуд, не грех, то была любовь, и Бог вошел в его сердце, как святой странник входит в дом бедняка, потому что Бог есть любовь. Во всемирной разноголосице это могли услышать все, но лишь те услышали, кто хотел слушать, те, чьи двери открыты для странника.

В артели «Канцкультпром» произошли перемены. Старшего бухгалтера и по совместительству парторга Рамирева сделали и. о. председателем, его место, тоже временно, пока не подыскали кандидатуру, занял Лоренц, а место Лоренца предоставили Дине, на улицу ее не выгнали, так предложил Рамирев. Одни объясняли это благородством Рамирева, всегда отзывчивого, другие, более понятливые, — решением высшего начальства, но и те и другие увидели в этом хорошее предзнаменование. Зарегистрироваться Дина и Миша не имели права, так как служили в одном предприятии и она Мише была подчинена: семейственность, — но сослуживцы уже знали о них, скрыть было невозможно.

Лоренц решил уйти из артели, и не только для того, чтобы оформить брак с Диной. Он не годился для должности старшего бухгалтера, здесь требовались люди другого рода, но его анкетные данные оказались теперь желаемыми, и

возможно было, что его утвердят в новом звании. Вернувшись из армии, Лоренц испытывал отвращение к государственным научным занятиям, к университету в особенности, и он обрадовался, когда Дина Сосновик, неожиданно для него ставшая членом партии и председателем артели, предложила ему низкооплачиваемую должность второго бухгалтера. Лоренц немного знал бухгалтерию, он изучил ее, помогая покойному отцу.

Известно, что между первым секретарем обкома или райкома и вторым — не разница, а пропасть: первый — хозяин, второй — слуга, порою доверенный, но слуга. Такая же пропасть между старшим и вторым бухгалтером артели. Старший не только делится с председателем — он не может с ним не делиться, иначе они не сработаются. Лоренц понял: как ни вертись, а придется ему уйти из артели, стать преподавателем. Устроиться будет нетрудно, паспорт у него отличный, русский, он фронтовик, старший лейтенант запаса, имеет орден, медали, ранение. Декан филологического факультета Дыба, его однокурсник, встретившись с ним на улице, звал его в университет, слависты были нужны, а от двух Дыба хотел бы избавиться — чесноком от них попахивало. А Лоренц уже понимал, что обстоятельства принуждают его смириться, надо пойти, преодолев гадливость, к Дыбе, чтобы стать настоящим мужем-добытчиком — ассистентские тысяча пятьсот будут намного больше, чем его теперешние четыреста двадцать.

Дину несколько раз вызывали на Мавританскую к следователю, но тот ее не принимал, она простаивала в бюро пропусков томительные, тревожные часы. Лоренц, который ни на минуту не хотел с ней расставаться, не мог ее сопровождать, потому что было неудобно, чтобы оба бухгалтера покидали контору, надо совесть иметь. Он ждал ее, волновался, не мог работать, благо в советской конторе можно не работать. Свидания с Фридой Сосновик не давали.

Добрые люди сказали Дине, что следователь берет. У нее было пятнадцать тысяч (у нас все время меняются масштабы, теперь изменились и масштабы цен, а дело Фриды происходило до девальвации). Этих денег не хватало, меньше чем с двадцатой пятью советовали не соваться. Раздобыть еще десять тысяч было Дине по силам — кое-что продать, у кого-то занять, — труднее всего было найти ход к следователю, он рисковал сильно, всем — должностью, партбилетом, карьерой, даже свободой, и брал только у тех, кому доверял, а доверял он только деловым людям. К счастью для него, политическими он не занимался.

Жизнь научила, что давать гораздо труднее, чем брать. Если уже зашел разговор о взятке, то надо сказать, и сказать так, чтобы слова не звучали пошло-парадоксально, что для нас, жителей, взятка — это если не окно, то щелочка в Европу. Порою непосильная для большинства наших полунищих сограждан, взятка тем не менее способна облегчить, а иногда и спасти человеческое существование. В отдельно взятой стране националистического социализма с бессмысленной, античеловеческой экономикой даже коррупция становится свежим глотком воздуха. Бывают взятки грандиозные, миллионные, но бывает и так, что пол-литра, флакон духов или модная сумочка решают жизненную проблему человека — прописку, могилку на кладбище для матери, поступление ребенка в детский сад... Боже милостивый, что стало с нами, с Россией, если взяточники — это духовная элита, борющаяся с чудовищем государством за человека, это Радищевы России, ее Муравьевы-Апостолы, ее Софьи Перовские! Кружатся бесовские хороводы и ма́шкеры, и бесы не только вокруг нас, бесы в нас и мы сами — бесы, все запуталось, и хотя, как всегда, мир борется с враждебной силой змия, теперь не поймешь, где змий, где Зиждитель. Россия во времени и пространстве резко отодвинулась на азиатский Восток, она, по выражению ее философа, мечтала стать Востоком Христа, а стала Востоком Ксеркса.

Сейчас некоторые критики режима из числа его создателей и слуг кручинятся по поводу того, что среди среднего, старшего и даже высшего состава руководителей растут шовинизм, стяжательство, жадность, грязного пошиба эпикурейство, полное равнодушие, презрение к всечеловеческой идее да и вообще ко всякой идее. Как это ни странно, а нам, жителям, такая кажущаяся деградация приносит известное облегчение, выход. Принципиальные изуверы досталинской эпохи и периода первых пятилеток были для населения хуже, вреднее нынешних алчных, продажных золоторотцев, не верящих ни в чох, ни в сон. Тело государства, пусть медленно, пусть болезненно, освобождается от раковой опухоли путем заражения сифилисом. Благой путь!

Лоренц теперь сидел один в каморке, отделенной фанерной крашеной перегородкой от кабинета председателя артели и совсем крохотной приемной. Он начал вертеть ручку арифмометра, когда к нему вошел Рамирев. Не совсем обычная фамилия парторга была придумана в комсомольские двадцатые годы. Она означала: «Рабочие — авангард мировой революции».

Рамирев все четыре года войны провел на фронте, все четыре года — на передовой, на партийной работе. Он прослужил целый год политруком штрафной роты, был тяжело ранен, контужен. Он так и не оправился от контузии, внезапно ему делалось плохо, он ложился на грязный диван в кабинете директора и лежал, пока его не отпускало. Но, больной, израненный, он каждый день бегал в райком, информировал, советовался. От долгих бухгалтерских занятий одно его плечо высоко поднялось над другим, и лицо у него было какое-то перекошенное, нос длинный и очень узкий, и когда Рамирев щурился, лицо его становилось похожим на знак процента. Может быть, именно его неказистая внешность, соединенная с исполнительностью, безотказной преданностью и явной недалекостью, и завоевывала ему, пусть несколько брезгливое, благоволение начальства, будь то на фронте, будь то после войны. Он никогда не был стукачом, избави боже, но все, что он узнавал о сослуживцах, о рабочих, нередко от них самих, он считал своим неперменным долгом пересказывать начальству. Очень часто он это делал с благородной целью: у одной — муж пьяница, у другого — невыносимые жилищные условия, отсюда, и только отсюда, нездоровые настроения, но это неорганично, людям надо помочь. Он был чуток, посещал товарищей в больнице, добывал для их детей места в яслях, любил руководить похоронами. Он весьма уважал Дину Сосновик за ее ум, энергию, знания (у нее ведь был диплом инженера-экономиста), сочувствовал ее незамужней доле. То, что он брал деньги вместе с ней (а приносили им на дом начальники цехов), он считал делом обыкновенным, правильным. Шуметь об этом не надо было, но и мук совести он не испытывал.

Рамирев доложил Бабичу о посылках, которые Сосновики стали получать из Америки, а доложил не для того, чтобы навредить Дине (он отлично понимал, что о посылках и без него уже известно там, где положено), — Рамирев просто иначе не мог поступить, не мыслил иначе поступить. Он предавал, потому что был предан, и только черствое сердце сочтет эти слова каламбуром.

Ему было не по себе оттого, что его назначили и. о. председателя артели вместо Дины. Он был опытным бухгалтером, но ничего не смыслил в производстве. Изнервничавшись, Рамирев часто заходил в каморку Лоренца, изливал душу, мешал. Он искренно жалел Дину, искренно хотел, чтобы ее оставили в партии, чтобы для нее и для ее мамы все кончилось благополучно, но если бы ему приказали ее погубить, он совершил бы любую подлость, любую жестокость и не считал бы себя, по крайней мере не в глубине, а на поверхности своей души, ни подлым, ни жестоким.

Он вошел в каморку старшего бухгалтера, выдвигая вперед свое более низкое плечо, вошел, как всегда, бочком, как всегда, с полуулыбкой, полузабытой на лице, и, как бы на что-то намекая и побледнев от любопытства, проговорил:

— Михаил Федорович, к вам одна личность.

За спиной Рамирева уже возвышался долговязый Лиходзиевский. Он казался еще более грязным, опустившимся, чем при давешней встрече. Лоренц, хотя у него были теперь другие тревоги, не забыл этой встречи, как не забыл и того давнего июльского дня, когда его вызвали к следователю Шалыкову. Не забыл Лоренц и того, как потом, года через два, Володя Варути сделал ему важное признание:

— Лиходзиевский — сексот. При этом он еще и глуп. Хвастает: «Вот где они все у меня, — и сжимает руку в кулак. — Лилю Кобозеву я им отдал. Старик, ты меня должен понять. Но больше ничего гелеушники у меня не получают. У Олега Лиходзиевского сильная воля, нервы — канаты!»

Сильная воля. Пижон! Что ему дали его ляхи? Жалкий, нищий, с жуткой ямой вместо глаза, он с трудом держался на ногах. Обдавая Лоренца тяжелым запахом водки, лука и нескольких гниющих зубов, он отметил:

— Значит, вы главбух. Счет расчетного счета. Русский немец белокурый. Рад за вас. Учту. Дайте пятерку.

Он вонзил единственный глаз в Рамирева и, жалко улыбнувшись, приоткрыв почти пустой рот, добавил, чтобы Рамиреву было приятно:

— Договорились. Как еврей с евреем. Не задерживайте председателя артели. Лоренц заставил себя рассердиться. Он стал теперь главой семьи и он не тряска, и не может быть жалости к сексоту.

— Уходите, — сказал Лоренц, — ничего я вам не дам.

Лицо Рамирева стало еще больше похожим на знак процента. Как всегда при интересном для него разговоре, он прищурился, посоветовал:

— Михаил Федорович, дайте ему трешку, и пусть он идет к такой-то матери.

Лоренц молчал. Рамирев достал из бокового кармана бумажник, заглянул в него, подумал, бережно вытащил рубль и дал Лиходзиевскому.

— Потеряли вы своего Олежку, — пробормотал Лиходзиевский. — Адье, Лоренц.

Когда он ушел, Рамирев спросил Лоренца:

— Ваш старый знакомый?

— Да.

— Он глаз потерял на фронте?

— Да.

— Нельзя быть таким сухарем, Михаил Федорович. Если человек опустил, его надо понять. Подумайте, ведь это фронтовик, как вы и я, наш боевой товарищ. Как его фамилия?

— Лиходзиевский.

— Лиходзиевский... Лиходзиевский... Дайте вспомнить... В тридцать втором году нас, комсомольцев, отправили на село, недалеко, за станцию Двухдорожную, в степь. Мы искали у куркулей спрятанное зерно, искали со шупами. Не думайте, что это легкое дело. Над нами ночь, луна, красота, а тут люди, выгнанные из хат, детишки плачут, злые старухи молчат, кругом конвойные, а на Двухдорожной уже стоят теплушки, ждут. Зерно мы нашли только у одного, фамилия ему была Лиходзиевский, я запомнил, потому что дочка этого куркуля мне понравилась, парень я тогда был молодой, задорный. Пошла она в уборную, а конвойный кричит: «Дверцу не закрывай!» Это чтобы видно было, если вдруг задумает убежать, и нам все видно было, прямо над уборной висела луна. Я, конечно, понимаю, что мы живем в эпоху острых противоречий, но, говоря вам откровенно, сердце у меня защемило, хотя эти хохлы были классовыми врагами, саботажниками. Их увели на станцию и отправили, в Казахстан, кажется, или в Якутию. Случайно, ваш знакомый не из тех Лиходзиевских? Хотя какое это теперь имеет значение, если он честно воевал за родину.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Добросовестный исследователь нашего государства не вправе пренебречь таким явлением, как жены негодяев. Явление достаточно распространенное и загадочное. Прежние писатели обычно изображали этих женщин как несчастных, порою как мучениц, еще реже — как протестанток, восстающих против лжи брака и общества. Теперь такой взгляд на предмет лишен смысла, и прежде всего потому, что количество негодяев возросло до небывалого уровня. Дело не только в падении нравов общества, дело в том, что у нас нет общества, есть государство, и оно испытывает постоянную, неутолимую потребность в негодях — еще, пожалуй, большую, чем в низкооплачиваемой подневольной рабочей силе. Чрезвычайно часто у нас и негодьями становятся не по своей воле, не по своей натуре и даже не выгоды ради.

И вот у такого негодяя — жена. Какая она воспитанная, говорят знакомые, мягкая, уступчивая, никогда не ссорится с соседями, кондуктор в трамвае оторвет ей билет — скажет ему «спасибо», совершенно не похожа она на мужа, душевно тонкая, у нее светлая, открытая улыбка, как она любит животных, скажем, кошек (собак), музыку (сама недурно играет на рояле), какая она чистеха, отличная хозяйка и при этом успевает много читать, каждые три дня меняет книги в центральной рабочей библиотеке. Еще говорят: как любит ее муж, как внимателен он к ней, может, он вовсе не такой, как о нем болтают.

Так говорят, и это правда. Подавляющее большинство современных негодяев добродетельны, они хорошие семьянины. А жены негодяев? Неужели они всегда непременно дуры, есть же и умницы, как же они не распознают супругов, от которых за версту разит негодяйством? Тут что-то неладно.

Кто станет спорить, убедительных доказательств, что всегда он и она — одна сатана, нет, и не всегда справедлива поговорка, что по барину говядина, по дерьму черепок. А все же, как учит товарищ Сталин, здоровое недоверие здесь необходимо.

Возьмем, к примеру, добрейшую, домовитейшую, деликатнейшую Марту Генриховну, в девичестве Шпехт, обожавшую своего Теодора. Можно ли поверить, что она была так слепа или глупа, что не видела, не знала того, что видел и знал весь дом Чемадуровой, вся улица? А Марту Генриховну никто глупой не считал, между тем как в нашем городе бытовую глупость определяют быстро и безошибочно.

Может быть, зря люди наговаривали на Теодора Кемпфера? В таком случае, скорее могли бы распространить слух, что румяный, крепкошекий, с густыми бачками и пленительными усами Теодор имеет любовницу, это нетрудно было обосновать, зная образ его жизни и внешнюю непривлекательность Марты Генриховны, которую мадам Варути, сама худая, прозвала Фанерой Милосской.

От нашего дома ничего не скроешь, если бы Теодор был грешен перед женой — узнали бы, но Теодора в этом никто не обвинял, обвиняли в другом. Почему, однако, Марте Генриховне ни разу не приходило в голову то обстоятельство, что Теодор, будучи, как он утверждал, экспедитором в какой-то артели, целый день проводит на улице, подпирая железные перила у окон, говорливый, щеголеватый, пышущий здоровьем, шатается среди лавок и ларьков по всем этим Старорезничным, Новорыбным, Конным и другим улицам, окружающим площадь базара, и всюду у него приятели, собеседники, соучастники, в полдень он забегают в прохладный низок опрокинуть стаканчик-другой молодого молдавского вина, и там он среди людей, он всегда среди людей, и как раз среди тех, кого потом берут и кому потом дают — десять, пятнадцать, а то и все двадцать пять. И хотя люди знают, кто такой Теодор Кемпфер, они продолжают водить с ним компанию, потому что действует Теодор по системе Зубатова: не только предает, но и помогает совершить противозаконную сделку, и немалую сделку. Есть у Теодора еще одно ценное качество: он хорошо, не хуже, если не лучше, любого юриста знает законы, а в этих делах суд склонен соблюдать законность, и советы Теодора кое-кого выручали.

Нельзя сказать, что Теодор сильно преуспел, что сбылись его мечты о богатой, веселой жизни. Но, с другой стороны, кто из его сверстников, соучеников преуспел? Есть один, стал профессором, но живет он тусклее Теодора, одевается во что попало. Зато у Теодора есть великолепные воспоминания, он был белым офицером, идейно перековался, теперь активно помогает органам.

Домой он возвращался в конце рабочего дня, от него пахло мужской чистоплотностью, одеколоном (он вынужден был бриться дважды в день, волос так и пер из его шек), немного вином, в руке, даже зимой, — непременно букетик цветов для Марты Генриховны. Вечером они вдвоем шли в кино или на симфонический концерт, если приезжали яркие исполнители. Однако бывали вечера, когда Теодор отлучался из дома — по делам артели, объяснял он. Марта Генриховна, вздыхая, жалея (отдохнуть не дадут!), провожала его несколько кварталов, опять-таки не задумываясь над тем, почему он идет не в ту сторону, где, как ей было известно, помещалась его полумифическая артель.

Если Марта Генриховна и признавалась себе, что она чего-то не понимает, то она, счастливая, не понимала, как этот блестящий, красивый, обольстительный и добрый человек снизошел до нее, из многих жаждавших его выбрал в жены ее, некрасивую. О выгоде, корысти не могло быть речи, так как Теодор женился на ней, когда у Шпехта уже не было ничего, ни писчебумажного магазина, ни денег, все отобрали. Теодор любил ее и только ее, только с ней он чувствовал себя хорошим, нужным, благородным, хозяином дней своих и ее чистой души.

Видимо, он был осведомителем узкого профиля: торговая сеть, артели, базы, никакой политики. Однажды он сделал попытку расширить сферу своей деятельности. Он доложил, что у Лили Кобозевой собираются молодые люди, не пьют, не танцуют, слишком долго, иногда до утра, разговаривают, он подслушивал, но не расслышал. Гепеушник его одобрил в принципе, но посоветовал не разбрасываться, быть целеустремленной, по-дружески наставил: «Чужая блоха не кусает, ловите своих блох».

В голодные годы после головокружения от успехов Теодор был прикреплен к распределителю милиции, люди об этом шептались, но серьезных выводов для

себя из этого не сделали, обезволили, что ли. Карточки в распределителе нас берегущих отоваривались довольно прилично, хлеб выдавали по полуторной норме (семьсот пятьдесят граммов на человека, восемьсот по детской карточке, у Теодора почему-то была детская карточка), по праздникам хлеб выдавали белый; каждую субботу — кило крупы (пшеничной или гречневой), полкило маргарина, пачку сахара, бутылку подсолнечного масла, кило мяса или рыбы. Другие могли это все увидеть только в сладком сне. Марта Генриховна с немецкой изобретательностью и скaredностью так распределяла продукты, чтобы хватило на всю неделю. Может быть, Теодор и объяснял жене, каким образом он оказался прикрепленным к распределителю милиции, но, вернее всего, не касался этой темы, и Марта Генриховна его не расспрашивала, и без того в это тяжелое время было у нее немало домашних забот.

Как десять лет назад, в городе снова был голод. И был он страшнее того, первого. Людей не кормили, а голодать запрещалось. Милиция вылавливала хлеборобов, хлынувших из села в город в поисках куска хлеба. Это были не кулаки, это были не подкулачники — тех выслали, — это была сельская украинская беднота. Вифлеем России, ее житница — Украина бедовала без хлеба. Ее села обезлюдели. Чума коллективизации справляла свой пир на полях Новороссии, Киевщины, Полтавщины, Сумщины. Нынешний голод не только был страшнее того, первого, когда начали править большевики, — он был другим. В ту ужасную пору можно было, сложившись, нанять подводу, поехать в село, еще лучше — в немецкую колонию, обменять одежду, обувь, белье, столовое серебро на муку, — теперь по улицам нищего, голодного города ползала в поисках пищи нищая, дистрофическая, голодная деревня. Десять лет назад были еще в каждой семье золотые часики или кольца, бархатные портьеры, чтобы в обмен на них получить хлеб, — теперь таких семейств было мало, и именно они обеспечивались государством, а у большинства осталась только бумага, денежные знаки, символы, и трудно было приобрести за эти знаки темно-коричневый кирпичик хлеба.

Понимала ли власть, что она делает? Понимала, и понимала яснее, чем это представлялось жителям, потому что жители умнее в области жизни, а власть — в области смерти. Власть, чтобы остаться властью, должна была экспериментально изучить возможность человека голодать, установить правильные нормы голода, она производила этот эксперимент и в масштабе одной шестой планеты, и в масштабе одной комендатуры, и в масштабе одного концлагеря. Она, власть, скакала на рысях, чтобы свершить большие дела, она должна была уничтожить миллионы русских и украинских хлеборобов, грузинских виноградарей, среднеазиатских дехкан, всех, кто столетиями проникал в тайны земли ради прокорма, ради безбедной жизни, всех умных, трудолюбивых, знающих. «Иди, иди, дитятко, к моей теплой и большой пазухе, — как бы говорила власть своему народу, — делай только то, что надо мне, и я тебя накормлю немного, а не то — подохнешь». И народ, разумный и добрый, пока не понял безумной и злой сути власти, подышал.

Вот в эти голодные годы и начали собираться у Кобозевых молодые люди. Андрея Кузьмича гости видели редко, он обычно уединялся в своей комнате, иногда чертил, иногда читал, чаще думал о чем-то своем, сладко покоясь в кресле, а свет в комнате был разноцветный — от зеленого абажура, от пурпуровой и розовой лампадок, теплившихся перед образами.

У Кобозевых было чисто, хорошо. Когда мать ушла с помкомроты, Лиля взяла на себя обязанности хозяйки. Она и зарплатой отцовской распорядилась по своему разумению, Андрей Кузьмич ей подчинялся во всем. Отец и дочь любили друг друга, Андрей Кузьмич — печально и безвольно, Лиля — покровительственно, но высшей, духовной близости между ними не было. Лиля была пионеркой, потом стала комсомолкой, она добилась этого, несмотря на всем известное свое непролетарское происхождение, добилась беззаветной преданностью, сверхактивной общественной работой. Она ходила в красной косынке, одевалась нарочито грубо и аскетически, выступала на собраниях, клеймила, кричала, декламировала. И вдруг произошел переворот. Жильцы дома Чемадуровой ахнули, когда однажды Лиля появилась в нарядном платье, и молодые ценители увидели, что у нее красивые ноги. Она стала красить губы (правда, чуть-чуть), завела прическу, выпустив, как тогда полагалось, перед ушами крупные каштановые запятые. Студент художественного института, до этого

смотревший на нее с вызывающим презрением, Володя Варути влюбился в нее, но Лилию, видимо, не очень привлекала его длинноресничная румынская красота. У Володи оказался соперник, близорукий студент-филолог Эмма Елисаветский, чью фамилию шутники несколько опрометчиво перевели на украинский язык так: Ледверадянський. Эмму и Лилию связывало то, к чему Володя был равнодушен и непричастен.

Случилось так, что два молодых человека и две девушки решили заняться изучением марксизма по первоисточникам, в подлиннике. Затеял это оказавшееся опасным дело, чтобы разобраться во всем, что происходит вокруг, Иван Калайда, ухаживавший за подругой Лили по университету Олей Скоробогатовой. Эти четверо и составили, как через два года сформулировал следователь Шалыков, ядро кружка.

Иван принадлежал к новой, советской аристократии города. Старший брат Ивана, Алексей, был расстрелян деникинцами в один день с Костей Помоловым. На Романовке средняя школа носила имя Алексея Калайды. Иван успел участвовать, шестнадцатилетним парнишкой, в гражданской войне. Он значился среди основателей комсомола нашей губернии и даже некоторое время был секретарем комсомольского губкома, редактором газеты «Молодой пролетарий». Его сняли с работы в 1928 году за то, что он подписал какой-то троцкистский документ — декларацию или что-то в этом роде. Время еще не затвердело, из партии его не исключили, даже предоставили ему должность библиотекаря в университете. Если учесть, что в двадцать восьмом году в городе была безработица, а у Ивана не было никакой профессии, ничего, кроме партийного билета, то надо признать, что с ним поступили по-божески. Он жил в домике на Романовке, мать его умерла давно от тифа, отец, работавший вагоновожатым трамвая, часто менял жен, черпая их из клубно-заводских кадров, выпивал, играл на трубе в клубном духовом оркестре и очень кичился своими сыновьями, живым и особенно мертвым. Служебное падение Ивана было для него тяжелым ударом.

Иван был противником нэпа. Он считал его концом революции. Когда открылся в городе большой (частный) гастрономический магазин, в окне которого был выставлен портрет Ленина, освещенный лампочками и окруженный заманчивым муляжем, среди комсомольцев распространились стихи, приписываемые Ивану. Молодежь, подчеркивая свою горячность и смелость, с особым чувством произносила строки:

Кто ж тебя поставил здесь, учитель,
В ореоле краковских колбас!

Иван имел перед друзьями то преимущество, что был старше их лет на шесть, обладал как-никак опытом участника гражданской войны, ответственного партийно-комсомольского работника. Оля Скоробогатова, дочь механика пассажирского парохода «Кахетия», светловолосая, сероглазая и такого высокого роста, что только рядом с Иваном могла спокойно стоять и ходить по земле, любила своего властелина так, что вдруг посреди занятий, забыв о присутствующих, наклонялась к нему и целовала ему руку. Они не жили вместе только из-за отсутствия пристанища: у Оли было несколько сестер и братьев, семья скученно теснилась в двух смежных комнатах коммунальной квартиры, а к себе Иван не хотел приводить Олю, потому что слишком часто менялись мачехи, да и отец — пьяный через день. Оля в гораздо меньшей степени интересовалась Карлом Марксом, чем Иваном Калайдой, но она не была балластом для кружка, отличалась здравым смыслом, хорошей памятью, только мало говорила и уж, во всяком случае, не кричала так, как Лилия.

Они изучали Маркса, надеясь наконец понять: когда государство рабочих и крестьян отступило от марксизма? Тогда ли, как уверяли Плеханов и Роза Люксембург, когда оно родилось в 1917 году под знаменем ткачевщины и установило однопартийную систему? Тогда ли, когда Ленин, как уверял Иван Калайда, всерьез и надолго объявил новую экономическую политику? Тогда ли, когда начался год великого перелома? Тогда ли, когда, как пылко настаивала Лилия Кобозева, Сталин провозгласил себя вождем?

Капиталистическое общество, учит Маркс, обесчеловечивает рабочего. Социалистическое общество, по мысли Маркса (Эмма упорно его называл Мордухаем), призвано вернуть рабочему во всей полноте его человеческую природу. Почему же у нас, в стране победившего социализма, рабочий стал рабом? Быть

может, потому, что марксизм не подходит крестьянской России, — недаром по-русски слова «рабочий» и «раб» одного корня? Или, быть может, потому, что исказили великое учение Маркса, оторвали его учение от гегельянского идеализма, для которого человек был наивысшей ценностью? А может быть, беда в самом марксизме, беда в том, что для Карла Маркса человек не венец творения, а продукт общества, класса, и, значит, изменив общество, можно получить другой продукт, и Ленин, а потом Сталин, как грубые деревенские костоправы, ломали общество: это было им нужно, а человек, конечный продукт, их не интересовал.

Иван спорил наставительно, как мыслитель, давно познавший истину и теперь получающий авторитетное подтверждение своей правоты, Лиля — со старообрядческой, аввакумовской страстностью, Оля вставляла одно-два слова, и всегда к месту, Эмма ограничивался тем, что переводил с немецкого, быстро и точно, но при этом непонятно посмеивался и излишне понятно смотрел беспомощно влюбленными близорукими глазами на Лилю Кобозеву. Иногда Эмме помогал переводить Миша Лоренц, охотно допускаемый на бдения квадриги — так они сами себя прозвали, и это использовал впоследствии следователь Шалыков, их дело так и называлось: «Дело контрреволюционной квадриги».

Володя Варути набрасывал портреты присутствующих, и, конечно, моделью чаще других служила ему Лиля. С удовольствием делал он рисунки и с Андрея Кузьмича, который изредка заходил в комнату молодежи — послушать, попить чайку. Странно, что этими рисунками не воспользовались органы, — работа органов оказалась низкой квалификации. Впрочем, нужна ли им была высокая квалификация?

Володя сам себя называл примитивистом. Володины картины не допускались на выставки студенческие, молодежно-республиканские, но у него уже были поклонники. Еще большее количество было у него поклонниц, и Эмма Елисаветский, возможно из зависти, уверял, что причина успехов Володи не только в его красоте, но и в легком зайкании, которое в женщине прибавляет к желанию жалость, а женская жалость — великая сила. Над передвижниками Володя беззлобно-высокомерно смеялся, но и к левым он подходил с разбором, Кандинского и Малевича скорее недолюбливал, хотя и признавал их ранние вещи. Его учителями были таможенник Руссо и Пиросмани. Образцом Володе служили базарные вывески, лубок. Он даже Лилю однажды изобразил как часть вывески сельского цирюльника. Себя и мадам Варути он кормил изготовлением огромных изображений вождей и плакатами для кинотеатров. Делал он это посредственно, доставал работу с помощью Олега Лиходзиевского, ловкого ремесленника, и, по настойчивой просьбе Олега, несколько раз приводил его к Кобозевым.

Изучение Маркса длилось года два и закончилось насильственно. Каждый пил, что называется, из своего стакана. У Володи Варути увеличилось число портретов Лили, нарисованных отнюдь не примитивно: как бы ни были грубы краски, а все же создавалось впечатление юной пылкости. Недурны были и рисунки, сделанные с других, особенно черно-цветные портреты Андрея Кузьмича, живо сочетались между собой черты его извозчичьего-интеллигентского лица, растерянного и чего-то ожидающего. Миша Лоренц незаметно для себя накапливал кирпичи того здания, которое он пока еще не собирался возводить. Для Ивана Калайды основоположник оказывался порою слишком правым, выходило так, что диктатура пролетариата считалась Марксом вынужденной и непременно кратковременной акцией, в то время как Троцкий, кумир комсомола, властно провозгласил: «Царству рабочего класса не будет конца». Лиля, наоборот, в правизне Маркса, особенно осязаемой среди советского ожесточения, бесправия, нищеты, видела источник человечности и справедливости. Ее радовало, что Маркс предупреждал, чтобы оружие критики не заменялось критикой оружием.

Неожиданно, как-то дико высказался наконец Эмма Елисаветский. Это произошло незадолго до их ареста. Володя, который в этом деле откровенно и кичливо ничего не понимал, и тот решил, что Эмма порет чепуху, лишь бы показать интересным, оригинальным в глазах Лили и мимоходом унижить его, Володю. Все в квадриге были ошарашены, возмущены, и только Андрей Кузьмич и Лоренц слышали в торопливой речи Елисаветского слова необщие, мысли свои, а не усвоенные.

— Не было философа, — смешно передвигая по комнате свои короткие ноги и впервые волнуясь, говорил Эмма, — более близкого России, чем еврей Маркс. Крепостную Русь и Карла Маркса объединяет отсутствие интереса к личности, к отдельному человеку, созданному по образу и подобию Бога. Кстати, хотя это из другой оперы, — вы знаете, чем объясняется упадок живописи во всем мире? Победой, утверждением атеизма. Живопись по самой своей сути искусство религиозное, антропоцентричное. Раз все условилось, что Бога нет, то, значит, нет образа, а если нет образа, то не может быть и его подобия. Нет человека, нет и природы, увиденной глазами человека, есть геометрия, конусы, квадраты, круги.

— Эмма, да побойся ты Иеговы своего или как его там зовут, — прервала Оля. — Если ты решил нас эпатировать, то я от тебя ожидала большего остроумия. Какая связь между модернистскими художниками и Карлом Марксом?

— Есть, есть эта связь, — горячо, быстро подхватил прерванную ниточку Эмма. Чувствовалось, что он сейчас говорит вслух то, что мысленно, наедине с собой, говорил уже не раз. — У тех мазилок вместо человека — геометрия, у Маркса вместо человека — молекула вещества, именуемого классом, коллективом. Поскольку все свойства вещества имеются в молекуле, в Марксовом выдуманном человеке имеются все свойства того класса, к которому принадлежит человек, Маркс не хочет понять диалектику: человек выше класса, коллектива, человек — такая частица вещества, которая больше самого вещества, ибо человек есть и вещество и вместилеще божественного духа. Русские помещики считали, что у них столько-то крепостных душ. Это вздор: ни одна человеческая душа им никогда не принадлежала. И люди не принадлежат классу. А марксистская проповедь интернационализма как раз основывается на том утверждении, что людей объединяет не нация, а их принадлежность к классу, а классы, мол, есть в каждой нации. Человечество действительно интернационально, но Маркс, не желая видеть черты лица человеческого, видит признаки интернационализма в том, чего нет, — в классах общества, то есть в условном, отвлеченном. Ничто земное, вещественное людей не объединяет. Люди отдельны вне Бога. Людей объединяет трансцендентное: Бог. А в качестве плоти люди отдельны. Они разнствуют, как планеты, как миры. И есть на земле только одна сила — для простоты назовем ее электромагнитной, — которая связывает людей. Эта сила — нация.

— Выпендриваешься, Эммануил? — спокойно спросил Калайда. Красивая комсомольская ярость росла в нем.

Речь Эммы стала еще торопливей.

— Иван, твой любимый самоубийца признался, что диалектику учил не по Гегелю. А жаль. Потому что по Марксу ее не выучишь. Маркс не понимал, что только цветущий ствол национального самосознания принесет нам плоды интернационализма, то есть всечеловечности. Пока мы дикие, мы не знаем, что мы не стадо, не стая, не гурт, что мы, люди, едины, ибо мы есть воплощение Бога на земле, и нет множественности у души, есть единая душа всего человечества. Чтобы слиться с ней, надо ее познать, а познать ее мы, слабые, можем, познав сначала нечто более простое, а именно — душу нации, потому что вне нации человек не существует в обыденности, в бытовании. Юная женщина, жена бедного ремесленника, играла со своим мальчиком в назаретском дворе с той же счастливой лаской, что и молодая костромская крестьянка со своим ребенком, но слова у них были разные и глаза сияли по-разному, ибо каждая женщина — Богоматерь, единая у всех душа — и множество обликов. Только познав душу нации, мы можем познать и самое сложное — единую душу человечества, Абсолют, Бога.

Слушая Эмму, его друзья переглядывались, на губах зарождалась улыбка, но тут же исчезала. Вроде бы глупость — Бог и прочее, а ведь Эмма искренен, он что-то хочет найти, хотя ищет не там, где нужно, впустую. Такой начитанный, так много знающий, а плетет ерунду. Эмма чувствовал, что теперь он потеряет друзей, но — в отчаянии — продолжал:

— Точно так же, как Карл Маркс, не дорос до национального самосознания и русский народ. Боюсь утверждать, но думаю, что на русских здесь оказало влияние монгольское владычество. Многие ставят в заслугу Чингисхану и Чингисидам их веротерпимость, равнодушие к религии. Веротерпимость прекрасна, но равнодушие к религиозным вопросам есть дикость. Вот потому-то

веротерпимость наших узкоглазых господ так странно сочеталась со звериной жестокостью. Вот потому-то и пришли некогда всемогущие монголы в упадок, что не доросли еще до национально-религиозного самосознания. В Европе национальное самосознание не было религиозным. Наоборот, оно возникло именно тогда, когда Французская революция начала уничтожать Бога в человеке, но человеку нужна связь с человеком, а на обломках средневековья возникло, утвердилось понятие нации — пока еще связи людей без Бога. Русский народ — единственный из европейских народов, родивший пророков, как древний Израиль, но в железном девятнадцатом веке. Исайя и Иеремия проповедовали изустно, а Толстой и Достоевский с помощью печатных книг. Богооткровенные мысли пророков дошли до нас, в некоторых случаях, в искаженном виде, что вполне естественно для любой мысли, веками бытовавшей изустно, а впоследствии даже не в подлиннике, как бы ни был честен перевод. Забываются реалии, метафоры, аналогии, рожденные бытом, скажем, пастушеским и уже непонятным не то что мирянам, но и пастырям, жителям городов. Все мы запомнили: «Верблюду не пройти через игольное ушко». Красивый образ основан на ошибке переводчика: речь шла не о верблюде, а о канате. Кстати (или некстати), у арабов слово «красота» и слово «верблюд» обозначаются одинаково — «джамиль», ибо для кочевых бедуинов не было ничего прекраснее этого двугорбого животного, но вряд ли понравится Лиле Кобозовой, если кто-нибудь из нас ей скажет: «Вы красивы, как верблюд». Я хочу сказать, что время, пространство, перевод и ограниченный ими человеческий разум способны постепенно переиначить любую мысль, даже богооткровенную, а тем более такую, которая живет изустно. Вот было сказано: «богоизбранный народ». Разве истинно верующий человек может признать, будто Бог из всех людей отметил, возвысил надо всеми евреев? Мысль грубая, языческая и по существу — атеистическая. Бог есть человечество, а человечество есть Бог. Если бы Бог решил избрать, в смысле — возвысить, какую-нибудь человеческую общность, то он перестал бы быть Богом, он стал бы дьяволом. Если Бог избирает, то не для возвышения, а для страдания. Конечно, страдание человека и есть его возвышение, но духовное, а не сословно-иерархическое. Животное страдает, когда мучается его плоть, а Бог и человек — когда темна, неприютна душа. Бог говорил устами пророков, и уста эти не замолкли, Бог говорит, сейчас говорит, сегодня говорит. И если Бог обрекает народ на муки, то это означает, что он с народом говорит, он избрал его для беседы. Евреи страдали страданием человечества, и страдания эти кончатся только тогда, когда человечество навсегда сольется с Богом. Нет народа богоизбранного, — речение изустного сказания искажено. Нет народа-богоносца: Достоевский, сам того не сознавая, искажил христианское учение, пророк кощунствовал. Человечество потому и есть Человечество, что все оно — все нации и языки вместе — богоносно. И пророки бывают ограниченными. Достоевский решил, что богоносен только русский народ, а как же быть с везью и чудью, с татарами и мордвой, с половцами и черкесами, с немцами и поляками, чья кровь жарко и сильно течет в русских жилах? Озаренный божественной мыслью, Достоевский убоился продумать ее до конца, и отсюда вырос его антисемитизм. У каждого народа, многочисленного и крохотного, цивилизованного и поголовно неграмотного, есть свое понимание прекрасного, а значит, и Бога, и в этом — чудная, младенческая прелесть земной жизни, но ни у одного народа нет привилегии на Божье избранничество. Патриарх Никон был мордвином, а боярыня Морозова — русской, но из этого не следует, что никониане хуже понимали Бога, чем старообрядцы. Все мы Божьи избранники — и многочисленные русские, и крохотное племя И в горах Китая, ибо мы едины, как один Бог. Вот вы меня слушаете, и я отлично вижу, что мои слова кажутся вам вздором. Я не обижаюсь, поверьте мне. Более обидно, что русское общество, гордясь гением Толстого и Достоевского, считало и считает если не совершенным вздором, то простительной слабостью их богословские рассуждения. Между тем гораздо менее образованные евреи древности, не всегда соглашаясь со своими пророками, равнодушно им никогда не внимали. Русские же отнеслись к своим пророкам чрезвычайно странно. Интеллигенция, вяло ответив на их жгучий, богооткровенный глагол редкими и малочисленными толстовскими общинами, отвернула для дел, казавшихся ей более важными, более прогрессивными. Что же касается русской толпы, то ее национальное самосознание не боговнушаемо, оно проявляется главным образом негативно. Русская толпа не говорит: «Мы русские, потому что

по-русски понимаем Бога, жизнь, любовь, мир». Она уж если заговорит на эту тему (я, конечно, исключаю великих одиночек, таких, как Тютчев, Хомяков, Владимир Соловьев), то непременно скажет: «Мы — русские, потому что другие — не русские: басурмане, жида, грузины, немцы, поляки, хохлы». Разве это национальная идея? Это идея стада, гурта, стаи, отары. Так у животных в киплинговских джунглях был клич: «Мы одной крови — я и ты». Между тем — и в этом сложность — вне нации нет бытования человека.

— Эмма, вы повторяетесь, — сказала Лиля.

Выходка Елисаветского ее неприятно поразила, и тем неприятней, что он ей немного нравился. Только ее отец и Миша Лоренц слушали Эмму серьезно. Эмма почти кричал:

— Этой мыслью надо освежить ваши головы, заталмуженные марксизмом. Человека на земле нет вне нации не потому, что он частичка нации, а потому, что все мы, будучи подобны Богу, не подобны друг другу. Вот мы большеглазы — и похожи на Бога, вот мы косоглазы — и похожи на Бога, вот мы белые, а те — черные, а те — желтые, мы такие разные, но одинаково похожи на Бога. Нет народов великих и малых, талантливых и заурядных. Все мы — одна душа, все мы соучастники в том, что создано. Среди греков когда-то родились великие философы, драматурги, ваятели — теперь они там не рождаются. Нет уже давно, как в прошлом, великих итальянских или голландских художников. Можно допустить, что впрямь больше не будет гениальных русских писателей. Ну и что же? Есть Бог, значит, будут, всегда будут гениальные, великие люди. Ведь эти греки, итальянцы, голландцы, русские суть проявления божественного духа, который живет во всех — слышите, — во всех людях. Я читал, что где-то на Севере есть племя, численность которого равна шестистам человек. Так вот, без этого племени мир не может существовать, не было бы Гомера, Аристотеля, Данте и Шекспира, Толстого и Достоевского, не будь в заполярной тундре этого маленького, бедного племени. В кровеносной системе человеческой культуры и поныне бьется горячая, живая кровь этрусков или римлян. Поймите же: уничтожение племени есть попытка дьявола уничтожить Бога!

— Бред, — опять прервала Эммину нить Оля.

Но Эмма уже не мог остановиться:

— На днях газеты сообщили, что в Германии пришел к власти какой-то Гитлер, вождь немецких фашистов. Для него тоже, видимо, если судить по нашей прессе, нет человека вне нации, но он решил, что немцы — высшая нация, нация господ, а все мы — будущие рабы немцев. Этот Гитлер начисто лишен национального самосознания, он движется не вперед, к единой всечеловеческой душе, а назад — в гурт, в стадо. Как может быть одна нация выше другой, когда все нации суть прекрасные, неповторимые проявления единого Бога?

Ивану Калайде болтовня Эммы начинала надоедать. Нечто несуразное, уродливое было в этом быстром словесном потоке. Эмма раньше был ему симпатичен, теперь Иван понял, что ошибся. Он спросил, с трудом себя сдерживая (одна только Оля понимала, как он разгневан):

— Ты можешь дать определение пресловутому национальному самосознанию? С чем его едят, Елисаветский? Сформулируй.

Эмма посмотрел на них, увидел негодование в глазах близких друзей — негодование или презрение? Только глаза Лоренца и Андрея Кузьмича были полны любопытства и сочувствия. Эмма подумал и сказал неожиданно медленно и тихо:

— Я, человек, созданный по образу и подобию Бога, проявляю на земле свою божественную суть через посредство своей нации. Вот это и есть национальное самосознание.

Иван пожал плечами. Время потеряли зря из-за этого оглашенного. Он издевался над ними или всерьез порол свою чепуху? Все равно, собираться в дальнейшем надо будет без него.

Но больше им не пришлось собираться.

(Окончание следует)

ЛАРИСА МИЛЛЕР

*

НАЧАТЬ ИЗДАЛЕКА

* *
*

Плывут неведомо куда по небу облака.
Какое благо иногда начать издалека
И знать, что времени у нас избыток, как небес,
Бездонен светлого запас, а черного в обрез.
Плывут по небу облака, по небу облака...
Об этом первая строка и пятая строка,
И надо медленно читать и утопать в строках
И между строчками витать в тех самых облаках,
И жизнь не хочет вразумлять и звать на смертный бой,
А только тихо изумлять подробностью любой.

* *
*

Обыденность — рай, и подарок, и чудо:
Шумела вода, и гремела посуда,
Вели разговор, шелестели газетой...
Творился уклад, до сих пор не воспетый.
Уклад, бытие и соборное действо,
Рутиня отнюдь не святого семейства.
Возможно ль такое: все целы и в сборе
И в полном покое житейское море.

* *
*

Мир в лазоревых заплатах
И поношенных мехах...
Совещание крылатых
В ослепительных верхах.

Совещание, и споры,
И немислимый галдеж,
И устойчивой опоры
В эту пору не найдешь.

Лишь размытые покровы,
Сеть потоков голубых
Поддержать тебя готовы
В начинаниях любых.

НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВА

*

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* *
*

Я просто не понимаю,
Откуда они берутся —
Эти сонмища человечков...
А мы их должны любить.
У них глаза из сирени,
Щеки и губы из мака,
В руках лопатки для снега
И для песка совки.
Они ничего не знают,
Требуют только ласки
И пищи немного тоже —
А нам ее доставать.
Валенки на них — три вершка,
Походка у них — три шажка.
А затопчут ведь, щебеча,

Из сиреневых глаз строча...
Дано им такое право —
Жить вместо меня на свете.
— Ну хватит, стойте, право,
Чего вы хотите, дети?

Белый взгляд inferнальных глаз...

— Вы чего хотите от нас?! —
Отвечают дети: — Дороги.
Вместо вас нас послали боги.
Нет ни памяти, ни участия.
Мы не знаем ни горя, ни счастья.
Просто так идем, занеся на вас голубые
лопатки.

* *
*


Не радость и не горе,
А просто пустота.
На дальнем косогоре
Три жадные куста.

И жилочка ветвится
От сердца моего...
И больше не случится,
Должно быть, ничего.

* *
*

Я жить привыкла. Боже упаси
Мне умирать. Я не умею это.
И платье просит: — Ты меня носи.—
И поезд спросит: — Ты взяла билеты?

И воробьям бессмертным невдомек,
Что я могу навеки раствориться.
Они мелькают вдоль моих дорог
И думают, что юбка тоже птица.



* *
*

Ты меня на стихи вдохновляешь,
Хорошо на меня влияешь,
Лучше всех существующих муз.
Ты не мой, к сожалению, муж.

Ты не будешь к тому же им,
Жизнеспутником, мужем моим.
Все решила судьба наперед,
Словно партия и народ,
Пятилеток на сто наперед.

Я, грустя и печаясь о том,
Уж большой написала том
Посвященных тебе стихов,
Состоящих из разных штрихов.

Ты не мой, не мой муженечек —
Мой зато музынек, музынечек. ♦

* *
*

А жил бы ты в монастыре мужском,
А я в монастыре жила бы женском,
У чистой, не загаженной реки,
В уединенном месте, не мирском,
В тиши, в районе живописном энском.

Мы жили бы на разных берегах:
Допустим, я — на левом, ты — на правом.
Мы жили бы в заботах о душе,
Не в суете мирской и не в бегах,
И отличались бы своим смиренным нравом.

Мы жили бы молитвой и постом
И всяческим, конечно, воздержаньем,
Ходя в монашьем платии простом,
Хотя и встретит кто-то это ржаньем.

За нас бы не болели матеря:
Чего бы там у нас ни вышло кабы —
Не вышло бы какого бы греха.
Ты был бы звонарем монастыря,
А я бы звонарихою была бы.

Мы — каждый с колоколенки своей —
Глядели друг на друга бы с тобою,
Два суших страсотерпца во плоти,
Жалея — ты и я — душою всей,
Что мы разлучены и Богом и судьбою.

И свой изобрели бы мы язык
И слали бы свои друг другу звоны
Прекрасней всех стихов и всех муз,
Ты с выси со своей, я — со своей,
Ты из своей, я — из своей закрытой зоны.



ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ

*

БЕСКОНЕЧНЫЙ ТУПИК

Фрагменты книги

Читатели «Нового мира» уже встречались с Д. Галковским на страницах нашего журнала: в пятом номере за этот год была напечатана его статья «Поэзия советская. Из материалов к „Энциклопедии Высоцкого“»; в том же номере было, кстати, и письмо Ю. Шрейдера — отклик на статью Д. Галковского в «Независимой газете» о шестидесятниках.

Но не этим он примечателен, даже в своем роде знаменит. Он известен своей удивительной (без преувеличения) книгой «Бесконечный тупик». Некоторые считают ее одним из самых ярких литературных явлений последнего времени. Книгу эту мало кто читал. Напечатать ее целиком в наши дни практически невозможно — некому: нет такого журнала, нет такого издательства. Неподъемно — в ней более семидесяти печатных листов.

Это книга примечаний к несуществующему тексту. Этот воображаемый текст и называется «Бесконечный тупик».

За ним идут примечания.

Потом идут примечания к этим примечаниям.

Потом идут примечания к примечаниям к этим примечаниям.

И так далее.

В конце приложены вымышленные рецензии на «Бесконечный тупик», стилизованные под манеру не вымышленных и узнаваемых авторов.

Примечания образуют несколько переплетающихся сюжетных линий. У автора есть их схема, карта книги.

Книгу надо читать целиком. Тут все связано со всем. Любая цитата из книги заведомо недостоверна. Любая мысль, изъятая со страниц книги, становится неизвестно кому принадлежащей и неизвестно чье мнение выражающей. Отрывки из книги печатались в «Литературной газете», «Нашем современнике», «Независимой газете», журналах «Логос», «Социум»... Все эти публикации неадекватны общему замыслу книги в той же степени, как и предлагаемая читателю публикация в «Новом мире». Любой фрагмент, любая выборка сомнительны.

В этой книге каждый при желании найдет свое. И каждый будет оскорблен, удивлен, раздосадован. Книга откровенно провокативна, эпатажна, искренна, серьезна. Галковский серьезным тоном проговаривает то, что не думает (так нам показалось), и подчеркнuto иронически то, что думает, но то, что впрямую высказать даже в наше плюралистическое время трудно, даже невозможно. На всякий тезис в книге можно найти антитезис.

В книге есть сквозные герои: Одинокое (alter ego писателя), его отец, Соловьев, Чернышевский, Ленин, Набоков, Чехов, Розанов (выступающий как еще одно alter ego автора). Но:

«„Обознатушки-перепрятушки“. Я говорю только о себе. Даже в отце — я сам. О мире сужу по „я“ философов и писателей; об их „я“ по тем людям, которых знал (а знал-то реально, пожалуй, только одного отца); о них, в свою очередь, по своей биографии; и наконец о себе как о „я“, которое и является миром, по книгам, написанным этими же самыми философами и писателями. Это бесконечный тупик».

В книге Галковского есть великолепные взлеты и догадки, есть и «графомания». Но — захватывающая.

В этом номере мы печатаем «автобиографическую» линию — об отце; на наш взгляд, это эмоциональный стержень книги.

Однажды, мне было тогда девять лет, на улице сказали: «Одинок, иди, там, за домом, твой отец пьяный на санках катается». Было яркое мартовское воскресенье. За домом растаял каток. Когда я прибежал туда, то увидел следующую картину: отец сидел на коленях на санках и, отталкиваясь лыжными палками, катался по растаявшему катку. При этом он пел арии на итальянском языке. Голос у него тогда хотя и был уже испорчен, но все равно было и достаточно громко, и ясна основная мысль. Вдоль ограждения стояла толпа зевак. Почему-то мое первое впечатление было, что ему ноги трамваем отрезало и он, как юродивый, ковыляет на инвалидной тележке. Схема движений была удивительно схожа. Я бросился его спасать — папочка! папочка! Воды было на катке по шиколотку, я моментально промок, а отец истерически хохотал, пел песни, вода волнами расходилась от санок. Ему было хорошо. Наконец, увидав меня, он стал кричать, чтобы я «ментально вышел из воды» — тема заботы (потом я месяц болел).

Тогдашнее мартовское пение отца — это тоже завязка тяжеловесной и нудно-нравоучительной русской басни.

(№ 6. Примечание к стр. 5 «Бесконечного тупика»)

22. Примечание к № 6.

Тогдашнее мартовское пение отца — это тоже завязка тяжеловесной и нудно-нравоучительной русской басни.

Он выкатился на страницы этой книги и теперь будет в ритме танго смерти, вплетаясь и снова выскальзывая из повествования, приближаться к концу головокружительного слалома — к концу «Бесконечного тупика».

Изящно скосив очередной угол и временно развехавшись с темой санок, поговорим о Достоевском. Однажды в Англии балетный дуэт протанцевал на сцене совершенно голый, и потом в интервью артисты сказали, что это было удивительное, ни с чем не сравнимое впечатление свободы, радости и покоя, растворенности в природе. И немножко стыдно (бессознательно). Как ранним утром валяться голым на песке после купания.

Именно такое чувство испытывает русский, читающий Достоевского. Кроме всего прочего, доступного и иностранному читателю, возникает особое чувство удивительной гармоничности и полного растворения в авторских мыслях. Самые сокровеннейшие фантазии, самые изощренные страсти во всем их спектре, от возвышенных до низменных, все это удивительно точь-в-точь соответствует индивидуальным изгибам русского «я». Повторяю, это странное, ни с чем не сравнимое чувство полного соответствия, делающее Достоевского совершенно особым, интимно русским писателем. И это, этот фон, в нем главное. Остальное все «было». У Бальзака, Диккенса, Шиллера, Гёте, Шекспира, Сервантеса, наконец Тургенева, Толстого и других. Но вот этого русского «мясца», русского «духа» — не «Духа» Гегеля, а духа, который баба-яга у себя в избушке почуяла, — ни у кого до него не было. Только, может быть, у Гоголя чуть-чуть угадывается. Но и это уже не то, хохляцкое, более примитивное, более узкое и монотонное.

Какое основное качество героя «Записок из подполья»? Для иностранного читателя ответ будет звучать дико — ласковость. Это очень ласковый, женственный и отзывчивый человек. Основа его внутренней жизни — колоссальный заряд первичного доверия к миру, ласковой открытости. Даже не доброты, а именно ласковости, ласкового женского неприятия зла. Зло просто не принимается. Его убийственные лучи проходят сквозь душу, не задерживаясь там. Зло непонятно и не понято.

«Да в том-то и состояла вся штука, в том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу. У меня пена изо рта, а принесите мне какую-нибудь куколку, дайте мне чайку с сахарцем, я, пожалуй, и успокоюсь. Даже душой умилюсь...»

Я подростком неосознанно воспроизводил закругленность Достоевского. Основные черты: уничтожение и ласковость. Заискивание героя «Записок из

подполья», стремление быть хорошим, то есть как можно точнее отвечать любым представлениям о себе. А если брать еще более раннее время, детство, то здесь основное качество — это доверчивость. Доверчивость нерасчлененная, доверчивость «вообще», к миру. И первое расширяющееся трагическое несоответствие — пожирание миром доверия.

Мифологизируя элементарную цепь событий, скажу, что начало недоверия — выселение из собственно Москвы на рабочую окраину, в мир, живущий как раз по законам недоверчивости. Первое чувство тут в шесть лет: зимний день, девочка играет, лепит снежную бабу. Я хочу помочь. Она испуганно шарахается от меня и плачет. Ее мать из окна начинает орать на меня на каком-то ужасном монгольском языке. Я хочу объяснить, что я хороший. Почти плачу от непонимания, ухажу.

Тема соседской девочки имела свое логическое продолжение. Начало лета. Она зовет меня. Я радостно иду к ней, хочу играть. Она просит встать около качелей и прыгает на другую сторону. Я получаю страшный удар в челюсть противоположным концом и теряю сознание. Постепенно из красного тумана выплывает фигура бегущего ко мне испуганного отца и пляшущей от истерического хохота пролетарской девочки. Потом дети рабочих швыряли меня в костер (раскаленная зола, толкнули, и упал на руки), брызгали за шиворот горящей резиной, кидали в меня иглами. Сейчас я понимаю, что дешево отделался почти случайно. Но самое удивительное, что совсем не было чувства злобы, загнанности. Я жил спокойно, радостно и на следующий день забывал о своих мучениях. Отдельные осколки никак не складывались в единую картину-состояние. Отношение к миру было неизменно радостное.

Первое чувство недоверия возникло лишь года через три. Во дворе подростки подзуживали сесть на забор и балансировать руками в воздухе. А внизу наставили наполовину разбитые бутылки. Нужно было сидеть и не упасть. Мальчик передо мной упал. Как сейчас помню его, сдирающего быстро кровенеющую рубаху. Страшные порезы на спине и крик глухой: ы-ы, ы-ы. Потом сел брат этого мальчика. Его уже толкнули на стекло специально (он все сидел и сидел — зрителям надоело ждать). Следующим был я. Хотелось сесть страшно. И вокруг все подталкивали: «Слабо, Одиноков. Ну что? Сдрейфил, фраер?» Я вдруг повернулся и побежал.

Примерно в это же время началось и недоверие к отцу. После переезда он стал постепенно спиваться. Думаю, кстати, из-за этого меня, несмотря на всю мою дворянскую непохожесть (даже внешнюю), во дворе все-таки считали своим и вообще сознательно не травмили. «Одиноков, вон твой идет. Слушай, а он тебя часто порет?» — «Да нет, не очень». (На самом деле никогда.)

Когда начался кризис доверия к отцу, первая трещина? Выпал первый, мягкий и тяжелый, снег. Я скатывал его из маленького снежка в огромный шар. Шар уже был больше меня, и я все пыжился, никак не мог его сдвинуть. Потом нашел доску, стал подставлять рычагом, он и покатился. А тут уже налились хмурой густотой сумерки. Мать заорала в форточку. Я пришел домой, и еще наорала. А тут смотрю, в комнате отец под роялем лежит. В какой-то сине-свекольной луже. Я так и ахнул. Стал руки ломать: «Папочка умирает». Сестренка маленькая закричала — слов не понимала еще, но, глядя на меня, почувствовала, что что-то плохо. Отец же потихоньку шевелился. Блевотины было много, и он в ней как-то подплыл и, шевелясь, немножко продвигался глубже под рояль. По поверхности шли саночные волны. Мать, еще больше разозленная плачем сестры, заорала: «Замолчи, дурак, ничего с твоим «папочкой» не делается!» «С твоим». Значит, он мой. И больше ничей? Тут возникла возможность расчленения, оценки. Отношения с отцом стали приобретать черты дурашливого комизма. Постепенно установилась схема смертельно опасной игры. Состояние отца, спивающегося, все чаще называлось жутким словом «в д р ы з г». Он сам хвастался в телефон: «Вчера в д р ы з г». Стали приходиться соседи, сочувственно говорить: «Передай матери, ваш лежит в песочнице». Однажды, пьяный, лег под разбитую розетку. В квартире никого не было, я боялся, что его ударит током, и за ногу оттащил в сторону. Отец хохотнул и полез под стол к розетке опять. Я опять его оттащил. Позже он специально лез и «ребятам» рассказывал: «М о й - т о спасает».

Годам к двенадцати я уже точно знал: мой отец дурак. Впрочем, это скорее было не знанием, а интуитивным ощущением (при невозможности представить себе обратное. «У Иванова отец умный». Как это? Разве это может быть?).

Какое это все-таки несчастье: муж-дурак, отец-дурак, царь-дурак. Дали денег на хлеб, а он накупил пряников, тянучек и свистулук. И улыбается, пьяненький. Однажды отец купил с полочки какую-то специальную самовыжимающую швабру. Пришел с ней довольный, улыбающийся. «Хозяин». Я как посмотрел: куда ее? Для дебилов. И говорю: «Да, вещь хорошая. Тут ее так нажимаешь, она и выжимается». — «Да, и тряпку не надо. Видишь, здесь губка привинчена». — «Вещь полезная». (Сам думаю: мать придет, скандал будет.) И комок в горле. Чувство его доброты, глупости и сознательного неприятия этого. Он дурак, но я себе в этом не признаю. Это чувство — как у отца по отношению к ползающему несмышленому сыну восьмимесячному. Так как-то. И вокруг такой колючий мир. Безотцовщина.

30. Примечание к № 9.

Ну какой же ты Иванов, сам подумай!

Меня вызывают к какому-то начальнику и давай молча руку щупать. Один другому:

— Да, рука хорошая.

А другой кивает. И мне:

— Вы посидите пока в коридоре, вас вызовут.

А коридор длинный, тусклый, бесконечной щелью уходящий вверх и с издевательно приземистыми лавочками вдоль стен. Потом, минут через сорок:

— Одинок, зайдите... — И там: — Мы у вас хотим руку отрезать.

Я в первый момент даже не понимаю и машинально:

— Зачем?

Сидящий за столом многозначительно переглядывается с другим, у окна, и конфиденциально так:

— Мы могли бы не информировать, но мы вам доверяем. Дело в том, что вашу руку пришьют уважаемому человеку. Ему надо. (И называется страшная фамилия, кому именно.)

— А может быть, не надо?

— Надо!

— Но ведь мне тоже она... того... нужна.

— А зачем?

— Ну так... понадобится.

— А зачем понадобится?

— Ну, в магазин ходить, сумку нести.

— Так ведь у вас одна рука останется, в ней и несите.

— А одной тяжело, и потом, две сумки может быть.

— И что, часто вы так в магазин ходите, «с двумя сумками»?

— Да нет, но все-таки...

А сам уже чувствую, что это не то все, что жалкие оправдания какие-то. Что я не прав. Люди мне одолжение оказывают. У них серьезное дело, а я с сумкой какой-то. И чего я вру, не хожу я в магазины эти.

И я уже нехороший и так под конец как гад «права качаю». А они:

— Что же, можете жаловаться. Это ваше право. Подавайте апелляцию в течение двух недель.

И я две недели бегаю по жутким коридорам. Да не бегаю — сижу. Сажу часами, часами. Меня вызывают в разные кабинеты, я там что-то униженно бубню, бубню. Меня уже называют все на «ты», потом переходят на «он». Я «спасаю руку», и так это все нехорошо, страшно. Этого растерянного ужаса западному человеку никогда не понять. Ведь он уверен, что он — это он. И ему сама идея доказательства себя просто не может прийти в голову.

36. Примечание к № 30.

Меня уже называют все на «ты», потом переходят на «он».

Когда в рожу бросают украинское «ты», это еще ничего. Вот когда говорят в лицо «он»... Заходит коллега к следователю стрелнуть сигарету, а тот большим пальцем через плечо: «Вот, возжусь с ним». А «он» висит на крюке вверх ногами и сквозь шум заливающегося кровью перевернутого мира слышит это.

65. Примечание к № 61.

«Молдавские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки» (Н. Гоголь).

Отец играл на мандолине; немного говорил по-испански и по-итальянски. Любил петь арию мистера Икс:

Да, я шут, я циркач.
Так что же...

Однажды он с «ребятами» ел на кухне уху под водку. Одну тарелку кто-то не доел, и туда кости бросали и бычки. Потом ребята ушли, а отец на кухне остался и стал есть из этой тарелки. Долго, смачно обсасывая кости, вылавливая ложкой и тщательно пережевывая разбухшие окурки. Я в ужасе тянул его от стола, а отец спутанно сопротивлялся, невнятно шипел: «Пошшел отсюда, ни-чтож-жес-ство».

104. Примечание к № 22.

Годам к двенадцати я уже точно знал: мой отец дурак. Впрочем, это скорее было не знанием, а интуитивным ощущением...

Первое ощущение отца: мой отец — отец. Я играю его тяжелой рукой, целую ее, кладу себе на голову, глажу ею себя. А он делает вид, что не замечает и что его рука не его, а так, «никакая». Чувство уюта: я мою с отцом руки. Умывальник леечкой, холодные игольчатые струи, здоровый запах дешевого, но не грубого мыла. У отца руки большие-большие, черные-черные. (Он их специально перед этим незаметно от меня мазал куском угля.) И он их моет-моет-моет, преувеличенно трет друг о дружку и смеется: «Отличнейше». И руки становятся розовые, добрые. Это называется «папа пришел с работы» и «ужин». Мыть руки — праздник. И еда — праздник. Больше всего я любил вареный лук, морковь в супе и сырые яйца. Отец знал, что это невкусно, и специально воспитал у меня вкус к этим малосъедобным вещам. «М-м, какая прелесть. Яичко сырое». И высасывал его, закатив глаза: «Ат-глич-нейше!» (Любимое вообще слово.) «Папочка, я тоже хочу!» А суп, макароны, яблоки ел нехотя (худой, малокровный). Отцу обыгрывать вполне съедобные вещи было неинтересно. Негде развернуться художеству.

Отец умел делать подарки. Пожалуй, единственное чувство абсолютного счастья: мне девять лет. Я просыпаюсь. Солнечное утро. У меня сегодня день рождения. Встаю и иду в одних трусиках босиком по нагретому солнцем паркету. И вдруг на столе в косых солнечных лучах целый парад (штук двадцать) новеньких золотистых солдатиков. Восторг, удивление и какое-то растворение в солнечном свете. Из другой комнаты голос: «Увидел». Я бегу туда, а там папа с мамой сидят и смеются. Последний уточняющий вопрос: «Это мое?! Это совсем мне?!» — «Ну конечно». — «А-а-а-а!!!» Ни до, ни после я не испытывал такого восторга. Сейчас вспоминаю, как еще за месяц отец все приставал показать солдатиков. Я показывал, объяснял. Он долго вертел их, взвешивал на руках. «Да, хорошие. Но маловато». — «Да нет, вон сколько». — «Не-ет, голубчик, маловато. И обтрепанные все, у этого вон и рука отвалилась». — «Да нет же, хорошие, это случайно, я его обменяю». — «Нет, солдатик у тебя хорошие, да мало их. В солдатки когда играешь, нужно много, чтобы целое сражение получилось. Потом, и форма у всех одинаковая». И раз пять так подготавливал. Уже купил и подготавливал.

Отец умудрился дать мне абсолютно асексуальное воспитание. Он никогда не ругался и говорил даже не «врешь», а «сочиняешь». Максимально допустимым ругательством в семье было «кретин» или там «пигмей». (Мать иногда ругалась «при детях», и отец из-за этого ужасно переживал.) При этом семейный быт был непоправимо испорчен в самой своей основе его пьянством, мягко говоря, «неуравновешенностью» матери и полубарачной-полумещанской обстановкой во дворе и школе. Я жил в смешанном и смешном мире...

Но по своей самой-самой ранней, самой бессловесной сути все-таки мир был строен и радостен. Забыто радостен. Вот восполняющее и искупающее дополнение к теме катка. Я совсем маленький, бегу с отцом на Патриаршие пруды, мы кубарем скатываемся на только что замерзший лед. Никого вокруг нет, каток еще не открыт. Вечер. И вдруг включили Чайковского. Мы катаемся

в валенках по льду. Это перед Новым годом. Вот, осмелев, каток заполняют люди. Музыка звучит, звучит. Это счастье.

Все потом разрослось вкривь и вкось. Но сам мир был благостен, добр и взаимно доверчив.

140. Примечание к № 64.

Сны, часто удивительные.

Сон: одна из последних летних ночей в центре Москвы, у Патриарших прудов, где я жил в детстве. Звезды, и мы с отцом стоим на какой-то маленькой, прямо-таки игрушечной колоколенке. Отец большой, он улыбается и говорит что-то хорошее. И я знаю, что отец — это Розанов. Чувство счастья, того, что что-то, неизвестно что, но все получилось. Все хорошо, мир целен, и отец жив. Это приснилось, когда я стал записывать сны. Один из немногих счастливых снов. Но я на него не обратил внимания. Символика показалась слишком грубой. Я подумал — видно, это вторичное вторжение рассудка. Бывают такие слиш-ком символические сны. Разум шалит, выдумывает сновидения. Это сны поверхностные, ненастоящие.

А года через два я сидел в своем старом дворе с родственником, и зашел разговор об истории этих мест. Он и говорит: «Знаешь, тут ведь раньше кладбище было. Его в 30-х уничтожили, и остались вот каштаны и еще там, в углу двора, стояла маленькая часовенка. Ты помнишь, наверно. Ее разломали, когда тебе лет пять было». И я вспомнил. Все сразу выстроилось, и сон как бы сбился. Он что-то еще потом долго говорил, но я уже не слушал. Я вспомнил, что действительно мы с отцом залезали на эту часовню зимой — для меня это была игрушка, сказка. Да, это было зимой, кажется, а точно уже не вспомнить. Во сне я вспомнил по-другому. Так же чисто, но глубже, по-взрослому.

147. Примечание к № 103.

Да потому, что ты ничтожество.

Фраза из романа Набокова, не знаю почему залетевшая в мозг и кружащаяся там ненужной бабочкой:

«Была та очень банальная, очень человеческая смесь далекой музыки и лунных лучей, которая так действует на всякую душу».

Я тут как бы «мужчина». Иду к стойке бара, развязно покупаю пачку сигарет. И кажется, все смотрят на меня: «Вот мы как — сигареты!» А я возвращаюсь на свое место и вдруг посылка выскользывает и со всего маху грох спиной об пол (больно!), а сигареты выскальзывают из пачки фонтаном, фейерверком. И вот я лезу под столик, собираю противные табачные палочки, а вокруг истерика смеха.

У подъезда нашего дома дрались пьяные, и одному голову бутылкой с «БФ» пробили. Клей по голове растекся вместе с кровью, и алкаш подумал, что умирает. И стал зачем-то из карманов сигареты вытряхивать. И много, штук сто. Отец увидел (экономия!) и побежал вниз собирать в пакетик. Дерущиеся вернулись по спирали на прежнее место, набегавшись по этажам, и отцу вломили под горячую руку... А было время, отец учился в консерватории, у него был чудесный, необыкновенный голос.

Почему же так получается: что я ни делаю, все не так, все смешно? И сам я это вполне понимаю. Начал писать о русской философии, с чем шел-то, поступью какой, ну а в результате мысль разъехалась, вылез откуда-то пьяный отец на санках, и закружилась карусель...

А я детей люблю и, может быть, самой судьбой создан для семейной, размеренной жизни. Но я никогда и не мечтал о нормальной семье, всегда знал, что не дойдет и до той стадии, когда жене подруга скажет: «Ну ты, вообще, нашла себе... Он же дурак». Это уже счастье было бы, если бы я мог завести события столь далеко, до такой стадии. На самом деле все разрушается гораздо раньше, в самом начале. События меня заводят и бросают. На мне лежит какая-то печать небытия. Я никогда не мог ровно и нормально общаться с окружающими. Мало того что меня не любят — меня не понимают совсем. А если начинают понимать, а то и любить потихоньку, то с этими людьми начинают происходить разные истории, и они все время как-то связаны со мной. Я боролся, пытался объяс-

нить — никто не понимает. Никто не понимает, что происходит со мной. Я схожу с ума, а никто не видит, не замечает. И спасти меня нельзя.

А ведь я способный. Как отец. Отец жил в очень отчетливое время. У него, студента, остались однажды деньги или на билет трамвайный, или на пирожок с капустой. Отец выбрал пирожок. В трамвае его задержал контролер, он опоздал на экзамен. Стал кричать, доказывать. Из консерватории его выгнали. Примерно в это же время отец потерял голос. Пел в электричке, простудился. Спел песенку, съел пирожок... Не в этом дело, конечно. Умный-то я умный, только задним умом. Потом поворот, еще поворот реальности, и она раскрывается: вот как надо. И все сильно, точно, ясно. Только ушла электричка, и только в воздухе тает дурацкая опереточная песенка.

Вот и книга эта. Что она вызовет? Три-четыре смешные истории. Возможно, одну страшную (руку вывернули с корнем). И все. Зачем же это все?

Контакты с окружающим миром у меня безнадежно испорчены. Они частью порваны, частью забиты паразитными издевательскими псевдиалогами. Я общаюсь не с другими, а с самим собой. Пожалуй, даже и не знаю — есть ли они, «другие».

Эта книга — мучительная попытка пробиться к людям через пустоту моего «я» — обернется в реальность комариным писком. Самое благородное в моем положении — это покончить с собой. Итак, что меня спасает? Собственное неблагородство. Если бы я не пихал головой в живот какого-нибудь Владимира Сергеевича Соловьева, не имеющего ко мне никакого отношения, давно бы болтаюсь мне в пролете моста. На чем держится моя жизнь? — на оговорке.

Почему я все так «Розанов», «Розанов» — он бы простил меня, что я есть. Соловьев, у-у, будь его современником, я бы Бога молил, чтобы на глаза ему не попасться. Он бы так сделал, что сама моя фамилия превратилась бы в ругательство. А Розанов бы сказал: «Ну чего ты, Одинокое, живи. Ведь ничего изменить нельзя. Ты знаешь, что ты есть и так будет, ты будешь, пока не умрешь. И все». И мне бы стало так легко. Обреченно и легко.

152. Примечание к № 104.

У отца руки большие-большие, черные-черные. (Он их специально перед этим незаметно от меня мазал куском угля.)

Сколько ни помню отца, всё у него подчинялось какой-то искаженной, ходящей конем логике. Мне было семь лет, отец устроился художником в пионерский лагерь, я жил «при нем». Однажды сижу в пустой столовой и ем борщ. А напротив отец в «ат-тличнейшем» состоянии. Смотрит, как я ем. И вдруг рука отца высовывается с пальцем, свернутым улиткой, и шелк — улитка стремительно распрямляется. У меня из глаз посыпались искры, а потом — слезы. Передо мной стоит огромная тарелка красного борща, и в нее капают слезы. Повариха, рядом сидевшая, так и взвилась: «Ну чего, дурак пьяный, над ребенком куражишься! Совсем, что ли, в голову ударило!» Я, как всегда, отца бросился защищать: «Мой папочка хороший, вы не понимаете, он шутит!» Повариха зачем-то стала вытирать глаза, а потом ушла куда-то и вынесла мне печенья, леденцов и два стакана компота из сухофруктов. Я ем, а отец: «Ну что, сынок, конфеты-то вкусные?»

По его мысли, по мысли эпохи, к которой он принадлежал, проблема «слезинки ребенка» решалась просто. Компот из сухофруктов слезинку на весах революции явно перетягивал. А я сейчас забыл и вкус весело крошащихся во рту леденцов, и сладкую кашу макаемого в компот печенья. Помню это вообще, по ассоциации. А вот красное корытце борща с падающими туда горячими прозрачными каплями, и тупая боль в макушке, и недоуменно-мучительный поиск оправдания: за что? что же я такого сделал? А ведь «сделал», просто так не может же быть щелбан-молоток... Компот не ответил на вопрос, а лишь отвлек его. Ответ сложился через десятилетия. И вот сейчас я, достойный сын своего отца, протягиваю руку через толщу времени и металлической пружины распрямляю палец в щелчке. И глаза отца вываливаются в борщ, и мозг брызжет из окровавленных глазниц. Отец по-детски прислоняет к черным впадинам тыльные стороны ладоней и слепо плачет.

Отец очень любил меня, но любовь эта была эгоистической и из-за его нелинейно-шахматного ума причиняла страдания. Доброта отца сочеталась с

какой-то органической неспособностью проникнуть в чужой мир, понять его. Позицию, форму он понимал блестяще — к сути был глух. Постоянное стремление к контакту и абсолютное непонимание и неуважение внутренней сути собеседника. Поэтому все его шипки были с вывертом. Этой вывернутости способствовало и его художество. Разрушающее влияние было гораздо хуже простого избиения. Одно из самых страшных впечатлений детства: ехал в метро с отцом из гостей, и его там развезло. Он сел в поезд, проезжал одну остановку, вышел, сел в противоположную сторону, проезжал две остановки и снова сел в обратный поезд. Это продолжалось около часа, и в моем представлении я с отцом попал в какой-то страшный, гудящий лабиринт, из которого надо выбираться целый день. Я чувствовал, что меня затягивает с отцом в какой-то страшный воющий туннель, откуда нет возврата. Возврат в отца, а разум его погас. И мне надо его спасти (вообще тема «спасения» одна из основных в моем дорассудочном периоде). Я специально плакал. Расчет был уже довольно тонкий. Какая-нибудь старушка сжалится и проведет до дому. Так и получилось. Название метро я знал, а уж от метро на трамвае — пара пустяков. Бабка довезла. А когда мы вышли из трамвая, отец вдруг как-то «случайно» протрезвел и домой пришел почти совсем трезвый. А тут тоже гости, все смеются, и никто не понимает, что я чуть не умер, я хочу объяснить гостям, а никто ничего не понимает, и всем весело. И я уже тоже смеюсь, мне уже легко и хорошо. (Какой все-таки запас жизненной энергии был.)

А вот отец приходит привычно пьяный, небритый, но непривычно тихий, со страшными, безумными глазами. Садится в уголке на стул и беззвучно плачет: «Я маму сейчас видел». Дело ясное. Маму задавил трамвай. Он ее увидел и пришел. Волосы поднялись на голове. Хожу по комнате ни жив ни мертв. Думаю, куда сестру деть. Скоро приходит мать. Оказалось, отец видел старушку, похожую на умершую три года назад бабушку.

Или отец начинает хотогать и бить посуду. Лампочки у нас были слабые-слабые («экономия»), стояла какая-то мгла. И вот отец хохочет и бьет, бьет. За чашкой чашку, за тарелкой тарелку. А сестренка плачет. И свет все гаснет, гаснет. Черные прямоугольники незанавешенного окна густеют, густеют, притягивают своей чернильной беззвездной пустотой. А отец смеется, смеется... Отец — это не просто дурак. Отец-дурак — это счастье. А вот не хотите ли отца-и д о т а .

Не понимаю, что он давно растратил капитал моего доверия и своего авторитета, отец, которому вообще было свойственно резонерство и абстрактное мышление, периодически начинал заниматься моим воспитанием. Из-за своего художества его педагогическая практика была очень эффективна. Эффективна в том смысле, что он коверкал и разрушал те части моего «я», которые еще сохранялись после стихийно-естественного контакта. Однажды, в воскресенье, он картонно, выделанно вынес на негнущихся руках мой пиджачок, театральным жестом залез в его карман и вытащил листок бумаги. Матери: «Вот посмотри, чем наш сын занимается вместо уроков». На листке была изображена обнаженная женщина. Я ее изгиб бедер свел под копирку из старой книги. Не знаю, что мерещилось отцу во столь легко объясняемом Фрейдом запале. Возможно, даже буколический разговор по душам, под самовар и пряники. (Напомню, что до этого момента сексуальная тема была под строгим запретом.) На деле это вылилось в то, что я впервые набросился на отца с кулаками, пытаясь вырвать злополучный листок, отец же, сторбившись и хихикнув, отскочил в сторону, поскакал на кухню. Я хотел умереть. Вечером он уже, развалясь у телефона, обзванивал «ребят», добавлял: «Мой-то, из молодых да ранний». Мать (злая, стирала) уточнила: «Вместо уроков баб голых рисует, мудака». Отец поправил: «Ну, ты не очень-то... выражайся. Тут вообще дело-то серьезное. С ним сестру нельзя оставлять. От него в этом возрасте всего ожидать можно».

Развалясь, в свою очередь, в своем настоящем и скорбно-благодарно смотря в уходящую реальность, я думаю, что именно этот эпизод, вобрав в себя деструктивные усилия отца, уже окончательно и бесповоротно нарушил наши отношения, с одной стороны, и так же окончательно и бесповоротно нарушил и мое собственное существование в последующие годы. Возьмем маленькую, только что родившуюся елочку и отрежем ей маникюрными ножницами верхушку. Нормального дерева уже не получится. Или росток вообще засохнет, или ель вырастет кривая. И наоборот, у взрослого стройного дерева можно отламывать гигантские ветки — и ничего не изменится. Оно будет таким же прямым и, может

быть, даже похорошеет. Отец взял ножницы и чик-чик — отрезал сексуальный сектор моего мира. Момент был выбран исключительно удачно. Раньше эротическое чувство еще не пробудилось, и уничтожить было нечего. А годом-двумя позже дефект был бы исправлен силами природными.

У отца была звериная потребность проникнуть в душу чужого человека и разворошить ее, разломать. Проистекало это не от чувства злобы (злобы не было, только озлобленность), а от какого-то наивного и холодно-инфантильного любопытства. Родственница тринадцатилетней девочкой начала писать интимный дневник. На следующий день, придя из школы, она услышала голос своего дяди (отца), который вслух, с выражением читал под обший пьяный хохот найденный дневник. Она хотела повеситься. В уборной. Я ее вполне понимаю. Нет, не совсем. Этот последний ужас, эстетика выкрашенных в зеленый цвет стен, тусклая лампочка... С чего началась жизнь этой девушки, к счастью, шотом довольно удачливой.

Как и все эгоисты, отец был сентиментален. Иногда дома раскладывал картины умершего брата-художника, долго смотрел и плакал. Чувство у меня — сердце на ниточке, а по нему неканифоленным смычком водят. «Пап, ты, это, убирай...» — «Эх вы-ы, замолчите. Что вы понимаете».

Дядя умер в пятьдесят шесть лет, нелепо, от грубейшей ошибки врача, у отца на руках. Он после этого чуть не сошел с ума. Ходил в больницу, носил ему гостинцы. И брал меня с собой. Ему казалось, что а вдруг он не умер, вдруг в больнице где-то затерялся. Говорил с умершим по телефону. Это был какой-то истерический бунт против реальности. Тоже эгоистическое «я хочу!». Потом это прошло.

164. Примечание к № 152.

Компот из сухофруктов слезинку на весах революции явно перетягивал.

Отец как-то, чтобы проверить мои «умственные способности» (всегда «проверял» и «развивал»), предложил мне на выбор потертые 20 копеек или три блестящих новеньких пятака. Я выбрал пятаки. Отец не понимал, что не компот важен, особенно для меня. Я уже тогда морализировал, был ригористом. Протестантом. Я ответил как урок, как лучше. Лучше взять не 20 копеек, а 15. Оставить родителям «на хозяйство». Я думал, что и отец так думает. Но он жил совсем в иной системе. Огорчился: «Ну как же так, вот же $5 + 5 + 5$ будет 15. А $20 - 5 = 15$. Тут на пять копеек больше». И в голосе жалость, что я дурак. А я гордо (нет, не обманешь): «Надо экономить. Нам и так денег не хватает.— И наивно добавил: — Сейчас водка подорожала». Отец покраснел.

Та же ошибка в случае с рисунком. Объяснение отца было максимально материалистическим: «Свел под копирку, чтобы в школе показывать, там его поймают, будет скандал». Но все было совсем не так. Я сам не знал, зачем я свел этот рисунок. Меня какой-то чертик толкнул. Для своего возраста я был очень невинен и хотя знал сексуальную подоплеку жизни, но «вообще». У меня ничего «такого» и в мыслях не было. Просто бродили смутные чувства, было как-то скучно. Дома никого не было. Я рассматривал книгу, и вдруг меня этот рисунок взволновал. Я не знал, что делать (а что-то надо было, я чувствовал), и я срисовал его. Это было так странно приятно. А потом спрятал в карман и напрочь забыл. Какая-то микроскопическая затравка «личной жизни», что-то свое, интимное, которое надо ото всех прятать. Потом бы этот кристаллик рос и все было бы хорошо. А его выловили из питательного раствора. И больше-то ничего там не было. Все, что было,— взяли. Только я подшил в свое дело первый лист, как его вырвали и выбросили в корзину для бумаг. Единственный раз в жизни я взял 20 копеек. И то даже не 20, а так, 17 примерно. Ибо что же я срисовал? Фигуру из антропометрической таблицы в начале первого тома «Человека» Ранке.

172. Примечание к № 164.

Отец... мои «умственные способности» всегда «проверял» и «развивал»...

В интеллектуальном плане отец меня конечно превосходил и давил.

— А знаешь, Петр Первый как железную дорогу между Москвой и Петербургом строил? Взял карту и по линейке прямую — р-раз! «На вершок в сторону — повешу». И вот видишь, сейчас около Бологова на карте изгиб. У

царя палец выступал за край линейки, и он его случайно карандашом обвел, когда чертил.

Что не Петр I, я сразу поправил. Отец удовлетворенно кивнул: «Да, ошибся, Николай». Но я чувствовал, что собака не здесь зарыта. И не в силах разгадать (а притча была рассказана в связи с каким-то уже забывшимся сейчас происшествием), по-азиатски злился:

— Ну и что? Чепуха какая-то. Кому это надо? Палец какой-то.

А отец, невинно улыбаясь:

— Ну как же. Зная масштаб карты, можно вычислить масштаб Николая Первого.

Я не понял и кричал:

— Ерунда, рост, что ли, неизвестен? И зачем рост Николая нужен? Нужны факты исторические, а не курьезы.

И чувствовал, что что-то не так.

В таком возрасте (подростковом) человек не способен к символическому и ассоциативному мышлению, и отец постоянно намекал на какую-то мою неспособность. А в чем она, я понять не мог. С тех пор чувство собственной ограниченности и непрекращающегося контакта с какой-то злорадной силой, водящей меня за нос.

180. Примечание к № 152.

«От него в этом возрасте всего ожидать можно».

Отец потом меня доводил. Скажем, по телевизору оперетту какую-нибудь показывают, а он: «Ну-ка иди сюда. Смотри, девочки какие, ты же любишь». И за руку к себе в комнату шуточно тянет. Я, пунцово-красный, упираюсь. Когда гости были, он комментировал вполголоса: «Стесняется».

Все это было не так уж часто, но повторялось и вызывало ощущение опустошающего унижения. Возможно, таким образом отец хотел начать мое сексуальное воспитание. Но переход от полной асексуальности был нелеп, и получалось еще хуже.

190. Примечание к № 147.

...алкаш подумал, что умирает. И стал зачем-то из карманов сигареты вытряхивать.

Когда отца парализовало, он стал дома негнушимися пальцами на стол выкладывать смятые рубли, трешки и карточки спортлото. У отца была мечта: выиграть в спортлото десять тысяч. Все стены в квартире были завешены графиками и таблицами — сотни, тысячи разноцветных цифр. В спортлото это я не верил, но занятия отца считал серьезными. Еще был доволен, что отец из-за этого пьет меньше. Сидит всю ночь напролет, курит, роется в толстых тетрадях, что-то подсчитывает, чертит по линейке. Сейчас, насколько я могу судить, система отца представляется мне добротной, крепкой астрологией. У него было несколько астрологических таблиц, в пересечении которых и таились заветные числа. Замах был широкий — от использования (уж не знаю какого) методов математической логики (он читал книги по теории множеств) до создания некоторой филологической сетки для уловления цифровых ритмов. Для этого он буквенные обозначения цифр складывал в слова и пытался составить из них осмысленные двустишия. Помню одно, у него в тетрадке прочел:

Люблю икру разную,
Черную да красную.

Я хохотал, отец тоже смеялся. А когда лежал в больнице, мать ему носила икру и говорила: «Ну, вот тебе разная, черная да красная».

Каждый тираж отец покупал две карточки и говорил:

— Это я только так, балуюсь. Мне пока материал собрать надо. Вот когда я серьезно начну играть... А так это пока прикидка. У меня все на самокупаемости. Сколько выигрываю, столько трачу. А есть люди — по пятьсот карточек покупают.

Отец выигрывал от трех до четырех номеров, но подозреваю, что он их просто перекупал с рук у кассы для «реноме».

Уже больной, он подвел итог. По самому умеренному раскладу за десять лет он эти мистические десять тысяч и пропил.

Розанов всю жизнь отца моего гранитной глыбой придавил:

«В России вся собственность выросла из «выпросил», или «подарил», или кого-нибудь «обобрал». Труда собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается».

Отменно!

И другой поворот вологодского гения. Он писал о своем несчастном детстве:

«Огород большой. Парники... Отчего бы не жить. И развалилось все. В проклятиях. Отчаянии. Отчего? Не было гармонии. Где? В доме. Так «в доме», а не — «в обществе», до которого ни нам не дотянуться, ни ему до нас не дотянуться. Как же вы меня убедите в правоте Лассалья и Маркса? И кто нас «притеснял»? Да мы были свободны, как галки в поле...»

Как ни посмотрю на прошлую жизнь — действительно, отчего бы и не жить? Отец и мать зарабатывали по советским меркам неплохо, отец мог еще подзарабатывать чертежником. Денег бы хватило. И машину бы купили, ездили к морю. И участок дачный у нас был. Мы бы могли там домик отстроить и отдыхать. Все было бы хорошо хотя бы на таком материальном уровне. И отец мог бы жить и вот сейчас читать все это через мое плечо. Я как подумаю об этом — все внутри сжимается от боли.

Но ведь и я сам такой же, так же транжирю жизнь. Сажу по ночам и составляю гороскопы. А жизнь проходит, проходит. Проходит нелепо, дурашливо. «Это я только так, балуюсь. Вот потом я начну серьезно». А когда «потом»?

191. Примечание к № 164.

Только я подшил в свое дело первый лист, как его вырвали и выбросили в корзину для бумаг.

Сопоставить мой «рисунок» с Гумбертом в «Лолите». Там любовь, страсть, нимфетка, лежащая на золотистом песке (с чего началось гумбертовское отклонение от нормы). Здесь — какое-то гнусное канцелярское происшествие. С «документом» и «дознанием». И ведь если было бы хоть что-нибудь. Если бы я, например, целовался тогда с соседской девочкой или доставал порнографические открытки (а то и чего «похлестче»). Ведь, в сущности, это же ничто. Это даже не интересно. И я бы никогда не поверил, не приключись это со мной, что столь малозначительное событие может привести к столь разрушительным последствиям. Тут дело не только в удивительно точно подобранном времени, но и в талантливом исполнении. Если бы не талант отца унижать...

В детстве я все просил отца сводить меня в кино. А он говорил — что бы вы думали? Махал рукой: «Да будет это у тебя еще в жизни, будет. Насмотришься!» Я и замолкал, не зная, что ответить. Так и не посмотрел многие фильмы. А сейчас уже неинтересно — старые, детские. Тогда не посмотрел, а теперь поезд ушел. И любовь. Молодость прошла. А отец все выходит из кухни и машет рукой: «Да будет это еще, будет!» Эта интонация и жест у меня остались точно такие же. И кажется, отец подходит ко мне в последний раз, хочет обнять трясущимися руками, а я отталкиваю его и машу: «Да ладно, пап, будет это еще, будет. Напрощаешься».

195. Примечание к № 152.

У отца была звериная потребность проникнуть в душу чужого человека и разворочить ее, разломать.

Чехов писал:

«У животных постоянное стремление раскрыть тайну (найти гнездо), отсюда у людей уважение к чужой тайне как борьба с животным инстинктом!»

И еще:

«Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна».

Отец был неудачником. Неудавшейся личностью. И поэтому постоянно ворошил чужие муравейники, коверкал чужие миры. Для него удавшихся личностей, может быть, и не существовало вовсе. И главная жертва — я. Но отец был все же неудавшейся личностью. И прекрасно понимал, что такое личностное начало. И во мне, своем сыне, всячески его развивал. Уничтожал и развивал. Играл. Как кошка с мышью, играл со мной отец. Он ушел, а я, его гениальная шутка, остался. И зачем-то живу.

215. Примечание к № 152.

Дядя умер в пятьдесят шесть лет, нелепо, от грубейшей ошибки врача...

У него было зауядное воспаление легких, а лечили его от инфаркта (зато бесплатно!). Дядя всю жизнь жил «ложным генералом». Рисовал для души (так себе), а подзарабатывал, снимаясь статистом в кинофильмах. Чаще всего ему доверяли играть попов (нравились длинные волосы, борода). Играл попа в фильме «Сердце матери», снимавшемся какими-то евреями по сценарию бывшего политрука детской колонии, полковника МГБ в отставке Зои Воскресенской (Рыбкиной). Ему дали десять рублей, и он, внук потомственного священника, играл. А воспаление легких схватил, играя скомороха на массовке «Царя Салтана». Он умер уже, а фильм только вышел. Я смотрел в кино, а отец говорил: «Вот видишь, вон там — это дядя Георгий». И действительно, было видно благородное дядино лицо, совсем без грима. И дядя по снегу плясал, а отец в темноте плакал.

Как жил, так и умер — от ошибки, от опечатки. «Чихнули на лысину». Но в гробу лежала не опечатка. Я смотрю на фотографии его похорон, и у меня руки дрожат. Мистика. Все живые — актеры (и конечно, больше всего отец, застывший у гроба в парадно-скорбной позе: легкая сгорбленность, брови домиком, опущенные уголки губ — хотя переживал действительно очень глубоко). А дядя мертвый — настоящий, подлинный. Это даже не «святые мощи», а мощь святости, жизни. Конечно, это не смерть. И вот если на фото это видно, то какое же сияние шло от его лица-лика тогда, на зимнем подмосковном кладбище? Потом рассказывали, что к гробу подходила масса незнакомых людей, все заглядывали, как во сне смотрели в засыпанный цветами гроб. «Кого хоронят?» — «Говорят, священника». — «Кого?» — «Митрополита».

225. Примечание к № 207.

Я притворяюсь немцем.

Как-то я поехал с отцом на дачу. Мы сошли с перрона подмосковной станции и вдруг наткнулись на столик с книжной лотереей. Отец говорит: «Ну, давай тяни». А сам отвел продавца в сторону и о чем-то стал с ним шептаться. Я вытащил билет, а отец сразу взял и развернул. «Ого, выиграл! Легкая рука! Ну, давай книги выбирай какие хочешь. Вот, кстати, смотри-ка, немецкий словарь лежит. Какое совпадение. Ты же во второй класс идешь, как раз немецкий начнется. (Я учился в спецшколе.) Здорово! Удачно, хорошо успели, словаря-то один экземпляр всего остался. Весь раскупили. Вещь редкая, полезная». Я сиял, счастливый. Но хотелось посмотреть на счастливый документ, подержать в руках. Отец не давал, дразнил. Но наконец дал, и я с трудом, с запинкой прочитал витиеватые буквы: «Без выигрыша». Почему? Ошибка? Отец: «Соображать надо — на внешней стороне написано, специально чтобы не догадаться». Скомкал билетик, выбросил по ветру. Я поверил.

Про билет я догадался в шестнадцать лет. Про словарь в двадцать шесть. А сейчас думаю: не выдумал ли отец и продавца?

Может быть, и отца кто-нибудь выдумал, а?

228. Примечание к № 152.

Это был какой-то истерический бунт против реальности. Тоже эгонистическое «я хочу!». Потом это прошло.

Потом отец умер. Умирал он долго, но интересно. В общей сложности процесс длился около двух лет. Осуществление Замысла происходило поэтапно.

I этап: Подготовка.

Отец заболел, когда я пошел в девятый класс. «Так... ничего особенного, но вот анализы у вас странные какие-то. Надо лечь, обследоваться». Преувеличенная беззаботность врача, попав в вывернутое логическое поле отца, конечно трансформировалась в прямую и страшную угрозу. Отец же еще более беззаботно и весело согласился со следователем: «Да, конечно, недурственно было бы месячишко в больнице полежать». В больнице же ночью пробрался в кабинет главврача и нашел свою историю болезни. Это надо видеть: ночь, холодный пот, ужас, замирающие шаги босиком по зеленоватому линолеуму, скрип дверцы шкафа... И вдруг — облегчение, невесомость. И вот уже безжизненный серебристый свет луны становится теплым и мягким, а казенный идиотизм больничного интерьера — слепые лампочки и бесконечные коридоры — наполняется осмысленностью и целеустремленностью. Бедный отец и не догадывался о накале злорадства! Ведь рядом с простодушно открытым шкафом был маленький сейф. И в этом скромном сейфе хранились настоящие истории болезней. Раковые. А отец согласился на тяжелую и опасную операцию, будучи уверен, что это ключ к спасению, к иной, совсем другой, настоящей и окончательной жизни. Я помню его перед операцией, странно похудевшего и посерьезневшего. Он все ходил вперед и назад по комнате, о чем-то говорил. Как это ни удивительно, но выныривание из алкогольного дурмана было настолько благоприятно, что отец выглядел моложе и здоровее обычного. Ему сделали операцию...

Чехов и Толстой, верные канонам реализма, на этом бы и закончили свое повествование. Но национальная идея, цинично породившая такой законченный реализм-обыкновенизм, должна, конечно, осуществляться в реальности совершенно по другим принципам. Отец не умер на операционном столе, а, наоборот, выздоровел. Последняя версия тоже вполне укладывается в рамки обыденного ничегонепроисхождизма. Надо только для закругления рассказа привинтить «моральное обновление». Таковое и было привинчено. «Со времени операции прошло полгода, и отец, совершенно изменившийся, нашедший некоторую гармонию в искупительном смысле своего уже трезвого существования, жил. Отношения в семье, казалось бы непоправимо разрушенные, обрели вдруг вторую жизнь». Однако в квартире где-то в шкафу была засунута, накрепко запрятана «его справка». Та, настоящая, с колдовским кабалистическим смыслом.

II этап: Ломка.

Душа отца была предварительно очищена превентивным, но еще не смертельным страданием. Ветви нервов были сначала опущены в укрепляющий и омолаживающий раствор, чтобы окончательное мучение было незамутненным и абсолютным.

Сестренка — девять лет, лето, ей нечего делать — полезла в шкаф и совершенно случайно — конечно же случайно, конечно же случайно эта случайность случайна — дала «своему папочке» справку-то: «Пап, а пап, это твоя справка? Вот тут лежала, я нашла».

И с этого дня жизнь, скатывающаяся уже под откос, пошла вниз быстро, почти отвесно. Отец сначала пробовал сопротивляться. Шанс еще был. По сценарию на осмысление было дано месяца два. В конце же августа он пошел с сестрой гулять и долго не приходил. Пришел только к вечеру, пьяный. Нет, не пьяный — так показалось мне, — а разбитый параличом, с заплетающимся языком и бессильно повисшей рукой. Сестра вела его в таком состоянии полтора часа. Он упал на улице, а она растерялась, маленькая, не позвонила домой, не вызвала «скорую», а прохожие думали, что он пьяный. Конечно, это уже фарс.

III этап: Ломка глубокая.

Отца увезли в больницу и думали, что все, конец. Я тоже так думал и уже бессознательно хотел этого, чтобы это кончилось скорей. (Потом несколько лет кошмарные сны: он все возвращается и возвращается, хотя я точно знаю, что он давно умер.) Он вернулся. Станный, с перекашивающим рот нечленораздельным мычанием и неподвижной рукой. Болезнь сорвала с мозга логическую кору и оставила нетронутыми чувства, чтобы в предсмерти отец прочувствовал все уже с идеальной ясностью. Он стал часто плакать. Сидел на стуле плохо выбритый, неряшливый и беззвучно плакал. Ему было жалко меня и особенно сестру. Отец постепенно слабел. Я вижу, как он, виновато улыбаясь углом рта, с трудом передвигает стул. Эта картина и сейчас, спустя многие годы, стоит перед глазами: нескладный, жалкий, полураздавленный отец волочит стул

по полу, а из окна бьет сноп косых солнечных лучей. Какое-то чувство доброты, ласки и абсолютного понимания. Ему все хотелось помогать по дому, быть полезным. Получалось, конечно, наоборот. Однажды решил выжечь тараканов горячей газетой и т. д. При этом он сам вполне понимал свою неловкость и даже опасность. Еще отец целыми днями смотрел телевизор. В телевизоре сломался звук, но он все равно смотрел. Читать он не мог, забыл многие буквы, а просто сидеть или лежать было страшно. У него часто болело сердце. Когда потом вскрыли труп, то оказалось, что был обширный инфаркт.

Рак, паралич, инфаркт, вообще все эти ужасы — подобное нагромождение несчастий с точки зрения литературной выглядит как дешевый сентиментальный роман.

IV этап: Вообще без названия. «День был без числа».

И в третий раз отца увезли в больницу (точнее, даже в четвертый, это уж я «упрошаю»). Умирать. Когда приехала машина, он встал, опираясь о стену, медленно вошел ко мне в комнату. На глазах у него были слезы. Длинные волосы, совершенно седые в пятьдесят два года, были смешно растрепаны. Отец сился улынуться и прошептал (я понял): «Прости». Потом он наклонился — показалось, падает — и поцеловал мне руку. Я в ужасе ее отдернул. Мне все хотелось тогда быть взрослым (или совсем маленьким), «держать себя в руках». Сейчас-то я понимаю, что и я знал, куда он едет, и он знал. И в последней встрече ложь, фарс, никчемность. «Смерть Ивана Ильича».

В больнице, прямо по Зошенко, его долго не принимали — своей смертью он мог испортить график выздоровлений. Он умолял, чтобы приняли, пытался все объяснить, что дети, дочь маленькая, «им страшно будет». Отец лежал там еще два-три месяца. Он совсем устал жить. Медсестрам, которые за ним ухаживали, он целовал руки, говорил, что ничего не надо, зачем, он все равно умрет. Что он старик, заживо гниющая тварь, а они молодые, им надо жить и не видеть этого. Просил он только, чтобы ему сделали укол яда. И не крича, а так тихо, безнадежно, уставившись в пространство. Из последних сил, неслушающимися губами. Сознание не изменило ему до последнего дня. Остался даже схематизм мышления (при поражении левого полушария). Последнее желание его — чтобы перед глазами был будильник. Зачем это? Хотел знать, когда? Заклясть смерть своими милыми цифрами? Узнать «число»?

Фарс, фарс. Если бы я прочел рассказ обо всем этом, то хохотал бы до колик. «Так не бывает», это пародийное нагромождение дешевых «ужастей» и слащавой сентиментальности. Это — лубок.

Перед смертью к отцу в палату пришел священник, и он умер как христианин, причастившись. Его похоронили на Ваганькове...

И вот со смертью отца связано мое пробуждение как личности.

Произошло это незадолго до нашего прощания. Я был в школе. Это время я очень плохо помню. Даже времена года для меня слились в серую монотонную мглу. «Мрак и туман». Большая перемена. В ушах все время гул, вообще оглушение во всем теле, ощущение замедления времени и неестественности бытия. Похоже на гриппозную хандру. Тягучая истома и оцепенение, а внешний мир кажется нарисованным аляповатой и бездарной кистью. И вот в этот день одноклассники в шутку повесили меня за шиворот пиджака на вешалку и стали ее раскачивать. И настолько это все было нереально, что я даже почти не сопротивлялся, когда вешали, а когда повесили, я вообще висел просто и смотрел на них, в сторону. И совершенно ничего не слышал. И мне даже казалось, что я сплю. Во мне не было никакой злобы, стыда, а просто абсолютное неприятие происходящего. Я помню только, что там — а это было внизу, в раздевалке, конечно, — там, внизу, на лавочке сидела маленькая девочка, второклашка, наверно, и она смотрела, как все эти здоровые парни и девки гоготали, и ей было не смешно, а страшно. Ну, не страшно, а «испуганно» как-то. Она почему-то испугалась. И я ей с вешалки улыбнулся. А она как-то оцепенело, разинув рот, смотрела на меня. А потом... Потом я не помню ничего. То есть умом я помню, что, наверно, отцепился как-то, что был звонок на урок и мы все гурьбой пошли в класс. Но представить себе этого я сейчас не могу, как будто и не со мной было. Я пошел на урок, но оглушенность продолжалась. У меня просто не было сил не то чтоб осмыслить, но хотя бы воспринять происходящее. И лишь потом, после смерти отца уже, все эти факты: толпа, вешалка, девочка, умирающий дома отец, — все это слилось в единый неразрывный узел, в символ.

История с вешалкой мучительна. У меня горе, трагедия, а всем наплевать. Неинтересно это. Эта история и комична. Действительно смешно: повесили и раскачивают. Мало того что моя трагедия оставила всех равнодушными. В реальном мире она нашла свое разрешение в форме грубого фарса:

— Это Одинокое.

— Какой Одинокое? У которого отец умирает?

— Нет, которого за шиворот повесили.

Это сочетание порождает нелепость ситуации. Нелепо это.

И вот смерть отца, ее ужас, комизм и нелепость и воплотились навсегда в образе «вешалки»: я, нелепо раскачивающийся посреди толпы школьников.

Здесь произошла идентификация с отцом. Я как бы вобрал в себя его предсмертный опыт. И тем самым выломился, выпал из этого мира. Я понял, что в этом мире я всегда буду ничемным дураком, и все у меня будет из рук валиться, и меня всю жизнь будут раскачивать на вешалке, как раскачивали моего отца.

245. Примечание к № 225.

(Я учился в спецшколе.)

С восьми до семнадцати лет меня бесплатно обучали немецкому языку. Помню, в классе шестом проходили тему «Ленин на охоте». Ильич охотился с шушенским мужиком Сосипатычем. От учеников требовалось «произношение», и Сосипатыча следовало называть Зозипатитш. Это считалось шиком, и за это сразу ставили пять баллов. Я моментально переделал Сосипатыча в Сосилопатыча. Меня наказали. Я еще больше разозлился и стал Сосипатыча называть Сосикувалдычем. Тогда вызвали в школу родителей.

331. Примечание к № 310.

«Другой пришел бы тебя... а он правду из тебя удит и учит тебя» (И. Бабель).

Русский гуманизм в виде графина в детской комнате милиции.

Я умру ведь. В районной больнице, под пьяную ругань нянечек, под идиотски-бравурную музыку «Маяка». И пустая голая лампочка будет в глаза светить.

— Ну-ну-ну, зачем же так преувеличивать? И вовсе ругаться не будут. И радио приглушат. И абажурчик повесят. Пожалуйста, все условия! Умирай — не хочу!..

332. Примечание к № 295.

«Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас, чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз» (О. Мандельштам).

Человек человеку — волк. Ремизов, кажется, добавил: «Человек человеку — бревно». А я думаю, что человек человеку — осьминог. Нечто живое, но совершенно особое, совершенно другое. С другой жизнью. Любая не своя жизнь — другая. Другая планета.

333. Примечание к № 331.

Умирай — не хочу!..

Подростком поехал с дядей (не художником, а другим) на юг. Дядя положил каждое утро выпивать два пакета прокисшего молока. Один — он, один — я. Вечером он ставил пакет на улицу, а утром отвратительно теплое, испортившееся за ночь молоко выпивал. Я твердо, но уже холодея внутри, сказал:

— Не буду.

— Почему?

— Не буду, и все!

— Что значит «не буду», ты объясни по-человечески — почему?

— Не хочу.

— А ты через «не хочу», в охотку.

— Не буду я пить это. Молоко плохое, испорченное. Я никогда раньше не пил.

— Ну вот и начнешь. «От простого к сложному». А потом привыкнешь, сам просить будешь.

Он — упрямый, тупой — три дня меня так пилил. Ровно, лишь иногда чуть-чуть повышая голос. Я стал пить. Прекрасная южная природа, море, облака, звезды — все было залито ежедневным утренним прокисшим молоком, отвратительным, сводящим с ума. «В охотку». Сам вид солнечного утра вызывал приступ тошноты. Через месяц я спасся, приехал домой, а дядя вскоре заработал язву желудка. И я чувствую, знаю, специально для меня заготовлены целые цистерны прокисшего молока. И меня им десятилетиями до одури опаивают. «В охотку».

— Одинок, пляши! Тебе бесплатно подарили валенки из стекловаты!

— Спасибо, но...

— Нет, ты надень, надень. Музыка!

340. Примечание к № 332.

...человек человеку — осьминог.

Представьте реально — говорящее бревно или говорящего волка. Ничего не получится. Будет мешать излишняя абстрактность или излишняя конкретность субъекта. А осьминог в самый раз. Не случайно писатели, начиная с Уэллса, именно его избрали прототипом инопланетян, чужого разума, чужой судьбы. Тут не желание экстравагантности, а чутье писателей на реальность, на правдоподобность.

373. Примечание к № 228.

...к отцу в палату пришел священник, и он умер как христианин, причастившись.

Как же... Попа привел придурковатый родственник. Отец же потом сказал матери:

— Он дурак (родственник). Нехорошо. Как живого в могилу.

Да и что незнакомый священник мог понять в нечленораздельном мычании отца, когда его и родные часто с трудом понимали. «Отец умер как христианин». Как инженер он умер, как советский инженер.

Лет в тринадцать, еще до начала болезни отца, я паясничал, мстя за очердную его несправедливость:

— Да, жизнь твоя, в общем-то, прожита. (Сложь руки на животе, с деланным сочувствием. И далее уже открыто ядовито.) Всю жизнь пропридурился. А теперь, хе-хе, пожалте в мир иной, где ни аванса, ни пивной. В наш советский колумбарий.

Мать: «Как же так говорить! Отец работает на заводе». А отец, деланно улыбаясь: «Ничего, посмотрим, как ты жизнь проживешь». Это трезвый. А пьяный говорил: «Погодите, черти, мне, может быть, два года жить осталось. Потерпите». Я передразнивал: «Погодите, мне, может, два дня жить осталось». И качался по-пьяному.

Когда отца хоронили, то все выходило смешно. На кладбище сфотографировались, а все стояли против непривычно яркого майского солнца, шурились. На снимках получились довольные, улыбающиеся лица. А все и радовались. Всем отец мешал. «Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Во времена Пушкина идиома «заставить себя уважать» означала «умереть». И поминки были фарсовые. А могила скоро провалилась, превратилась в дыру. Ат-тличнейше!

И как все радостно упростилось, как пошло в рост. Его зарывали в землю, а от земли, только что отмерзшей, шел пар, светило свежее солнце, на деревьях распускались первые листочки. Стоял гул в ушах, что-то крутилось перед глазами, хотелось животно, бездумно смеяться, прыгать по травушке-муравушке. Бесстрастное лицо, черный костюм, молчание, ломающее любую попытку диалога, шаркающая, замедленная походка, постоянно хмурые брови. Смерть наложила на все мое дальнейшее существование отпечаток траурных сумерек. Но одновременно ощущение неестественности этой же жизни, ее выдуманности и навязанности. Это все маскарад. Я другой.

Я не живу, я не настоящий. Это надо скрывать. Как? Молчанием.

Вернемся к теме вешалки. Это момент страшного унижения, с которого и началось мое индивидуальное существование. «Вешалкой» у меня отняли само

право на трагедию. Это же было распятием, но распятие смешное, самой пародийной аналогией с распятием отнимающее всякую надежду на какое-либо сохранение достоинства. Если бы я, например, стал там кричать: «Люди! Что вы делаете! Оставьте меня, разве я не человек!» — то получилось бы нелепо и пошло. Нелепо и пошло в моих же глазах. «Вона как, христосик какой появился! Хочет показать, что он умный!» И получилось бы кривляние, утонувшее во всеобщем ра- и равно-душии. Я это почувствовал и промолчал. До этого я как личность стоял на грани между бытием и небытием. Положение неустойчивое и мучительное. Этим и объяснялись все мои субъективные ужасы. А я жил в ужасном мире. Лучшее время дня — пятнадцать минут перед сном. Сейчас засну, и все провалится в пустоту. И можно до утра не думать, не жить. А самое ужасное — пробуждение. И это в шестнадцать лет! Я не понимал своего положения — видел конкретные проявления, а сути не видел. Ее и нельзя было увидеть. Ибо как только я ее увидел, она исчезла и я прямо с вешалки упал в мир бытийственный, вечный.

Я промолчал. Я чисто интуитивно понял всю ненужность каких-либо слов. И передо мной разверзлось молчание. Некуда пойти, не с кем поделиться своим горем. Именно с тех пор я обрел дар молчания. Замолчав же, я стал слышать себя.

Смерть отца явилась катастрофой, уже окончательно и бесповоротно исковеркавшей всю мою дальнейшую жизнь. Но удивительно, в самый момент трагедии, во время кульминации я совсем не чувствовал себя участником страшной развязки. Было часов одиннадцать утра, я спал, точнее, лежал в полудремоте, с закрытыми глазами, и позвонил телефон. Я, не раскрывая глаз, прошел по теплomu солнечному паркету, и мне сказали: «Это квартира Одинок-овых?» — «Да». — «Ваш отец умер». Я помолчал для приличия минуту, в трубке сказали тихо: «Не люблю я звонить этим родственникам». Я сказал: «Да» — и положил трубку и совершенно бездумно снова лег. Потом, лежа, стал сквозь сон немного думать: «Наверно, я нехороший человек, ничего не чувствую». И тут же чувство, что это не так, «пока», а будет что-то другое. В эти дни руки мои покрылись экземой, чего никогда не было ни до, ни после. А потом многие годы мне снились кошмарные сны про отца. Но не произошло ничего. Ни тогда, ни потом. О своем отце я даже ни с кем не разговаривал всерьез.

Сейчас мне ясно. Просто это трагедия по-русски. В смерти отца отнят даже намек на трагедию. Даже похороны фарсовы. Немая трагедия. Шекспир, Шиллер, Софокл... А у нас Достоевский. «Хе-хе». Все его трагедии с этим смешком. Это нигде так больше.

— Люди, знаете ли вы, что это такое — «пропала жизнь»?

— Одинок, перестаньте паясничать!

А вот уже впереди появился серый квадратик с редкой, но размашистой бороденкой, злыми глазами под седыми кустиками бровей и глупым носом. Ба, да это Лев Николаевич Толстой! Здравствуйте, здравствуйте. Толстой коротким толчком отталкивает меня от отцовского гроба: «Пшел, щ-щенок!» — и, смачно сопя, начинает вымерять отцовский труп линейкой: пройдет — не пройдет. И вот уже цепко схватил, тащит его куда-то.

«Толстоносенький Толстой», чертова кукла. Если сопоставить смерть отца и «Смерть Ивана Ильича» — то какое глубокое, ужасное сходство. Я хотел здесь выписать целый ворох цитат, а потом рукой махнул — зачем, и так все ясно. Не нужен, всем мешает и т. д. Сходство даже бытовое, вплоть до характера заболевания.

И вот на этом примере уникальной сопоставленности реального мира и мира реализма я заявляю: русская литература в своей гуще, в толстом русле толстовства, — это просто издевательство над человеком. О нет, Толстой не смеется над человеком в открытую, как честный Гоголь (смерть Башмачкина). Он сочувствует ему, по-хозяйски вымеряет его своим масонским циркулем и любовно, добродушно-добротнo убивает, загоняет в заботливо приготовленный пятидесятистраничный гробик. Смерть — это смиренность, когда высчитывают и человек замирает в этой вымеренности. И Толстой — гений — смерил «Ивана Ильича» правильно, точно. И мерка толстовская подходит к отцу тютелька в тютельку. Да, конечно, и ко мне подходит и к любому, поскольку человек существо конечное. Но человек и бесконечен, свободен. А Толстой всю свободу его сжал в какую-то светлую точку, изюминку в поминальной кутье, непонятную и

необязательную заглушку, а вовсе не выход из темного туннеля. А кто же в этой позиции сам Толстой как автор «Смерти Ивана Ильича»? Конечно, уже не человек, а существо иного порядка разумения. Самому Толстому мечталось, что он Бог (скромно говорил «мое Евангелие»). Конечно, в концепцию человека, данную Толстым, сам Толстой не уместается. Это не человек. Но из этого еще не вытекает, что он Бог. Это ошибка.

В смерти отца есть спасительное отличие. Это не «смерть Ивана Ильича», а «смерть Отца». Поцелуй отца не укладывается в схему. И то, что я сейчас о нем пишу, не укладывается. Как его смерть трансформировалась в эти строки?? Фантастика. Есть в его бессмысленном и растроченном существовании какой-то неясный смысл, какой-то ритм и осмысленно замкнутая бесконечность. Жизнь «Ивана Ильича» пряма, она обламывается в пространстве. Но это же так только с точки зрения самого «Ивана Ильича», с точки зрения конечной. Смерть дана как жизнь. Как обыденность, реальность. Но смерть фантастична. И жизнь человека фантастична. Реализм, полезный в фантастику жизни, ирреален, слеп.

Отец подарил мне трагедию. Может быть, умирая, он инстинктивно, последним своим «ходом конем» вытолкнул меня из обыденной жизни.

Дед Набокова под старость стал сходиться с ума. Четырехлетний Володя однажды подбежал к его креслу, чтобы показать красивый камушек. Дмитрий Николаевич медленно осмотрел камень и потом так же медленно положил его себе в рот... Мой отец был интересный. Однажды он купил мне мороженое, а потом его поджарил. Ты, говорит, простудишься, тебе холодного нельзя. Конечно, это было ради гостей, шутка. Все пьяно смеялись, а я плакал. Но ведь, с другой стороны, разве не была эта реприза вовлечением в сказочное, фантазматическое действие, гораздо более действительное и глубокое, чем вся окружающая меня тошнотворная «реальность»? И не было ли это не только разрушением реальности, но и укрупненным переживанием ее и, следовательно, вживанием в этот мир, адаптацией к родному злорадству? И может быть, тогда только для очень поверхностного взгляда общение с отцом было простым разрушением? Может быть, именно это-то разрушение и явилось созиданием, так что и самой своей смертью отец лишь до конца довершил дело воссоздания такого совершенно необыкновенного, выдуманного и задуманного человека, каковым я являюсь (являюсь уже для самого себя, своей самоглушечностью). Человека — живого воплощения национальной идеи.

385. Примечание к № 373.

Когда отца хоронили, то все выходило смешно.

На поминках отца рассказывали анекдот про Чапаева. Василий Иванович послал Петьку накопать червей для рыбалки.

— Ты провод оголенный подклучи к розетке и в землю воткни. Черви и выползут.

Петька прибегает через час весь оборванный, избитый.

— Ну что, накопал?

— Никак нет, Василий Иванович. Я как лучше хотел, чего там розетка — я провод от высоковольтной линии воткнул.

— Ну?

— Вот те и ну: сначала черви полезли, а потом шахтеры!

И рассказчик громко захохотал. И я тоже засмеялся, внутри убеждая себя — ну что, ничего, это он так...

У Чехова в «Душечке» приносят телеграмму: «Иван Петрович скончался... Хохороны вторник». Похороны отца были не похоронами, а хохоронами. «Сперва черви полезли, потом отец».

Но раз похорон не было, значит, отец жив. Отец не умер, не успокоился. Его плачущая тень бродит по земле, стучит в мое окно: «Сынок, где ты, помоги мне». А иногда кажется, он ласково улыбается, зовет меня.

406. Примечание к № 405.

И вот личинки куда-то исчезли.

Еще об отце в пионерлагере. Он работал там художником, и у него был отдельный домик. Ма-аленький, в одно окошко. А вокруг сосны огромные. И в

маленьком домике — папа. Внутри пахло табачным дымом, красками и печеньем. Я часто приходил к нему и оставался даже ночевать. В домике жил попугайчик. Он залетел в нашу квартиру неизвестно откуда (так ли, отец?), и я его поймал. И мы его в лагерь взяли. Рядом с домиком была огромная муравьиная куча (мне выше головы). Мы с отцом немножко, чуть-чуть поджигали муравейник с одного конца и потом сразу гасили. А муравьи вытаскивали свои яички, куколки, личинки. Спасали. И мы собирали для попугая, он очень любил. Потом отец уехал на несколько дней в Москву, а за попугаем просил присмотреть старших ребят. Дал корм, ключ от домика. Но никто за ним не смотрел. «Забыли». И он умер. А мне отец сказал, что он попугая ребятам в лесную школу отдал.

Отец с пяти лет внушал мне мифологию Лесной Школы. Есть-де такая лесная школа за городом. И там ребята живут «на свежем воздухе». И вместе со зверюшками учатся. И так там спокойно, тихо. Никто ни на кого не ругается, не сердится, а все дружат и играют, помогают друг другу. И попугайчику там хорошо.

Отец, когда попрощался со мной, хотел по лестнице вниз до «скорой помощи» дойти, но врач запретил, сказал, что на носилках надо. А носилок не было, или нельзя было их развернуть на лестничной клетке — не помню. И тогда взяли одеяло, и отца в него положили и понесли вчетвером. Отец лег, руки сложил на животе и стал смотреть в потолок. Должно было как-то торжественно получиться. Но когда одеяло подняли с четырех концов, то в середине оно прогнулось, и получилось, что отец как бы в мешке. Его несут по лестнице, а он лицом ко мне и жалкими собачьими глазами на меня смотрит. Из мешка. И стесняется, все взгляд отводит. И я тоже.

«В Лесную Школу».

410. Примечание к № 373.

Бесстрастное лицо, черный костюм...

Юношеские фантазии: я сижу, а рядом девушки стоят и шепчутся: «Маш, посмотри, дурачок какой-то». И тут я кашляю, и яркая струйка крови течет по подбородку на пиджак. И так быстро, много. Весь пиджак спереди облит. Очень хорошо видно красное на черном. Я подымаюсь и, слегка сторбившись, опираясь о стену, иду внутрь длинного коридора. А «они» смотрят с ужасом вслед. И я плачу от жалости к себе.

У меня много таких фантазий было — одна другой мрачнее. Однако рассудком я понимал их нелепость и даже записал в дневнике, что основная ошибка в том, что я слишком серьезно отношусь к любви. На самом деле это очень весело и вообще игра. Не случайно влюбленные все время шутят, смеются. Уже начало ритуала заигрывания основано на рассмешении-расторжении объекта.

418. Примечание к № 373.

Замолчав же, я стал слышать себя.

Неосознанно я начал писать эту книгу, когда мне было семнадцать лет. Я чувствовал, что трачу себя, и положил тогда произносить за день не более ста слов. Я молчал неделями, месяцами, и это создало мое «я».

422. Примечание к № 410.

...я плачу от жалости к себе.

Я всегда завидовал людям, которые способны вызывать жалость, а потом хладнокровно утилизовывать ее. От отца я заимствовал русскую технологию придуривания, приbedнения. У него это было «искусством для искусства», у меня же более серьезно и переходило в юродство. Пожалуй, и в центр идеи любви была поставлена идея жалости. Меня пожалеют, скажут: «Бедный Одинок, мне тебя жалко» — и по головке погладят. И вообще «возьмут с собой». Но никогда это мне не удавалось. И я перестал — осталось рудиментарное приbedнение, как нечто ненужное, внутренне не оправданное, то есть атавизм. Я приbedняюсь по инерции и машинально. Но это и у всех русских:

— Прощу к столу.

Русский подсказывает:

— Что вы, что вы! Я сыт!

- Нет, давайте, давайте.
- Ну разве за компанию посидеть, хи-хи.
- Ну а раз сели — надо есть.
- Нет, вы ешьте, ешьте, а я так, вот в уголке сушечку погрызу.
- Не-ет, давайте борщ, потом второе... А вот и компотик.
- Что вы, я сыт, наелся до отвала у вас, из-за стола не встану.
- Ну-у, компот-то надо: свежий, вкусный.
- Мне? Компот?! Нет! Он же хороший!!!

И т. д.

Почему же у меня ничего не получалось? Ведь я действительно, в общем-то, жалок, унижен. Пожалуй, тут две причины. Во-первых, я относился к припадению слишком всерьез, а во-вторых, слишком легкомысленно, идеально. Сначала все получалось отлично. Кто-нибудь жалел меня, думал: «Ну вот Одинок, какой несчастный и хороший человек. Надо ему помочь. Вот у меня рубашка старая. Она хорошая, но не модная уже, я в ней дома хотел ходить, а так она не очень мне нужна. Вот я ему отнесу ее — пусть носит. Надо же поддержать человека, порадовать». И несет эту рубаху, сияет весь:

- Я рубаху тебе подарить хочу!
- Что? А-а, ну кинь ее в угол, вон где тряпки лежат.

А когда потрясенный альтруист уходит уже, до меня вдруг в прихожей доходит, но слабо, на одну сотую:

- Да, вы это, значит, рубаху принесли. Ну что ж, это хорошо, вещь полезная. Ну и все руки опускали. У меня психология короля в изгнании.

428. Примечание к № 406.

Мы с отцом немножко, чуть-чуть поджигали муравейник...

Муравьи сами гасили огонь своими телами. Отец объяснял, очень хвалил: «Сам погибай, а товарищей выручай». Вообще объяснял устройство муравейника. Заранее предсказывал поведение его обитателей. Он здесь выступал немножко Богом, и я был поражен столь сложной и мудрой игрушкой. Потом, уже в более старшем возрасте, я прочел в журнале статью биолога Медникова о муравьях и мечтал вслед за ним разводить их дома в специальных банках, опутанных сложной системой тянувшихся к кормушкам нитей-муравьепроводов. Конечно, мечта была неосуществима, но я часто думал ее. Однако тема муравьев получила и свое материальное воплощение.

С пятилетнего возраста я был заморожен темой пластилина, но до пересечения с темой муравьев игра еще не получила своего законченного воплощения, строгой кодификации. А после муравьев тогда же у отца в домике я стал лепить их из пластилина и уничтожать, давить из пластилинового же пулемета при помощи других муравьев. Лепить я еще совсем не умел и муравьев изображал просто круглыми пластилиновыми шариками. Отец посмотрел за азартным боем и «нехорошую игру» запретил. Однако через несколько месяцев, дома, я с фатальной предопределенностью вернулся к ней и продолжал играть до семнадцати лет, прекратив уже после смерти отца.

Игра постепенно усложнялась. Я научился лепить очень хорошо и быстро. Создавал из пластилина целые армии. Масштаб то увеличивался, и я слепил настоящих солдатиков со своей униформой, погонами, оружием, выдумывал сюжеты игры, их декорации. Иногда же масштаб уменьшался, и я людей изображал схематически, пяти- или даже полумиллиметровыми шариками. Шарики выстраивались в колонны, каре, помещались в педантично вылепленные танки, самолеты и корабли, укрывались в вырытых в пластилиновой поверхности окопах, замках и целых городах. Вариации были бесконечные, все усложняющиеся. Я создавал морские и космические бои, осады крепостей, оборону и штурмы островов. Я лепил даже карты (Европы и др.). Здесь игра выходила на чисто схематический уровень и могла осуществляться умозрительно, при помощи цветных карандашей и ластика. Сюжеты брались из истории: древние греки, крестоносцы, немцы; или же выдумывались на ходу — люди иногда заменялись роботами, гигантскими крабами и осьминогами и раза два-три уже настоящими муравьями-марсианами. Игра поглощала очень много времени и, в сущности, заменила мне все: школу, общение со сверстниками, театр, кино. Вместе с книгами это была единственная отдушина, окно в мир.

Отказаться от игры было очень сложно. Вообще раз в один-два месяца у меня происходила «смена декораций», и я безжалостно сминал города, чтобы построить что-то новое и заселить новый мир новыми муравьями. Но отчетливо помню опустошение и стыд, с которым я уничтожал последний вариант игры — флотилию морских катеров, охотящихся друг за другом по доске-мору. Собственно, игру уничтожить было нельзя. Я и до сих пор часто играю в уме, причем замысел, не осуществляясь, все разрастается и разрастается. Я думаю, что, может быть, в свое время на злорадно и радостно сбывшемся уровне он еще сбудется.

Да, я и так играю. Все основные темы-архетипы остались: чувство уюта, укрытия в штурмуемой пластилиновой крепости; граница и ее нарушение; чувство правил, кодекса и невозможность его нарушения; способность создавать правила и рассчитывать ходы вперед; чувство времени и постепенного воссоздания замысла и т. д. Все продолжается. Как через игру в пластилин можно представить всю мою жизнь от пяти до семнадцати лет, так и игру в пластилин можно представить жизнью. Может быть, после семнадцати настоящая игра только и началась.

435. Примечание к № 406.

Отец с пяти лет внушал мне мифологию Лесной Школы.

Когда я начинал шалить, он начинал рассказывать про школу. Но не пугая, а, наоборот, ласково уговаривая. Расписывая прелести жизни в ней. Он понимал, что сама по себе идея «отдачи» («отдадим тебя») настолько невыносима, что и не следует ее оснащать дополнительными ужасами. Наоборот, радушное предложение, уговоры лишь подчеркнут реальность перспективы. Отцовская «школа» мне нравилась, но именно вообще. Как только он о ней заговаривал, я сразу становился как шелковый и только тихо намекал, что мне и тут хорошо. А отец: «Ну только на одну недельку. Увидишь, тебе там понравится, сам попросишь оставить». А потом постепенно «забывал». И я боялся ему напомнить и никогда об этой загадочной школе не расспрашивал.

465. Примечание к № 410.

...я слишком серьезно отношусь к любви.

В характере отца несомненно было что-то еврейское, что-то пришибленное, раздавленное, униженно-ненормальное, с трудом компенсируемое то визгливым, то вдумчивым оправданием. Но во всем отцовском мельтешении было чувство, выдающее с головой его наивно-арийское происхождение. Это чувство какой-то абсолютной растерянности и недоумевающей рассыпанности. Это был человек, предки которого тысячу лет жили в обстановке расового комфорта. Никаких навыков обитания в чуждой расовой среде у них не было. А ведь расово, биологически чуждое общество — это совсем не социальное отчуждение, это гораздо глубже, страшнее. И вот отец оказался в положении еврея, «чужака».

Пихнули в грязь и смеются. А рядом сынишка плачет, лопочет что-то на милом жаргоне. Евреи с этого-то и живут, на этом-то века и века все образование, все воспитание строят. А русского вот толкнули в грязь — он даже и не поднялся как следует, а как-то боком, боком, прижимаясь к земле, побежал за угол. А о сыне и забыл даже. Сыну кричат: «Анклойф, Иван, беги у папе!» А папа-то умирать собрался.

То же и в моей судьбе повторяется. Вот «дело о рисунке». В хохочущем, колесом ходящем быте еврейского кагала все нашло бы свое разрешение, и нашло бы в той или иной степени просто, естественно, «само собой». В моем же случае сама мысль о решении подобного рода события просто не могла прийти в голову. В генофонде решение таких проблем не предусмотрено. Дворянство — это дворянство, а дворня — это дворня. Но чтобы дворянин оказался в положении дворового — где же это видано? Только в горьковских «пьесах». А кто ведь я? — дворянин из барака. Конечно, это привело к совершенно ненормальным видам взаимоотношений с действительностью. В кривом зеркале элитарного гонора (вовсе не социального, а биологического) микроскопические пришествия приобретали масштабы мировых проблем.

Вот и проблему «рисунка» я стал решать по-русски основательно, серьезно, в стиле «спокойно, товарищи, все по местам, последний парад наступает».

Начало существования в качестве изгоя было положено, как и положено, филологической адаптацией. Человек, который «рисует голых баб», конечно, не может иметь нормального имени. Он должен носить кличку. Какую? Смешную, жалкую и агрессивно-нелепую. В классе я сообщил, что меня зовут Килька. Прозвище понравилось и успешно продержалось до окончания школы (прозвищ в классе больше ни у кого не было).

После смены имени необходимо было изменить внешность. Моя красивая внешность находилась теперь в разительном несоответствии с новой социальной ролью «отпетого», «классного шута». Я смешно вытягивал шею, надувал щеки, просто кривлялся. На помощь пришли начавшиеся тики: дергались плечо, шея, косили глаза, кривился по-крысиному в сторону нос. Помнится, одна школьница упорно называла меня не Килькой, а крысой: «У-у, кр-рыса». Проблема внешности была окончательно решена годам к пятнадцати. Лицо покрылось прыщами, глупо округлилось, нос вытянулся, волосы сваялись в нестриженные, сальные лохмы. Возможно, что в это время я производил не просто отталкивающее, а и более тяжелое впечатление. Однажды ехал с отцом в метро, и его сочувственно спросили: «Он у вас что, болен?» Отец ответил: «Да». Я промолчал, по привычке безропотно перетекая в предложенное определение.

При этом ни об изменении внешности, ни о новом типе поведения я, конечно, совсем не думал. Все происходило внутри, и в сознание просачивались лишь отдельные струйки взбаламученных сновидений. Ход отраженного в мыслях стремления к смерти был примерно следующим. Отец придет в школу и будет рассказывать «про баб». Надо «заглушить», подготовить почву, чтобы в общем контексте новая информация не выглядела оглушающе разоблачительно. Проблему «двора» (отец будет рассказывать во дворе) я решил просто. С того самого воскресенья я никогда не выходил гулять. Третья проблема тоже была решена сразу: у человека, который «рисует баб», не может быть друзей.

И наконец, всякие разговоры о так называемой любви в таком положении должны быть исключены. Это глумление.

Все было вполне логично. Только принялся уж больно шустро. У евреев и шуточки и ирония. А тут Ваня насупил брови и давай топором махать: «Пропала жизнь». Да на этом можно жизнь построить. «Бабы». Ну и развил бы тему «баб». Уже интересно. Из лужи-то многое виднее. Может быть, в луже звезды лучше видно. Нет. Не надо этого. Купил булку, а там след сапога на корке. «Гражданин, поменяйте!» — «Нет, заверните так». Вы мне жизнь мою так заверните, «с лужей». Евреи говорят: «Да не было никакой лужи, забудь». — «Нет была. Как же забыть. Я помню, меня толкнули. Тогда, в выходной день. И все смеялись, а потом забыли. А я помню». — «Во-от, правильно. Эти ублюдки ногти твоего не стоят». — «Нет, неправильно. Меня толкнули, и я виноват. А больше и нет никого. Я и лужа». — «Да кто же так в луже живет? И разве так в луже живут?» — «Живу как умею. Учиться не у кого. Приходится своим умом-с».

Русские относятся к жизни слишком серьезно. И русские и евреи — это трагические, эсхатологические народы. Евреи трагедию делают бытом, опошляют. А русские быт превращают в трагедию. И в том и в другом случае форма трагедии, стиль трагедии утрачены.

Русские лгуны в слове. Болтуны хитрые, двуличные. Их не поймешь. Начнут с одного, а кончат совсем другим. В чувствах же очень честные и серьезные. Евреи в слове, договоре — прямы, верят. Зато в чувствах лукавы, с трещинкой иронии: смеются — а взгляд грустный, плачут — а глаза лукаво жмурятся, прячутся. Релятивизм чувства и релятивизм слова. Предательство сердца и измена ума, рассудка. Поцелуй Иуды и слово Ивана. Очень интересно проследить, как эти два столь двуличных и коварных народа начали «взаимодействовать», делить народы, страны, материка, земной шар. Космос. Иуда и Антихрист. Два народа-юррода, два народа-паяца.

502. Примечание к стр. 30 «Бесконечного тупика».

«Боль моя всегда относится к чему-то одинокому и чему-то далекому; точнее, что я одинок, и оттого что не со мной какая-то даль, и что эта даль как-то болит,— или я болю, что она только даль...» (В. Розанов)

Я все время боялся, что меня «забудут». Мать меня семилетнего в «Детском мире» забыла. Я ходил по этажам и ревел: «Забыли!» Мне казалось, что все, мир

непоправимо рухнул и старое счастье никогда не вернется. Меня кто-то повел в радиоузел, спросил фамилию. Было ясно: сейчас объявят по радио (это уже «официально») — и я пропал. Меня повезут на какой-то машине, и все — пропала жизнь. Но тут вбежала мама. Характерно, что не я потерялся, а она меня забыла.

В пионерлагере последняя неделя смены превращалась в пытку. Лагеря я не любил, и само по себе возвращение домой было праздником. Но я боялся, что меня «забудут», «не возьмут». Думал: кто им скажет, что смена именно сейчас кончится, а письмо не дойдет. И родители, как нарочно, приходили всегда последними, когда всех уже разбирали, и я стоял у автобуса или вагона один с вожатым. С этим связано ярчайшее впечатление детства, врезавшееся в память с каллиграфической четкостью. Я стою на длинной московской улице у сквера, летит тополиный пух. Вереница пустых автобусов и в самом конце один я. И вот по пустой улице навстречу мама бежит. Я к ней: здравствуй! А она: отойди, мальчик, не мешай, — и дальше быстро-быстро пошла. Каблуками цок-цок. А вожатая: «Одинок, не мешай прохожим, встань у ограды». В голове мысли, чувства полетели со скоростью необыкновенной, испуганной. «Не узнала... Нет, не может этого быть. Это я обознался». И чувство горечи, смущения, стыда. А тут вдоль колонны машин мать обратно идет и уже издали рукой машет. Ей сказали, что я в другом конце, и она, торопясь, мимо меня пробежала. Умом я никогда не обижался, но чувство недоуменного ужаса и просто к р а х а осталось навсегда, так что эпизод разросся до масштаба довольно жуткого символа.

Я слишком быстро схожусь с людьми. Тут отзывчивость, возведенная в квадрат фантазией, способностью чисто умозрительного, интроспективного контакта. И вот всегда так: срываешься к человеку — и вдруг отчетливо сознаешь, что объективно-то ему совсем чужой. Я уже расположил его в цепочке своих сновидений, связал с определенными частями своего внутреннего мира, но он-то не подозревает об этом. И трагедия одиночества наваливается на меня, и я даже сказать ничего не могу. Мне до слез грустно.

То же повторяется и в религии (связи). Связь с Богом для меня односторонняя. Бог обо мне не знает, а я о нем знаю. Я его люблю и плачу перед ним в одиночестве. И не могу говорить с ним, молиться. О Боге рядом, Боге помогающем и подумать не могу. Если Бог мне помог, значит, это не Бог. Вообще я очень осторожно отношусь к расположенности к себе.

510. Примечание к № 502.

Я все время боялся, что меня «забудут».

И надеялся, что меня найдут. До семнадцати лет о любви я думал так. Какая-нибудь удивительная девушка найдет меня и скажет:

— Милый Одинок, я тебя люблю.

— Почему же ты меня любишь? — стану я счастливо оправдываться.

— А потому что ты хороший, прогрессивный.

— Почему же я хороший, я вовсе, может быть, не хороший.

— Нет, хороший, хороший. Я тебя люблю, а разве я бы стала тебя любить, если бы ты был нехороший... Потом, у тебя отец умирает. А ты переживаешь.

— А чего это я переживаю? Чего это ты пристала-то?

— А потому что...

И т. д. Я уже на всякий случай — чтобы уточнить — оправдывался бы, но все бы уже было ясно и нашло свое оправдание...

И вдруг я понял, что никто не придет и ничего не скажет. И что я вообще нехороший, так как вот эта внешность — это и есть реальность. Так стала возникать идея иллюминатства, просвещения. Выдумывания того, кого бы я хотел. Никто обо мне не заботится, никто меня не спасает, и я спасаю других. Я в одиннадцать лет «спасаю» отца. Но в уме знаю, что должно же быть наоборот. И жду, что меня кто-нибудь спасет. Да тот же отец, вдруг в один прекрасный день волшебным образом изменившийся, просветлевший. Я веду его пьяного к дивану, укладываю, расстегиваю пиджак, снимаю ботинки, несу таз, в который он начинает блевать. И вот он на следующий день снова приходит домой с опухшим, безумным лицом. У меня все внутри замирает от заботливого страха. И вдруг — что это? Лицо отца становится насмешливым, осмысленно-умным: «Ты почему математику не сделал? Вот давай сейчас быстро поужинаем и будем вместе задачи решать. А потом марш в постель!»

А получалось все наоборот. Я в семнадцать лет понял, что никому не нужен, и начал сам спасать себя, а затем и других людей, Россию, весь мир.

И если все рухнет в развалинах,
К черту! Нам наплевать.
Мы все равно пойдем вперед.
Потому что сегодня наша — Германия
А завтра — весь мир!
Завтра — весь мир!

517. Примечание к № 409.

Чердынцев, написав свою книгу, испытывает удивительное чувство освобождения и сбывания своей мечты.

Кто я по сравнению с Набоковым, с Годуновым-Чердынцевым? — «Гадуннов-Чадинцев». У него стройное, благородное детство — у меня хаотично разъятое, униженное, жалкое. У него светлая трагедия, гибель отца и потеря родины — у меня отец, умерший от рака мочевого пузыря, и неизменное, ничтожное прозябание в десятистепенном государстве, в бессмысленной, раздувшейся с полпланеты замухрышечной Албании. У него юношеская любовь — у меня постыдная пустота. У него умная, любящая жена — у меня опять-таки ноль. Он гениальный писатель, я же ничтожество, «непризнанный гений». И все же сходство по миллионлетней прямой. Я в «Даре» люблю свою не сбывшуюся жизнь, прекрасную, удивительную сказку-быль.

Но извне все дешифруется как огромная карикатура на «Дар». Один из слоев пародийного пространства «Бесконечного тупика» ориентирован именно на это произведение Набокова.

526. Примечание к № 510.

И вдруг я понял, что никто не придет и ничего не скажет.

И даже более того. Ну, например, скажет. Что же я смогу ответить? Ведь любовь с какими-то страшными вещами связана. Детский и взрослый мир перевернут. Детский — это изучение неправильных энциклопедий, когда исподтишка интересуются разными такими вещами. А взрослый официальный, чопорный — там ходят в черных костюмах и галстуках. Сидят за столом и разговаривают по телефонам или пишут, а вечером приходят домой, смотрят телевизор, а потом, прямо в костюме и галстук, ложатся спать. А утром снова на работу. А в руке портфель. В портфеле же справки, документы: свидетельство о рождении, паспорт, комсомольский билет, конверт с фотографиями три на четыре и четыре на шесть с половиной с уголком и без, трудовая книжка, военный билет, форма № 286, профсоюзный билет, справка из жилуправления, свидетельство о смерти отца, свидетельство о восьмилетнем образовании, аттестат зрелости, комсомольская путевка на завод, характеристики, рекомендации, заявления о приеме на работу, объяснительные записки, записная книжка с телефонами, анкеты и так далее, и так далее, и так далее. И документы-то все нехорошие. В них есть тайный опасный смысл. Ну а любовь как же? Это тоже надо как-то оформлять, регистрировать где-то. О браке я всегда думал почему-то, что меня обманут. Я подпишу страшную бумагу, и у меня все отнимут — вещи, одежду, прописку. А потом скажут: «Что же, иди, мы же тебя не бьем».

Вообще любовь — это дикость, извращение. Вот я иду по улице с товарищем, разговариваю о серьезном, и вдруг навстречу невесть откуда взвисяшаяся дворняжка. Мы на нее набрасываемся, раз-раз кирпичом (рядом лежал) по голове и в портфель. А домой приходим и, молча глядя друг на друга, на кухне съедаем. В пальто даже. А из шкуры шьем себе шапки. И нам хорошо. Страшное это дело — «любовь».

Друзей у меня тоже не было, но это ощущалось как нечто частное, временное, так как в дружбе нет страшных вещей. Она логична и последовательна.

Я очень культурный человек. А наша культура бесчеловечна. Умом я понимаю всю ее глупость, но все равно живу в ней. Тут своеобразная поэтика. Смотрю фильм. А там целуются. И только начинают целоваться, показывают лампочку, окно, а за окном дурак на гармошке играет и все такое. Человек бескультурный, антисоциальный в таком мире здоров, на него не действует. А на способного к

восприятию действует — взгляд его соскальзывает на лампочки и гармошки. То же воспитание. Собственно, я необычайно воспитанный. Я всегда все понимал с полуслова и всерьез. Всегда слушался, да не формально, а по сути. Очень наивно. Шизофреническое, бессмысленное ханжество стало моей сутью. Я это все всерьез воспринимал. Я максимально советский человек, и именно советский человек определенной эпохи. Мне сказали: надень пиджачок и иди. И я пошел, пошел. По горам, по болотам и пустыням. В пиджаке, с портфелем в руке и «Комсомольской правдой» в кармане. Про любовь же мне ничего не сказали. Отец сказал: «Учи уроки». А на уроке сказали только: «Будешь анкету заполнять, так там вторая графа „пол“. Напишешь „муж.“».

Отец покупал бормотуху и, помню, радовался: «Экономия». И через четыре года на пятый умер. Умер как раз от болезни, которую вызывал этот суррогат. Отец был неглуп, но у него была русская мыслишка: «Раз продают, значит — безопасно. Не будут же они...» Будут. В том-то и дело, папочка, что будут. И меня, и я попал — сексуальным денатуратом опоили. Это не есть люди.

532. Примечание к № 465.

А кто ведь я? — дворянин из барака.

Вся моя биопрограмма, моя изначальная установка рассчитана на избранность, элитарность. Хочу я этого или не хочу, морально это или не морально, трагично или комично — это другой вопрос. Важно, что это так, и изменить уже ничего нельзя.

Я думал: ну а кем бы я был в сообразной себе роли и эпохе? Да вот, у Алексея Толстого опять слайд ярчайший:

«Его род — не древний, от опричнины. Предок его, насурмленный, нарумяненный, валялся в походных шатрах, на персидских подушках: был воеводой в сторожевом полку. От великой нежности ходил шепетной походкой, гремел серьгами, кольцами. Любил слушать богословские споры — зазывал в шатер попов, монахов, изуверов. Слушая, разгорался яростью, таскал за волосы святых отцов, скликал дудочников и скомоухов — и начинался пир, крики, пляски. Тащили в круг пленного татарина, сдирали с него кожу. Прогуляв ночь, кидался он из шатра на аргамака, — как был — в шелковой рубашке, в сафьяновых сапожках, — и летел впереди полка в дикую степь, завизжав, кидался в сечу».

Но это, конечно, «преданья старины глубокой». А вот перемещение в более близкое время:

«Такой, да не совсем такой, его потомок, Михаил Михайлович. Неистовый, но немощный и даже тихий. Вырос в Царскосельском дворце девственником, а выйдя из корпуса в полк, кинулся в такой разврат, что всех удивил, многие стали им брезговать. Затем, так же неожиданно, вызвался в Москву на усмирение мятежа — громял Пресню, устроил побоище на Москве-реке и с тихой яростью, с женственной улыбочкой пытал и расстреливал бунтовщиков... Затем он ушел в запас, стал слушать лекции в духовной академии, будто бы хотел принять сан. И, конечно, сорвался на бабе, замучил ее и себя».

И т. д.

Ну а сейчас, сейчас как? А вот берут меня за руки и ведут по какому-то темному коридору и вдруг накидывают на плечи дурацкую оранжевую телогрейку и шутом выгоняют на улицу: «Вот тележка, вот метла, вот лопата, вот, наконец, мусорный бак. Работай!» Такое мне место в социальной структуре определили. Мусорщик.

Чрезвычайно обидно. Иногда думаю: «Погодите, сволочи.. Вот выстрогаю себе тысячекилометровую дверь и потом ею так хлопну, что звезды с неба посыплются». Но это так... иногда. Куда мне. «Ну давай, что же ты, ну возьми стул и ударь об пол, чтобы вдребезги разлетелся. Крики: хватит! А?! Слабо?»

Вспоминаю слова отца, у него еще любимые словечки были; «крепенько» и «слабачок». «Ну что, крепенько тебе сделали? Слабачок»

546. Примечание к № 465.

В классе я сообщил, что меня зовут Килька.

Унижение (роль классного шута и изгоя) было, с другой стороны, бессознательной инициацией. Тут проявился крайне ритмизованный характер моего бытия. Конечно, опыт был жесток, но в результате я приобрел колоссальную выносливость к любым видам и формам унижения, а также совершенную невнушаемость извне. Именно с тех пор к любому «коллективу» я стал относиться как к прозрачному желе элементарных эмоций, легко поддающихся простейшим манипуляциям. Из-за этого же и замкнутость при якобы открытости; очень развитое чувство целесообразности (всегда все делаю зачем-то и для чего-то, подчиняю своей логике); способность к независимому и даже провокационному мышлению. Моя мысль может обернуться любым зверем, моментально просчитывать и обнюхать все боковые ходы и часами развивать некоторую идею, с которой я еще глубже, в самой глубине, совсем не согласен. И это без каких-либо эмоций. Я изначально настроен на абсолютное непонимание и всегда адаптирую свою мысль к определенной обстановке. Внутри я абсолютно одинок, холоден и спокоен. По-моему, это редкое и драгоценное качество.

Минус же в том, что у меня нет так называемого мужского достоинства. Я умею господствовать, я всегда господствовал над ситуацией, но я не умею властвовать.

551. Примечание к № 545.

...правда... дана свыше, ее нельзя определить.

Свое философское образование я начал в семнадцать лет. Начал с изучения Ленина и проштудировал все пятьдесят пять томов его собрания сочинений. Это оказало на меня колоссальное влияние. И первое, что я понял, это беззащитность. Беззащитность и хрупкость человеческой мысли, которая конечно же основывается не на мощном фундаменте Аристотелевой аналитики и не на трактатах Канта и Гегеля, а висит на странном и до смешного расплывчатом и инфантильном гвоздике — широте души, доброжелательности, вообще «хорошести», «благодности», доброте. Доброте и правдивости. На этом туманном гвоздике, гвоздике-облачке, висит тяжелое и старое полотно человеческой мысли. Философия-то стоит, попросту говоря, на детской считалочке: мирись, мирись, мирись и больше не дерись... Если эту глупую считалочку нарушают, то в рамках, именно в рамках, философии ничего доказать нельзя. «А я не брал» (калош). И все. Можно плакать, кричать, биться лбом о стену — ничего, ничегошеньки не докажешь. Скорее уж тебе «докажут».

561. Примечание к № 526.

Отец покупал бормотуху и, помню, радовался: «Экономия». И через четыре года на пятый умер.

Как сейчас вижу красивую и огромную отцовскую голову (шестьдесят второй номер), с высоким лбом интеллектуала, склонившуюся над тарелкой с обедками. Отец никогда не ел, он всегда доедал. Ломал кости от съеденной курицы и высасывал, причмокивая, костный мозг, чавкал гнилыми грушами, хлебал прокисшие ши, накротив туда заплесневелые корки. И не болел. Отцовский желудок, желудок «человека 30-х», все переваривал. Как о великой обиде, запомнившейся на всю жизнь, говорил отец о том, что старшая сестра, у которой он жил, не дала ему, маленькому, сливок. Он хотел съесть, а она его поставила в угол и сама съела. И у отца через сорок лет дрожали по-детски губы, когда он про это рассказывал.

Еще курил он самые дешевые сигареты «Памир». Курил страшно — до обожженных пальцев (в этих местах всегда желтые, с толстой кожей). А потом надевал бычок на булавку и докуривал до конца.

566. Примечание к № 540.

...при всем этом оттенок идиотизма по типу «я тебе добра хочу».

Однажды я уезжал из пионерского лагеря, и нас перед посадкой на автобусь отпустили часа на два погулять. Делать было нечего, все слонялись по территории в белых рубашках с золотыми пуговичками-тарелочками. Было какое-то ощущение

ние тоскливой приподнятости (двенадцать лет). Внезапно я подошел к одному мальчику и спокойно так говорю: «Вань, я тебе добра хочу». Он ошарашенно посмотрел на меня: мол, Одинок, ты чего? А я опять: «Да, я тебе хочу добра». Он то ли возмутился, то ли не понял, подумал, что это розыгрыш какой-то, повернулся и пошел от меня. Так просто, куда глаза глядят. А я тоже не понял ничего, но пошел за ним: «Вань, а Вань, ты пойми, я тебе добра хочу». И мне стало вдруг испуганно-радостно, я ощутил власть над ним, над миром, над языком. Мне так зло-весело стало, я иду и все повторяю: «Я тебе добра хочу». Он: «Да понял я, понял, молодец». «Нет, ты не понял. Нельзя так. Ты не того... этого... Я добра тебе хочу». А он как-то испугался, уступил испуганно и уже не может удержаться. Растерялся, не знает, что говорить.

Тут осмысление тарелочно-пуговичной пионерской реальности. Я пионер, маленький, добрый чиновник. Моральное изнасилование. Чопорная аморальность. Это один из первых опытов овладения русским языком, понимание его сути.

567. Примечание к № 554.

...реальная жизнь проявляется в кровавой ванне мозга злорадством.

Все разрозненные факты моей жизни волшебным образом сливаются в единое целое из-за способности к ассоциации, к соотнесениям любого вида и сорта. В результате каждый день — это отдельный рассказ, притча. А шире — глава романа — жизни. И кто я, живущий внутри пространства дня? — не автор, а литературный персонаж. Уже в этом страшное глумление. Не я пишу книгу, а меня описывают. И я ничего не могу поделать. Я выдумываю реальность (ибо факты сами по себе никак не связаны и соотносятся только через меня, через мое воображение). Но реально-то реальность выдумывает меня. Персонажи-люди независимы от моей воли, и я сам становлюсь независим от самого себя.

Плюс чувство глубокой ущербности, пьяности. Это мучительное унижение. А никто не видит. Реальность не дешифруется для окружающих и не понимается, не прочитывается. Это высший тип глумления. Глумление происходит естественно, походя, даже неосознанно. Безлико.

Но почему именно глумление? Почему не счастье, не радость? Почему я не вижу красоты? Почему все неосознанно издеваются, а не восхищаются, скажем? А потому, что я тварь, но не творец. Я максимально приблизился к акту творения и потерял свою человеческую сущность. Потерял смысл жизни.

576. Примечание к № 566.

...я ощутил власть над ним, над миром, над языком.

Впоследствии, развиваясь, это чувство наделило меня даром «давить на психику». Я оказался способен к очень едкому и агрессивному проникновению в чужой мир. Всегда хотелось интеллектуально депрограммировать, заложить новую программу — более тонкую. Тема господства и подчинения в общении с окружающими всегда инстинктивно маскировалась. Но столь же интенсивно я стремился к незаметному ломанию и коражению чужого «я».

580. Примечание к № 562.

Не только провокация, но заодно и просто над публикой поиздеваться.

Американцы в космическую станцию «Пионер» для инопланетян послание положили. То-се, картинки-пластинки (Рафаэль, Леонардо да Винчи, Моцарт, Рахманинов). Тут же и чертежик, как до Земли добраться. Тому, кто придумал, американцу этому поганому, дать в ухо так, чтобы барабанная перепонка лопнула.

Ведь сидит какой-нибудь осьминог на Альфе Центавра. У него, может быть, жизнь пропала, его, может быть, из консерватории выгнали. А тут раз — «Пионер». Целый мешок с подарками дед Мороз принес. Этому осьминогу теперь душу отводить Земли лет на двести хватит. Шевельнет сто пятьдесят второй ложноножкой — и шарик наш в другую сторону раскрутит: «Как они там будут?»

И особенно умилает аргумент американский. Де не бойтесь, если послание прочтут, то это будет существа высокоразвитые, им у нас грабить нечего — свое есть. А зачем грабить? Просто пошутить, поразвлечься. С ребятами посмеяться, пивка попить под Рахманинова.

588. Примечание к № 555.

...рефрен бесконечных фантазий, ищущих выхода в реальность.

С мечтой, какой бы безумной она ни была, никогда не следует спорить. Раз мечтается, то пусть. И мечта за это в благодарность всегда поможет. Она будет все расти, расти, все усложняться, пока в конце концов не истончится настолько, что каким-нибудь уголком-краешком возьмет да и прорвется в реальность. Мечта осуществляется. Она не может не осуществиться, если это настоящая мечта.

Я в шестнадцать лет постыдно мечтал о спасении отца. Я бы начал так потихонечку летать, а в стене нашей комнаты дверца бы была. Я бы ее открыл и улетел в четвертое измерение. А там, в межпланетном пространстве (это я уже после смерти отца оттачивал, когда на заводе работал: ехал утром в автобусе на работу и оттачивал), — да, а в пространстве огромный корабль (шарообразный). И это, понимаете, такой мир замкнутый. Там разные электронные машины удивительные, энциклопедии, кабинеты. Но самое главное: основная часть этого мира — воссоздаваемая по моему желанию маленькая Земля — моя. Я это очень отчетливо себе представлял. Когда я сразу попадаю на этот корабль, то тут чувство удивительного уюта, гармонии. Я становлюсь бессмертным и могу убить время или останавливать время. А природа, она так воссоздается: от минуса к плюсу. Я попадаю на станцию номер один. Это дом, а снаружи снежное поле и мороз страшный. А в двадцати километрах дальше вторая станция. Я должен за день туда добраться. И там уже потеплее немного. И так за месяц я должен пройти лес, горы и выйти к морю. И главное — один. И вообще в этом мире никого больше нет. И я в него постепенно вхожу, погружаюсь. Я очень долго себе представлял, как я иду там, где. Как дорога проходит. Она разумно трудная. Каждая станция хорошо оборудована, там энциклопедии и т. д. Я бы все читал, отдыхал по вечерам. А отца я бы таблетками специальными вылечил. Но это на раннем этапе было, когда он еще жил. Меня бы с этого шара избрали для контакта с Землей (то есть невидимые и неведомые строители его), и я бы перестал быть человеком, ну, и отца бы вылечил заодно. А когда отец умер, все изменилось. Этот шар, он уже был необитаем, и я его находил, или мне его давали «в вечное пользование», чтобы я мир спас.

Лекарство для отца превратилось в шар, а шар — в книгу. Мечта все же сбылась. Раз мечта растет, усложняется — она сбудется. То же и моя мечта о любви. Она все равно сбылась. Впрочем, и сама эта книга — мечта. Если она тоже будет истончаться, то превратится в иную мечту (иную форму) и выскользнет в реальность.

А без мечты моя жизнь совсем непонятна. Розанов сказал: «В жизни реальные только мечты». Без мечты моя жизнь бред. Бред совершенный, абсолютный.

595. Примечание к № 590.

Лез в Сергиеву лавру, в Оптину.

У меня всегда было испуганно-уважительное отношение к чужой вере (не убеждениям). Отец захотел меня крестить, когда мне было лет десять. Родственница повезла в подмосковную церковь. Я надел галстук — проекция Павлика Морозова. Сел я на лавочку у ограды, а рядом старушки: «Что, внучек, бабуля в церкву пошла, а ты тут ждешь?» Родственница три раза приходила и снова исчезала в страшном проеме храма, шипела: «Сними тряпку-то, дурак». Я несибаемо сжал зубы. Так и ушли.

601. Примечание к № 225.

Может быть, и отца кто-нибудь выдумал, а?

Я Лужин, но со странной особенностью — я играю не в шахматы, а в жизнь. Свою собственную жизнь. Моя специализация — я сам. Я Лужин, вполне понимающий и осознающий себя Лужиным. Вот я — ничтожная, нелепая фигурка в страшном клетчатом мире. Вот мой русский отец, инфантильно мечтающий об одаренности своего сына, но вообще, по-маниловски, и походя растаптывающий все, проходящий мимо подлинного и реального дара. Вот русская школа с ее коверканием личности. Вот неправильное, шахматное начало внутренней жизни. Вот погружение в интеллектуальный сон, трезвость, девственность, любовь к географическим картам и карандашным линиям. Вот ощу-

шение сложной запутанности мира и невозможность вырваться из него, выйти. Вот нелепый прорыв в реальность, «рыдая, обнимая паровое отопление», и догадывание о замысленности своего существования, попытки его осмысления путем вспоминания ушедшей реальности, детства, и внутреннее ощущение того, что и эти воспоминания лишь элемент сатанинского замысла.

Но у набоковского героя разрыв с собой, возможная трансформация своего дара и, следовательно, хоть какая-то компенсация, обнаруживаемость из реальности. Мой же дар никак не проявляется в мире, он абсолютен и невинен. Но именно поэтому так нужен прорыв, спасительное определение. Лужину это не надо. Он не замечает себя, и ему важен выигрыш как таковой. Но мой выигрыш — это сны, и чтобы сны выиграли, нужно их шарлатанское признание.

608. Примечание к № 517.

Но извне все дешифруется как огромная карикатура на «Дар».

Почему я люблю Набокова, так же, может быть, как царя в последние месяцы жизни? Он наиболее близок из всех, умер в 1977 году. Для меня это психологически все равно, как если бы в 1977 году умер Пушкин. (Набоков в «Даре» о живом старике Пушкине — фантастичности этой картины.) Подумать только, я уже как «я», «личность», мог хотя бы гипотетически встретиться с Набоковым!

Я сейчас подумал о встрече, как бы могло быть. И понял, что никак (не физически, а психологически — невозможность первого ничего не значит). Наверно, поэтому я и люблю Набокова. Не то что он мне нравится, я им восхищаюсь или унижен (и в этом есть сладость), а вот просто ясно и тихо люблю. А я для него «ноль». Он мог бы где-нибудь «упомануть» обо мне. По типу: «придурковатый пошляк Одинокоев» или «какой-то никому не известный псевдомракобес из якобы — России». А я где-нибудь так, издали на старика один раз посмотрел, и мне больше ничего бы и не надо было. И было бы хорошо. Я это так ясно, так реально, так правдоподобно представляю. Весь ход мыслей ясен. И главное, тут сказать никому нельзя. «Вот мы как, мы и благородством!» Тут никому, ничего нельзя сказать, доказать. Как трухлявый гриб, реальность рассыпается порошком пошлости. И поэтому так бы и было.

620. Примечание к № 615.

В жизни я ничего так не боялся, как... личного опыта соприкосновения с фантастикой.

Глаз отца был натренирован на все необычное. Зоркий, он всегда находил разные эксцентричные вещи. Однажды нашел протез руки и подбросил его к ограде моего детского сада. Точнее, воткнул в снег. Ребятишки столпились у ограды, смотрели сквозь решетку. Я перелез через ограду, хотел достать руку, посмотреть, что это такое. Но только сделал два-три шага, и мне так страшно стало. Я обратно укрылся за оградой. А там так уютно, безопасно. Отец по дороге домой вечером умело направлял интерес, рассказывал о руке, но объяснял ее материалистически. «Вот есть дяденьки, у них рука, скажем, на фронте оторвалась, и им делают искусственные. А это кто-нибудь потерял и найдет». Рука снилась. И наяву, в садике, она стала осуществляться мифологически, обрастать. Она живая, но замороженная. Или там, под снегом, туловище. Или она шевелится, и даже видели, как рука показывала фигу. Потом рука куда-то пропала.

635. Примечание к № 566.

Чопорная аморальность.

Розанов:

«Страшное одиночество за всю жизнь. С детства. Одинокие души суть затаенные души. А затаенность — от порочности».

Пожалуй, из меня бы вырос большой негодяй. Но я вырос в негодной стране, где моей негодности не дали развернуться. А так «ванятебедобраочу» пошло бы в рост. В обычных условиях в школе я был бы отличником, классной звездой. Лидерство плюс внутренняя чуждость и одиночество — что бы вышло? Да же и наметки были... В конце подросткового возраста попадая во внешкольный коллектив (пионерлагерь, больница), я быстро захватывал власть. В больнице

четырнадцатилетний... В палате лежал номенклатурный мальчик. Его мать пришла навещать и спросила: «Ну, кто тут у вас король?» Он молча показал на меня. Я: «Ну что вы, у нас конституционная монархия». Родительница вытаращила глаза. Помню, одного из ребят я заставлял залезать на тумбочку и читать стихотворения на немецком языке. У него был учебник, и я задал: «К вечеру выучишь». А потом: «Просим, просим». Он прочел, а я заставил всех хлопать. От моей «конституции» на стены лезли.

642. Примечание к стр. 35 «Бесконечного тупика».
(Розанов) не боялся быть смешным ужом.

Однажды смотрел с отцом сеанс мультфильмов в кинотеатре. И там показывали «Песню о Буревестнике». Буревестник — горбоносое семитское насекомое, долго и неопрытно умиравшее. Никакой жалости. Нарисованность цветными мелками — такое впечатление, что кто-то с другой стороны оконного стекла бессмысленно водит меловой тряпкой. Занудство. Зато Уж — домашне червячный, лобастый, с русской черепашей челюстью vareжкой — страшно обаятелен. Его юродливая увертливость, национальные смешочки («хех-хе», переходящее в московское «хы-хы») делают его необыкновенно живым и симпатичным. Карикатура оборачивается. Буревестнику дали в ухо, он корячится, а Уж подползает: «А ты, эта, ну, эта... хых-хы... прыхни вниз-то. Оно, может, и вынесет на авось». Насекомое прыг-прыг — и шмякнулось в пропасть. А Уж подпер сократовскую голову рукой-хвостом и вздохнул: «Эх дурачок-дурачок, куда лез — все там будем». Отец потом смеялся и все говорил мне: «А Уж-то умный».

Я теперь все не могу отделаться от ощущения, что Уж был задуман если и не Горьким, то авторами мультфильма как карикатура на Розанова. Там есть многозначительные выходы.

645. Примечание к № 620.
Рука снислась.

Я читал допоздна. Отец принес интересную книгу (что-то вроде «Бурсы» Помяловского, но другое). И как-то у меня от чтения мысли смешались. Я стелю постель, а книгу из рук не выпускаю. Отец говорит: «Ты чего книгу-то держишь, чудак. Положи, неудобно ведь». А я, сам не знаю почему, отвечаю: «А вдруг я руку сломаю, и придется одной рукой застилать. Вот я и тренируюсь». На следующий день в школе я сломал руку. Точнее, мне ее сломали. Ситуация была довольно сложная. Меня наметили для графика выгнать в ПТУ, но без моего формального согласия сделать этого не могли. И тогда стали создавать вокруг строптивного школьника «определенное общественное мнение»... На которое мне уже тогда было плевать. Тогда подговорили комсомольского активиста меня специально доводить. А чудак перестарался и сломал мне руку. Он, конечно, толкнул меня особым образом (самбист), но я в девяти случаях из десяти мог упасть вполне безопасно. Это было у школы, и там из снега торчали прутья кустарника. Чтобы глаза защитить, я руку выставил. Отец же сразу решил, что меня уже предупреждали, приговорили и я загодя с книжкой «готовился». Ну и тут пошло, пошло «обрастать». Отец своим поведением нелепым только ставил себя и меня в смешное положение, потому что на самом-то деле все было на полутонах, намеках. Да и вообще доказывать что-либо было совершенно бесполезно, да и зачем? Я уже был захвачен неосознанной идеей собственной исключительности и всех ласково-благородно презирал. Презирал настолько, что сразу решил для себя, что все это так, случайность, и потом даже подружился со своим палачом (хотя это можно было назвать дружбой лишь в сравнении с моими отношениями с другими одноклассниками). Отец же все хотел «качать права», ну и все огрублял и делал из мухи слона. Тут много разных переплетений, и не идут они прямо к делу. А важно одно — это была уже явно фантастика, о ч е н ь сильно деформировавшая мой искусственный «материализм».

Вообще эпизод этот хотя бы относительно удовлетворительно дешифровался лишь десять лет спустя, когда я прочел автобиографию Юнга. В детстве его толкнул одноклассник, и двенадцатилетний Карл стукнулся головой о торчавшую на улице чугунную тумбу, да так сильно, что получил сотрясение мозга. Это

происшествие вызвало у Юнга невротическое расстройство, прошедшее лишь после элементарной психоаналитической интроспекции. Юнг писал:

«Постепенно воспоминание, как все это началось, вернулось ко мне, и я ясно увидел, что сам был причиной всей некрасивой ситуации. Поэтому я никогда всерьез не злился на школьника, толкнувшего меня. Я знал, что он был предназначен сделать это, и весь эпизод был моим коварным замыслом»

При чтении Юнга я заметил две особенности. Во-первых, сначала многое в его опыте казалось надуманным и слишком интеллектуализированным, слишком сложно-серьезным. Но позднее возникало ощущение, что происшедшее с Юнгом и никогда не происходившее со мной тем не менее со мной произошло. А во-вторых, многое абсурдное и нелепое в юнговской биографии сначала вызывало скептическое отстранение, но потом я с недоумением убеждался, что моя собственная жизнь буквально кишит совершенно идентичными событиями. Например, тяга Юнга к строительству крепостей, вылепливанию глиняных фигурок. Все это в слегка модифицированном виде было и у меня. Более того, в значительной степени и сформировало мою жизнь. То, что мне казалось (вдалбливалось) основным — учеба, школа, — оказалось одним процентом моей жизни. А теневая жизнь — какая-нибудь лепка из пластилина — оказалась жизненным центром, той пуповиной, которой я был связан с подлинной реальностью. Это открыло возможность совсем иных типов понимания своей жизни. Я увидел совсем иной ритм своей жизни, лишь маскируемый микроскопическим дрожанием сиюминутного уровня.

674. Примечание к № 645.

...чужак перестарался и сломал мне руку.

В результате я остался в девятом классе. Свидетельство о восьмилетнем образовании все же мне оформили соответствующее:

«Свидетельство о восьмилетнем образовании.

Настоящее свидетельство выдано Одинокону в том, что он окончил восемь классов и обнаружил при удовлетв. поведении следующие знания:

по русскому языку	3 (удовлетв.)
по русской литературе	3 (удовлетв.)
по алгебре	3 (удовлетв.)
по геометрии	3 (удовлетв.)
по истории	3 (удовлетв.)
по географии	3 (удовлетв.)
по физике	3 (удовлетв.)
по химии	3 (удовлетв.)
по биологии	3 (удовлетв.)
по иностр. языку (немецкий)	3 (удовлетв.)
по черчению	3 (удовлетв.)
по пению	Зачет
по рисованию	3 (удовлетв.)
по физической культуре	—
по трудовому обучению	3 (удовлетв.)

Директор школы В. Розанова».

Педагогический коллектив воспринимал мое появление в девятом классе как досадную накладку и продолжал травить уже просто так, бесцельно. По инерции. Вяло, но постоянно. Учительница русского языка и литературы сказала:

— Ну вот Одинокон — я не понимаю, что за человек. Вчера на педсовете сказали — у всех ребят в классе есть какой-нибудь талант: один рисует, второй музыкой увлекается, третий по математике, четвертый интересуется техникой. А этот: ни богу свечка, ни черту кочерга.

А класс хором:

— Почему, Одинокон стреляет хорошо.

Неделю назад водили на стрельбище, и я отличился.

Видел я плохо. Мишень в ста метрах расплывалась серым пятнышком. Из винтовки я никогда раньше не стрелял. Но ведь десять лет охоты в пластилино-

вых джунглях что-нибудь значат. Я все пули послал в яблочко, но потом мне часто снился неприятный сон (все сны, связанные со школой, неприятны): школа становилась пластилиновой, жутко переплеталась с игровым столом. Игра становилась слишком серьезной и не приносила облегчения, я превращался в пластилинового муравья.

691. Примечание к № 645.

Я увидел совсем иной ритм своей жизни, лишь маскируемый микроскопическим дрожанием сиюминутного уровня.

В семнадцать лет я встретил человека, который сыграл огромную роль в моей жизни. Это был знакомый отца, логик, окончивший аспирантуру МГУ. Он был такой добрый, спокойный, благородный. Высокий, в строгой тройке, он носил аккуратно постриженную бородку и курил трубку. И он сказал, что я умен и вообще удивительный. Это была Санкция. В первый раз в жизни мне сказали такое, и кто сказал — человек, социальный и духовный статус которого был в моих глазах необычайно высок. В известном смысле это мой крестный отец. Потом я его во многих отношениях довольно быстро обогнал. Карьера его не сложилась, и он уехал в провинцию, но иногда приезжал в Москву, и мы встречались один-два раза в год. Это был единственный человек, который проник в мое внутреннее «я» в эпоху страшного переживания собственной обреченности, и, конечно, это не могло пройти ему даром. Мне было двадцать два года. Мы встретились в очередной раз. Помню, я все говорил, что никто никому не нужен, что, если он упадет и разобьет себе голову об асфальт, все будут проходить мимо и т. д. Он же все спорил, успокаивал меня. Как-то беседа подошла к теме руки, и я ему рассказал эту историю. Но в чисто социальном плане. Как комсомольца этого, невинно пострадавшего от какого-то Одинокова, школа премировала туристической поездкой в ГДР и т. п. смехотворные вещи. Это была легкая, полушутивная часть беседы. А он и говорит: «Вот совпадение какое, я этим летом сломал себе руку и провалялся месяц в больнице». Нужно было уже прощаться, я ему пожал руку и улыбнулся: «Ну смотрите не сломайте ногу». Он тоже улыбнулся: «А ты язва». На следующий день этот обреченный пошел на вечеринку, немного выпил (кстати, в беседе я вентилировал и вопрос о пьянстве) и поскользнулся на гололеде. И сломал ногу. Он перепугался, что его в нетрезвом виде еще, чего доброго, заберут в вытрезвитель, а у него только мой телефон был. Он позвонил мне, подошла мать. Она его знала. Он ей стал объяснять, в чем дело, а она: «Нечего его (то есть меня) беспокоить». И трубку положила. Мне же ничего не сказала. Он потом в больнице два месяца пролежал. А я и не знал. И после этого мы еще встретились через год, он рассказал историю (но без матери, это я отдельно выяснил), но как-то меня бояться стал или просто подумал, что я знал обо всем и не навестил его. В общем, трещина какая-то возникла. К тому же я его совсем обогнал интеллектуально.

Меня не оставляет мысль — в какой степени я лично виноват в происшедшем? Кто я здесь — тоже жертва или...

Впоследствии мое мировосприятие сильно помягчело, стало глубже и тише, и такие «совпадения», происходящие постоянно, в основном переходят во всякого рода смешные вещи, разрешаются фарсом (к чему я и стремлюсь вполне сознательно). Но всегда это производит на меня более чем тягостное впечатление, и я стараюсь ни в коем случае не думать об этом. Возможно, просто моя рука попала в колесо языка. Накал же злобной проявленности со временем развеялся. Тогда я лишь соучастник, орудие.

741. Примечание к № 373.

Как его смерть трансформировалась в эти строки?? Фантастика.

На уровне сознания адаптации к смерти отца быть не могло. С точки зрения разума факт этот был совершенно однозначен, и уйти от него было некуда. Его можно было только постепенно забывать. Я уже был достаточно испорчен мышлением, чтобы понимать всю ошибочность попыток сублимации и т. п. Но параллельно с недоуменным молчанием происходила постоянная шлифовка идеи отцовской смерти на уровне снов. Сны все более укутывали больную мысль, скрывали ее ранящие углы. Сначала меня мучали кошмары: я видел оскаленное

небритое лицо отца в окровавленных осколках разбитого зеркала, отец все время оказывался страшно жив, и это его существование в снах находилось в ужасном противоречии с простым и уютным фактом смерти. Он все приходил и приходил. Но потом все получилось, и я вырвался из фрейдистского кошмара, соскочил с его в никуда идущего поезда. Получилось все хорошо. Я ходил в своих снах с отцом по вечерней Москве, и он, трезвый и грустный, говорил со мной, и я рассказывал о своей уже незнакомой ему жизни. Тут была боль и счастье.

О чем эта книга? Об отце. Словами ничего нельзя сказать. Что мне сказать? Сама эта тема — «отец и сын» — банальнейшая, затертая до дыр, мусоленная-перемусоленная. И все мои мысли и чувства совсем неинтересны. Неинтересны самому мне. Мне хочется думать о нем, но нельзя. С точки зрения фантазии («...к отцу в палату пришел священник, и он умер как христианин, причастившись») это все может быть эстетизированно и интересно, но, увы, неподлинно, увы, не для меня. Отца тут не будет. Он будет так же мертв, как и в жизни моей мысли. И вот я пришел к нему в снах. Этого нельзя передать, но есть верное ощущение освобождения. Точно его жизнь — это отдельные рассыпанные ноты, сливающиеся и наполняющиеся высшим смыслом через мою жизнь. Я смысл его бессмысленной жизни. И это есть элемент осмысления и моей собственной жизни. Я никому не нужен. Но моя ненужность (вот сейчас), опрокинутая назад, наполняет бывшее ранее содержанием. Речь здесь идет не о таком мышлении, а о таком интуитивном, «во сне», чувствовании. Внешне я бежал от отца (и до сих пор ни разу не был на его могиле), а внутренне все время шел к нему. Его смерть перестала определять мое «я», я стал свободен, и в этой свободе он жив. Я знаю родовым знанием, что в его большую голову приходили такие же странные мысли — сны. Отец был бабочкой: ерундой, мотыльком, мучительным поиском нужного слова. По-моему, я прав, иначе было бы слишком жестоко. Мой слабый разум видит, что что-то со мной все эти годы происходило, и это каким-то непостижимым образом связано с отцом. Во мне есть мысль отца, идея отца, которая развивается, может быть, без моей воли и желания. Следовательно, он жив. Он мертв в моей мысли. Мертв и в моих чувствах. Но он жив в снах. И перестал сниться, когда ожил в мыслях и чувствах. Он мне все снился, снился, и наконец наши встречи перестали быть мучительными. Но все же существовала невидимая грань, черта. Он приходит все реже, и грань эта год от года становится все тоньше, все незаметней. И когда повалит сквозь пустеющие глазницы снег предсмертных снов и вокруг снова засмеются над нами, а Одинокое вновь проглотит перед моим потухающим взором, медленно качаясь на огромной ржавой вешалке — жалобный визг металлических петель и кирпичное солнце безнадежно погружается в горизонт, — тогда через истончающуюся дымку спасительной пространственной реальности (кишение взаимопереплетающихся казарменных объемов, запах жареного лука, тусклые лампочки и матерная ругань), через дымку я шагну к отцу, и ничто уже не будет разделять нас. Я обниму его, прижмусь к колючей щеке, и он ласково улыбнется, тоже обнимет. А потом я скажу: «Никому мы, пап, не нужны. Мы же эти... ничтожества». И мы пойдем рука об руку по тихому, заснеженному переулку. Белое небо. Тихо, только снег скрипит под ногами. Отец тащит огромный черный чемодан, с которым меня отправляли в пионерский лагерь. На его фанерном боку аккуратная белая наклейка: «Одинокое». Чемодан мешает, и отец выпускает его из рук. Он беззвучно падает на снег, и оттуда вываливается моя одежда: футболки, рубашки, спортивный костюмчик. Однажды отец рассовал во все карманы и кармашки моей одежды леденцы. Так я бы их сразу съел, а тут надену новую рубашку, а там три леденца. Я думаю: вот, случайно попали. А потом через несколько дней лезу за резиновыми сапогами, а в каждом по пять леденцов. И снова радость. А под конец лагерной смены уже думаю, что, может быть, где-то между одеждой тоже случайно затерялись. И на дне шару, нахожу конфеты еще... А сейчас чемодан уже не нужен. Мы даже не оборачиваемся на него и идем... Вперед, в белую мглу. Отец сжимает мне руку, и земля начинает уходить из-под ног. И мы молча падаем, падаем...

747. Примечание к № 373.
Отец подарил мне трагедию.

Все-таки есть у меня в жизни одно благорядное событие — смерть отца. Оно тоже с трещиной, но все же, в конце концов, кто камень бросит? Над всем

остальным: моей любовью. моей «философией», вообще моей жизнью, — можно смеяться вполне серьезно. А в случае с отцом что-то будет мешать.

Пожалуй, и в жизни отца это единственно высокое. Смерть — вершина его жизни. Он сам себя убил, освободил всех от себя. Он чувствовал, что должен уйти...

Впрочем, и тут мой проигрыш. Моя трагедия является Трагедией лишь для меня, а ситуация дешифруется как попытка наивного сублимирования идеи отца.

749. Примечание к № 735.

...или комок в горле, или дома по углам сидят и хнычут...

Я плачу наедине. Последний детский плач — после мучительной перевязки в больнице. Но уже тогда не получилось. Я отвернулся к стене и попробовал захныкать, но это показалось столь нелепым и мелким по сравнению со взрослым звериным переживанием. Грусть, комок в горле, страх перед начинающейся взрослой жизнью потом постоянно нудно, без какого-либо разрешения, прорыва. И на похоронах отца не плакал. Впервые я заплакал лишь через полгода, зимней ночью. От одиночества. Любимая фантазия того времени: я пишу письмо. Ей, тут документ, а она читает и или смеется надо мной, или сердится. Или, злорадно придумывал я, ей все равно, она возмущена, но (еще поворот) не совсем, а так. Ну, словно в метро ее толкнули случайно. И она так же равнодушно отталкивает. А я плачу. И именно при ней. Чувство порванного письма-документа и душевного порыва, порывания с этим миром, смерть. «Все пропало». Безнадежное освобождение.

Я думал подобным образом и плакал, плакал. Часто ночи напролет. Слезы оказали влияние огромное, очень помогли мне, сгладили мой внутренний мир, смягчили его, возвысили. Может быть, мир слез и стал фантастическим миром любви. Я как бы любил, как бы приобрел подругу жизни, которая согласилась со мной проходить вместе жизненную дорогу... То есть моя одинокая жизнь была восполнена слезами, и эмоциональная сфера, несмотря ни на что, осталась недеформированной.

Иногда, в светлые минуты, у меня странное чувство, что в юности я испытал настоящую любовь и даже любовь счастливую.

793. Примечание к стр. 42 «Бесконечного тупика».

«А вы гордецы... Имеете какую-то свою душу... Коллектив... теперь берет свое назад. Умрите» (В. Розанов).

В чем изюминка нашей эпохи? Вот 60—80-е годы XX века в России. За что это странное время будут изучать? А ведь будут, я уверен.

Казалось бы, о нашем мире все написано, все ясно. Ан нет. Кое-что не зацеплено. Писалось и пишется все об экстравертированных ужасах. А есть еще ужасы интровертированные, в реальности не видные. И это страшней, хуже.

Как раз 60—80-е — это преимущественно эпоха интровертного инферно. Предыдущие поколения до него просто не доросли, не доживали. Голод, войны, эпидемии — тут не до психологии. Личная жизнь, «я» человека не дорастало до нужного уровня, не окунало свой мозг в холодное верхнее злорадство. Это сейчас только разгорелось.

Вот система образования. В школе изучают высшую математику. Подростки, юноши. Это же очень тяжелая нагрузка для мозга. Причем чем тоньше мозговая организация, тем хуже. Формирующейся личности в это время надо побыть наедине с собой, впервые поставить и осмыслить основные вопросы бытия. А тут математика с каменным топором. И разве может, например, половое созревание в таких условиях проходить нормально? Конечно нет. Поэтому на Западе болезненно высокий уровень учебной нагрузки компенсируется допингом психотерапии. На всех учеников заведены соответствующие карты. И вот видят, шестнадцатилетний юноша постоянно грустен, перестает дружить с товарищами, дичится девушек, на уроках рассеян, раздражителен и т. д. То есть у него явно развивается невроз. Легкий. Психологический аппендицит. И его легко, походя вырезают. Два-три сеанса психоаналитической дешифровки, и все. Человеку объясняют, что с ним происходит, и он сам справляется с возникшим психическим сбоем.

У нас же таких добивают ногами. «Что же, абстрагируешься от коллектива? Не участвуешь в мероприятиях? Бейте его, ребята!!!» Да, наша школа, я думаю, каждый год сотни тысяч психически неполноценных людей в жизнь выпускает. Вышвыривает. Причем чем умнее, чем оригинальнее субъект, тем чаще ему просто навязывают невроз.

А вся эта ставшая притчей во языцех система пере-воспитания, то есть перековеркивания? Математикой занимаешься? — негармонично! Пускай рисует. А этот что, рисует? — в математику его. Или еще лучше — пускай в мячик играет. Главное, чтоб гармонично. Чтобы человека можно было, как гармошку, растягивать и сокращать.

Но это по мелочи. Все страшней гораздо.

Вот меня воспитали девственником. Я девственник и никогда ни с одной женщиной даже не разговаривал. Зачем? Зачем это сделали, для какой цели? Я понимаю, русская Россия. Там такие люди пользовались уважением. Я бы мог стать монахом. Мне бы на улицах люди кланялись. Субъективно жертва «личной жизнью» компенсировалась бы чувством гармонии и ненарушимой естественности, чистотой молитвы, да и самим строем монастырской жизни, природой. Не скажу чтобы моя жизнь была бы тогда счастливой, но она была бы естественной. Я бы жил в сообразной среде и пользовался бы пониманием и уважением окружающих меня людей.

А так кто я? — ублюдок. Осмыслить мое поведение в рамках идеологии, которая меня же таким и создала, нельзя. То есть все и было рассчитано на мое уничтожение и уничтожение. Вот где сатанинский, античеловеческий характер нашего мира во всей своей полноте проявляется. Вот где наступает идеологическое осмысление сути происшедшего. Вот где устанавливается смысл социализма как религиозной системы. Какую личность может вырастить этот мир? Личность масштаба Леонардо да Винчи, Гёте, но не христианскую, не классическую, а социалистическую. Гений социализма. Леонардо да Винчи социализма. Гёте социализма. То есть личность, в которой потенциал этого мира раскрывается.

Розанов вслед за Достоевским сказал, что такую личность социализм к одиннадцати—тринадцати годам придушит. Так и было. Но социализм усложнялся, истончался. Ему уже и не нужно теперь физически резать. «Ты сам яму себе выроешь, сам себя в нее закопаешь». Вот такой мир создали.

Становится более понятным и колоссальное значение похорон в официальной государственной жизни. «Восшествие на престол» никак не отмечается, зато смерть главы государства является крупнейшим событием, а похороны его — крупнейшей государственной церемонией. Понятно и что единственное чисто культовое сооружение — гробница со святыми мошами. Ясно и почему вообще центр столицы превращен в кладбище. Характерно, что и единственно сохранившийся христианский обряд — похороны.

По количеству самоубийств наша страна занимает второе-третье место в мире. Первое — Япония с ее мстительно-напряженной культурой. Но конечно наши данные фальсифицированы. Зная крайне негативное отношение властей к самоубийству, рассматриваемому как индивидуалистический бунт против государства, можно легко предположить, что при малейшей зацепке самоубийство квалифицируется как несчастный случай. Молодой человек без видимой причины бросился под поезд. Не обнаружено каких-либо писем, родственники отмалчиваются. Да еще легкое опьянение. Пишем: несчастный случай. С другой стороны, и сами самоубийцы часто стараются оформить акт ухода из жизни максимально правдоподобно, чтобы не компрометировать родственников. Я думаю, что у нас больше самоубийств, чем во всех развитых странах мира, вместе взятых. Судьба личности в советской России, судьба Есенина, Маяковского, Цветаевой достаточно ясна. Но это остатки былого мира. Советский же человек тогда не дорастал до своего самоубийства. Самоубийц убивали. А зачем?

В то же время даже кривое и ненормальное существование личностного начала, хотя бы некоторое время, вносит элемент динамизма в общество. И может быть, 90-е и более поздние годы будут характеризоваться постепенным «выправлением» нечеловеческой кривизны духовной сферы. Поэтому как раз 60—80-е — это вершина социализма, зрелый, чистый, духовный социализм. Лет через двести демонологи будут плакать от зависти к нашим современникам: «Глазком, глазком одним посмотреть на этот кошмар».

799. Примечание к № 793.

...пускай в мячик играет.

Отец умирает. А мне:

— Чего квелый? «Эй, вратарь, готовься к бою».

И мячом в рожу, в рожу. В «Бесах»:

«Кириллов бросал о пол большой резиновый красный мяч; мяч отпрыгивал до потолка, падал опять!»

Кириллов кончает жизнь самоубийством, а мяч попадает к Верховенскому:

«Знаете, подарите-ка мне ваш мяч; к чему вам теперь? Я тоже для гимнастики».

И мяч сорвался, осуществился. Бунин стонал в девятнадцатом году:

«На стенах возвания: «Граждане! Все к спорту!» Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще спорт?»

Как откуда? «Оттуда».

На заводе после работы меня заставляли бегать (ДОСААФ):

— Надевай тапочки и бегом. Стой. Зачем идешь? Давай прыжками и быстро.

Два притопа, три прихлопа, прыгай с финтом, как кролик, или ласточкой. А вот бокон, караморой, по свисту. На четвереньки...

Это вам, батенька, не Оксфорд. Насильственное занятие физкультурой. Знаете, как здорово помогает? Какая сразу бодрость-свежесть?..

Измучить их надо.

854. Примечание к стр. 48 «Бесконечного тупика»

Набоков сказал: «Сумерки — какой это томный сиреневый звук».

Мне было тринадцать лет. Я лежал в больнице и каждый день с неосознанным нетерпением ждал прихода раннего зимнего вечера. Садился на стул у окна — широкого, «дореволюционного», с тяжелыми двойными рамами и большим подоконником. И смотрел, как городской пейзаж начинает сочиться сумерками. Что-то происходило с моими глазами, веки немножко опускались в полудреме, и я растворялся в ласковом вечернем воздухе. Деревья в небольшом парке становились полупрозрачными, загорались золотые чешуйки реклам, бессмысленно и загадочно мигающих в окно, намекающих на иную, небольнично-«европейскую» жизнь. Рядом с окном была дорога, и каждый день в сумерки по ней проходила вереница такси. И их уходящие в никуда, за угол зеленые огоньки куда-то звали, звали. А по улице, всего в нескольких шагах, шли люди. Они о чем-то говорили, смеялись. Может быть, впервые я увидел женщин, ощутил тоску по женщине здесь, у холодного зимнего окна. Частная, понятная тоска сливалась с тоской вообще. Эта тоска и одновременно органическая невозможность и нежелание что-либо изменить в этом быстро меняющемся плавном сумеречном мире остались на всю жизнь.

Женщины казались все какими-то необыкновенно красивыми, «европейскими» в неверном свете люминесцентных ламп. А больничная палата была темна, только на потолке отражался свет фар от проезжающих машин. В этом вечернем свете было что-то неверное, эгоистическое, подчеркивающее мою одинокость, но одновременно и что-то порочно-загадочное, «иное».

Утро моего сознания началось с тоскливых сумерек. С тех пор я поднялся высоко. Мой ум поднялся высоко. Но странное дело, мне кажется, что существовал и осуществился я именно там, а не здесь, сейчас. Тогда я жил свою жизнь. Маленький Одинок, сидящий у большого окна. Я смотрю на него с улицы: «Эх ты, дурачок мой». Он видит меня и молча отшатывается в темноту.

Увидел ли я тогда в сумерках тень вешалки, нависшую над всем моим будущим миром? Или, может быть, он увидел меня в будущем еще более дальнем? Не знаю. Мне не дано это увидеть сейчас, как не дано было тогда увидеть себя сегодняшнего. Пространственно-временной изгиб вынес меня будущего по другую сторону стекла. Я растянут во времени, но совсем не

уничтожим в нем, и, пока жив, я могу изогнуть туннель своей жизни дугой и посмотреть на другого себя из другого времени.

Сумерки, чувство сумерек — это предчувствие моей будущей жизни, а отшатывание — боязнь определенности, фатальности. Или неприятие будущей жизни, отказ ее считать своей. Маленький Одинокоев не хочет, чтобы я был таким, чтобы я получился таким. Но я таков, и ничего тут не поделаешь. Пропала жизнь. Какую кошмарную, сумрачную жизнь я прожил. Зачем? За что? А зачем? Расширяющаяся пустота этих слов — прободение пространства. «Зачем». «А-а» — раскрывается черно-красное небо — «зачем» — шелкает в мозгу, когда в мгновение ока все забывается, и я просыпаюсь, упав с кровати на пол. Я хочу слезть с кровати, но у пола нет края, я ползаю по нему. Азачем, азачем, азачем. Пустите меня. Русский язык. миленький, отпусти меня.

860. Примечание к № 854.

Мне было тринадцать лет. Я лежал в больнице...

Пребывание в больнице первый раз в тринадцать лет, а второй в четырнадцать явилось первым опытом одиночества — индивидуального, предоставленного себе существования. Это был нужный и важный опыт. Удивительное чувство — мне кажется, что моя жизнь кем-то необычайно хорошо продумана и предусмотрена. Все в ней в конечном счете получается соразмерно, ритмично и как-то всегда «вовремя». Интересно, что мой отец родился в первый год двенадцатилетнего цикла — в год Крысы. Мать родилась тоже в год Крысы, но на двенадцать лет позже. А я родился еще через двадцать четыре года, то есть снова в год Крысы. Мне кажется, моя жизнь очень последовательна. В некоторых пунктах она ужасна, но чего в ней нет, так это хаоса. Она закружена и повторяема.

В первый же день пребывания в больнице мне решили делать операцию. Меня раздели, вымыли, уложили на каталку и укрыли белой простыней. А потом что-то не получалось у них там, и я минут тридцать лежал в коридоре. Лежать было неудобно, жестко и навзничь. Я честно смотрел вверх и думал: как странно, сейчас меня усыпят и я потеряю сознание, а может быть, умру. И больше ничего не будет. Это вот все. Или все будет хорошо, и пройдет время, и я буду все это вспоминать как нечто положительное, интересное. Ведь это, пожалуй, единственное необычное событие в моей жизни. И при этом спокойное отстранение, хотя била дрожь — чувство убийственной обыденности. Мимо шли санитары, смеялись. Мысли как-то расстраивались. Потолок был высоко-высоко. Стены в зеленой краске, а потолок серый, и там горела тусклая, но аккуратная (в матовом колпаке) лампочка. Я лежал голый под саваном, было холодно, и думал. Сознание было очень ясное, и, пожалуй, в этот момент я начал вымываться из детства. Это один из первых проломов во взрослый мир. С тех пор у меня болезненное пристрастие к тусклым, «черным» лампочкам.

867. Примечание к № 860.

Все (в моей жизни) получается соразмерно, ритмично...

В детстве я сильно тосковал по старому дому — казалось, все плохо стало именно потому, что уехал отсюда. Тоска эта — чистый звук флейты. Он становился все громче, все тоскливее. А в тринадцать лет меня положили в больницу — операция пустяковая, аппендицит, но сделали ее бесплатно, и у меня началось осложнение. Рана нагноилась, стала сочиться кровью. Случилось это в воскресенье, и в больнице врачей не было, только медсестры. И они стали мне там что-то в животе без наркоза резать. Одна резала, а другая полотенцем мне рот затыкала, чтобы я не кричал. От страха и боли я орал пронзительно громко, по-звериному. В больнице была какая-то реконструкция, и в отделение, в котором я лежал, поместили дефективных детей. Среди них был один идиот, постоянно воющий. Меня после привезли на каталке, а в палате ребята говорят: «Одинокоев, ты не слышал, тут идиот этот за стеной так ревел».

Это уже труба органная подключилась. Потом сломанная рука, уже не просто физическая боль, а подлость, — еще труба. Вешалка — еще. Болезнь и смерть отца — еще. Издательский аттестат, любовь, а точнее, ее отсутствие, работа на заводе — и так пошло. пошло по регистрам. А потом еще несколько труб

включилось, и мелодия стала уходить в бесконечность. Казалось бы, все уже, хватит, а тут новый, еще более резкий тон, поворот, коленце. В результате я получился очень ритмичным человеком, моя жизнь сложно ритмически организована. Конечно, каждый конкретный тон немного плывет, немного смещен. Но в целом это нечто очень серьезное. Что извне не видно, так как воспринимаются из мира лишь отдельные ситуации, а во мне, в моей личности, только все перекрещивается в единую мелодию и очень глубоко и сильно организует мое «я». Так по пустякам, по пустякам и набирается, хе-хе, трагедия.

877. Примечание к стр. 49 «Бесконечного тупика».
Как я попал в эту страну? Зачем? Для чего?

Разве можно найти некоторое равновесие в моей жизни? Я родился в центре Москвы, а вырос на окраине, чуть ли не в рабочем поселке. Брак родителей был мезальянсом. Моя биография даже по анкетным данным представляется чистой водой вымыслом — «этого не может быть». Да это частности — духовная атмосфера в стране искажена до абсурда. Наконец, что такое моя жизнь? — это нудное — годами — сидение в четырех стенах, даже не сидение, а лежание Обломовым на диване и чтение сотен и тысяч книг. День за днем, день за днем. От Платона до Лебедева-Кумача. Почему я читаю, для чего — я совсем не знаю. За окном солнце, люди, жизнь, но я как забился в двенадцатилетнем возрасте в угол, так и сижу там. Лежу. Нелепость. Совершенно нелепое, абсурдное существование. И «Бесконечный тупик» — это не что иное, как попытка сопоставления всех углов моего «я», попытка осмысления этого моего неправильного существования. По иронии судьбы лежащее на диване ленивое ничтожество обладает холодным и беспощадным умом, и ум этот, обиженный столь недостойной и разоблачительной эманацией, пытается придать идиотскому хеппенингу своего земного существования некий смысл, тоже весьма холодный и жестокий. И все-таки я — поскольку я не только и не столько разум — думаю, что в моем существовании никакого смысла нет. Жизнь вообще бессмысленна, ибо является чем-то индивидуальным и, следовательно, конечным. Но по этим же причинам она обладает неким локальным и житейским смыслом, смыслом с маленькой буквы. Так вот: я лишен обладания даже этим небольшим человеческим смыслом. Подует ветер смерти — и все, развеюсь, будто и не жил.

Я понимаю, что своей «жизнью» я попал в нелепую и до смешного обидную историю. Как будто шел в буфет и вдруг нечаянно вышел на сцену и под общий хохот заметался в свете прожекторов.

Чтобы создать личность, необходима порода, воспитание, сложная и продуманная цивилизация, стройная система образования и, главное, необходима естественная драма жизни, и прежде всего вечная ее основа — любовь. У меня же, в моем случае, ничего нет. То ли живу я, то ли мне это кажется. Непонятно. «Гармонично развитая личность» — тавтология. Личность — это и есть гармония. Но я же личность. Это же явно. Разве неличность может заниматься рефлексией? А ведь № 877 — это рефлексия ведь, рефлексия. (Может ли быть более явный признак рефлексии чем вопрос о наличии или отсутствии рефлексии?) И тогда выходит, что я гармоничен, что жизнь моя целесообразна? Что проникнуть в мир я мог после случившегося, только прочитав шкафы «литературы»?

Но тот же беспощадный и холодный разум шепчет мне, что тут уклон жизни, злорадное закругление. Чтобы придать смысл происшедшему, мне надо стать клоуном. Это и будет реальный опыт жизни, логически вытекающий из моего до сих пор благородно-абстрактного существования.

Как бы мне хотелось вывернуть с хрустом пальцы листающему эти страницы, показать, кто я такой на самом деле, чтобы он униженно хныкал на коленях и просил пощады: «Одинокое, миленький, отпусти меня». Но «явиться» ему я только и могу в шутовском колпаке «Бесконечного тупика». Я понял, что жизнь уходит, а так хочется пожить. «А жить-то хочется». И вот пожалуйста, я поплыл на санках. Отец был более человечен по сравнению со мной. Он не боялся жить. Катался на водяных санколяжах и пел. Мне это показалось нелепым. Но он жил, жил. Я же, предвидя, что меня ожидает, решил благородно не жить. Но лучше жить неблагородно, чем благородно не жить. Розанов сказал: «Я еще не такой подлец, чтобы говорить о морали. Человек живет один раз».

Все-таки хотелось бы гаду-читателю пальцы переломать.

863. Примечание к № 854.

Пропала жизнь.

«Пропала жизнь». Не как истерический вопль или объявление о пропаже, а как беспоялая, равнодушная деталь мира. Обычный городской ландшафт. «Слава КПСС» на фасаде соседнего здания. Быт. Глаз привычно скользит, не замечает. Никаких трагедий.

887. Примечание к № 822.

«...жизнь этих новых людей должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших, добросовестных монахов» (К. Леонтьев).

Однажды отец с кем-то говорил в комнате, а я, маленький, тут же — мешался. Стал открывать ящики стола и нашел комсомольский значок. Отец увидел, взял его у меня и стал в руках вертеть. А потом говорит товарищу:

— Это мне друг подарил, Валька Котов. Он умер от рака, ему еще тридцати не было. Я пришел с ребятами с работы к нему в больницу, а он лежит и плачет: «Ребята, за что меня-то, я же не пил никогда, не курил и с девушкой даже не целовался еще». Все испугались и ушли, а я остался успокаивать. Говорю: «Ну ты же секретарь комсомольской организации, вспомни о молодогвардейцах, Корчагине». И ему лучше стало — он так слушал. С ним же никто не говорил по сути — только улыбался. Я к нему потом еще приходил. И он мне, чудак, мальчишка, вот свой значок комсомольский подарил. Одного я в жизни святого такого видел.

Значок потом куда-то затерялся, но я его хорошо помню. Он был необычного, темно-темно-вишневого цвета, на фоне которого золотился профиль Ленина. Я его потом очень боялся.

893. Примечание к № 877.

Как бы мне хотелось вывернуть с хрустом пальцы листающему эти страницы...

Отец оставил мне хорошие связи и плохую наследственность. Оформив же наследственность при помощи связей, можно было избежать армии, этой «сверхшколы».

Как я хотел вывернуть наманикюренные пальцы медсестры, чтобы поднесенные в ее ладошке таблетки взлетели разноцветным фонтанчиком конфетти и покатались по больничному линолеуму. И чтобы крошить, крошить их каблучками (тоже мечта: какие каблучки? — тапочки, шлепанцы). Она была неприлично красивая, накрашенная, от нее пахло духами. И презрительно улыбалась в снопе света, падающего через раскрытую дверь в темную палату. Страх, холодный пот. Присела на мою койку, а я, дрожа под одеялом, забился в угол.

Когда меня положили на экспертизу в психиатрическую больницу, а это было вечером, свет в палатах был потушен, я, растерянный, близорукий, в темноте не мог постелить постель, не видел. И лег поверх одеяла, в брюках. Это была вторая ошибка. Первая — еще в приемном отделении я сказал, что не хочу надевать больничный халат. Это было квалифицировано как «неправильное поведение», и после двух недель обследования меня стали лечить. Я ходил по коридору и слышал за спиной голоса уборщиц:

— Вот этот молодой человек совсем тяжелый... Вот он пошел.

— Где?

— Вот.

Врач, как только я «поступил», спросила: «А как вы понимаете поговорку «кашу маслом не испортишь»?» Это называлось «проверка уровня интеллектуального развития».

Есть то, что давали в больничной столовой, было невозможно, и я спасался кусками сахара да иногда с отвращением съедал несколько ложек полугнилого салата или пахнувшей тиной каши. В первый день за завтраком медсестра-старуха спросила:

— А чего же масло в кашку не кладете?

— Да оно же желтое.

— У нас все хорошее, специально проверенное. А кушать не будете — ручки завернем за спиночку стульчика и ложечкой, ложечкой в рот.

Вовсе не было злости. Это про пальцы сейчас реминисценции, тогда только сцена мелькнула однажды на секунду и скорее умозрительно. А был страх и тягучая заторможенность, внешнее спокойствие, замирание и удивительно тонкое, отчетливое восприятие всего происходящего. Я, постоянно молчащий, какой-то стертый, весь ушел в слух, обоняние, зрение. Белая краска: простыни, халаты врачей, сахар, рамы окон, потолки, тумбочки. Пахло подгнивающими яблоками и табачным дымом. За окнами желтая осень, солнце. Доносились деформированные обрывки фраз от расположенной рядом диспетчерской товарной станции. Мать меня забыла.

Я все это воспринимал трагически и всерьез. Мечтал поступить в университет, а очутился то ли сумасшедшим, то ли жуликом. Все-таки достаточно банальная история для нашей действительности, для меня, внутренне, воспринималась совсем иначе. Там моя личность окончательно сформировалась. Отношение к миру. Это было мистическое переживание, очень тонкое и точное. Жизнь повернула, мазнула кистью последний раз по оконченной картине — живи.

898. Примечание к № 893.

Это было мистическое переживание...

Психиатрическая больница — последнее звено в цепи внешних событий, где я являлся лишь объектом, и в то же время первая вполне сознательная акция, первое самостоятельное не только совершившееся, но и совершенное событие в моей жизни.

903. Примечание к стр. 50 «Бесконечного тупика».

Математику я никогда не любил. Кант угнетает русского человека своей математической однозначностью.

Учительница по математике всегда говорила: «Одинокое — дурачок». Слово «дурачок» она как-то мелодично растягивала, и получалось саркастично и безнадежно. «Ду-ра-чок». Однажды, в классе девятом, я сидел на уроке, подперев щеку левой рукой, а правой рисуя на промокашке какую-то чепуху: пальму, солнышко, просто завитушки разные. Она подошла, посмотрела на рисунки, потом взяла и показала классу: «Вот, ребята, посмотрите, чем Одинокое на уроке занимается». (И всегда я чем-то «занимался». И всегда меня от этого надо было спасать.) Класс лояльно хохотнул. Потом меня ударили промокашкой по щеке. Я даже не почувствовал (промокашкой-то!). Не почувствовал и внутренне и до сих пор именно этот эпизод не считаю обидным. Наоборот, он очень легко укладывается в общую схему математики.

Какие-то дураки навязывают мне правила, заставляют играть в шахматы. А я в них совсем играть не умею. И мне ставят мат. При моем самолюбии это единственно возможное для меня унижение — интеллектуальное. Я не умею играть в шахматы. Но я могу «обыграть» шахматы, тему шахмат. Мне интересно думать о шахматах. Жуткая несправедливость математики в том, что там нет своеволия. Воля загнана в каналы правил. И эти правила мною правят. А я дурачок.

905. Примечание к № 899.

«Филология — это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках» (О. Мандельштам).

Отец, уже парализованный, рвал одной рукой дневники, письма, складывал в картонную коробку. И ее потом выбросили. Я сказал: «Может быть, оставить зачем». А он: «Не нужно, макулатура».

Чувство, внезапно появившееся у меня сейчас, в конце этой книги, — чувство уюта. «Бесконечный тупик» — микрокосмический Одинокое. И пусть дневники развеются по ветру, пусть все порвут и выбросят, уничтожат. Меня же очень легко вычеркнуть — просто сжечь все. Это до этой книги так было. А теперь нет, теперь рукопись останется, будет существовать, медленно размокаясь, и я сам стану разлетаться по Москве, по ее улицам и переулкам. Как же меня уничтожить? Это очень трудно теперь. Нет чувства беззащитности. Новое, до сих пор

незнакомое чувство. Я бессмертен, а моя жизнь на конце иглы. И вот этих игл становится все больше и больше. Чтобы я погиб, их надо переломать все. Но если этих игл хвойный лес? Если они развеяны московским ветром и за ними не угнаться?

Эта книга как бы семья: жена, дети. И они меня любят и хранят «архив». Как будто бы я женился, как будто какой-то другой человек присутствует со мной, как будто бы я не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась со мной проходить вместе жизненную дорогу...

915. Примечание к № 912.

Одинок превращается в бесцельную стилизацию.

Стилизация. Положим, у вас дома еж живет. Сказать не «еж», а «ежик» — уже теплое, интимное чувство. И смешно. Уже некая кокетливая улыбка появляется. Сорокалетняя дама, говорящая, что у нее живет ежик, мгновенно входит в роль шаловливого ребенка. Назвать ежика Ермолаем:

— Ермолай по ночам пытел, шуршал газетами, натасканными им со всего дома себе под диван. Потом, посапывая мокрым носиком и постукивая коготками о паркет, топотал на кухню, долго лакал молоко из блюдца, удовлетворенно пыхтя и причмокивая.

Постепенно еж превращается в зверюшку из мультфильма, с прической как у Збигнева Бжезинского. Сидит за столом и пьет чай вприкуску из самовара. Все исчезает в стилизации. Ежик-то пластилиновый!

Но я помню, у домика отца в пионерском лагере жил еж. Я воспринимал его очень серьезно. Опасливо гладил по колючкам, вытаращив глаза, смотрел, как отец его специально пнул, и еж сначала побежал, а потом свернулся в колючий шар. Отец сам был для меня похож на ежика: во-первых, небритый, а во-вторых — прическа. Я трогал папину щеку, жесткие волосы, уголком растущие на лбу. Все было вполне серьезно. К отцу я относился как к отцу. Но стоило мне прикоснуться к живущей в памяти реальности, как она свернулась колючим шаром и превратилась в жеманную стилизацию. Никакого проникновения внутрь, в тот мир — может быть, единственно подлинный мир, — не получилось. Я могу написать: «Правое полушарие отцовского мозга, ошарашенно шарившее в предсмертной пустоте». Но что это было для отца тогда...

Конечно, Набоков прав:

«Часто повторяемые поэтами жалобы на то, что, ах, слов нет, слова бледный глеч, слова никак не могут выразить наших каких-то там чувств (и тут же, кстати, разъезжается шестистопным хореем)... столь же бессмысленны, как степенное убеждение старейшего в горной деревушке жителя, что вон на ту гору никогда никто не взбирался и не взберется; в одно прекрасное, холодное утро появляется длинный, легкий англичанин — и жизнерадостно вскарабкивается на вершину».

Действительно, при удивительном истончении ажурной решетки стиля она перестает замечаться, и притворение переходит вроде бы в претворение. Но, во-первых, что делать не писателям, а простым смертным, и во-вторых, при столь исключительных стилистических усилиях пробиться сквозь сито стиля платой за явление внутреннего опыта другим служит исчерпание его для себя. Происходит отчуждение. Тот же Набоков сказал:

«Внешние впечатления не создают хороших писателей; хорошие писатели сами выдумывают их в молодости, а потом используют так, будто они и в самом деле существовали».

Выдумка может быть гениальной и может почти полностью заменить реальный опыт. Но при этом смутное и нежное ощущение действительно происшедшего заменяется терпкой темперой, яркой и прочной, но неизменной и пахнущей химией.

Возможна ли целостность «я»? И зачем? Может быть, это лишь признак стремления к смерти?

Контакт в юности с детством — чисто физический. А потом возникает контакт с юностью и ее физическим восприятием детства, может быть и не актуализированным. После юности детство умирает, и человек, вспоминая его,

проникает в чужой, хотя и не чуждый, а, наоборот, ласковый мир. Обращение к детству помимо юности, вне юности есть ошибка, свидетельствующая об инфантилизме данной личности. Ведь все равно контакта нет. Есть пластилиновый ежик Ермолай или металлист. Задачу ежа можно решать соответственно в русофильском или молодежно-панковском стиле.

Не есть ли сама тяга к писательству признак незрелости русского общества, его вечной детскости, неспособности контакта с собственным прошлым? Ключ к прошлому был не у историков — у писателей. После Карамзина писатели стали давать материал историкам, тогда как нормально было бы обратное.

920. Примечание к № 898.

Психиатрическая больница — последнее звено в цепи внешних событий...

Случилось самое нелепое. Я превратился в романтического героя, в обычного, заурядного гения. Моя биография архаична, да и просто является штампом: «гениальный одиночка, изгой, стоящий в костюме арлекина посреди зачумленного города и хохочущий смехом сатанинским». Но каково мне, когда эта пошлятина (а для русского сознания это всегда будет пошлятиной) вдруг оказалась моей судьбой. Если так, все по нелепым книгам и вышло.

Пошлость ненастояща, но всегда искренна. Двойной, «ироничной» пошлости быть не может. И я в своей пошлости вполне искренен. Куда уж искренней — элементарная биография. Фактография. Следовательно, я ненастоящий, в моей жизни есть органический порок, дефект... Какая-то исключительная глупость таится во всем, что происходит со мной. Какую-то в своей жизни я роковую ошибку допустил, что самое обидное, уму моему недоступную, непонятную. Хотя ошибка-то грубая, лежит на поверхности. Чувствую, где-то тут, рядом.

Может быть, и ошибка-то как раз вот в этом ощущении ошибочности своей жизни.

928. Примечание к № 919.

Меня никто не выбрал.

Положим, я некрасив, положим — необаятелен. Пускай даже болен. Но не до такой же степени, черт возьми, чтобы меня вообще не замечать! Ведь вообще я очень заметен. Я странный. У меня даже в школе, кроме основного прозвища, в старших классах было еще одно: «странный человек».

Чехов сказал:

«Если хочешь, чтобы тебя любили, будь оригинален; я знаю человека, который ходил в валенках зиму и лето, и в него влюблялись».

Я же не го что в валенках, а зимой и летом в шубе ходил. И никто даже не обернулся. То есть не нужен явно. Даже демонстративно. «Из принципа».

Чудак надел шубу и ходит на пикнике по лужайке, улыбается: сейчас заметят, засмеются, пригласят. А все ходят мимо, играют в жмурки и прятки, едят шашлыки, поют, пьют, шиплются, ловят бабочек. Ходил-ходил четыре часа — никто не замечает. Плюнул, шубу бросил со всего маху в траву и пошел на станцию. Кто-то, Брюллов, кажется, когда уезжал из России, бросил на границе шубу, чтобы и духа русского не осталось. Так вот! Ладно в Европе, но здесь свои не видят. Ну и пошли к черту!

932. Примечание к № 920.

Моя биография архаична, да и просто является штампом...

Что наиболее фальшиво в этой книге? Как раз описание моей реальной жизни. Удивительно — никакого вымысла, и это пережито мною, а кажется (по-моему, справедливо) ложью, выдумкой графомана. Поставил бы на место Одинокова выдуманного «лирического героя» и сразу же с отвращением вычеркнул девяносто процентов сюжетных линий как нечто находящееся вообще за пределами эстетики.

Моя борьба против литературы в самой литературной стране мира, в самом литературном обществе смехотворна. Сам язык, сама литература и наказывает, превращает мою жизнь в графоманию, в чисто графоманский сюжет.

933. Примечание к № 928.

...здесь свои не видят. Ну и пошли к черту!

От русских, пожалуй, и можно уйти. Особенно если сам русский. Но от России, если ты русский,— никогда. Ничего не изменится. Но хоть не будет так мучительно и можно будет мечтать, что дело во внешней разорванности, то есть что удивительная нелюбовь ко мне есть лишь следствие внешнее.

942. Примечание к № 940.

В моей жизни нет цели — следовательно, она легко наполняется смыслом.

Я люблю жизнь и боюсь судьбы. Но под какой-то метроном моя жизнь втискивается в сюжет. А что такое сюжет? — стилизованная судьба. Я хочу овладеть судьбой, но овладеваю лишь сюжетом. И кем становлюсь? — увы, все тем же писателем.

945. Примечание к № 943.

Сам я человек, живое существо, но оцениваться и существовать в бесконечно родном мире моей родины могу лишь как литературный персонаж.

Мать на кухне:

— Наш-то совсем плох. Врачи говорят, этой весной умрет.

И ти-ихо так. А сама плачет. Это поздним вечером на кухне. А за стеной в темноте отец лежит. И вдруг он громко:

— Не-е, не нао, не нао! Я жиой, жио-о-ой! Я сы-ышу!

(Окончание следует)



ЛЕВ КОТЮКОВ

*

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

* *
*

Тишина в закрытых храмах,
Свет в снегах погас.
Может, где-то в дальних странах
Вспоминают нас.

Может, где-то в странах дальних
Теплый дождь идет.
Пепел в урнах погребальных
Холоден, как лед.

В снежной тьме скрипят ворота,—
Ночь уходит в снег.
Может, в дальних странах кто-то
Нас забыл навек.

Может быть, на этом свете
Все давно прошло.
Ледяной, недвижный пепел.
Мертвое тепло.

Женщина и море

Скользит, ускользает горящая тень мироздания,
И тайну сознания скрывает небесная высь.
И тайну познавший навек остается в незнание,
Но вечная тайна открыта — как вечная жизнь.

Над берегом дальним, над деревом с белой корою,
Забывая миром, звезда неподвижно стоит.
И я обнимаю, как женщину, море ночное,
И женщина с берега в темное море глядит.

Прибрежные камни томятся в тоске ожидания,
И в безднах сознания томится небесная высь.
И падает в море горящая тень мироздания,
Но вечная тайна открыта — как вечная жизнь.

Забывая миром, сияет звезда надо мною.
Забывая миром, звезда свою тайну хранит.
И женщину я обнимаю — как море ночное,
И темное море на берег с тоскою глядит.

* *
*

Никто не управляет миром.
Темна помойка за сортиром
И даль небесная темна.
И далеко еще до света,
И никого со мною нету,
Лишь в бездне черная луна.

Мы здесь в ночи незримы оба,
Покуда крест не встал из гроба,
Пока из гроба меч не встал.
Меж тьмой и светом мир двоится,
И жизнь, дрожа, во мне таится,
Как будто я ее украл...

Некрополь

Сжигает солнце мертвые цветы,
Цветы живые тяжкий воздух пьют.
Ты можешь здесь торчать до темноты,
Здесь никого сегодня не убьют.

Как где-то говорится: «Всюду жизнь!»,
На кладбище цветенье, хоть убей...
И надобно ограду освежить
Серебряною краской до дождей.

И в банке растворяет ацетон
Серебряный летучий порошок.
И чудится душе вечерний звон,
А вдоль ограды — курслеп и дрок.

И вся земля на кладбище с тобой,
И пахнет ацетоном тишина.
Пустую банку наподдав ногой,
Ты скорбный труд кончаешь дотемна.

И можно на закате пить вино
Для храбрости, чтоб жизнь свою забыть,
Чтоб выжить, чтоб не помнить никого,
Кого б ты мог, не думая, убить.

Чужая жизнь

Жизнь под вечер забылась,
Будто век не была.
И река затаилась,
В рот воды набрала.

Среди хлама и лома
У прибрежных раakit,
Мнится,— кто-то знакомый
В ожиданье стоит.

Окликаю раакиты —
Только эхо в ответ.

В этой жизни забытой —
Никого уже нет.

Стылый воздух хватая
Окровавленным ртом.
Жизнь таится чужая
За раакитным кустом.

У незримой границы,
У померкшего дня
Жизнь чужая таится —
Будто знает меня.

Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

ПОЛЬ ВЕРЛЕН

*

СТРЕМЛЮСЬ И ТРЕПЕЩУ

Когда несколько десятилетий назад я обратился к поэзии Поля Верлена, это, видимо, было связано с подспудным, скорей всего неосознанным, моим духовным искательством. Вопреки бытующему до сей поры мнению я тогда уже осознал, что религиозность Верлена была для него не странной прихотью пьяного сознания, какой-то отдушиной, а единственным путем спасения заблудшей души, его «дорогой в рай», мощенной многими грехами. Позднее я рискнул полностью перевести книгу Верлена «Sagesse», в которую входят и прилагаемые стихи. В верленовском творчестве мною обнаружена удивительная для французского поэта склонность к иступленному покаянию, свойственная скорее русской литературе. Мне кажется, эта покаянность связана с предельной детской раскрытостью души. Помню, меня поразила родственность поэзии Б. Пастернака с поэзией Верлена, не меньшая, чем с поэзией Рильке. Пастернак подтверждал это сам в частных высказываниях, своей знаменитой статьей о Верлене и удивительными переводами стихов этого поэта. В самом названии книги Б. Пастернака «Сестра моя — жизнь» — парафраза верленовской строки «Пусть жизнь страшна — она моя сестра», выражающей глубоко христианскую формулу. Вероятно, Пастернаку в его становлении как религиозного мыслителя очень важной была у Верлена и эта сторона творчества великого француза. Он, написавший о Верлене: «Кем надо быть, чтобы представить себе большого и победившего художника медиумической крошкой, испорченным ребенком, который не ведает, что творит», — он, так написавший, понимал суть поэзии Верлена правильнее и глубже, чем знатоки и литераторы, сложившие мифы об этом поэте.

Что же для меня оказалось самым важным в духовных стихах Поля Верлена, поэта второй половины XIX века? Прежде всего — сугубо личное выражение веры, стремление к раннехристианскому началу, утверждение Бога и Храма в себе. В беспощадный век вражды и ненависти незащищенная детская душа и чаяние добра помогли Верлену открыться самому таинственному и высокому.

Александр РЕВИЧ.

Из книги «Sagesse»

1

— Люби меня, мой сын, — так говорил мне Бог, —
Взгляни: мой бок пронзен, пылает сердце в муке,
На мне твои грехи — взгляни на эти руки,
На язвы ног взгляни, их оросил поток

Слез Магдалининых! Вот крест мой и венок,
Вот гвозди, губка, кровь — вернее нет поруки.
Люби же плоть мою и вечной речи звуки
В юдоли горестной, где царствует порок!

До гробовой доски тебя любил не я ли?
Ты мне по Духу сын, ты по Отцу мне брат,
Не я ли за тебя земной изведаль ад,

Не я ли слезы лил в часы твоей печали
И проливал свой пот в твоём тяжелом сне,
Мой горемычный друг, зывающий ко мне?

2

— О, Боже! — молвил я. — Ты говорил со мною.
 Да, я тебя ищу, хотя надежды нет.
 Но как тебя любить? Твоя любовь, как свет.
 А я, увы, земной и все во мне земное.

Ты жаждущих поишь своей живой водою,
 Взгляни, я изнемог, блуждая столько лет,
 О, Боже, смею ли поцеловать твой след,
 Припасть к твоим стопам? Ведь я того не стою!

И все-таки зову, ищу тебя всегда,
 Молю, чтоб мой позор своей прикрыл ты тенью,
 Но тени ты лишен как свет, и, к сожаленью,

В источнике твоём порой горька вода,
 Ты светишь только тем, кому не застыт зора
 Лобзанья грешные! Ты только тем опора!

3

— Люби меня, мой сын! Я сам уста и взор,
 Я поцелуй для всех и свет слезы горячей,
 Я твой недуг и жар, ты зря себя не мучай,
 А возлюби меня! Боишься? Что за вздор!

Моя любовь летит в распахнутый простор,
 В то время как твоя страшится горной кручи,
 Но вознесу тебя я, как орел могучий,
 К лугам заоблачным, к туманным граням гор.

Лучи моей луны в твоём сияют взгляде,
 О, этот свет ночной на ложе водной глади,
 Вся эта чистота, блаженство и покой!

Я, твой всеильный Бог, причастный к высшей славе,
 Твержу: «Люби меня!» — склоняюсь пред тобой,
 Я мог бы повелеть, но принуждать не вправе.

4

— Да что ты, Господи! Не слишком ли? Постой!
 Любить? Кого? Тебя? С моей ничтожной силой?
 Не смею! Не могу! Дрожит мой дух унылый.
 Ты свежий вихрь любви и дышишь чистотой!

Ты был Израилю защитой и судьбой!
 Ты сердце всех святых. Ты пчелкой легкокрылой
 Садись на цветок! О, Господи! Помилуй!
 Мне страшно! Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой,

Вы обезумели?¹ Я жалкое творенье,
 Я грешен, и во мне все чувства — слух и зренье,
 Нюх, осязанье, вкус,— все грешно! Стыд и срам!

Все существо мое исполнено гордыни,
 Не чувство — чувственность владеет мной поныне,
 Горю в ее огне, как некогда Адам!

¹ У Блаженного Августина сказано: «Бог вас любил до безумия».

5

— Люби меня, мой сын! Мое безумье свято.
Я — нынешний Адам, и я в тебе самом,
Я пожираю Рим, Париж твой и Содом,
Как алчущий бедняк на трапезе богатой.

Огнем любви моей земное все объято,
Все плотское горит, восходит дым столбом,
Любовь моя — потоп, и тонет все кругом,
И гибнут всходы зла, взращенные когда-то,

Чтоб сколотили крест, где должен я страдать,
Чтоб милосердие явило благодать
И ты во мне возник, дрожащий и смиренный.

Люби меня! — зову в надежде сокровенной.
Несчастливая душа, не надо трепетать,
Любви достоин я один во всей вселенной!

6

— Мне страшно, Господи! В душе моей тревога.
Хотелось бы любить, но разве стану я
Избранником твоим, суровый Судия,
Когда и праведных ты судишь очень строго?

Ты сотрясаешь свод вселенского чертога,
Где жаждет обрести покой душа моя,
В меня течет простор небесный, как струя,
И я к тебе стремлюсь, но где, скажи, дорога?

Десницу протяни могучую, Господь,
Чтоб дух мой укрепить и немощную плоть!
Могу ли я прийти в твои объятия, Боже?

Мне к сердцу твоему возможно ли прильнуть
И голову свою тебе склонить на грудь,
Где только праведным найти случилось ложе?

7

— Что ж, быть по-твоему, раз ты стоишь на том,
Пускай твоя душа неверие отринет,
И Церковь моей в объятия будешь принят,
Как золотистый шмель раскрывшимся цветком.

Ты боль свою излей в молении святом,
Раскаянье твое ушей моих не минет,
Будь искренним со мной, пускай тебя покинет
Гордыня и придет смирение. А потом.

Охотно трапезу я разделю с тобою
И яствами тебя такими удостою,
Каких и ангелам отведать не дано.

Возрадуешься ты, испив мое вино,
И, опьяненная его струей хмельною,
Проникнет кровь твоя в бессмертье, как зерно.

Но веру ты и впредь храни! Не оттого ли
Все существо мое в тебе воплощено?
В мой возвращайся дом, чтоб снова пить вино
И снова есть мой хлеб, без коих жизнь не боле

Чем даль пустынная, где глухо и темно,
 Моих Отца и Мать моли в своей юдоли,
 Смиранным агнцем стань, что сам по доброй воле
 Безропотно готов отдать свое руно,

Стань чистым, как дитя в невинном одеянье,
 Забудь свою любовь, свое существованье,
 Будь на меня похож, лишь о других скорбя,

Как был я, твой Господь, во времена Пилата,
 Иуды и Петра похожим на тебя,
 Ведь я же сам страдал и умирал когда-то!

Мой сладостный обет исполнить я готов,
 Тебя вознагражу за подвиг твой упорный,
 Прими мои плоды, мой дар душе покорной:
 Мир, благо нищеты и чары вечеров,

Когда воспрывший дух стремится из оков
 И тянется испить из чаши животворной,
 И благовест плывет, малиновый и черный,
 И в небесах луна скользит меж облаков,

И дух в моей любви ждет приобщенья к тайнам,
 Покоя ждет в моем сиянии бескрайном,
 И жаждет услышать хвалы начальный звук,

И вдохновенья ждет, и ждет на все ответа,
 Слияния со мной и яростного света
 Твоих и, наконец, моих блаженных мук.

8

— Всевышний, что со мной? Сдержать я слез не в силах,
 От счастья плачу я: твои слова дарят
 Смятанным чувствам рай и в то же время ад.
 О боль! о благодать! — я разом ощутил их.

Я плачу и смеюсь. В моих струится жилах
 Твой голос, как труба, и этот медный лад
 Зовет в сражение, и ангелы летят,
 Я вижу голубых, я вижу белокрылых!

О как ты милосерд! Ну кто я? Жалкий прах!
 И стал избранником! Какой восторг и страх!
 Как тяжело и легко! Я верю и не верю,

Что слышал голос твой, и я молось в ответ.
 Я столько получил, что не снести потерю,
 Стремлюсь и трепещу...

9

— Ну что ж, иного нет!

Перевел с французского АЛЕКСАНДР РЕВИЧ.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ФЕЛИКС СВЕТОВ

*

ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ТОВАРИЩА

Клара позвонила в начале мая, после праздников: «Ты знаком с Юликом Крелиным?» — «Да, конечно». — «Понимаешь, мне не нравится Юрина рука, врачи говорят по-разному, я им не верю, да и какие врачи в Литфонде, а рука у него болит. Может, нужно оперировать, одним словом — пусть будет ясность. Он хороший хирург?» — «Еще бы, а кроме того наш товарищ и замечательный человек». — «Я знаю, но учти, Юра не должен знать, что я тебе звонила, он не хочет никого обременять, говорит — ерунда, но я-то вижу, ему плохо. Скажи, он тебе нужен зачем-то...»

Я позвонил Юлику, и мы тут же договорились. Он, конечно, удивительный человек, Юлик. Кто-то назвал его — диккенсовский чудак. Может быть. Мы знакомы чуть не двадцать лет, сколько раз я видел его в деле, сколько раз лез к нему по самым разным поводам, кого только к нему не таскал. Другой раз ночью: «Ты спишь?» — спрашиваю. «А ты сомневался?.. Куда ехать?» «Так ты ж спишь», — говорю. «Конечно, сплю, я уже во сне штаны надел. Давай адрес — куда?»

Мне было просто к нему обращаться, уж очень он легко откликается, да и за других всегда легко. Тебе со мной хорошо, говорил я ему, сколько лет я уже тебя до себя не допускаю. Да, говорит, с тобой замечательно, сплунь и не зарекайся. Прав оказался, отвезли недавно, погулял надо мной, да и знакомство наше началось с того, что он был врач, а я пациент, сразу вылечил и тут же коньяком напоил. Диккенсовский чудак. Ну тогда-то мы молодые были, все ерунда, это теперь что ни месяц — с кем-то что-то происходит. Ты бы бросил больницу, сказал я ему как-то, откуда у тебя силы, сидел бы, писал, а то все ножик точишь... Теперь с вами самая работа начинается, говорит, созрели яблочки.

Домбровский позвонил в тот же день. «Я договорился с Юликом, — говорю, — давай завтра». «А у меня не болит, так, мозжит, если не пью». «Ну и хорошо, — говорю, — повидаемся». «Кларка настучала?» — спрашивает. «Би-би-си передает». «Ладно, — говорит, — мне все равно тебя надо увидеть. Да и Юлик хороший мужик».

Мне только улицу перейти, опоздал минут на десять. Издалека видно — колоритен, ничего не скажешь, ходит вокруг памятника: большой портфель, куртка заграничная, а ботинки не зашнурованы, рука подвязана бинтом, скосбочился и голова набок, черный клочок закрывает лицо. Я подождал, пока он сделает еще круг.

— Здравствуй, Юра, прости, что опоздал.

— Слушай, — говорит, — ты как считаешь — был Петр в Риме?

— Какой Петр?

— Ты подумай, — говорит, — вся католическая доктрина на этом держится, а если разобратся...

— Только не здесь, — говорю, — а то опоздаем.

— Да?.. Ну поехали, вон автобус на той стороне.

— Нет, — говорю, — на автобусе мы не успеем, там еще пересадка, а у тебя рука.

И он на операцию уйдет.

Смотрит на меня с сожалением, вздыхает:

— Ладно, поехали на такси.

Садимся, едем. Щелкает замком портфеля, тянет тяжелый том, дает мне, а сам вроде в другую сторону...

— Юра!.. Поздравляю... «Факультет ненужных вещей»! Что ж ты молчишь?.. Какая бумага!.. Много опечаток?

— Нет, — говорит важно так, — ни одной. Ни одной строки не изменили.

— Замечательно, — говорю. — Подаришь? Я все-таки первый о нем написал.

— Подарю, — и прячет книгу в портфель, — одна только.

Соврал, конечно, еще были. Так и не подарил. Ну, эта жадность понятная: как он ждал эту книгу, как много она значила для него, да и сколько их — пустяк.

— Все-таки Гутенберг — великое дело, — говорю, — по-другому читается. А тут еще переводы пойдут...

Ему хочется о книге, но неловко, это когда выпьет — хвастается, а стрезва ни за что.

— Вышла, и Бог с ней. Так вот я насчет Петра в Италии...

Как же — Италия! Тоже так вот ехали с ним в такси, отвозили вдвоем с Валерием Осиповым из писательского клуба, в клуб мы тогда ходили. Он уже хорош был, шофер заартачился или цену набивал: «Не повезу в таком виде». «А ты знаешь, кого везешь?» — спрашивает Домбровский. «А что тут знать — видно». — «Я знаменитый писатель». — «Видать, какой писатель». — «Да у меня в Италии только что роман вышел...» «Молчали бы, — говорит шофер, — скажите спасибо — везу». «Ах так! — завелся Домбровский. — Давай побьемся. Тебе еще долго работать или кончил?» «Ну кончил». «При свидетелях, — говорит, — если у меня дома нет романа — с меня червонец, а есть — везешь за свой счет». «Ишь ты, — говорит шофер, — писатель. Поехали».

Приезжаем. Домбровский сам выбирается из машины — и в подъезд, мы за ним, смотрю, и шофер: хлопнул дверцей, идет следом, ухмыляется.

Лестница жуткая, поднимаемся: дверь в коммуналку не заперта, а дверь в комнату и вовсе настезь. «Заходите, — говорит Домбровский и сразу бутылку на стол. — Ты где там, Фома неверующий?» Махнул ногой, ботинок слетел вместе с носком, второй так же, — и полез на тахту, на стол, на стул... Я и не ожидал, ишь, думаю, какой он шустрый. Полка с книгами под самый потолок, вытаскивает, смотрит, посыпались, пыль столбом... «Ладно, — говорит Домбровский, — найдем, сначала выпить, сейчас пельмени...» Слетает со стола и мимо нас в дверь.

Пять минут не прошло, влетает — и кастрюлю бряк на стол, на какую-то книгу. Горячая вода, плещется. Стаканы, открывает бутылку... «Все, — говорит, — сели, разлили, выпили». «Ну что, — говорит шофер, — с вас червонец, хотя и вижу — писатель». «Стоп! — кричит Домбровский, еще не успел хлопнуть стакан. — А это что? — Сдернул кастрюлю с книги — шикарный супер, на нем жирный круг от кастрюли. — Вот он, итальянский...»

— Ты что, — спрашивает, — не слышишь, что ли? Я о том, что на сочинения Евсевия и вовсе нелепо ссылаться, там что ни факт — путаница...

— Погоди, — говорю, — как бы нам самим не запутаться, вроде поворачивать... Да вот она, больница, приехали.

Въезжаем во двор, сворачиваем к хирургическому корпусу... Только вошли, раскрылась какая-то дверь — белые халаты, как раз успели, у них пятиминутка кончилась. Домбровский портфель на пол и поклон в землю. Юлик даже оторопел, закусил рыжую бороду.

— Здравствуйте, Юрий Осипович, поднимайтесь ко мне, я сейчас...

Поворачиваем на лестницу, слышу — Юлика спрашивают: «Это что за чучело?» А это, — говорит, — не чучело, а европейски знаменитый писатель Домбровский». «Ну, к тебе кто только не ходит...»

Поднимаемся, в дверях кабинета ключ, входим. Здесь тоже есть на что поглядеть, в кабинете у нашего доктора: портреты, изречение из Ницше... Пижон, конечно, Юлик. Но Домбровскому это все до фонаря...

— Понимаешь, — говорит, — старичок, если мы раскрутим Евсевия...

Входит Юлик и еще кто-то в белом халате.

— Я вам специалиста привел, Юрий Осипович, знаменитого травматолога, а то я дилетант.

— Стоило ли, — говорит Домбровский, — мы просто так заехали, повидаться, да и не болит уже.

— Заехали — раздевайтесь, — говорит Юлик, — в нашем монастыре такой устав.

Раздевается. Здоровый мужик, думаю, а ведь постарше меня чуть не на двадцать лет... На двадцать лет лагеря, думаю.

Смотрят, шупают.

— Так не болит? — спрашивает травматолог.

— Это разве болит, — говорит Домбровский, — вот когда они на меня пятнадцать человек надели в автобусе...

— Кто? — спрашивает Юлик.

— Эти самые, архангелы. Средь бела дня, трезвый, — глаза у него правдивые, как у ребенка, — стою в автобусе, читаю книжку по римской истории — один книгу

вышиб, а другой приемом... Ну я им показал прием, восемь человек легли, а эти навалились. Они, конечно, кто ж еще...

Травматолог раскрыл рот, а Юлик ухмыляется в бороду.

— Снимки есть? — опомнился травматолог.

Домбровский щелкает портфелем, достает снимки.

— Будете оперировать?

— Вам сколько лет? — спрашивает травматолог.

Домбровский не отвечает.

— Через год семьдесят, — говорю я.

— Стоит ли, да? — спрашивает Домбровский.

— Да нет, — говорит травматолог, — все у вас нормально, разработаете. Я вам гимнастику дам.

— И все дела?

— И все дела. Приятно было познакомиться.

Травматолог уходит. Домбровский, все еще голый по пояс, кособрохий, держит портфель, смотрит на меня.

— У него книга вышла, — говорю, — в Париже. Показал бы доктору.

Тут же вынимает книгу.

— Поздравляю, — говорит Юлик, — а я еще не читал, обещал ваш дружок, разве дождешься.

— Я вам подарю, — говорит Домбровский и прячет книгу в портфель. — Вы бы мне свою подарили, тоже обещали.

Юлик открывает стол — тоже толстая, ну, известно, не в Париже, бумага не та. Домбровский берет бережно — и опять в землю поклон.

— Пойдемте, — говорит, — что тут сидеть, поболтаем.

— У меня операция, — говорит Юлик, — в другой раз.

— Да?.. Жалко.

Прощаемся, уходим.

— Хороший мужик, — говорит Домбровский, — видел, какие у него глаза?

— Какие?

— До себя не жадные. Я его давно заметил. И пишет хорошо.

— Хорошо, что тебя резать не нужно, — говорю. — И Клара успокоится.

— Да, — говорит, — Клара.. Ты Леню Тёмина знаешь?

— А как же.

— Он уже месяц лежит, а до того два месяца в больнице, опять ноги поломал. Ему необходимо принести, у него тоска. Давай позвоним, только ты звони, а то у него жена монашка...

— Какая ж она монашка, — говорю, — если она жена, а он ей муж?

— Да?.. Ну, одним словом, меня она не жалует.

Мы уже вышли из больницы, тепло, деревья зеленые, вон и автомат. Набираю номер.

— Ты узнай, дома ли... жена, — шепчет Домбровский. — Если дома — пиво, а если нет — мы ему водки притащим.

— Мы тут с Домбровским, — говорю, — в больницу ездили по поводу его руки... Да в порядке рука, он еще всем покажет... Хотим тебя навестить. Ты один?.. Тогда только пиво...

— Эх, — говорит Домбровский, — нет у нас свободы.

Подходим к стоянке такси.

— С ума сошел, — говорит, — вон автобус.

— Да куда ты с больной рукой, народу сколько. У меня есть деньги.

— Сколько?

— Как раз на такси.

— Как раз на четвертинку, — говорит, — побежали на автобус.

Автобус битком, жарко.

— Береги руку, Юра! — кричу.

Он сосредоточен, мрачен. Опять про Петра, наверно.

Пересадка, теперь троллейбус. Наконец метро: посвободней и прохладно, места есть. Сидим, он молчит, напряженно о чем-то думает...

— Выходим!

— Нам еще далеко, — говорю.

— Выходи, выходи, дело есть...

Арбат. Ничего не понимаю. Идет быстро, кособочится.

— Давай портфель, — говорю, — тяжело.

— Тут, понимаешь, мастерская, один художник, — поворачивается ко мне. — Тебе обязательно познакомиться.

— Зачем?

— Ты ж еврей, ну и он еврей. Надо познакомиться. У него картины интересные. Вон за углом, во дворе.

Заходим во двор, одноэтажный флигелек. Домбровский стучит в дверь, в окно. Еврей не откликается.

— Куда ж он делясь? — удивляется Домбровский.

— А вы договаривались?

— Он всегда здесь... Эх, невезение...

Выходим на бульвар, топаем к «Кропоткинской»: молчит, мрачный... Вдруг останавливается, глядит на меня, будто впервые увидел...

— Что случилось, Юра?

— Мы должны выпить, и немедленно, понимаешь: немедленно!

Вот зачем — Арбат, мастерская, еврей-художник...

— А как же больной товарищ? — спрашиваю.

Не отвечает: целеустремлен, решителен, не остановишь. В начале Метростроевской магазин, очередь.

— Так, — говорит Домбровский, — берем бутылку... Давай твои деньги... И четвертинку.

Берем бутылку, четвертинку. Домбровский вытаскивает книгу в яркой парижской обложке, книгу Юлика, еще книги, устранивает все в портфель. Выходим на улицу.

— Куда теперь? — Мне интересно.

Не отвечает: зачем отвечать на пустые вопросы?

Выходим на Волхонку, мимо музея, Ленивка, Лебяжий переулок, пельменная.

— Вот она, — говорит, — а ты сомневался.

Обеденный перерыв, толкучка, жара, самообслуживание. Домбровский напряжен, как в бою.

— Держи портфель и занимай столик, а я сейчас.

Столика нет, конечно, не ресторан, захватываю два места, сажусь, ставлю портфель на второй стул. Рядом две девочки, студенточки, кушают пельмени, закупают сладкой водичкой. Черный клок Домбровского торчит над головами.

— Помочь? — кричу, как в лесу.

Мотает головой: не надо, мол.

Тащит поднос, придерживает грудью: две тарелки пельменей, стаканы, хлеб. Разгружаем, садится.

— Давай ты, — говорит, — а то одной рукой под столом неловко.

— Четвертинку? — спрашиваю. — А бутылку товарищу?

— Нас двое, — говорит, — а он один. Это будет безнравственно по отношению к нам. И к нему, кстати.

Резонно. Наливаю под столом два стакана, бутылку опять в портфель.

— Ну, — говорю, — по случаю удачного завершения операции...

У студенточек ужас в глазах. Водка теплая, стаканом трудновато.

— Так вот, — говорит Домбровский и, забыв про вилку, хватается пельменем пальцами, — был ли Петр в Риме? Важный вопрос, между прочим... Я тебе рассказывал, как меня допрашивали на Лубянке?

— Когда допрашивали?

— Недавно.

— Нет, не рассказывал.

— Повестка, все как положено...

— По какому делу?

— Без дела, — говорит, — еще будет дело.

— Так не бывает, — говорю, — или свидетель по делу, или беседа. Что было в повестке написано?

— Молодой такой хмырь, — говорит. — «Читали «Хронику текущих событий»?»

«Конечно, читал», — говорю.

— Так тебя по «Хронике» и вызывали? — спрашиваю. — Ну работнички!

— По всему сразу, — говорит Домбровский.

У студенточек горят щеки, на нас не смотрят, уминают свои пельмени, вот-вот вспорхнут.

— «А какой, интересно, вы номер читали?» — спрашивает тонко. «А я, — говорю, — все читал. Подписчик».

— Ты ешь, — подаю ему вилку, — а то жарко.

Он мнет хлеб, крошит в пельмени.

— «А кто вас... подписал?» — спрашивает и ручку занес над протоколом. «Может, вам ключ, — говорю, — дать от квартиры, где у меня деньги спрятаны?..» Давай по второму, а то выдохнется.

Разлил бутылку, спрятал пустую в портфель. Выпили.

— «Кто ж это все составляет, правда, любопытно?» — хитро на меня глядит. Ишь, думаю, научили вас. «Это-то я знаю,— говорю ему,— тут никакой хитрости». Он даже привстал над столом: «Кто?» «Да вы и составляете,— говорю,— здесь, в этом кабинете, ну, может, в соседнем...»

Студенточки исчезли, кто-то еще сел, мне уже все равно.

— «Вы что,— говорит,— отдайте себе отчет?...» — это меня хмырь спрашивает. «А кто ж еще может все это доподлинно знать: кто, где и за что — вся сумма информации? Только вы, ваша контора». Оторопел: «Зачем нам такая антисоветчина?» «Какая ж,— говорю,— антисоветчина, когда правда, разве это клевета: разве имярек не сидит? Сидит. Разве то-то и то-то не происходит в лагерях? Происходит. А идея ваша,— говорю,— и дураку понятна: думаете таким образом страх навести — страшное чтение, согласитесь?»

— Ты так действительно думаешь,— спрашиваю,— или ты ваньку валял?

— Я не об этом,— говорит.— Он мне целый час, а может, три, читал мораль, страшал и еще много чего. Мне надоело. Встал, подхожу к окну. «Видите?» — спрашиваю. «А что смотреть, я каждый день,— говорит,— нагляделся: Малая Лубянка». «Не туда смотрите,— говорю,— не Лубянка, а костел. Меня в этом костеле почти семьдесят лет назад крестили в католичество, вас тогда никого и в помине не было, а вы меня за час или там за три часа хотите в свою веру перекрестить?»

— Да,— говорю,— крепко.

— И вот ты подумай,— говорит,— был Петр в Риме или нет? Серьезный вопрос, между прочим... Давай четвертинку.

— Ты что,— говорю,— какая четвертинка? Жара, хватит. Да и товарищу ничего не останется...

Смотрит на меня гневно, черный клоч на лице, чуть-чуть седины... Красивый какой человек, может, верно, цыган, ну какой он цыган — но красив!

— Что ж мы,— говорит,— близкому другу, больному товарищу — принесем жалкую четвертинку? Да я бы со стыда сгорел.

Достаю четвертинку, разливаю. Выпили.

— Хорошо,— говорит Домбровский,— ну а ты как считаешь — был или не был?

— Был,— говорю не совсем уверенно.— Мне кажется, был. А кто сомневается?

— Считаешь, был, ладно. Может, он и епископом был — первым в Риме?

— Так католическая доктрина утверждает,— говорю,— у них преемственность от Петра, потому и папы...

— В том и фокус! — кричит.— Доктрина, преемственность, догмат! А на чем основана такая уверенность — что он там был?

— В Евангелии,— говорю,— у Иоанна... пророчество Спасителя о смерти Петра: когда ты будешь стар... другой тебя препояшет и поведет, куда ты не хочешь.

— Но ведь ничего больше там не сказано,— говорит Домбровский,— куда поведет, кто распнет, может, он, Петр, еще куда не хотел, и при чем тут Рим?

— Еще кто-то из римских епископов,— говорю,— кажется, Климент, он умер в сотом, что ли, году, мог знать Петра, он сказал: в среде нашей умер Петр.

— Доказательство,— хмыкает Домбровский.— «В среде нашей» — в среде христиан, при чем здесь римляне?

— Еще сам Петр,— вспоминаю,— у него в послании сказано: приветствует вас... церковь в Вавилоне... Этот стих так и толкуют: Вавилон — это Рим.

— Убедительно,— говорит Домбровский,— обыкновенная метафора. Тогда и Москва — Рим, и Париж, не говоря о Нью-Йорке. Там сказано — Вавилон, это и есть Вавилон халдейский.

— Погоди! — Мне тоже стало интересно.— Был такой епископ Папий, он утверждал, что в правление императора Клавдия был такой Симон-волхв, соблазнявший очень многих, а апостол Петр, прибывший в Рим, его посрамил. Вот тебе факт.

— Факт! — смеется Домбровский.— Ты, может, Папия читал?

— Нет,— говорю,— Папия я не читал, но...

— В том и дело, что «но»,— говорит Домбровский,— Папия никто не читал, его сочинения не сохранились, все на Евсевия ссылаются, Евсевий Папия своими словами пересказывает, причем оговаривает, что Папий записывал все подряд безо всякого разбора, а Евсевий жил в четвертом веке и сам все записал по слухам. Он такое наворотил, он и «Откровение» Иоанна Богослова считает подлогом, и апостол Павел у него был женатый, а насчет того, что Петр был в Риме, Евсевий ссылается на Филона — еврея из Александрии, который якобы его там видел, а у Филона в сочинениях ничего об этом нет. А насчет встречи Петра с Симоном-волхвом Евсевий ссылается на Иустина Философа и святого Ириния, но ни у того, ни у другого об этом ни слова не сказано! Что ж, они б умолчали об этом? Все перепутал. Да что там говорить — у них полно таких «фактов»!

— У кого — у них? — спрашиваю.

— У католиков,— говорит,— им обязательно нужно, чтоб Петр был в Риме, чтоб он был там первым епископом и передал преемственность папам — потому, мол, они и непогрешимы. Но его там не было. И мощей Петра нет в Риме. Да если б и были, их могли перевезти из того же Вавилона. Но их там нет — кто их видел? Никому католики не показывают. Да если ты внимательно прочтешь Деяния, проследишь все путешествия Петра — станет ясно: он никогда не был в Риме, не мог там быть. Петр — апостол обрезанных, он только одного крестил необрезанного — сотника Корнилия, в отличие от Павла — апостола необрезанных. Павла и казнили в Риме — отрубили голову мечом, как римскому гражданину. А Петра как казнили — распяли вниз головой. Никогда римляне так не казнили, только на Востоке, восточное дело. А евреев во времена Нерона почти не было в Риме, а те, что были, подвергались жутким гонениям — как бы они могли казнить Петра? А вот в Вавилоне халдейском их было до четырех миллионов, очень просто было распять вниз головой, это тебе не Рим. Ты еще сошлись на сочинения Оригена и Тертуллиана, там сплошная путаница в тех местах, где о Петре, да они и знать не могли, жили спустя чуть не двести лет, а Климент никак не мог быть посвящен Петром, тот же Тертуллиан писал, что Климента посвятили в девяностом году, а Петра казнили не позже семидесятого, а может, и в шестьдесят четвертом...

— Стой,— говорю, у меня в глазах зарябило от этой эрудиции,— ну и что тебе с этого, ты же сказал следователю, что крещен в католичество, или он заставил тебя все-таки изменить вере?

— Крещен-то я в католичество,— говорит,— а прожил жизнь в России, а Россия страна православная, верно? Мы тут живем, и нас тут закопают. А в Писании или все правда, или все вымысел, там и одной буквы не может быть неверной, так?

— Конечно,— говорю,— историческая критика исходит из атеизма.

— Пусть откуда хотят исходят, а совершать подлоги и подгонять истину под свою якобы непогрешимость — последнее дело. Я во Христа верю, а в непогрешимость пап — не верю. Непогрешимость! А Александр Шестой Борджиа — отец и любовник Лукреции? Мало тебе или еще добавить? Мне достаточно. Православию важно — был он там или нет, я Петра имею в виду?

— Православию, думаю, это не важно,— говорю,— нам Евангелия достаточно. Там вся полнота.

— То-то,— говорит,— а им Евсевия подавай. Конечно, Евангелия достаточно, хотя еще и головой надо соображать.

— Эх,— говорю,— Юра, верить надо, а не соображать. Сердцем, а не головой. Ты вон у нас какой ученый, а на тебя еще десять и не таких найдется. Разве в этом дело?

— Вот я с ними бы и поговорил,— смотрит на меня мрачно,— узнал бы: достаточно им Евангелия или еще Евсевия надо. Нам вот с тобой недостаточно, еще четвертинки не хватило. Пошли, что ли?

Вылезает из-за стола.

— Оставь бутылки,— говорит,— уборщица подберет, все деньги. У нас мелочь есть на метро?

Влезает в метро, его уже развезло, да и мне трудновато. Хорошо, без пересадки. Он молчит, опять на чем-то сосредоточен. «Преображенка», приехали.

— Пешком? — спрашиваю.

Не отвечает. Придерживаю его за рукав, останавливается.

— А ты веришь? — спрашивает.— Во все и до конца — всегда?

— Бывает, накатывает. Сомневаюсь.

— Спасибо,— говорит,— если бы так не ответил, я бы тебе не поверил. Спасибо.

Идем дальше, опять останавливается.

— Ты посмотри на листья,— говорит,— ну есть ли хоть один, чтоб был похож на другой? Похож-то он, может, и похож, а все разные. Бесконечно разные. Банальность, а на этой банальности свет держится. Вот и мы с тобой...

Замолчал. Мы уже пришли. Забираемся в лифт, поднимаемся. Дверь в квартиру открыта, мужик чинит замок, ну да, Домбровский всегда ключи теряет. Клара в коридоре.

— Юра!.. В каком ты виде!

— В каком?.. Давай три рубля.

— Какие три рубля, ты утром взял деньги.

— Мы у врача были,— говорит,— не ближний свет, на такси.— И уже грозно: — Давай три рубля.

— Да у меня и денег таких нет — вот двадцать пять рублей.

— Давай я разменяю,— говорю.

Она посмотрела на меня: конечно, едва ли такому можно было доверить деньги.

— Нет,— говорит,— тебе я тоже не дам.

Побежала вниз. Домбровский чем-то гремит на кухне. Вхожу: моет под краном большую банку из-под огурцов, льет на пол.

— Сейчас мы с тобой...

Возвращается Клара.

— Вот тебе три рубля, но это возмутительно, Юра. — На меня она не глядит.

— Давай пять рублей, — говорит Домбровский.

— Что?! Нет, пять рублей я тебе не дам.

— Хорошо, — говорит Домбровский и прячет три рубля. — Пошли.

Оставляем Клару, проходим мимо мужика. Клара бежит следом.

— Что сказал врач?

— Все нормально, — говорю, — не нужно оперировать.

Забираемся в лифт.

— Чтоб мы товарища забыли, — бормочет Домбровский, — не бывает этому.

Время уже к четырем, народ повалил с работы, трамвай набит, держу банку. Домбровский где-то в самой толкотне, сверкает белым бинтом.

— Выходи! — кричит. — Приехали!

Вылезает — вон она, пристань. Автомат-пивная, просторное помещение, как сарай, краны в стенах, народу еще мало... Домбровский здесь свой, минута не прошла — дает мне горсть жетонов.

— Наливай, — говорит, — а я сейчас.

Подставляю банку под кран, пиво хлещет, пена пузырится...

— Ты что делаешь?!

Оборачиваюсь: стоит за моей спиной, в здоровой руке как гроздь — четыре кружки с пивом. Ставит кружки на столик, забирает у меня банку. Лапа у него большая, черная — в банку, в белоснежную пену, и выбрасывает на пол белые хлопья.

— Что ж мы больному товарищу пену притащим — чистый продукт должен быть. Только чистый.

Наливает полную банку чистого продукта. Выпиваем по кружке. Еще по одной. Мне много.

— Пошли, — говорит Домбровский, — тут недалеко.

— А ты адрес знаешь? — спрашиваю. — Я у него никогда не был.

Забираемся снова в трамвай, держу банку обеими руками, пиво плещет мне на грудь.

— Пустите с ребенком, — острит Домбровский.

Ворчат, но пропускают. Доехали.

— Вон дом, — кивает Домбровский, — добрались.

Входим в подъезд. Лифт не работает.

— Какой этаж? — спрашиваю.

— Седьмой.

Хватает у меня банку и через ступеньку побежал.

— Подожди, Юра, — взмолился я на пятом этаже, — не могу.

— Ну почему вы никто не можете, что я могу? — говорит.

Седьмой этаж... Юра почему-то смущен, топчется на площадке.

— Я на номер не посмотрел, — говорит, — махнул не в тот подъезд. Нам номер девяносто семь.

Спускаемся в молчании. Ну вниз всегда полегче.

Следующий подъезд, проверяю номер, правильно. И лифт работает. Поднимаемся. Номер 97. Звоню. Выходит мужчина. Что-то не то.

— Леня дома? — спрашиваю.

— Чего? — говорит. — Вам кого?

— Тёмин здесь живет?

Захлопывает перед носом дверь. Я оборачиваюсь к Домбровскому.

— Номер спугал... — говорит. — Нет, не может быть.

Спускаемся на один этаж. Звоню — женщина.

— Простите, пожалуйста, — говорю, — мы спутали номер, разрешите от вас позвонить по телефону...

Вид у нас, конечно, живописный. Дверь захлопывается.

— Да, — говорю, — угостили товарища.

Спускаемся еще на один этаж.

— Ты спрячься со своей банкой, — говорю, — а то люди пугаются.

На этот раз пустили, звоню: «Заплутались. Какой у тебя номер?..»

Выхожу на площадку. Домбровский спустился на полмарша, стоит у окна, плечи опущены.

— Эх ты, — говорю безжалостно, — отдавай банку. Он в соседнем доме.

Отдал. Молча спускаемся, молча идем к другому дому, входим... Лифт не работает!

— Давай мне, — говорит, — моя вина.

— Не отдам. — Меня тоже заело. — Потопали.

На пятом этаже он останавливается и оборачивается ко мне. Жарко, я уже весь мокрый от пива, он тоже устал, глаза грустные-грустные.

— А в воскресенье, — спрашивает, — в это ты веришь?

— Верую, — говорю.

— Прямо так, — спрашивает, — в вознесение во плоти?

Я поднимаюсь на ступеньку и останавливаюсь рядом с ним.

— Верую, — говорю. — Это самое главное: распятие и воскресение. Христос в этом.

— Какой ты счастливый, — говорит. — А я не верю, не могу. — И выхватывает банку из моих рук.

Поднимаемся еще на два этажа. Я звоню в дверь. Открывает жена — «монашка». И сразу уходит. Я мешкаю в дверях, неловко как-то. Домбровский топает по коридору, ногой распахивает дверь в комнату. Пол у них натерт, блестит, в дверях он поскальзывается, я слышу грохот...

Когда я вошел в комнату, Юра сидел на стуле опустив голову, черный клок свесился почти до колен. Банка валялась у порога, пиво желтой волной катилось под кровать, всплыли тапочки.

Леня приподнялся на кровати, смеется:

— Перестань, Юра, ну что ты, в самом деле, — главное, что пришли!..

Домбровский был неутешен.

Он умер три недели спустя. Я позвонил накануне, он был очень грустный: «Живот болит». — «Давно?» — «Да уж дня два». — «Выпил?» — «В том и дело, что не пью». — «Съел что-нибудь». «Я тоже думаю. Ничего серьезного, — говорит. — Приезжай».

Утром он встал, упал — и умер.

Клара рассказывает: он проснулся утром и сказал, что только что видел Христа. «Я не спал, — сказал Юра, — я Его видел». А потом встал — и умер.

Я приехал, когда его уже увезли в морг. Опоздал.

1981.



До конца 1992 года
«Новый мир» предполагает
опубликовать первый том книги
Александра Солженицына «Апрель Семнадцатого».
С согласия автора второй том книги будет печататься
в петербургском журнале «Звезда».

ПУБЛИЦИСТИКА

ПЕТР ВАЙЛЬ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС

*

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

ЭМИГРАЦИЯ: ПОПЫТКА АВТОПОРТРЕТА

Фрагменты книги

Эту книгу мы писали десять лет назад, уже тогда подозревая, что увлекший нас феномен третьей волны российской эмиграции так эфемерен, что нуждается в немедленном запечатлении.

Нам хотелось зафиксировать транзитное состояние, ощущение порога, тамбура — момент перехода из одной жизни в другую. Уникальность нашей ситуации была в том, что мы несли с собой огромный советский опыт, незнакомый, по сути, первым двум волнам. Выходцы из застоя, мы прибыли в Америку полномочными представителями советской цивилизации в ее характерном и концентрированном проявлении.

Именно это обстоятельство и задержало наше открытие Америки, которую мы привезли с собой. Третья волна в отличие от первой и второй пересекала океан с надеждой найти в Новом Свете исправленный вариант Старого. Попросту говоря, Америка для нас была улучшенной, облагороженной Россией. Наша мечта строилась от противного: там бедность — здесь богатство, там рабство — здесь свобода, там низ — здесь верх. Мы хотели найти в Америке свой идеал. Но какое ей дело до наших идеалов — она-то живет по своим законам.

Так и получилось, что ехали мы в одну страну, а приехали в другую. Ничего, между прочим, удивительного. То же самое случилось и с первым открытием Америки — Колумб ведь тоже попал в нее в поисках Индии. Конечно, со временем мы разобрались с этим недоразумением, так что большая часть этих страниц написана авторами, в которых нам уже трудно узнать самих себя. Однако, нам кажется, заблуждения эти были неизбежными, поучительными и даже необходимыми. Более того, нам представляется, что уроки эмиграции пригодятся и метрополии, которая отправилась сейчас примерно в том же направлении, что и мы лет пятнадцать назад. Все мы обречены совершать ошибки — уж слишком велика пропасть, разделяющая два мира, чтобы перепрыгнуть ее одним махом.

Опыт третьей волны необычен еще и потому, что волею истории она оказалась последним прибежищем советского прошлого. По этому поводу Михаил Эпштейн недавно написал: «Теперь никто уже не живет в советской стране — зато она живет в нас, своих вечных питомцах и посланниках. В тех, кто остается, она постепенно начнет превращаться в Россию, Украину, Грузию, Узбекистан. А в тех, кто из нее уехал, она останется навсегда, потому что ей не во что измениться». Действительно, катаклизмы перестройки обошли нас стороной — мы оказались историческими консерваторами. Наши воспоминания о прошлой жизни так густо пересыпаны ностальгическим нафталином, что им не грозит вторжение современности.

Мы — последние. За нами никого, ибо четвертой волны уже не будет, будет постоянный эмигрантский прилив, равномерно омывающий берега Запада. Но это уже совсем другая история, которая не имеет отношения к нашей — недолгой, но бурной.

ВПЕРЕД НА ЗАПАД!

Итак, мы принадлежим к поколению транзитных пассажиров. Нам поневоле близки слова с чужими корнями — вокзал, перрон, плацкарта. И мы старательно изучаем расписание, чтобы узнать, где наконец закончится наш долгий и неосмысленный путь. Чтобы из пункта А попасть в пункт Б, недостаточно успеть на трамвай. Для этого необходимо измениться настолько, чтобы удивленные пассажиры перестали узнавать случайного попутчика. Сесть, например, в трамвай белым, а приехать негром. Перемещение без внутренних трансформаций — физическая абстракция. Передвигаться нужно не только с детьми и скарбом, но и телом, и душой, и привычками. Когда растеряется на долгих перегонах скарб, вырастут дети и наконец поменяются тело, душа и привычки, цель алхимического перемещения будет достигнута. Один человек переместится в другого. Эмиграция закончится, начнется жизнь. Но к этому времени мы уже не сможем узнать себя на дорожных фотографиях: «Вот это я с первой машиной. Тут мы впервые посетили Флориду. А тут наш Сэмми еще ходит в иешиву¹». Наверное, к тому времени мы будем дарить новичкам доллар на счастье и рассказывать, как начинали с нуля, зато теперь, слава Богу, все есть — и дом, и проперти², и у мальчиков свой бизнес.

Возможно, это и есть цель и замысел. Но как бы ни был сиятелен финал такого всеобщего процветания, путь к нему куда увлекательней.

Историки считают, что труднее всего приходится народам, страны которых лишены естественных границ — морей, гор, пустынь. Бесперывное расширение России лишило ее не только природных преград, но и соседей. Там, где кончалась Россия, начиналось минное поле, колючая проволока, люди с песьими головами. Русский человек часто попадал за рубеж в составе оккупационной армии — атамана Ермака, генерала Ермолова, маршала Жукова. От этой давно укоренившейся привычки осталось неистовое стремление к заграничье. Настолько неистовое, что часто страсть соединялась с ненавистью к ней.

Чем хуже было дома, тем слаще казался зарубеж. Из дюжины молодых людей, посланных Борисом Годуновым на Запад для учебы, вернулся только один. Первый перебежчик Андрей Курбский внушал здоровую ненависть не только Ивану Грозному, но и сегодняшним историкам. Самый русский поэт Александр Пушкин, всю жизнь мечтавший о заграничье, попал туда — в соответствии с традицией — только с победоносной армией.

Русский патриотизм в основе своей вынужденный. Он происходит не от сравнения домашних нравов с соседскими, а от невольного признания своего — единственным. Когда человеку не оставляют выбора, ему приходится самозабвенно любить березки. Оттого русский патриотизм непременно включает в себя географическую колоссальность. Любовь к исключительности питает его пристрастие ко всему огромному — от протяженности границ до грандиозности пороков. Более того, размеры оправдывают пороки — есть где развернуться. Как гордо писал об этом Пушкин:

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..

В данном случае этот колосс вставал, чтобы давить кичливых ляхов. Но могут быть и другие причины. Не в них дело. Дело в размахе: коль рубить, так уж сплеча. Роскошь размаха заранее оправдывает качество срубленных голов. Патриотическая гигантомания необычайно тешит национальное самолюбие. Если уж тиран — так самый кровавый. В этом тоже есть свое утешение. Как в обладании полюсом холода.

Настоящий патриот не хочет удовлетворяться малым. Его географическая страсть претендует на всеохватность. Всех вместит русская незлобивая душа — надо не надо, хочешь не хочешь... Но вместив, жить захочет за границей. И это вполне естественно.

Миф о заграничье начался с варягов. Вроде у них был порядок. Потом порядок появился и дома. Поэтому за границу запретили. Признали ее несуществующей, потом ненужной, затем неправильной. XVII веком датируется один замечательный текст: «Богомерзостен перед Господом Богом всяк, любящий геометрию». Геометрия,

¹ Школа (евр.).

² Собственность, имущество (англ.).

естественным образом, проникла с Запада. И за это Запад естественно было не любить. Русский человек противопоставил геометрии сарафан и бороду. Но когда Петр обрезал и то и другое, время противопоставлений кончилось.

Петровское окно в Европу стало ненадежной отдушной. Оно позволяло печатать разные пустяки, ездить на воды и растить свободную русскую прессу. Как только климат суровел, окно закрывалось решеткой. Так продолжалось до тех пор, пока советская власть не заделала его крепко и навсегда. Но где-то в генах осталась память о недопустимой свободе и геометрии.

Наше удачливое поколение унаследовало эту многовековую тоску по загранице. И когда тоска эта стала подкрепляться крохотными знаками оттуда — в виде Поля Робсона, скажем, — она стала мечтой и религией.

Международный вакуум, в котором жила Россия, породил целую коллекцию мифов о загранице. В сущности, это была детально разработанная теологическая система. Как и свойственно этой метафизической области, все здесь было нетвердо и не наверняка. Но главный вопрос — есть ли Бог, существует ли жизнь на Марсе — решался положительно.

Запад был на самом деле. Оттуда приходили книги, фильмы, джаз. Где-то существовали Европа, Рио-де-Жанейро, Алабама. Там, под жарким солнцем Запада, зрели битники, саксофоны, абстракционизм. Там были небоскребы и Голливуд, стриптиз и коктейли, бой быков и демократия. Все было. А у нас не было ничего.

В старом советском фильме отсталой крестьянке рай представляется в виде московского метрополитена. Для москвича загробная жизнь реализовалась в Париже или Нью-Йорке. Мы любили за границу платонической любовью. И в этом чувстве не было ни похотливой жажды приобретения, ни простительной страсти обладания. Эмоция эта была бестелесна и бескорытна — как та, которую сочинил Петрарка. Запад нам нужен был как чистый идеал. Достаточно того, что он существует. Не вмешиваясь в нашу скромную жизнь, не даря нас своим вниманием, не опускаясь до наших забот и печалей. Мы верили в него как в высшую справедливость — в последний итог искусства общежития.

Вера в идеал — дело вообще опасное, но верить в идеал осуществленный может только человек, ослепленный собственной жизнью. Платон дважды пытался построить свою утопию. И дважды ему пришлось бежать от ее последствий. Мы жили в обществе, где райские кущи официально считались атрибутом близкого будущего. Государственная вера в осуществимость утопий волей-неволей питала нашу жажду гармонии. Что с того, что программа коммунистической партии расчленялась на ряд анекдотов. Привычка к идее прогресса делала свое дело даже в негативной атмосфере. Если у нас все плохо, то где же хорошо? Там. Мысль о неизбежности географической точки, где все хорошо, казалась очевидной. Российский идеализм продуцировал веру в Запад, и никакой скепсис не мешал этому феномену. Умом мы понимали, что и на Западе идет дождь, но сердце уверяло нас, что там всегда светит солнце.

Америка — это не просто Запад. Это утрированный Запад. Дальше уже опять Восток. Америка — это бодрая смесь индейцев, мустангов и ковбоев. Здоровый коктейль из Мерилин Монро и Генри Форда. Америка — это то, что снится в сладких детских снах. Даже фонетически это слово звучит призывно и романтично. В конце концов, если где-то и должны пересекаться параллельные прямые, то только здесь, в стране мечты.

Для России Америка была всегда дальше Луны. И все же она была частью нашей жизни. Мы испытывали загадочное чувство понимания ее далекого существования. Какая-то историческая похожесть, географическая аналогия, мечтательная близость. И мы могли бы, если б не... Сослагательное наклонение нашей истории всегда мешало приблизиться к просторной жизни Нового Света.

Джаз из Нового Орлеана, тexasские джинсы и голливудские фильмы. Во всем этом сквозил ветер свободы. Не аристократической демократии английского парламента, а простой и ясной свободы для всех — народной воли. Америка, казалось, уравнила не только богатых и бедных, но и умных и глупых. Все носят джинсы, жуют жвачку и смотрят вестерны. Наверное, так бы представлял себе равенство и счастье Степан Разин. Не было в этой выдуманной нами стране галльского изыска, германской идеи или британской устойчивости. Но было добродушие и всепонимание. В этой утопии удавалось жить здоровым и богатым.

И еще была великая американская литература, которую мы знали не хуже отечественной, а любили, пожалуй, и больше. Имена Фолкнера, Хемингуэя или Стейнбека были паролем, пропускающим в высший свет, в новый свет. Как ни странно, американцы учили нас реализму. Они, модернисты и новаторы, воспевали

жизнь в удивительно жизнеподобных формах. Наша словесность всегда была идеальной и фантастична. Как «Барышня-крестьянка» и тургеневские романы. Русский реализм хоть и питался жизнью, но воспринимал ее в возвышенно-утрированных тонах, будь то пародийный сказ Гоголя или сгущенный диалог Достоевского, веселый поэтизм Пушкина или идеальная психология Толстого. Русская классика приучила нас к пышному разнообразию литературы, но не к жизни. Прославленный наш реализм был несколько схож с искусством Ренессанса. Там ведь тоже было все как в жизни — и мадонны, и ангелы, и рай, и ад. Мы ушли слишком далеко по дороге вымысла. И как ни прекрасна эта дорога, нам не хватало на ней остановок. Действительность осталась где-то в стороне, за рамой.

В 60-е годы, когда в вымышленном и идеальном российском государстве появились признаки и призраки действительности, мы ощутили тоску по реальности. Ее-то и удовлетворяли великие американцы. Они открыли технику правдоподобия. И как ни разнообразны были ее формы, все они создавали панораму полноценного существования человека в жестком, но постижимом мире.

У каждого из наших кумиров был свой географический регион — Йокнапатофа Фолкнера, Джорджия Колдуэлла, Калифорния Стейнбека, Испания Хемингуэя. Но общим американским знаменателем было мужественное и доверчивое отношение к жизни. Это была литература действия, а не разговор о нем. Тогда мы воспринимали поступок как революцию, даже если он был напрасен и бессмыслен. Иначе откуда бы взялся правозащитному движению. Лозунг «победитель не получает ничего» превратился для нас из цитаты в программу. Мы осваивали жизнь и по жизнеподобным формам американской прозы. И ничему плохому она нас не научила.

Выяснилось, что наши «шестидесятники» выросли удивительно похожими на своих предков из XIX века. Современные Базаровы тоже хотели резать лягушек и бороться с социальной несправедливостью. Энергично отвоевывая свое право на модный танец твист, синхрофазотроны и независимое мышление, они породили стереотип деятельного и увлеченного человека. В литературе их привлекал Штольц, а не Обломов, в женщинах — сила, а не слабость, в компасе — Запад, а не Восток. Это поколение мужественно и настойчиво проводило в жизнь свою программу усовершенствования людей путем зарядки и обтираний, нравственных упражнений и деятельной морали. Они презирали интеллигентскую рефлексия, из которой выросли, и всей своей жизнью защищали идеалы реальности. Все они, как и их предшественники из прошлого века, были поклонниками энергичного английского духа, коррективной эпохи перенесенного в Америку. Нам так хотелось привить этот дух России! Внести в нашу жизнь ясную целеустремленность, экономические реформы и пунктуальность. Обуздать советский абсурд при помощи науки и техники.

Это был славный век победоносного торжества физиков над лириками, западников над славянофилами, прозы над поэзией.

Реванш подкрался незаметно. Хаос и алогичность России всегда противостояли разумной силе реформ. Здоровый и бодрый дух американизма стоял над колыбелью нашего недолгого ренессанса. Но прозе еще никогда не удавалось победить поэзию. Во всяком случае, у нас дома. Идеалы практической целесообразности разрушали государственную мечту о всеобщей гармонии материальной базы с технической и морального кодекса со строителями коммунизма. Кроме того, лишенной исторических сантиментов Америке было наплевать на Москву — третий Рим и на ветер с Востока.

Пришло новое десятилетие, и главные поклонники Америки — циничные и наивные Базаровы — стали строить дачи, читать Хомякова и учиться окать. Оказалось, что патриотизм не только ближе и понятней, но и дешевле обходится. В 60-е нонконформисты носили клетчатые штаны и слушали джаз. В 70-е модно стало называть детей Арианами и по рассеянности вставлять в письма «яти». Глобус повернулся не той стороной, и Америка опять закрылась.

Итак, сначала Америки не было вообще. Потом ее открыли как страну мечты. Затем попытались осуществить у себя дома. И наконец закрыли за ненадобностью. На всех этапах этой эволюции для Америки находилось место в нашей жизни. И все это время она была невидимой абстракцией — как загробный мир или электричество. Но вдруг сломалась пружинка нашего сумасшедшего мира, и выяснилось, что Америка начинается в Калашном переулке города Москвы, во дворе нидерландского посольства. Там открылась лазейка для бегства в мечту от действительности. Америка материализовалась неожиданно и неоправданно, как дух на спиритическом сеансе. В нашу жизнь вошло полузабытое слово «эмиграция», а вместе с ним и проблема выбора. Проблема, которая изменила климат России, введя в обиход призрак капитализма.

До сих пор в России никто и ничего не выбирал. Тем более родину. Белая армия оказалась за границей, спасаясь от Красной. Вторая — военная — волна бежала от ГУЛАГа. Мы же выбирали родину долго и сознательно.

Не важно, сколько людей уехало из России. Важно, что появилась брешь не только в погранзаставах, но и в нашем сознании. Приходили письма с пестрыми марками, редели имена в записных книжках, кто-то получил по почте джинсы. В обиход вошло звучное, как название древней страны, слово — ОВИР. Веками взращенный комплекс исключительности рассыпался на наших глазах. Космополитический дух нашей юности — с Ивом Монтаном и Эллой Фицджералд — неожиданно стал плотью и кровью.

Возможность выбора — страшная вещь. Она гнетет и подавляет волю. С ней нельзя жить в спокойной уверенности будней. Потому что где-то в вышине, за Брестом и Чопом, трепещут праздники. Заграница, которая будоражила нас своим нематериальным существованием, стала магнитным полюсом. Невидимой и нелепой ощутимостью, сгустком энергии, заставляющим всегда отклоняться магнитную стрелку. Так эмиграция привила советскому человеку шестое чувство — чувство Запада.

И началась пора выбора. Долгие кухонные блдения, перечитывание писем, изучение карт. Мы не знали и знать не могли, что находится в зелено-коричневом пространстве под названием США. Но мы твердо верили, что там есть все, чего нам не хватает, — деньги, мудрость, счастье. Ни одна религия не смогла нарисовать убедительную картину рая (многие обходились без нее совсем). А мы сумели оживить эту абстракцию и населить ее блестящими серафимами, голубыми тюльпанами, мирными единорогами. Как ранние христиане в своих катакомбах, мы сравнивали жизнь настоящую и жизнь грядущую. Первая была знакома до оскомины, вторая — таинственна и неизвестна. Но нас, как и тех христиан, не смущало незнание. Напрогив, мы пользовались им, чтобы населить эту terra incognita самыми пылкими плодами нашей фантазии. Все там хватало места, и мы голосовали за это «все»: за хиппи и банкиров, за армию и пацифистов, за негров и ку-клукс-клан. Все казалось разумным и достойным. И все, как в Эдеме, уживалось рядом — волки с агнцами, миллионеры с безработными, правда с вымыслом.

Конечно же, романтики и интеллектуалы, мы ехали не за деньгами. Деньги лишь позолачивали радужную картину торжества Декларации прав человека. Мы только скромно рассуждали о преимуществах материальных стимулов, надеясь, что их маленькие частички перепадут и нам. Крохи со стола капитализма — курица, дубленка, старенький «форд». А подсознание, замирая и пугаясь, подкашивало: яхта, лужайка с бассейном, небольшая интеллигентная вилла.

Жалкие информационные недоноски, которые добирались до нас, лишь расплаляли старинную страсть к чтению между строк. Левины пишут, что барахлит сцепление. Кацам весь круиз испортили дожди. Жанна жалуется, что норки дорогие.

Мы кричали, что готовы улицы подметать на свободе, сухари грызть, но читать Гумилева, что будем, как первоклашки, учиться у Запада. Но втайне верили, что сумеем раскрыть этим наивным туземцам глаза на тайны жизни. Что для нас найдется место мудрых эмиссаров, несущих свой бесценный опыт на алтарь демократии. Во всяком случае, и сознание и подсознание сходились в одном: терять нечего, не березы же.

Так мы попали под действие сурового и хитрого физического закона — принципа неопределенности. В переводе на человеческий язык он гласит: никто не может оценить свое окружение, находясь внутри его. И мы не смогли. Наша жизнь растворилась в тысячах примет быта, и мы перестали ее ощущать, как воду, нагретую до тридцати шести и шести десятых. Но теперь, когда система перестала быть единственной, естественный путь был только наружу. А накопленный генами опыт гнал нас в ускоряющемся темпе скрипичного крещендо. Мы-то знали, что, если трамвай уходит, надо в него вскакивать, не глядя в номер, — другой может не прийти вовсе.

Принцип неопределенности и комплекс уходящего трамвая сделали свое дело. Мы оказались здесь быстрее, чем поняли, что оставили там.

ЭТЮД В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ

Нет ничего страшнее осуществленных идеалов.

...Первые улицы Нью-Йорка. Примитивные коробки домов. Пожарные лестницы по фасаду. Столица мира сразу же ассоциируется с самым некрасивым городом СССР — Ростовом-на-Дону. География расширяется. Руины Южного Бронкса — как Сталинград после одноименной победы. Тусклый и тоскливый Бруклин. Небоатый дачный поселок Квинс. Миллионерские билдинги на Пятой авеню не лучше Чер-

мушек. Убогость эстетических переживаний рождает первое смущенное недоумение: где *та Америка?*..

На сцене появляется первый американец. Фамилия его Шапиро, и происходит он из славных Черновиц. На нем штаны в розовую клетку и канареечный пиджак. Оптимизм проявляется в беспрестанном хотете. Больше всего на свете он любит Америку. Потом Израиль. Остальных жалеет — у остальных продают молоко без витамина Д и нет демократии. Мистер Шапиро достаточно еврей, чтобы знать, что Черновицы в Польше, но недостаточно, чтобы строго соблюдать шабес. Он любит русских эмигрантов, называет их братьями и дарит старые галстуки. Еще он охотно дает советы: «Вам надо найти хорошую работу. Не унывайте, выучить английский очень просто — я же выучил». Иногда он вспоминает прошлое: «В сорок восьмом я получал двадцать долларов в неделю. Куда меньше вашего...»

То, что первый американец всегда оказывался евреем, надолго определило наши первые идеологические шаги в Новом Свете. Честно говоря, даже самые умные из нас не могли представить себе государство без государственной идеологии. Рассуждали мы так: должна же и у них быть пропаганда, только на этот раз пропаганда справедливая, честная, правильная. В России мы твердо знали, что советская идеология — это беспомощный инвалид, годный только на анекдоты. Но здесь, в земле обетованной, должны знать одну-единственную истину, которая на их лад называется демократией. Эту истину мудрые дяди сэмы вывешивают в виде плакатов, твердят по громкоговорителям, вдальбивают в школах. Всю жизнь мы готовились к встрече с ней. Мы даже почти знали ее. Писали о ней в самиздат, поднимали за нее тосты, называли светлым будущим.

Но в Америке истины не было. Во всяком случае, нам она не досталась. Нам только обучили пользоваться дезодорантом, входить в автобус через переднюю дверь и улыбаться как можно шире. Вот и все — не было никаких идеологических открытий.

Правда, встречали нас до приторности вежливо. Восхищались нашим монструозным английским, до боли в костяшках жали руки — и совершенно не понимали. Ничего! Ни нашей горячечной жажды рассказывать, как плохо в России, ни наших истерических попыток рассказать, как хорошо в Америке. Гостеприимные Соединенные Штаты категорически не понимали, чего мы хотим. А мы хотели долгожданного рая — немедленно и даром. Уже с таможенниками заговаривали о Фолкнере. Чиновникам ХИАСа³ объясняли, что не в деньгах счастье. В первые четыре дня сочиняли петиции, призывающие президента защитить преступно не выпущенную ОВИРОм тещу.

Самым неожиданным заменителем западной идеологической правды оказался иудаизм. Добрые американские евреи взяли над нами опеку. Сдали нам свои бейзменты⁴, одолжили железные походные стулья и сообща подарили менору⁵. Взамен они потребовали, чтобы мы восхитились фантастической религиозной свободой. Мы старались не обидеть добрых американских евреев и ждали, что будет дальше. А дальше не было ничего. Иудаизм в глухой провинциально-бруклинской трактовке оказался явлением самодостаточным. С отказом от ветчины религия кончалась. Ритуал — для нас глубоко бессмысленный — вполне удовлетворял наших соседей. Истиной, той самой великой американской истиной, и не пахло.

Одни эмигранты добрались до обрезания, другие — не дальше субботних свечей, но рано или поздно все отошли в сторону. Дружный и бойкий американский иудаизм прокатил мимо. Советские евреи предпочли ему нарядную новогоднюю елку и свиную полукопченую колбасу.

Наша экстравагантная попытка влиться в идеологическое лоно иудаизма прошла, как корь: быстро и без видимых последствий.

Будущие эмигранты выделялись из общенародного российского единства еще до тех пор, как выделились окончательно. Они были другими хотя бы потому, что подспудно готовились поменять определенность на неопределенность. Эта инакость оборачивалась возвышающим над толпой чувством выбора. Одни просто живут, а другие выбирают, как жить. Уже этого хватало, чтобы войти в передовую слой общества. Эмиграция — революционный авангард — опережала отсталое российское мещанство в крылатой мечте о восьмицилиндровом «шевроле» и баночном пиве «будвайзер». На практике это приводило к чтению «Континента» и сочинению каламбуров: «Над седым раввином Моней Голда Меир — буревестник». Задолго до эмиграции мы привыкли к своему несколько исключительному положению. Обжились в нем, нашли плюсы и минусы.

³ Еврейская благотворительная организация.

⁴ Цокольный этаж, подвал (англ.).

⁵ Семисвечник (евр.).

В Америке мы с размаху врезались в катастрофически мешанскую среду. В силу общего невежества и понятного отсутствия средств мы — диссиденты и нонконформисты — попали в буржуйское окружение. Нашими соседями стали бакалейщики, бухгалтеры и страховые агенты. Нашими коллегами оказались банковские клерки, официанты и младшие техники.

Сначала нам было все равно. Американец есть американец. У него дом, чековая книжка и обеспеченная старость. Кроме того, он говорит по-английски. Таким мы его полюбили еще в предрасветные годы первых передач «Голоса Америки»: «Вот мистер Смит. У него бассейн и собака. Вот миссис Смит. Она едет в магазин на своем автомобиле». Что же удивительного, что живого Смита — чаще все-таки Шапиро — хотелось потрогать, чтобы убедиться, что он настоящий.

Любовь и ненависть к загранице всегда легко уживались в русской душе. Даже герои ксенофоба Достоевского страстно любили Америку: *«Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что мы, русские, пред американцами маленькие ребятки, и нужно родиться в Америке или по крайней мере сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень. Мы все хвалили: спиритизм, закон Линча, револьверы, бродяг. Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что это нам нравится».*

Но наша любовь была быстротечна, как любая первая любовь. Страсть кончалась где-то на третий день. За ней приходило мрачное отрезвление.

Мы начали сводить счеты с идеалом, и список злодеяний рос ежечасно. Американцы жадные: подарили телевизор — ремонт дороже нового. Американцы врут: обещали взять на работу — четвертый месяц не звонят. Американцы равнодушные: спрашивают, как дела, а слушать отказываются. Американцы глупые: не знают Харькова, не читали Драйзера, любят комиксы.

Первый же знакомый интеллигент рассказывает: «Ваш Лео великий писатель. Я видел в кинохронике, как его хоронили. За гробом шло все правительство — и Ленин и Сталин». Его жена-сербка подхватывает: «Это был их долг. Толстой прославил Ленина как зеркало революции».

Сосед по дому горячо разделяет ваши гражданские чувства: «Это несправедливо, что евреям запрещают эмигрировать. Они ничем не хуже других народов России. Если остальным можно, то можно и евреям».

Ни к чему человек не бывает так склонен, как к оплевыванию прежних идеалов. Стоило наступить поро разочарований, как мы развернулись во всю мощь. Если раньше даже этикетка «Made in USA» приводила нас в праздничное содрогание, то теперь мы легко и просто поменяли полюса.

И вот опять начались сидения на кухне. Долгие и горькие сетования на преступность, отсутствие черного хлеба, инфляцию, неспособность врезать арабам...

В России мы жили вымышленной Америкой... Посетив Бруклин, мы решили, что это и есть настоящая Америка. Нам и дела не было до того, что тот кусочек страны, который открылся нам из окна сабвея, так же мало похож на Америку, как и наше прежнее о ней представление. Из одной фантазии — нарядной — мы попали в другую. На этот раз погрознее и поглубже. Запершись в своей эмигрантской черте оседлости, мы с неописуемым презрением взирали на Новый Свет.

Один наш знакомый каждый уик-энд проводит в русской бане. «А что еще здесь делать?» — тоскливо разводит он руками. В Нью-Йорке сотня музеев, полтысячи театров, даже цирков несколько. Но в общем он прав. Что еще здесь делать? В чужой и дикой стране, где водку разбавляют соком, играть в футбол не умеют, а козла забивают только опасные пуэрториканцы.

Рядовая эмигрантская масса сконцентрировала свои претензии к Америке на быте. Интеллигенция, включая творческие силы, сетовала на пробелы в общем образовании. Посмотрев три месяца телевизор, мы заявили, что Америка еще не доросла до Театра на Таганке. Прочитав со словарем «Запретный сад любви», мы обнаружили, что американская литература погрязла в пошлости. Разговорившись с лифтером, мы выяснили, что американцы не знают Чехова. Еще Пушкин говорил, что «мы ленивы и нелюбопытны», — но что он знал об эмиграции?

Российское общество сословно, как феодальная Франция. Знание социального этикета здесь более необходимо, чем умение читать. Искусство различать статус собеседника по произношению «г», ношению рубашки без галстука или предпочтению пива коньяку у нас воспитывалось с рождения.

В Америке мы были слепыми котятками. Социальное невежество постоянно приводило нас к досадным нелепостям. Первые же друзья-американцы перестали быть друзьями после попытки одолжить у них пятерку. Даже превзошедшие английский язык интеллектуалы оказывались в тяжелом положении. Знаменитый поэт и

хулиган Константин Константинович Кузьминский был брошен в реку, после того как выволок на улицу плакат со своими инициалами. Его новые сограждане приняли аббревиатуру ККК за призыв к оживлению ку-клукс-клана.

В наших блужданиях по Америке мы никак не могли наткнуться на свой, родной слой общества. Вежливое и безразличное буржуазное окружение никак не соответствовало нашему прежнему образу жизни. Мы все искали американцев по Сэлинджеру, американцев по Хемингуэю, на худой конец американцев по «Встрече на Эльбе», но они как будто исчезли с лица земли. Будто и не было никогда этих потрясающих людей, зародивших в нас мечту о равенстве, счастье, свободе.

На самом деле они были рядом — в Сохо, Гринвиче, даже в Бруклине. Это они толкались на выставке русских авангардистов, они раскупали билеты на галерку, прославили Вуди Аллена и ввели моду на драную одежду. А мы-то уже поверили, что им не хватает комиксов. Случайно мы познакомились с актерами, которые спят без простынь; с писателем, которому подарили его первый в жизни пиджак; с поэтами, издающими свои сборники в самодельной типографии на манер «Искры» (издательство почему-то называлось «Baba Jaga»). Неожиданно мы натолкнулись на человека, читающего в сквере переводы из Вознесенского и Окуджавы. Поссорились с профессором из-за Набокова. Разговорились с алкоголиком⁶, спившимся на почве увлечения мистической философией Гурджиева.

Америка, наглухо запертая при первой встрече, открывалась нам исподволь. Конечно же, только потому, что изменились мы сами.

В одном из рассказов Брэдбери земляне заселили давно покинутый аборигенами Марс. Сперва колонисты старались все сделать как дома — строили фабрики, машины, ракеты. Но потом охладели к этому. Стали мечтать, философствовать, бездельничать. Даже язык забыли, незаметно выучив чуждое чирикающее наречие. И вот через несколько лет земляне стали марсианами — смуглым и золотоглазым племенем, которое со смущением взирает на собственные дела: фабрики, машины, ракеты. Новые марсиане у Брэдбери в конце спрашивают: «Ну не странные ли это существа — земляне? И зачем им нужно было все это барахло? Хорошо, что их больше нет на Марсе».

Трудно поверить, что это написано не про нас.

Сам воздух Америки, ее почва, вода, хлеб — все делает нас другими. Если бы мы привезли с собой зеркала, они сохранили бы память о других людях — толстых, шумных, несимпатичных. Изменились наши вкусы, критерии, привычки. Дело не только в том, что мы забыли значение слов «прописка», «коммунальная квартира», «частик в томате». Другими стали строй наших мыслей, интонация нашей жизни, направленность наших страстей.

Советское кино — это контрольный эксперимент в глобальных исследованиях нашей ментальности. Мы смотрим на экран, где живут наши прототипы, и не узнаем в них себя. Кто эти неестественные люди? Почему они так напыщенно разговаривают, грубо шутят, ходульно жестикулируют? Какое общество породило такое неправдоподобное искусство?

Горечь нашего положения как раз и заключается в том, что мы подвешены в безвоздушном пространстве. Нам некуда возвращаться — поскольку мы переросли свое прошлое. И нам не хочется идти вперед, потому что нам чуждо наше будущее.

Наши отношения с Америкой наполнены отрицанием отрицания. Своей жизнью мы иллюстрируем учебник по диалектике. Вот мы, только что дойдя до признания заслуг демократии в деле освобождения негров, встречаем чернокожего человека, вдетого в хомут с транзистором. Звуки музыки, способные заглушить шум стадиона, отбрасывают нас назад к расизму и заставляют горько пожалеть, что гражданскую войну в США выиграла не южане.

На пути из русских в американцы мы сделали немало остановок — поменяли несколько работ и квартир, выучили три тысячи слов и десяток ругательств, посетили публичные дома, сенат и оздоровительные комплексы, сидели на диете, целовали медузу, пробовали устриц, получали фудстемпы⁷, страховали собственность и разводились. И все же путь только начался, и бряд ли мы живыми дойдем до финала.

⁶ К одному нашему нью-йоркскому приятелю пришел сантехник и, узнав, что клиент из России, заявил о своем знании русского языка: вначале спел довольно чисто «Легко на сердце от песни веселой», а потом разразился виртуозным, многоэтажным матом. Сантехник оказался итальянцем, пробывшим два года в русском плену. Он стоял возле унитаза маленький и седой, подняв руку торжественно, будто цитируя Данте, и произносил кощунственные, леденящие душу слова на нашем родном языке.

⁷ Продовольственные талоны (англ.).

Швейцарский педагог Песталоцци сделал открытие, сказав, что детство — равноправная часть жизни, а не подготовка к ее наиболее значительному, взрослому, периоду.

Наше затянувшееся взросление не может быть маловажным этапом — ведь оно и есть наша жизнь. Мы потеряли не только советское гражданство, но и свою этническую, историческую, поведенческую принадлежность. Мы, представители страшного и могучего СССР, стали крохотным национальным меньшинством. Вроде народов Крайнего Севера. За нашей спиной больше не было чудовищных пороков, глобальных злодеяний, необозримых географических пространств. И мы не приобрели вместе с американским паспортом американскую ментальность. Мы просто стали другими — эмигрантами. Мы перепутали времена глаголов — народ с определенным прошлым, неопределенным настоящим и туманным будущим. И в этом статусе нам предстоит найти цель. Смысл, оправдывающий нашу новую, шаткую реальность.

ГОЛОС ИЗ ЗАПОВЕДНИКА

Раскрываешь «Петуха» — «юмористический, сатирический, развлекательный ежемесячный журнал» — и читаешь стихи:

Мы читали «Петуха»: — Ха-ха-ха!
Хорошо бы, чтоб «Петух»
Не протух!

И сразу кажется, что раньше все было не так. Очень хочется в это верить. Перед умственным взором встают тени Пушкина, Козьмы Пруtkова, Мятлева, капитана Лебядкина... Да что там капитан — в Чикаго еще в 1963 году выходил русский журнал «Гусь», тоже юмористический:

Приходи, Маруся, с гусем,
Порезвимся и закусим.

Уже лучше, хотя и не Козьма Пруtkов. И кажется, что если продолжить экскурс в прошлое, то качество будет неуклонно возрастать, юмор — становиться острым, сатира — злободневной, стихи — звучными, рифма — изящной. Вот, скажем, журнал «Медуза», выходивший, между прочим, в издательстве «Химера» (Белград, 1923):

Подплыла ко мне медуза,
Как укусит меня в пузо!

Нет, что-то не получается со стройностью построения. А чего стоит «двухнедельный журнал незатейливой шутки и веселой рекламы» с дивным названием «Бамбук»? Может быть, всегда шутка преобладала незатейливая, а реклама — веселая? Вроде той, что идет в современной русской газете: «*Вы можете позволить себе самое лучшее: 1) аборт...*» Или той, что в газете «Накануне» за 1923 год: «*Женщина-врач Меерсон*». Или там же: «*Два оркестра музыки*»...

А вот объявление другого рода все в той же газете «Накануне»:

«Иван Коростылофф,
русский эмигрант, журналист, поэт,
расскажет
правдивую историю своей жизни,
после чего на глазах у всех
застрелится».

Это смешно, но вдруг и правда застрелится? Как интересно читать старые эмигрантские газеты: «*Русские рикши, вчерашние капитаны, рысью несутся по шанхайским улицам, и не редкость увидеть, как русский везет русского в кабаке, на биржу, в притон*» («Накануне», 1921).

Все-таки есть между нами и тогдашними эмигрантами разница, только незатейливость шутки все та же — видно, не зависит от обстоятельств, а талантов всегда было немного. «*В полицейский участок в Тулузе заявлено об исчезновении бывшего офицера Орлова. Версия о подозреваемом самоубийстве, впрочем, скоро отпала. Орлов найден работающим источником в кафе на окраине Тулузы. Он сказал, что не хотел*

появляться к жене, пока не найдет работы и не накопит немного денег» («Последние новости», 1923).

Мы и здесь, в Нью-Йорке 80-х годов, знаем журналиста-уборщика, учителя-малляра, математика-сантехника... Вроде бы похоже. Как хочется протянуть параллели, как это почти удается.

«В 1921 году в США было допущено 6553 русских. Из них 180 человек интеллигентных профессий: 6 актеров, 2 архитектора, 21 инженер, 18 музыкантов, 13 скульпторов, 20 купцов, 4 фабриканта, 2 банкира и др.»

Похоже. Даже порядок цифр тот же. Но вот продолжение заметки: «149 человек не допустили: 25 из-за неграмотности, остальных как могущих пасть бременем на общественную благотворительность» («Руль», 1921).

И снова параллели расходятся. Все-таки нам гораздо легче.

У нас довольно много писателей, журналистов, художников, «павших бременем на общественную благотворительность», что и ими и всеми окружающими воспринимается вполне нормально.

Редактор русского журнала, живя в Израиле, писал о «кишащих тараканами эмигрантских ночлежках» в Нью-Йорке. Потом, переехав в Нью-Йорк, писать об этом перестал: наверное, издали было виднее. А вот свидетельство очевидца шестидесятилетней давности: «В русской слободе в Белграде крысы прогрызали чемоданы и портили последнее бельишко беженцев» («Руль», 1922).

Все-таки у них все было по-другому. И сами они были другие. Если хоть в какой-то степени верно, что пресса отражает общественные настроения, наша непохожесть выступает с абсолютной ясностью. Самое, может быть, главное: они не были эмигрантами. Они сознавали себя Россией, а в качестве таковой — частью цивилизованного мира. Поэтому, кстати, так смешны и — увы! — неинтересны их газеты. «Последние новости» чувствовали себя равными «Монд» или «Таймс», усматривая разницу лишь в степени и масштабе, но никак не в принципе. Если бы не объявления, практически невозможно было бы определить, что это газеты русской эмиграции. Заметка об офицере Орлове — крайне редкий случай. Зато сведения о дебатах во французском парламенте по вопросу ассигнований на портовые сооружения в Бордо — с подробностями в течение недели. Волнующее сообщение «принц Уэльский — первый танцор», с нюансами и деталями. Проблемная статья «Возрождение кринолина». Подвал «Бич человечества» с примечательным эпитафием: «Сифилис никого не щадит: все равны перед ним». Венерическая философия.

Все это ни хорошо, ни плохо — просто это так. Внутримиграционные проблемы казались мелкими и несущественными: люди приехали не жить, а дожидаться. В 1925 году один из самых трезвых публицистов, Марк Вишняк, писал: «Мечтания и рассуждения... о возврате на родину, «физическом» и «духовном», тяге «нутряной» и «головной» и т. д. — имманентны эмиграции, вечны для нее, не замирают никогда и ни в какой эмиграции» («Современные записки», 1925).

Какие же мы уроды, если прав Вишняк!

Но, с другой стороны, каково читать такое соображение: «Приближается час расплаты, и горька будет чаша, которую придется пить России за преступления ее властителей».

В каком году написано это? В 1918-м? В 1920-м? Нет — в 1949 году в «Новом журнале». В 1949-м, после победоносной войны, на пике народного обожания Сталина! И в том же номере: «Народ сейчас отвергает сталинскую власть».

Какова же степень слепоты и убежденности была у этих людей! Что лучше — такое или наша бездарная деловитая трезвость? Мы, за редкими исключениями, знаем свое место: рядом с гайтянами. Те, прежние, — вершители судеб, подлинная и реальная сила, голос мирового звучания: «Русские эмигранты убедили национал-социалистов, что в России при первом толчке всыхнула бы революция. Нет сомнения, что именно под влиянием этих утверждений Гитлер сделал свой роковой вывод» («Новый журнал», 1949).

Вот так: нет сомнения. В 1914 году мелитопольская газета писала: «Мы неоднократно предупреждали членов Антанты об опасности обстановки в Сербии, однако наши призывы звучали в тунне...»

Конечно, смешно. Сейчас с усталой иронической улыбкой наблюдаешь... Кое-кто и тогда понимал это. Георгий Иванов написал печальные и жестокие строки:

Был целый мир — и нет его.
Ни капитана Иванова,
И ни похода Ледяного,
Ну абсолютно ничего.

А им казалось, что тут он, целый мир, и они все учили Англию, подговаривали Гитлера. И между прочим, увлекшись борьбой за счастливое будущее русского

народа, развернули отчаянную кампанию против президента Гувера и полярника Нансена, которые хотели этот русский народ накормить прямо сейчас, не дожидаясь будущего. Им все никак не хотелось быть рядом с гаитянами, и когда уже не было «абсолютно ничего», они всё считались, как большие: вы кадеты — мы младороссы, вы монархисты — мы евразийцы, вы сменовеховцы — мы эсеры. И все никак не могли друг с другом примириться.

Уже в наши дни в книжный магазин Мартъянова закахивал закадычный приятель владельца, Коверда, неизменно приветствуя хозяина: «Здорово, эсер!» Девяностолетний Мартъянов вскидывался насколько мог, и начиналась жаркая дискуссия по партийным вопросам. Прошло шестьдесят лет, изобрели телевидение, возник и пал германский фашизм, самолеты стали реактивными, челюсти — пластмассовыми, появилось государство Израиль и исчезла буква «ять»... А Коверда, убийца советского посла в Польше Войкова, не мог простить организатору первого покушения на Ленина Мартъянову его эсерства. Но, может быть, все это — на уровне таких негибких бронтозавров, которые есть всегда и всюду? А поучения Англии и наказания Гитлеру на уровне лидеров — Милюкова там, Керенского, Гессена? Должна же быть и масса, та самая, для которой издавались «Медуза», «Гусь», «Бамбук»... Которая читает «Петуха», ха-ха-ха!.. Нынешняя вот она — на виду. А тогдашняя? В художественной литературе что-то просматривается: в «Городке» Тэффи, «Последних и первых» Берберовой, книгах Газданова, Яновского... И даже в прессе проскакивают глухие упоминания, на которые сразу обращаешь внимание, как на хорошо знакомое лицо. Вот письмо из Ревеля: *«Антибольшевизм совершенно определенного происхождения... Его источники отнюдь не идеологического свойства, а почти во всех случаях бытового и даже просто меркантильного»* («Смена веков», 1922).

Это уже по-нашему: «...бытового и даже просто меркантильного». Это похоже. Конечно, можно делать скидку на характер журнала, который об этом пишет, но ведь приходится делать скидку и на другие журналы, которые упорно не хотят писать об этом. А вот письмо из Праги, того же года: *«Подавляющее же большинство студенчества эмиграции — просто обыватели... Почти все они служили в белых армиях, но не питают ненависти ни к революции, ни к советской власти»*.

Это очень похоже на то, что говорит о третьей волне первая и вторая эмиграция. Причем с полным на то основанием. Живем в целом хорошо — вот и не до идеологии. Но как же те, которые «служили в белых армиях»? Или всегда примерно одинаков человек — хлебом единым?

В нашей эмиграции наверняка не найдется поэта, который напишет так, как написал в 1948 году Иван Елагин:

Тот повесится в уборной,
Этот бросится с моста,
У кого-то ночью черной
Вынут дуло изо рта.

Да, им жилось плохо и очень хотелось жить хорошо. Но вот что интересно: как они представляли себе эту хорошую жизнь? Ученые Гарвардского университета провели в конце 40-х годов социологическое исследование в лагерях «ди-пи»⁸ — второй волны эмиграции. Опросили две тысячи человек: какой общественный строй они предпочитают? Причем вопросы ставили хитро, с очень мелким дроблением проблем и областей, чтобы не подтолкнуть к ответу. Результат оказался поразительным: подавляющее большинство бежавших от социалистического строя людей высказались за социализм. Разумеется, они бы отшатнулись, услышав это слово, но приветствовали основные институты социализма.

Может быть, это как-то объясняет аполитичность тех, о ком говорится в письмах из Ревеля и Праги. Вспомним, что в предреволюционной России порядочный человек буквально обязан был не любить и презирать режим, что жандармам не подавали руки. Это уже потом выяснилось, что при практическом социализме жить невозможно. А идеалы его всегда создавали питательную среду для свободной мысли и формировали сознание интеллигенции — от Бердяева до Сартра. И наверное, это самое удобное и приятное — придерживаться идеалов равенства и справедливости, имея при этом хорошую зарплату и незатейливый журнал «Петух».

Но российская эмиграция в лице своих лидеров такими идеалами удовлетворяться никогда не желала. Сейчас, например, трудно найти в Америке более консервативную прослойку населения, чем наши три волны. Мы воюем — воюем не за, а исключительно против. Но как Антанта игнорировала предостережения мелитополь-

⁸ Сокращение от английского словосочетания *displaced person* — перемещенное лицо.

ской газеты, так и американцы не спешат предоставить нам руководящие посты в политике, экономике, прессе.

Действительно, картина выглядит на первый взгляд странно. На Запад выехали видные общественные деятели, ученые, специалисты, досконально знающие Советский Союз и его проблемы. Казалось бы, они и должны занять ключевые посты хотя бы в советологии, это, во всяком случае, логично. Но ничего не выходит. Конечно, проще всего объяснить дело борьбой амбиций, нежеланием уступить теплое местечко и т. д. Но суть все же не в этом: в целом мы крайне необъективны, суетливы, нетерпимы, склонны к радикальным мерам, диапазон которых колеблется от запрещения поп-музыки до сбрасывания на арабов атомной бомбы.

В 1949 году «Новый журнал» всерьез утверждал, что русские эмигранты заставили Гитлера начать войну. Через тридцать лет наш публицист советует президенту: *«Существа, пытающиеся отравить лекарства и продукты, заслуживают того, чтобы быть повешенными на площадях»*. И наверное, огорчается, что президент не внемлет. А некий читатель откликается с одобрением на этот призыв: *«Было немало хороших статей, были предложения о создании лагерей, использовании труда осужденных. Но китайская поговорка гласит: сколько ни говори «мед», во рту слаще не станет»*.

Голова идет кругом. Как тут не порадоваться, что американцы не читают русских газет. Лагеря, труд осужденных — ведь все это уже было. Но — там! Какое причудливое смешение понятий, убеждений. Какая тоска по сильной руке — Лавра Корнилова, Иосифа Сталина, Юрия Андропова...

Конечно, третья эмиграция — политически недоразвитая по сравнению с первой и даже со второй: все-таки условия созревания были иные. Но и у нас есть свои достижения. Существует, например, организация «Новые американцы за сильную Америку». Загадочное это дело: какие, интересно, есть методы принудить сенат и конгресс забыть мягкотелую интеллигентность, если не зовут нас в руководство чем бы то ни было? О политике и экономике и говорить не стоит — и более невинные занятия нам не по плечу. В русской прессе как-то разгорелась дискуссия: одни утверждали, что Булат Окуджава — идеологический диверсант, засланный разлагать эмиграцию, другие такую точку зрения оспаривали, заявляя, что он всего лишь объективно работает на КГБ, а не за зарплату.

Страшно подумать, что кто-то из наших получил бы реальную власть. Маяковского бы запретили, Сартра, Маркеса, Никиту Михалкова (зачем его папа гимн написал?), абстрактную живопись. Все это уже было. Но — там!

Русская эмиграция всегда видела свою цель в том, чтобы научить народы мира политической мудрости. Мы неоднократно предупреждали Ллойд-Джорджа, Картера, Миттерана. Мы им говорили, что надо делать, чтобы покончить с красной, коричневой и желтой чумой. Они нас мало слушали. Более того, они нам не очень верили. Они почему-то считали, что мы уже дома показали, на что способны, и вряд ли сумеем в гостях показать что-нибудь другое. И еще они думали, что мы односторонние, ограниченные люди и что нам опасно доверять. Правда, мы им отвечали тем же. Ведь мы привезли готовые рецепты спасения демократии, а они не хотят.

И все же русская эмиграция добилась многого. Но интересно: совсем не того, чего хотела. Сейчас, с расстояния десятилетий, не очень-то разберешь, кто меньшевик, кто эсер, а вот нобелевский лауреат в первой эмиграции был (это уже навсегда) — Бунин. Удастся ли новым американцам соорудить сильную Америку — неизвестно, а свои нобелевские лауреаты в третьей эмиграции есть — это известно точно.

Газетные перебранки забудутся, а собрания сочинений Гумилева, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой останутся. Правда, останется и то, что Цветаеву затравила, толкнула в Советский Союз и в петлю тоже эмиграция. И Набокова не признавала. И Белинкова заклеяла и свела в могилу. И Синявского объявила русофобом и пособником Кремля тоже эмиграция.

Страшный опыт... Чем утешаться? Тем, что лес рубят — щепки летят? Так ведь хорошо бы знать — какой лес и зачем. Похоже, никогда не стать российской эмиграции реальной политической силой — ни в силу внутренних, субъективных причин, ни в силу внешних, объективных. Смысл нашего существования иной. Эмиграция могла бы стать заповедником, архивом, музеем, хранилищем, где все ценности российской культуры стояли бы рядом, на соседних полочках. Где можно было бы спокойно разобратся, как мы дошли до такой жизни, что единственным выходом стало бегство.

После Французской революции в Россию хлынули эмигранты и в несколько лет основательно изменили общественный климат страны. Разумеется, только среди образованного сословия — но оно-то и представляет государство в международном масштабе. Французские эмигранты не принесли с собой политических идей и

методов переустройства мира. Разгромленные монархисты — какую еще монархическую идею могли они привить самодержавной России, в которой идея единоличной власти похлестке всех Людовиков. Французы открывали не журналы, а модные магазины, учили не борьбе с якобинцами, а менуэту, рассказывали не об ужасах революции, а фривольные анекдоты, демонстрировали не политические убеждения, а шелковые чулки. И настолько изменили общество, что русскую интеллигенцию первой половины XIX века следует считать интеллигентней русско-французской. Завоевание прошло мирно, при полном согласии сторон.

Французы не поучали Россию, а явили ей пример, что оказалось весьма действенным. Нынешняя русская эмиграция тоже могла бы явить пример. Надо вычленишь и осознать то уникальное, что есть у нас и что мы в состоянии предъявить здесь. Это, разумеется, не общественно-политические концепции: нас не слушают, и правильно делают. По части материальной культуры и культуры поведения мы неандертальцы. Но у нас есть священный десятилетиями российский интеллигентский комплекс — идеологизированный образ жизни.

Русский интеллигент напряженно и страстно наделяет окружающий мир идеологическими символами, наотрез отказываясь признать книгу пачкой бумаги в переплете, а брюки — изделием из ткани. И пусть это доходит до смеха и абсурда, сама насыщенность интеллектуальной жизни, сам стиль может стать примечательным образцом. Мешают этому две полярные крайности: с одной стороны — стремление выйти на высокий мировой уровень и всех научить уму-разуму, а с другой — бесконечные кухонные склоки о том, кто либерал, а кто носорог и кто все-таки объективно льет воду на чью мельницу.

Нас не зовут в советологи — и не надо. Надо другое: создать собственную советологию — не разоблачительного, а аналитического характера. По-настоящему сделать это можем мы. Иностранцу не хватает живого знания, российскому человеку — беспартийности. У нас есть и то и другое. Вот в этом непредвзятом и глубоком изучении одной из двух величайших стран мира, наверное, и есть смысл нашей эмиграции. А поучать и уличать американцев, французов, немцев — дело неплодотворное. Тут мы себя показали еще со времен лесковского Левши, который английскую пляшущую блоху, конечно, подковал, но плясать после этого блоха перестала.

ЗДЕСЬ

Вещи

Существует один загадочный феномен. Суть его заключается в том, что достаточно наблюдательный человек всегда отличит в западной толпе русского эмигранта. Причем в толпе любой. Невелика хитрость вычленишь русского в благотворительной конторе или на барахолке. Тут бывают только новички, еще не сменившие кримпленовые пиджаки малинового цвета на соответствующую западной жизни униформу. Но проходит два-три года, и русский эмигрант приобретает вполне адекватный облик. Он осваивает новый стандарт, который требует от одежды ощущения максимального пренебрежения. Неглаженные парусиновые штаны и армейская панاما защитной окраски — вот тот идеал, к которому приходит эмигрант, прошедший искус пуэрториканских смокингов за девятнадцать долларов. Он уже знает, что хорошо, то есть строго, одеваются только безнадежные безработные и банковские клерки. С экономическим благополучием приходит либеральная ориентация на сугубое безразличие к внешнему виду — в России это называлось «лишь бы не жало в паху». Мы, например, на свою первую в Америке работу пришли нанимаясь не только в костюмах-тройках, но и в торжественных бабочках. Поскольку наш будущий хозяин представлял себе грузчиков несколько иначе, нас чуть не спустили с лестницы, приняв за страховых агентов. Зато за прошедшие годы ни один из нас уже не надевал галстука даже на похороны.

Так что для эмигранта, который искусственные шубы покупает только для оставшейся в России нелюбимой тети, одежда никак не может служить лакмусовой бумажкой. И все же что-то остается — крохотная деталька, штришок, мелочь, каинова печать. Скажем, называя адрес таксисту, эмигрант обязательно поклонится переднему сиденью — этим он выражает уважение не столько шоферу, сколько проклятому английскому языку.

Русского человека в американской компании легко узнать по тому, что он беспрестанно хихикает. Это признак постоянного нервного напряжения. Даже разговаривая с квартирным агентом по телефону, наш эмигрант заискивающе и мучи-

тельно улыбается в трубку. Он привык, что его не понимают, а ему страстно хочется, чтобы поняли, вот он и стремится понравиться.

В метро эмигрант часто смотрит на часы и иногда уступает место.

В супермаркете нюхает консервные банки.

В банке здороваются со служащими.

И всегда и всюду говорит о погоде, прибегая в описаниях ее исключительно к превосходной степени.

Как ни странно, другие иностранцы ведут себя в Америке иначе. Даже располагая восемью словами, они врзаются в полемику в баре, успешно кокетничают с девушками и, говоря о погоде, употребляют нейтральную лексику.

Различия между нами и всеми остальными кроются в глубинных основах психики, в образе жизни, в способах ее познания. Когда эмигрант наконец докопается до этих основ, он перестанет быть эмигрантом. У него, наверное, даже изменится походка. И тогда начнется уже другая история. Но путь в нее долг, часто на него не хватает жизни.

Первый, самый сильный, а часто и непроходящий шок поражает русского человека в заграничном магазине. Изобилие — абсолютно осязаемое состояние. Свобода эфемерна, вещь материальна. И профессор и домохозяйка свой первый опыт западной демократии приобретают не при чтении «Континента», а при покупке джинсов.

Знакомое стадное чувство гнало нас по дороге, сплошь заставленной вождельными предметами — зажигалка «Ронсон», машина, магнитофон «Грюндиг», резиновый бассейн. При этом растерялись все старые интеллигентские стандарты. Изобилие ударило по самому больному — по образу жизни. В России, где вещи собирались годами и по штуке, интеллектуальная смелость проявлялась в журнальном столике овальной формы и стенах, покрашенных контрастными колерами. В Америке эмигрант на первую полочку покупает стандартный гарнитур в стиле колониаль, соблазнясь рекламой в вечерней газете. В гарнитуре, естественно, отсутствуют книжные полки, и заветная тысяча книг, та самая, что вытеснила из багажа настоящую пуховую перину и женин каракуль, остается в бейзменте ждать лучших времен.

Изобилие низвело вещь до уровня обыденности. В России она была символом и знаком, здесь вещь есть вещь — удовлетворение матпотребности. Разница между вещами стала определяться вульгарной ценой. Предмет потерял свою метафизическую значимость, неповторимый коллекционный характер.

Если раньше человек страстно желал финский холодильник или набор соломинок для коктейлей, то теперь его страсть поневоле изливается на деньги — всеобщий и неотразимый эквивалент.

Мир прямых и ясных товарно-денежных отношений сорвал с нас покровы бытового неконформизма. Раз репродукция «Разлагающаяся натурщица», вырезанная из журнала «Польша», больше не зачисляет хозяина в лагерь фронды, то почему не повесить вместо этой мерзости знойную красавицу в три четверти.

С тех пор как вещи потеряли свою социальную функцию, они стали стандартными и обиходными. Комфорт (мало приспособленный для России способ жизни) в Америке — вынужденная, хоть и привлекательная реальность.

Жилье в России было рассчитано на частную жизнь, этакий бастион в войне с общественным сознанием. Но частная жизнь делилась с друзьями-единомышленниками. Для них и ради них собирался весь этот богатый смысловыми оттенками скарб. На Западе частная жизнь сузилась до сугубо частных пределов — рюмки месяцами не достаются.

Мы построили свой быт по мещанскому образцу, растерянно считая его единственно правильным в новой жизни. Вещный неконформизм в России всегда подспудно питался протестом против государственного вкуса. И опирался он на неведомый западный образец. В Америке этот образец предстал для нас в виде квартиры супера, универсального магазина и телевизионной рекламы. И мы поверили, что стиль колониаль и есть тот идеал, к которому мы жадно стремились во время предтогдашней горячки. В конце концов мы приехали в Америку обезоруженными. Привычка к скепсису осталась на таможне. Поэтому мы и восприняли Америку в ее самом распространенном, а значит, донельзя опошленном варианте. Утонченный многолетним чтением Пруста, российский эмигрант поспешно скопировал свой быт с первого же окружения. Естественно, что быт этот мало отличался от образцов, осмеянных еще Ильфом и Петровым.

И вот, купив все что можно, мы оказались среди чужих вещей. Безликих, безразличных, похожих и ненужных. Утомленные борьбой за приобретение, мы махнули рукой, оставив подрастающему поколению бунтовать против кариатид,

несущих абажуры времен сестры Керри, против почти настоящих персидских ковров и трехпудовых кресел в стиле купеческого барокко.

Изобилие убило нашу любовь к несколько истерическому, но все же оригинальному быту. За десятилетия дефицита мы не смогли выработать иммунитета к затоваренным магазинам. Мы, не справившись с проблемой выбора вещей, отказались от него вообще, удовлетворившись первым попавшимся стандартом.

Мебель, одежда, еда — все эти предметы социально-интеллектуальной стратификации стали общедоступными. Кому нужна красная икра и сервелат, если они есть в любом магазине? Даже французский коньяк будет пахнуть клопами, если его присутствие за праздничным столом означает лишь то, что у хозяев оказалось двадцать долларов.

В России был целый класс людей, единственная социальная ценность которых заключалась в умении достать номер в гостинице или столик в ресторане. Что делать этим легендарным ловкачам в стране изобилия?

И вот эмигрант, ошалевший от отсутствия дефицита («если бы не было школы — не было бы и каникул»), пытается скопировать свой прежний быт, собирая его по крохам в не приспособленной для этого Америке.

Однажды, объехав на двух машинах три района Нью-Йорка и потратив изрядную сумму денег, мы наконец уселись за накрытый стол, который украшала любительская колбаса (с жиром!), банка килек, черствый черный хлеб и едкая московская горчица. Ностальгический обед больше всего похож на студенческую вечеринку, когда до стипендии еще две недели, а бутылки уже сданы.

Среди эмигрантских ресторанов самые популярные не те, которые копируют позолоту «Славянского базара», а те, что от бедности похожи на пельменную в заводском районе. Пыльные окна, разогретые котлеты и сервис с матерком. В таком заведении приятно разливать из-под полы и называть официантку Нюрой.

Конечно, тоска по дефициту, благу, грубости выглядит анекдотически. Это напоминает кабаре «Ностальгия», у дверей которого стоит швейцар и говорит посетителям: «Вали отсюда, жидовская морда!» Однако стоит задуматься над тем, что любой запрет, кроме комплекса неполноценности, стимулирует и комплекс противостояния. Цензура рождает эзопову словесность. Дефицит одухотворяет материальный мир.

Ностальгия, как подагра, — аристократическая болезнь. О ней иногда можно прочесть в «Русской мысли». Бывшая смольнянка с тоской представляет себе рязанскую деревню, где нарядные, в сарафанах девки кружатся с одетыми в косоворотки парнями в веселом хороводе. Им проще. Для смольнянок Россия навсегда останется такой — страной, оккупированной совдепией.

Наша ностальгия уже никогда не предстанет в нарядных одеждах. В крови у нас бродит не шампанское, а «солнцедар». Но каким бы ужасным ни казался наш образ жизни стороннему, хоть даже и русскому наблюдателю, для нас он значил невероятно много. Мы чувствовали себя дома лишь тогда, когда могли погрузиться в сплошную паутину социальных связей и идеологически значимых предметов. Наши корни — это наши вещи. В не меньшей степени, чем русский язык и березки, они связывали нас с уродливой, но единственной родиной. Корни нельзя заимствовать, украсть, одолжить. Они могут прорасти только на достаточно унавоженной воспоминаниями почве.

Как бы ни был прекрасен утопический мир американского супермаркета, он остается для нас немым. «Без языка» — это значит не только сложности с фонетической системой, но и отсутствие подтекста, который в прошлой жизни наполнял каждый предмет и ситуацию необходимым смыслом.

На пути к счастью в обетованной Америке стали богатство и роскошь. Вещь в России была — как вода в пустыне. Много бы она стоила, если в пустыню провести водопровод?

Труд

Из всех опасностей эмиграции работа представлялась нам самым непреодолимым препятствием. Язык мы уж как-нибудь выучим — ну не за две недели, так за полгода. Чужие обычаи нам не страшны — еще не то видали. Со свободой свои дела тоже уладим. Но вот как быть с хлебом насущным?

Кем бы ни был эмигрант в своей прежней жизни, кем-то он все-таки был. То есть занимал твердое, определенное и оплаченное место. Запад был в этом отношении пугающим белым пятном, на котором иногда вспыхивали малопонятные надписи «безработица», «система Тейлора», «пауперизм», «тред-юнионы».

Теоретически все готовились подметать улицы. Практически все заверяли у нотариуса копии своих дипломов и трудовых книжек, собирали похвальные грамоты, памятные часы и именные папки с последней партконференции. Мы все-таки надеялись убедить Запад в нашей профпригодности.

Официально мы считались беженцами. Но сами себя мы ощущали командированными, переезжающими на новое место работы. Это вьетнамцы могут мыть полы — у себя дома они все равно бы умерли с голоду. А мы дома жили неплохо. Должна же Америка уважать наш опыт, образование, нашу готовность начать со скромного места инженера.

Надо сказать, что реальность во многом совпала как с явными, так и с тайными предвидениями. Мы действительно стали подметать улицы (точнее, продавать орешки). И действительно заняли скромные инженерные (точнее, программистские) должности.

В целом русская эмиграция устроилась. Советское образование оказалось неожиданно хорошим, наши таланты — выше среднего, а эмигрантские пробивные способности превысили аналогичные показатели техасских ковбоев. Грубо говоря, технари нашли достаток и уверенность, «лавочки» — бизнес и безнаказанность, а гуманитарии заняли дно общества. Три сословия, на которые мы условно разделили эмиграцию, вышли приблизительно на тот уровень, который они занимали в России. И все три остались им недовольны.

Технические интеллигенты выдержали экзамен на жизнестойкость, пожалуй, лучше всех. Так или иначе они приспособились к новым ГОСТам, профессиональному жаргону и американским готовальням. Затем они своевременно произвели инвестиции, купили проперги и научились следить за биржевым индексом. Прodelав все эти хитрые операции и приобретя заслуженное уважение коллег, технари отчаянно заскучили.

Выяснилось, что советская техническая интеллигенция крайне мало интересовалась своими профессиональными обязанностями. Они привыкли участвовать в КВН, читать самиздат и устраивать капустники. Инженер в СССР малопrestижная должность. Если он и защищает свою область деятельности, то только в отчаянном споре физиков с лириками, в котором, кстати, основным аргументом служило знание латинских пословиц и чтение стихов наизусть.

Благодаря своей высокой имущественной потенции технари в Америке оказались в другом классе общества — в среднем. Их нынешним коллегам трудно понять потребность в обсуждении нового фильма Куросавы и горячую дискуссию о природе прекрасного. Труд, который был источником дружбы, ненависти и анекдотов, стал лишь источником дохода⁹.

Деньги — замечательная вещь. По-настоящему мы их открыли в Америке. Ничто не служит демократическим целям с большей простотой и надежностью, чем деньги. Они уравнивают глупых и умных, злых и добрых, больных и здоровых. Они безлики, универсальны и, в общем, справедливы. Деньги открыли нам, как унижительна нищета, как огромен мир и сколь беспредельны горизонты богатства.

Но деньги опасны, как динамит, если не знаешь, как ими пользоваться. Мы-то как раз не очень знали.

В России постоянная нехватка денег превратила бедность в рыцарское качество. О деньгах было не очень прилично говорить. Как о презервативах, к примеру. Человек со сберкнижкой вызывал некоторое сожаление и неприязнь. Старая русская традиция — быть на стороне неимущих — в советских условиях стала необходимым защитным комплексом. Если презирать богатство, нищета покажется нарядной.

Инженер, которому еще ни разу в жизни не удалось дожить до зарплаты без одолженной десятки, стал располагать деньгами. Раньше он, естественно, знал, что с ними делать. Купить «Запорожец» — обмыть «Запорожец», купить диван — обмыть диван... А сдав бутылки, дожить до зарплаты. Было бы что вспомнить.

Теперь с деньгами он поступает осмотрительно. Тем более что бутылки не принимают. Он покупает «тойоту», дом с пятачком земли, спиннинг — и за два-три года превращается в пенсионера в его дачно-санаторном варианте. Эффект резкого постарения заметнее всего как раз на хорошо устроенном эмигранте. Доброкачественное питание, 8 процентов годовых и обеспеченная старость неожиданным образом прибавили ему лишний десяток лет.

Если в России человек дольше остается незрелым (здесь так выглядят лысые хиппи), то в Америке он как-то незаметно переходит в разряд пожилых — здоровый

⁹ В России деньги не могут быть универсальным эквивалентом труда хотя бы потому, что их распределение, стоимость и применение далеко не равнозначны. Так, зарплата уборщицы, которую она может получить в трех местах, не только выше жалования учительницы, но и существенно дополняется блатом.

и счастливый разряд. Возможно, эта разница между американской и советской культурой — их трезвость и наше легкомыслие.

На Западе техническая интеллигенция потеряла присущую ей в СССР гуманитарную ориентацию. Ведь если вспомнить, то стенгазеты на физмате были куда смешнее, чем на филфаке. В любом конструкторском бюро сидело больше порядочных людей, чем в любой редакции газеты. И если престиж литературы в России достиг невиданных размеров, то только благодаря армии инженеров, заведомо считающих писателя полубогом.

В Америке технари занимаются своими непосредственными обязанностями. А обязанности, по определению, не могут будить в человеке разумное, доброе, вечное. Во всяком случае, в том весьма карикатурном варианте, в котором это разумное, доброе, вечное понимали дома.

Меньше всего изменилась в Америке жизнь дельцов. Конечно, они открыли для себя мир бизнеса. В России этот мир почти всегда с одной стороны ограничивался решеткой. Здесь в тюрьму вообще попасть сложно. Но в целом бизнес — вещь, на которую идеология действует минимально. «Товар — деньги — товар» — политэкономия, сведенная к этой простейшей формуле, приобретает характер вселенского закона.

Абсурдистская модель жизни в СССР, естественно, коснулась и этой сферы. Складной зонтик за 45 рублей достоин быть героем драмы Беккета. Но люди, которые торговали этим зонтиком, следовали всего лишь общечеловеческим правилам — цена определяется спросом. Поэтому эмигрантский бизнес немедленно превратился в отрасль общеамериканского. Но при этом сохранил рудименты советского правопорядка: бизнес должен быть по возможности подпольным, обязательно бесконтрольным и с налетом хамского сервиса.

В эмигрантском ресторане из шашлыка клиента повар готовит обед для своей семьи. В эмигрантском магазине цена будет зависеть от отношения продавца к покупателю. Эмигрантский концерт начнется на полтора часа позже назначенного времени. Торговля наркотиками, игорные притоны и русские публичные дома — лишь экзотический довесок к вообще-то знакомой по России картине.

Другой разговор, что делает эмигрантский делец с быстро обретенным достатком. Тут его жизнь разительно изменилась. В России мясник из гастронома, приглашая людей на годовщину свадьбы, запросто включал в число гостей наряду с завскладом и артиста и хоккеиста. Портной, швейцар, администратор гостиницы, банщик, скорняк относились одновременно и к низшему (казалось бы, самому неимущему) и к высшему (самому престижному) классу общества.

Драматическое отсутствие дефицита в Америке низвело дельцов из разряда людей, располагающих властью, до тех, кто располагает деньгами. Замена явно неадекватная. Тем более что денег у них и там хватало.

Название статьи одного эмигрантского публициста — «Гуманитарий подобен таракану» — в целом верно отражает реальное положение дел. Гуманитарная интеллигенция — журналисты, словесники, литераторы, искусствоведы, экскурсоводы, выпускники Института культуры имени Надежды Крупской и многие другие представители невнятных профессий — принадлежит к классу людей, которым просто не на что надеяться. Их престижное прошлое нависает над их беспросветным настоящим. Клиенты вельфэра¹⁰, пресловутые торговцы орешками и просто живущие на женину зарплату — все эти люди должны были бы составлять революционную армию возвращенцев. Их несомненная принадлежность к люмпенам тем тягостней, чем значительней был их советский опыт.

Официальное положение гуманитария в СССР представляется отсюда феерическим. Писатель, выпустивший стостраничную книгу про передовиков производства с поэтическим названием «Караван уходит в небо», не только занимает место рядом с каким-нибудь Гаршиным, но и находит весьма солидный, хоть и несколько мистический, источник литературных доходов. Люди, не хватающие звезд с неба, удовлетворялись ослепительными синекурами — в некоторых местах даже не требовалось приходить за зарплатой. Но и положение интеллектуала в роли вахтера было не лишено приятности. Подпольный философ-буддолог, получавший 65 рублей в качестве лифтера, занимал весьма высокую ступень сословной лестницы. Отсутствие профессорской кафедры и печатных трудов не мешало его функционированию в интеллигентских кругах. Мрачный комизм официального статуса такого философа лишь придавал ореол мученичества его полупризнанным талантам.

¹⁰ Благотворительность (англ.).

Нормальный и здоровый американец, вполне естественно, отказывается принимать советские условия игры. Если чикагскому инженеру эмигрант представится, скажем, русским журналистом, то скорее всего в ответ он услышит: «Вы не должны отчаиваться. У вас все еще будет прекрасно. Вы еще сможете стать программистом». В Америке, стране логичной, престижна зарплата, а не профессия, тем более полумифическая, вроде гида по пушкинским местам.

В этой трагической ситуации гуманитария-эмигранта могло бы утешать то обстоятельство, что американскому интеллектуалу не лучше. Что стандартный гонорар поэтов — один коктейль до чтения стихов и один после. Что драматические актеры моют посуду в ресторанах... Но все это его не утешает — ведь если соседя переехало трамваем, то это не значит, что перестанет болеть ваша собственная отдаленная в толчее нога.

И все-таки гуманитарии сумели преодолеть отчаяние... Осуществление творческих потенций оказалось важнее материальных стимулов. Они отказались переучиваться в бухгалтеров, а вместо этого создали собственную микроструктуру, внутри которой восстановили старую иерархию ценностей.

В эмиграции выходит ежегодно 400 книг — большинство напечатаны на деньги авторов. Среди трех десятков периодических изданий вряд ли хотя бы четверть платит гонорар, компенсирующий стоимость перепечатки материала. Автор, опубликовавший в русской газете спортивные заметки, успешно выполняет функцию свадебного генерала на любой эмигрантской вечеринке.

Вся эта культурная жизнь рассчитана исключительно на внутреннее потребление. Она не дает ни денег, ни положения, ни перспектив — эмигрантские эфемериды существуют практически только для удовлетворения авторских амбиций. Однако именно такая противоестественная ситуация порождает иллюзию нормальной интеллигентской жизни. Потребность в социально престижном функционировании оказалась куда сильнее новых прагматических установок. Идеализм как основной вектор советского образа жизни остался превалирующей ценностью гуманитарной эмиграции.

Обмен труда на деньги в целом не понравился русской эмиграции. Здоровая капиталистическая экономика показалась скучной, пресной и слишком незатейливой. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что вместо упорного и настойчивого строительства американской карьеры мы рассказываем знакомым по прошлой жизни анекдот. *Встречаются два эмигранта. Один спрашивает у другого: «Ну как, ты уже устроился?» «Нет, еще работаю».*

Досуг

Одна из первых святынь, с которой мы познакомились в Америке, была не статуя Свободы, не звездно-полосатый флаг и даже не биржа Уолл-стрита. Святыней был уик-энд. Попробуйте назначить деловую встречу на воскресенье — и вы увидите, как свято блюдут американцы торжественную праздность выходных дней.

Российский человек, привыкший к растяжимости рабочих часов, никогда так не ценил ни своего, ни чужого времени. Он соглашался задержаться на пару часов, выйти в субботу, взять работу на дом. В конце концов, это было частью негласного договора: за возможность бездельничать в рабочее время приходилось расплачиваться симуляцией кипучей деятельности на досуге. Американцы же резонно считают, что если человек не справляется с заданием в нормальные часы, его надо гнать в шею, а не восторгаться трудовым героизмом сидения допоздна.

Поскольку никому на Западе не придет в голову идеологизировать труд, называя его славным или героическим, большинство людей здесь относятся к своей работе часто с нескрываемым отвращением. В любой конторе день начинается с традиционного возгласа «слава Богу, уже вторник!» (среда, четверг...). Труд всего лишь необходимость, за которую честному человеку полагаются наслаждения уик-энда. Не зря американская неделя начинается с воскресенья, а не с понедельника.

Эмигрант, сперва охотно соглашающийся на сверхурочную работу и не шадящий выходных ради лишней двадцатки, весьма быстро привыкает к западной строгости деления жизни на будни и праздники. Обычно он проникается духом уик-энда, купив первую машину. Теперь он может влиться в автомобильную гущу и вместе с новыми компатриотами искать общения с природой в строго указанных для этого местах. Так как главным в таком досуге является пикник, то эмигранту не приходится чему-нибудь учиться. Ведь в России культ природы был так же неразрывно связан с едой под открытым небом. Разве что там мы жарили шашлыки, а здесь стейки.

Примерно после восьмого общения с природой такая форма досуга приедается. Тем более что зимой американцы не бегают лыжные кроссы, весной не сажают

картошку, осенью не собирают грибов, а летом предпочитают купанию в реке домашние бассейны.

От некоторой растерянности в области досуга эмигрантам иногда помогает избавиться мечта о собственном загородном доме. Тогда наслаждаться природой можно будет не снимая пижамы, а стейки жарить прямо на кухне.

Наше неумение играть в теннис, гольф и бейсбол, а также отсутствие привычки ездить верхом, ходить под парусом и кататься на доске в волнах прилива прибавляет недоумения в вопросе о свободном времени.

Довольно быстро исчерпав набор традиционных американских развлечений, эмигрант возвращается в лоно российского досуга. А это означает прежде всего общение.

Один из самых мрачных аспектов эмиграции — неспособность дружить с аборигенами. Как ни стремимся мы утешить себя, называя другом коллегу-американца, удручающее отсутствие неофициальных контактов очевидно. Иногда, конечно, мы ходим на парти, пьем в неудобном стоячем положении коктейли, даже переводим на английский анекдоты армянского радио. Но то облегчение, которое наступает с окончанием американской вечеринки, лишает нас надежды на полноценное общение.

Нашей вины здесь вообще-то немного. Института дружбы в российском понимании в Америке никогда и не было. Сами американцы ведь тоже не станут сидеть с гостями до утра, сообщая лечиться от похмелья и до хрипоты выяснять отношения. Их англосаксонского дружелюбия вполне хватает на неутомительное времяпрепровождение. Для любви есть женщины, для преданности — собака, а для досуга — телевизор и воскресная «Нью-Йорк таймс».

Вот мы и осуждены поневоле вариться в собственном соку. В городах вроде Цинциннати, где русских семей наберется с десятков, отношения строятся, как на космическом корабле: все помнят, что надо терпеть друг друга, — вокруг безвоздушное пространство.

В эмигрантских центрах есть варианты — друзей выбирают по России, по профессии, по интересам, по возрасту и часто по землячеству. Родной город за границей неожиданно стал как бы колыбелью и эталоном престижности. Одними гордятся, других стесняются.

— Вы откуда?

— Из города на «а...».

— ?

— Черновцы. Кому ни скажешь, все говорят: «А-а-а...» А вы?

— Из города на «о!». Из Ленинграда.

Дружить в эмиграции совсем непросто — ведь на человека здесь воздействуют противоречивые факторы. Российская традиция требует безоглядной щедрости, натужной искренности и пьянства. Западная модель удовлетворяется умеренностью, вежливостью и почти безусловной трезвостью. Эмигрантская дружба в противостественном симбиозе соединяет обе трактовки человеческих отношений. Другу еще открывают душу, но деньги уже одалживают под проценты.

И все же дружба у нас была и остается самым важным эмоциональным институтом. В ней мы находим укрытие от чужой и чуждой цивилизации. Как бы ни отличались вкусы, возраст и положение двух эмигрантов в России, на Западе они тождественно решают мировоззренческие проблемы: выселять ли негров, казнить ли преступников, бросать ли атомную бомбу... На все эти животрепещущие вопросы эмиграция решительно отвечает «да». Тут наше единомыслие базируется не на общности взглядов, а на противостоянии либеральному разномыслию, позволяющему демократическую процедуру вместо директивного решения. Все это, естественно, не мешает нашим драматическим скандалам и трагическим ссорам. Как и все люди, мы завидуем друзьям, клеветаем на соседей и требуем депортации врагов.

И все же самые несчастные из нас те, кто лишен возможности жить в гуще эмигрантской свары. Такие люди быстро осваивают артикуляционную систему английского языка, но становятся беспескойны, задумчивы и часто сходят с ума.

Примирает нас друг с другом и с Америкой все то же застолье. Не зря самой буйной отраслью эмигрантского бизнеса стали рестораны. 10, 12, 15 — на небольшом пятачке Брайтон-Бич они размножаются почкованием. Мало чем отличимый от соседнего, эмигрантский ресторан стал важнейшим источником положительных эмоций — не так уж дешево и уж точно не вкусней, чем дома, зато атмосфера адекватная. Причем адекватна не московским «Националю» и «Арагви», а скорее нашим представлениям о безмятежной кабацкой жизни.

В утрированном веселье эмигрантского ресторана музыка играет громче, чем на пуэрториканской свадьбе, официанты между первым и вторым переходят с посетителями на «ты», а разошедшиеся лауреаты всесоюзных конкурсов эстрады уже не делают стыдливых пропусков в шлягере «У нас любовь была, но мы расстались — она кричала, блядь, сопротивлялася». Ресторан карикатурно реализовал наши подсознательные мечты об абсолютной свободе — сытой, под хмельком и без цензуры.

Если рестораны вместе с богатыми продовольственными магазинами «Белая акация» и «У Мони» удовлетворили нашу низменную, но искреннюю страсть к пиршественному изобилию и веселью, то тяга к новому, более интеллектуальному досугу воплотилась в путешествиях.

Свобода передвижения — первая и очевидная — уже успела нам явиться в сладких римских каникулах. Теперь мы получили возможность ее развивать и исследовать. Париж, Лондон, Брюссель... Как много в этих звуках для сердца русского!¹¹

Американцам, проводящим отпуск из года в год во Флориде, никогда не понять шемящего чувства чужой страны. Как довоенный крестьянин искал спрятанную в трактор лошадь, так и мы палимся на пустую погранзаставу между какой-нибудь Францией и Бельгией. Озираемся в поисках... овчарок... и колючей проволоки. А когда не находим, удовлетворенно разводим руками: вот она, чистая и великая свобода странствий. Поэтому нет ничего удивительного, что эмигранты путешествуют с большей энергией и старанием, чем американцы. Не зря правительственное агентство, ведающее заграничными документами, стало еще одним русским центром в Нью-Йорке.

Из всех стран главная для нас — Израиль. Осознанное или неосознанное чувство вины тянет нас туда. Обязательное паломничество на предполагавшуюся, но не случившуюся родину как бы искупает измену. (Реагируя на проблему выбора места жительства, ехидный эмигрантский юморист предложил к исполнению «Еврейские песни о родине».) Кстати, израильский вояж укрепляет нового американца в правильности выбора, а сравнение уровня жизни позволяет найти новые плюсы в профессии нью-йоркского таксиста.

Однако Европа манит нас несравненно сильнее. Русскому человеку свойственна ностальгия по европейской цивилизации. Все эти музеи, соборы, кафе на площадях дарят нас шемящей грустью по несбывшемуся. В конце концов, ведь и мы когда-то были частью этого континента. Петербург, галлицизмы, масоны — далекие, не наши воспоминания...

Путешествующий эмигрант удовлетворяет свою тоску по заграничье в соседней с Россией Европе, а не в дачно-сельской Америке. Эйфелева башня и Пикадилли годятся в качестве символа запретного мира куда больше, чем разъятые на лоскутки загородных участков Соединенные Штаты.

Все это не значит, что эмиграция поголовно увлеклась изучением архитектурных стилей, запомнила генеалогии Людовиков и открыла прелести малых голландцев. Среди наших знакомых был дантист, который за одиннадцать месяцев ожидания австралийской визы так и не удосужился посетить Ватикан. Дантист справедливо полагал, что пляж полезней.

Тем не менее поездка в Париж или хотя бы в Мексику стала обязательной принадлежностью эмигрантской жизни. Как покупка джинсов и машин, заграничное путешествие должно регистрировать в глазах невидимых зрителей исполнение нашей программы, разработанной еще задолго до подачи документов в ОВИР. Съездить в Европу, привезти полсотни кодаковских снимков и пресс-папье в виде Нотр-Дам, отправить глянцевиные открытки по советским адресам — вот и еще одна исполненная мечта. Теперь можно переходить к вещам посущественней.

¹¹ Другим феноменом телеэкрана был «Клуб кинопутешествий», демонстрировавший короткометражки из заграничной жизни. Не то чтобы географический зуд вдруг охватил население. Все было проще. Открылось небольшое — тридцать девять сантиметров по диагонали — окно в Европу. Чудо XX века — телевизор позволил наслаждаться видом западной жизни, и при этом не нарушалась цельность пограничной проволоки. Опытный взгляд советского зрителя выхватывал из этой жизни такие детали, которые нормальному человеку не разглядеть в бинокль. Вот очередь безработных негров ждет бесплатного супа. Стоп! На них нейлоновые сорочки. Те самые — по 20 рублей, и не достать. Парижская беднота подбирает в мусоре арбузные корки. Арбузы в декабре?! В братской Болгарии в кафе не запрещают курить. Отсталые африканцы пьют ледяное пиво. И так до бесконечности. Десять минут экранного времени давали заряд зависти и беспокойства на неделю. Красивая западная жизнь мельтешила на экране, как в спиритическом сеансе. Казалось, она существует не в материальном мире, а в бестелесном эфире, по которому несутся загадочные электромагнитные колебания. Как бы там ни было, «Клуб кинопутешествий» пропагандировал эмиграцию значительно успешнее сионистских брошюр издательства «Алия».

Американская индустрия досуга совсем не напоминает роскошный дом отдыха облеженного типа. В этой стране как нигде в мире ощущается дух пионеров, заставляющий потомков фронтьеров заниматься охотой, дельтапланеризмом и родео. Человек, готовый к интеллектуальным приключениям, может за один уик-энд посмотреть танцы турецких дервишей, участвовать в хэппенинге художников-концептуалистов и послушать стихи Вознесенского в исполнении автора. Если захочет, конечно.

Раньше мы хотели. Кто стоял ночами за полным Гоголем, сутками за билетами на «Царя Федора», годами за путевкой в сомнительную Болгарию. Здесь тяга к приключениям — как духа, так и тела — понемногу улеглась. Язык и нравы, комфорт и деньги, русская газета и телевизионный триллер — все это свело на нет нашу буйную жажду познания мира. Учиться никогда не поздно, но всегда лень. Вот мы и обходимся несколько пенсионным досугом, создавая его не то что на свой вкус, а так, как придется. Как принято. Как все.

Любовь

Первая ласточка — книга Лимонова «Это я — Эдичка» — вызвала такую бурю возмущения, что Арцыбашев со своим «Санинным» зашелся бы от зависти. Но тогда эмиграция только начинала осваивать целину секса. А теперь — теперь мы образованные.

Сначала эмигрант открывает порнофильмы. Потом начинает присматриваться к журналам «Пентхауз» и «Скрю», переступает порог секс-шопа. Испуганно узнает о тайнах лесбийской жизни и прелестях греческой любви. Короче, простой советский человек, воспитанный на бесполом Павке Корчагине и самой целомудренной классике в мире, попадает из инкубатора на 42-ю стрит.

Там, на 42-й, и вправду кипение жизни. Рекламы заывают на фильм «Она любила, не снимая сапог» и на «живые акты на сцене — 8 за сеанс, всего 3 доллара». Некрасивые негры тянут за рукав в бурлески и топлесс-бары. В изобилии бродят проститутки. С них-то, покладистых и неразговорчивых, и начинается свою карьеру секс-богатыря эмигрант. Но — в своем, специфически российском варианте.

Наши знакомые, коллеги по бывшей службе в джинсовой фирме «Сэссан», зимой ходили к проституткам только по двое. Один клиент заходит на обслуживание, а другой на улице держит его дубленку и пыжик. Один знакомый умудрился расплатиться фудстемпами, приведя в изумление выдавшую виды красотку. Другой, выпив в день получки, был увлечен проституткой в ее апартаменты, а после утех выяснилось, что всех денег у него — зарплатный чек на 200 долларов. Девушка деловито сказала: «Завтра положу чек в банк, через неделю будет ясно — обеспеченный ли. Если да — можешь прийти ко мне еще четыре раза». Приятель не оценил ее благородства. Все не по-нашему: чек, банк, «еще четыре раза»... А поговорить когда?..

Но проблема даже и не в том, что в большинстве своем мы пользуемся третьеразрядным набором удовольствий. В конце концов разбогатеет, осмотримся... Осмелились же после супермаркетов заглянуть во французские лавочки на Мэдисон-авеню. Проблема в принципе.

Голливуд и «Хастлер» создали расхожие стереотипы сексуальной жизни. Прекрасные женщины склоняются к вам на сиденье «мерседеса». Красотка, вся в анатомических подробностях, доверчиво признается: «Больше всего я люблю это делать, скача с моим другом верхом на лошади по пустынному пляжу». Шорох шин у белоснежного особняка... Шорох «молнии»...

И вот неофиты вседозволенности не заметили, что Голливуд — это кино. А настоящие американцы хоть простынь не вывешивают, но и на пляже не вольтижируют. Их сексуальная революция в основном для хиппи и радикальных студентов. И «Хастлер» с порнофильмами — так, поправка к конституции. А сами все больше по старинке — женятся, растят детей, мучаются от измен, расходятся, снова соединяются. То есть все очень на нас похоже.

Но это — сходство — становится заметно погода. Сейчас почти так же ненавидишь американскую бюрократию, как прежде советскую. Сейчас начинаешь замечать, что улицу за месяц третий раз роют. Что эскалатор через день не работает. Что горячей воды опять на шестом этаже нет. Что в магазинах, бывает, хмят. И даже непонятно, огорчаться (чего ж хорошего без воды) или радоваться (почти как люди).

Но так или иначе, поначалу замечаешь не сходства, а различия. Ведь они (как и мы) делают детей и мучаются от измен не на наших глазах. А «Хастлер» — вот он в соседнем киоске. И вообще все на виду: «шестой развод Элизабет Тейлор», «Жаклин Биссет — любовница Александра Годунова», «если у вас нелады с мужем, войдите в

интимные отношения с женщиной», «30-летние супруги ищут молодую пару для совместных развлечений»...

Острее всего реагирует на эту свободу женщина. Должно быть, потому, что в Союзе равенство полов зашло так далеко, что и разницы полов не осталось¹². А здесь впервые — полная возможность развития и самовыражения. Призрак эмансипации возникает перед воспаленным взором эмигрантки: сколько можно терпеть унижительное мужское игло! Срабатывает известный эффект гласности: там игло было, но проблемы не было, здесь — наоборот. И вот как-то забывается, что это все там — изнурительный рабочий день, стояние в очередях, рваные детские штаны, стирка вручную, щи из топора, склока с соседями... Да разве до эмансипации было! Здесь другое: здесь красивые, ухоженные, хорошо отдохнувшие дамы выходят на улицы, чтобы протестовать. Сколько можно терпеть тяжкую женскую долю: верная жена, любящая мать, хозяйка очага?

Окрыленная последними открытиями журнала «Плейгерл», эмигрантка приносит домой ненависть к рутинной семейной жизни. По Бабелю, «просится на травку». И происходит то, как писал Салтыков-Щедрин, «что всегда случается, когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим». А именно: младенческие народы бунтуют и разрушают. Эмигрантские браки разваливаются, как кегли, в первые годы и даже месяцы американской жизни. Множества тех предпосылок к заключению союза, что были там, здесь просто нет. Не надо биться над проблемой жилплощади и прописки. Нет сложностей с администрацией. Зарботка одного человека хватает на нормальное существование даже с детьми. Нет необходимости укреплять тылы, обороняясь от наступления тоталитарного общества на личную жизнь¹³.

Зачем же в Америке люди женятся? Это вполне резонный вопрос — если хочется, живите и так, никто документов не спрашивает. Но есть религия, есть мораль, есть то, что высокопарно именуется «браки заключаются на небесах». Видно, потому и сходятся люди «безо всякой надобности» — чтобы совершить таинство вечного союза.

А теперь прикинем, сколько семей в Союзе возникает из-за того, что надоело сидеть в парке и торчать в парадном. Что не убереглись — ребенок будет. Что вдвоем легче в окружающей гнусности. Что комнату отнимут — надо кого-то прописать. Что решили ехать (жена-еврейка — средство передвижения). И так далее. Один наш знакомый женился исключительно под давлением антисемитизма: взяв фамилию жены, стал из Зильбера Курепкиным и успешно сделал карьеру.

И вот мы попадаем в нормальное общество, и слой за слоем начинает спадать шелуха этих чудовишных мотивов. Выясняется, что многих и не сдерживало ничто большее чем штамп о прописке, что брак заключался не на небесах, а в домоуправлении.

Если не было любви, то и привычка исчезнет и необходимость отпадет. В том числе и в сексе: все те же пресловутые «Хастлер» и «Плейгерл» гарантируют насыщенную интимную жизнь помимо и вместо брака, что, может быть, справедливо, если иметь в виду новизну и разнообразие. Брак — это ведь как деньги: или он есть, или его нет. Можно быть свободным от брака, можно не быть. Только вот одновременно это не получается.

Правда, есть еще проблема — дети.

Масса семей держатся (или держались) именно на этом: чтобы дети не ощущали отсутствия одного из родителей как протез, чтобы все у них было по-людски, как у других. В этом свяшенном чувстве родительского альтруизма — все ради них вытерпим — угадывается угасший в тумане веков практицизм, когда семье было невыгодно, неудобно да и просто смертельно опасно дробиться.

Вот и сюда, в эмиграцию, ехали кланами, мечтая о династиях. Сколько из нас ехали именно из-за детей: вырастут свободными людьми, настоящими американцами. Но при этом как-то все забыли, что дети и в самом деле станут американцами, а мы — нет.

¹² Настоящая женщина в России никогда не была равна мужчине. Она была лучше. Ладно бы там работа, дети, очереди. Это само собой. Но ведь женщине еще полагалось: а) презирать мешанские удобства, б) коньяк пить из пивных кружек, в) про Солженицына говорить до утра, г) по первому требованию ехать за запахом тайги. Называли мы наших женщин «старик».

¹³ Мы воевали с жизнью сообща. И поэтому брачные союзы были схожи с окопным братством. Общность вкусов достигалась суровой муштрой, долгими очередями и необходимостью. Иначе любовь превращалась из цели в средство — машина, дача, русская, а впоследствии еврейская фамилия. Суровый естественный отбор наделял супругов иммунитетом к кошмарному быту и человеческой подлости. Но приобрести такой иммунитет было непросто. Знакомый поэт развелся с женой на второй неделе медового месяца, потому что она каждый день хотела есть и медленно ходила. Понятия «женщина» и «товарищ» были синонимами для многих из нас.

Уже в первом классе маленький эмигрант начинает говорить по-английски без акцента, а в третьем мучительно стесняется своих экзотических родителей. И не только в языке дело. У них все не наше. Сын увлекается музыкой, и мы угодливо поддакиваем: ага, мол, «Битлз», «Роллинг Стоунз». Да какое там — его кумир Оззи Осборн, который на концерте летучую мышь съел. Оторопь берет. За завтраком сын с ненавистью глядит на отцовскую яичницу с колбасой и наливают жидкое молоко (с витамином Д) в крошево, больше всего похожее на стружку. Знакомую ленинградку едва откачали, когда четырнадцатилетняя дочь поделилась с ней: «Представляешь, мама, Джини сказала, что признает только орал-секс». Имена Яшина и Блохина для них пустой звук, и даже вместо Буратино у них Микки Маус. Уверенно зреет проблема отцов и детей, какая и не снилась Тургеневу — у него они хотя бы на одном языке говорили.

Вот дети наших детей заинтересуются наследием дедушек и бабушек. Закон третьего поколения: все, от чего отталкиваются дети, привлекает внуков. Это они соберут старые эмигрантские журналы, станут переводчиками, пойдут в слависты, разработают актуальные темы: «Образ чиновника у Боборыкина»... Но внуков — взрослых — неплохо бы еще дожидаться.

Потому нам и не увидеть преемников. Не будет подрастающей смены эмигрантских талантов. Будут таланты американские, израильские, австралийские...

Культура

Мы, нынешние эмигранты, были свободомыслящей прослойкой населения Советского Союза. Мы были недовольны всем вокруг и мы помышляли о том, чтобы покинуть эту страну. Естественным образом, нам нравилось все, что шло вразрез с установленным и общепринятым, — от иудаизма до абстрактной живописи.

И вот мы оказались в Америке — самой свободной стране мира. Мы бросились восполнять пробелы. Нам не показывали Феллини — и мы с восторгом смотрим «Амаркорд». Там не печатали Генри Миллера — мы с настороженным интересом читаем «Тропик Рака». Мы только понаслышке знали о современной американской живописи — и недоуменно пожимаем плечами у полотен Раушенберга. Мы возмущались ханжеской цензурой — и с негодованием отворачиваемся от разверстых красавиц на газетных стендах. Мы огорчались запретами на современную музыку — и горько жалеем, что нет разрешения на отстрел всех, у кого в руках транзистор.

Массовая культура, известная по мягким голосам дикторов Би-би-си, рассказам знакомых моряков и журналу «Америка», обрушилась на несчастного эмигранта. Причем сюрпризы поджидали и в количественном и в качественном плане. Никто не ожидал, что ее, массовой культуры, так много и она так уверенно и настойчиво входит в жизнь. А главное — она потеряла свою социально-общественную нагрузку и превратилась в самое себя.

В Союзе будущий эмигрант хранил «Плейбой» где-то рядом с сочинениями Солженицына и Бубера и рассуждал о живописи нонконформистов. Ведь это были знаки общественного этикета, которые ставили такого человека в естественную оппозицию газете «Правда», Юрию Андропову и картине «Конный переход жен начсостава».

Здесь эмигрант больше всего боится, что «этими» журналами заинтересует его дочь, и ничего не желает понимать в рисовании белым по белому. Потому что теперь он не зависит от Юрия Андропова, плюет на газету «Правда» и полотно «Добродетели представляют российское юношество Минерве».

Мы как-то были на выставке художников-нонконформистов и видели, как один диссидент, воровато оглянувшись, попытался смахнуть согнутым пальцем избушку с картины, очевидно предположив, что это налипшая грязь. Мы стояли за бронзовым монстром Эрнста Неизвестного, и диссидент нас не заметил. Нельзя быть уверенным, что он высказался бы за бульдозеры, но и прощать бы не стал.

В одной компании мы разговорились с милым парнем, любителем Окуджавы и Тарковского. Разговор зашел о книге Лимонова, и наш собеседник как-то внезапно потерял человеческий облик: «Единственное министерство, которое я хотел бы возглавить, это министерство по уничтожению Лимонова!» Кошмар этого комичного заявления не только в том, что автора хорошо бы физически ликвидировать за книгу, но и в пожелании организовать для этого целый департамент. То есть поставить дело на широкую государственную ногу — со штатом служащих, вахтером, расстрельной командой...

Вкусы становятся независимыми только тогда, когда на них не оказывается организованное давление. Явления культуры лишаются идеологической нагрузки, приобретая самоценное значение, и человек получает право свободного выбора.

Наша эмиграция уверенно сделала выбор, почти поголовно перейдя из либералов в охранители.

Но охранители чего?

Мы, живя в Америке, вовсе не уподобляемся американским охранителям и консерваторам. Они пытаются уберечь от разгула современного мира свои ценности: религиозность, христианскую мораль, патриархальную демократию. Это же все не наше, мы о таком даже не слышали.

Мы цепляемся здесь за свои чудовищные и курьезные достижения, взлелеянные тысячелетием антидемократического российского правления и усугубленные после-революционными годами. В нашей печати как-то развернулась широчайшая кампания осуждения эмигранта, который возвратился в Советский Союз. Соплеменники не оставили на нем живого места, как-то позабыв, что свобода передвижения, за которую они так боролись, подразумевает свободу как *выезда, так и въезда*. И чем мы тогда отличаемся от ненавидевших нас начальников отделов кадров?

Увы, наши ценности сводятся к незатейливой и жалкой формулировке: не высывайся! Проще всего, конечно, предъявить такое требование к искусству, и эмигранты, осмотревшись в Америке, обратились к своему, родному, привычному. Без этих, знаете ли, ихних штучек.

Здесь надо оговориться. Русская речь звучит у всех кинотеатров, где идет ретроспективный показ фильмов Фелини, Курасава, Пазолини. На открытии любой значительной выставки вы всегда встретите русских. Книжки в магазине Виктора Камкина расхватываются мгновенно, причем и Юлиан Семенов, и такие эзотерические издания, как «Письма Плиния Младшего».

Все это так, но, как всегда, всем этим занимается один процент населения. Просто в Союзе этот один процент больше. Основная же масса эмиграции решительно отвергла незнакомое американское, оставив из него только телевизор, и стала культивировать свое.

Поскольку в современном озвученном мире самым массовым искусством является музыка, то и наша эмиграция запела в полный голос. Функционирует бесчисленное множество «лауреатов международных конкурсов», «непревзойденных исполнителей», «звезд мировой эстрады». Выходят десятки пластинок и многие сотни кассет. В этой сфере у нас есть безусловный лидер — Владимир Высоцкий.

Истерика, охватившая эмиграцию после смерти Высоцкого, не поддается описанию. Его кончина сразу же была объявлена делом рук Брежнева и КГБ. Внезапно объявившиеся бесчисленные ближайшие «Володины друзья» сообщали о роковой роли идеологических запретов, как-то вдруг забыв, что Высоцкий играл в популярнейшем театре, широко снимался в кино, выступал с концертами и чаще, чем кто-либо, ездил за границу. Русский человек, как известно, широк, и эмигрантские авторы не стесняются в эпитетах, за два-три года нараставших кренделю: от «выдающегося поэта» к «гениальному» и «великому» и наконец — к «величайшему поэту, певцу и актеру». И вот что интересно: в подавляющем большинстве звучат не те песни Высоцкого, которые создали ему настоящую славу, глубокие и умные, вроде «Дома», «Свадьбы», «Коней привередливых», а всякие «Сгорели мы по недоразумению, он за растрату сел, а я за Ксению...», «Эй, шофер, вези в Бутырский хутор...» и тому подобное.

И вообще эмиграцию захлестнула стихия блатной песни, что странно. В основном сюда приехали степенные и немолодые евреи. Надо помнить, что мы не вполне нормальное общественное образование. Если в среднем в развитой стране преобладают возрастные группы населения восемнадцать—двадцать пять и двадцать пять—тридцать пять лет, то мы гораздо старше. Дело в том, что у нас нет молодежи — наши дети не эмигранты: они уже американцы и не имеют к нам никакого отношения. Так что средний возраст эмигранта примерно пятьдесят лет.

И вот этот пятидесятилетний еврей охотно покупает кассеты с дивными названиями «Вы хотите песен, их есть у меня», «Четыре брата и лопата», «Блатные песни с армянским акцентом» и т. д. Это уже собственный, не навязанный никем вкус. Это там он зачем-то слушал Вивальди; тут можно не строить из себя бог знает что и увлеченно подпевать: «Хаим, лавочку закрой...»

Пошлость на то и пошлость, чтобы устраивать большинство (по этимологическому словарю это слово восходит к понятиям «обычный», «всеобщий»). И нет здесь того общественного климата, который заставлял молча, с отвращением слушать орган и вслух презирать Эмиля Горовца. И нет редактора (вот так и начинаешь мечтать о сильной руке), который не пропустил бы в эфир леденящие душу песни того же Горовца:

Там за красную икру
Девушки вам «ай лав ю».

Настоящему, матерому эмигранту не нравится Америка, как раньше не понравился Израиль, а еще прежде невыносима была Россия. И вот он поет Токарева:

А кругом миллионеры —
Денег куры не клюют.
Между ними, как шакалы,
Люди бедные спуют.

И брожу я одиноко,
Впереди большой Бродвей,
Кто-то ездит на «роллс-ройсах»,
Я же прыгаю в сабвей.

Очень часто, очень часто
Задаю себе вопрос:
Отчего, не понимаю,
Черт меня сюда принес?

И сидящие в кабаке подвыпившие мужики стучат кулаками по столу и кричат: «Во врезал! Все точно!» Хотя они-то спуют вовсе не как шакалы и именно потому сидят в кабаке, но им все равно нравится песня, потому что положительный взгляд на мир имеет только дурак, а они знают, почему фунт лиха.

Когда приехал, разобрался очень быстро:
За корку хлеба здесь приходится пахать.
Здесь хорошо живут банкиры и министры,
И здесь любому на лобого начихать.

Я прихожу домой усталый и разбитый
И прям в одежде я валюся на кровать.
А завтра снова для капризных паразитов
Мне спозаранку — будь я проклятый — вставать.

Здесь все слова понятны и виден враг. Таким образом, сохраняется ощущение участия в социальном протесте — то есть то, к чему привыкли за много лет прежней жизни. Это, наверное, особого рода ностальгия — не по тому, что было, а по тому, что должно было быть, если б не валять дурака.

Язык

На третий день после приезда в Америку мы отправились с визитом к земляку, шапочно знакомому по прежней жизни. Феликс жил в Нью-Йорке уже год, полгода водил такси и был американцем не меньше Авраама Линкольна. Задев локтем за стол, он процедил сквозь зубы: «А, шит!» — наорал на жену за отсутствие на столе льда и поразил наше воображение, презрительно отозвавшись о гамбургерах. Феликсу нужно было спуститься к машине, и он сказал: «Включите пока телевизор».

Про телевизор нам все рассказали еще в Италии, и мы страшно боялись его. Щелкая, мы добрались до нейтрального диктора и осторожно повернули ручку громкости. Прошла минута, другая, третья... Мы переглянулись, готовые заплакать. В конце концов, мы читали по-английски Хемингуэя, два раза поели самостоятельно в «Макдональдсе», все говорили нам «экселент инглиш». А тут... В это время из кухни вышла жена Феликса и сказала: «Зачем вы включили испанский канал?»

С тех пор у нас появились знакомые американские интеллигенты, которых мы изучаем пристрастием к их литературе и водке «стрейт». Мы регулярно покупаем «Нью-Йорк таймс», смеемся шуткам Бенни Хилла и даже выступали по телевидению сами. В баре, куда мы ходим играть в бильярд, всегда сидит наш приятель — настоящий американец. Его зовут Луис Оралес Плата-и-Фигероа, у него на углу прачечная. Однажды в метро мы познакомились с двумя девушками и провели с ними целую ночь, беседуя о преимуществах демократии над тоталитаризмом.

И все же с языком происходит что-то трагическое и загадочное. Сколько ни изучай фонетику и грамматику, никогда нельзя быть уверенным в том, что тебя поймут таксисты и официанты.

Все мы приезжали с твердой уверенностью в своих лингвистических талантах, все отказывались поначалу от чтения русских книг и газет, охотно и невпопад употребляли слова «ай си», «донт ворри» и «фак», по телевизору смотрели даже утреннюю молитву и гордились беседой с супером. Но схватка с «th» оказалась неравной, и большинство эмигрантов отступились довольно быстро: выписали

русские газеты, ходят на русские фильмы, американцев за незнание русского не уважают.

Английская артикуляционная система и в самом деле совершенно не приспособлена к русской речи и слуху. Есть что-то особенно коварное в английском, какая-то никак не уловимая суть.

Один американский лингвист предложил классификацию языков — не по происхождению, как обычно, а по понятийным категориям. Например, у некоторых индейских племен нет слова «послезавтра»: они не заглядывают так далеко в будущее. Австралийские аборигены не знают местоимения «я» — только «мы». То есть язык отражает специфику национального сознания. Вот, похоже, у нас очень разная специфика.

Английский язык будто предназначен для диалога. Он функционален, разумен и в первую очередь служит для передачи информации — пусть даже пустой, необязательной, но информации. Не зря англичане заслуженно гордятся своими драматическими гениями. Ведь драма — самый функциональный вид литературы: кто говорит, что говорит, и куда менее важно, где и как говорит.

Русский же язык по преимуществу эпический. В нем особенно важен монолог, повествование, исповедь. Даже в очереди обмениваются не информацией, а эмоциями. А за бутылкой и вовсе полноценная проза: новелла, эссе, анекдот, эпопея. У них — Шекспир, у нас — Толстой.

Доморощенное языкознание, конечно, всех ответов не принесет, но ведь должно же быть объяснение принципиальной несмешиваемости эмигрантов с местным населением. Что-то никак мы не растворяемся в американском «плавильном котле». То ли мы осадок, то ли накипь, то ли уж такой бриллиант...

Так или иначе, среди теней прошлого четче всего выделяется именно эта: разговор, беседа, болтовня, споры. В той удивительной стране, которую мы покинули, вся наша сила была в языке, в слове. Вещи там не были вещами как таковыми, означая нечто символическое, знаковое. Труд не был ни источником материального благополучия, ни источником радости (как безуспешно уговаривала нас генеральная линия). И вообще дела значили очень мало, так как возможность поступка явно и неявно ограничивалась самой окружающей ситуацией: как правило, поступок ничего не менял, а потому и не был нужен. Всесокрушающий поток обезличенной рутины заставлял не высовываться: все равно сметет.

Но нам оставалось — СЛОВО.

Знаменитые, воспетые поэтами и прозаиками московские, киевские, одесские, рижские кухонные разговоры... Российское свободное слово, прежде чем уйти в эмиграцию, прошло проверку в небольшом промежутке между плитой и помойным ведром. Разговаривать почему-то полагалось исключительно ночами, как почему-то принято собирать грибы на рассвете. В этой обстановке, воссоздающей реалии революционного подполья, слова приобретали особый вес. И если поначалу они как бы компенсировали отсутствие дел, то постепенно полностью вытеснили не только сами дела, но и потребность в них. Настоящий интеллигентный эмигрант со священным трепетом пронес этот феномен через таможенно и успешно заменяет интересные и перспективные начинания разговорами о них.

Мы имели отношение к эмигрантскому бизнесу, который в течение трех лет не менее двадцати раз пытались купить. И каждый раз мы попадались на эту удочку. И каждый раз все происходило одинаково. Покупатель входил в хорошем костюме-тройке, с портфелем «дипломат», купленным за 80 рублей у моряков, плотно садился и вставал уже через несколько часов, изрисовав плохим почерком десятки листов бумаги. После чего уходил усталый, но довольный. Как ни странно, усталыми и довольными оставались и мы, хотя все было известно заранее. По какому-то неписаному закону никто из нас не задавал сразу главного вопроса: «Согласны ли вы вложить в дело 20 тысяч долларов?» Нет, этот вопрос мы приберегали напоследок, когда уже было решено, какого цвета будут обои в офисе. Мы оттягивали этот прозаический момент, стремясь продлить идеалистический восторг от тонкости намеков, изящества реплик, остроумия насмешек, парадоксальности возражений и глубины проникновения. И только когда все темы и идеи были исчерпаны, мы со вздохом сожаления задавали этот противный вопрос, заранее содрогаюсь от омерзения к себе, потому что ответ был известен. Покупатель вставал, одергивал пиджак и, уже беря в руки «дипломат», говорил: «В настоящее время в моем распоряжении приблизительно 285 долларов». И мы расставались холодно, не хотелось глядеть друг другу в глаза и было мучительно стыдно.

Но увы, нас здесь трагически мало: общение с аборигенами неизбежно. С размаху врезавшись в Америку, мы волей-неволей вынуждены считаться с этим фактом. Босс-американец дает нам задание, коллега-американец приглашает на вечеринку, сантехник-американец чинит водопровод, диктор-американец рассказывает новости.

Мы бодро откликаемся «грейт» и «о'кэй», с ужасом сознавая собственную неполноценность: с ними-то не посидишь ночь на кухне. Их жизнь проходит мимо, как автопробег мимо засевшего в кювете Остапа Бендера. Их жизнь шумит, как радио за стеной: интонация понятна, отдельные слова различимы, а в целом — неясный гул.

Там мы жаловались на отсутствие свободы слова, нам хотелось говорить не только на кухне, но и на площади. Здесь площадь есть, а говорить нечего. Точнее, нечем — нет языка. В этом смысле мы оказались в положении заключенного, прорывшего проход в соседнюю камеру. Мы лишились своего главного оружия, которым блистательно владели. Речь идет вовсе не о художниках слова — среди них-то как раз это редкость. Вспомните подавальщицу из соседней пивной, которая говорила: «Ум в голове надо иметь, а не 22 копейки!» Это же Платонов! Лесков! А вывеска над холодным сапожником в Одессе: «Починка-покраска. Всякой обуви метаморфоза!»

Идешь в воскресенье в парк, а там толпа хохочет до колик над шутками бродячего комика, и, постояв недолго, думаешь: а покажи им простейшую фразу из Гоголя: «Хозяин под видом завтрака заказывал решительный обед», — ведь тоже не поймут. Что ж, утешение.

Оттого, наверное, и не войти нам полностью в американскую жизнь, что она представляется не вполне реальной — иллюзорной, навденной. Ведь язык не только наступательное и оборонительное оружие — он всегда был для нас инструментом разведки. По первой сказанной фразе мы могли практически безошибочно определить социальную принадлежность говорящего, его образовательный уровень, качество среды, склонности, интересы. Даже теоретически нельзя было себе представить человека, легко выговаривающего слово «Махабхарата», в дружбе с человеком, произносящим «систематишки». В одной американской компании мы заметили, что, обнося всех марихуаной, не предлагают ее только одному парню. В ответ на наше недоумение хозяин пояснил: «Вы разве не слышите — он же из Оклахомы». Да, подумали мы, с человеком, произносящим «согиски», мы бы тоже не стали говорить о Кафке.

Лакмусовые свойства английского нам недоступны — кажется, с этим мы уже примирились. Но страшнее, что ускользает и родной язык. Все-таки вторжение американских реалий в нашу жизнь происходит, в том числе и языковых. И мы не хотим усложнять себе жизнь и легко подхватываем удобные и понятные всем словечки, и вот мы уже пьем дринок и меняем трейн. Тот чудовищный воляпук, на котором изъясняется большая часть эмиграции, страшен даже не сам по себе, а тем, что обезличивает, уравнивает, нивелирует. Наше главное оружие и достоинство бездействует не только в общении с иностранцами, но и становится бесполезным в общении друг с другом. И сам не замечаешь, что сперва спасаешься вводными словами вроде «как говорят здесь», потом смягчаешь впечатление иронической усмешкой и наконец уверенно — без всяких экивоков и гримас говоришь: «Возьмешь бас файв».

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

В нашем веке власть принадлежит народу. В буквальном, переносном и каком угодно смысле. Для народа и ради него печатаются книги, снимаются фильмы, сочиняется музыка, рисуются картины. Тирания меньшинства отступила перед диктатурой большинства. Как бы ни называлась политическая доктрина — тоталитаризм, автократия, демократия — суть ее, глубинная культурная основа определяется массовым вкусом. Тезис, который всегда был омерзителен поэтам: хорошо то, что хорошо продается, — так или иначе торжествует в этом мире. В том числе и в поэзии. Эзотерические времена с их башнями из слоновой кости остаются достоянием отшельников. Конформизм — даже в виде нонконформизма — становится уделом цивилизации. Конечно, все это обратная сторона всеобщей грамотности, современных коммуникаций, политических свобод. Наш век уже не мыслит себя без грандиозной аудитории, массового рынка, коллективного вкуса. Тираж определяет судьбу искусства, культуры, идеологии.

Россия, которая обошлась без демократии и конкуренции, выработала несколько другую, оригинальную структуру. В то время как нестесненная мысль Запада изобретала вестерны, комиксы и телевизор, Россия разрабатывала собственную модель культуры. Существование централизованного, планомерного и жестокого давления привело к идее катакомбного образа жизни. Тоталитарное общество породило сопротивление на всех уровнях. Плодами этого сопротивления стали самиздат и пьянство, диссидентство и безделье, любовь к чтению и ненависть к красивым словам. Короче, все, что мы пытались описать в этой книге.

Мир, из которого мы пришли, был странным. Половина его населения умудрялась напиваться восемь раз в неделю, не видала унитаза и не представляет себе общения без матерной лексики.

Но этот же мир воспитал в нас презрение к комфорту, тягу к идеализму, благоговение перед культурой и бытовой нонконформизм. Достоинства и недостатки подпольного существования соединились в нас в самой капризной пропорции. И как бы ни ошарашивал нормального человека опыт нашего сумасшедшего российского бытия, нам он кажется ценным и уникальным.

Все это отнюдь не означает, что нынешняя действительность явлена нам в четких образах и контурах, что мы смотрим на окружающий нас мир глазами, промытыми кристальной атлантической волной Та Америка, которой нас учил Хемингуэй, может, где-то и есть, но нам она не досталась. Как и Америка Фолкнера, Америка Мерилин Монро, Америка Джона Кеннеди.. Скорее уж сразу по приезде мы столкнулись с Америкой Теодора Драйзера – в тех гостиницах, где жили сначала: мутные канделябры (еще из-под газовых рожков), заспанный портье с диким взглядом, безумная роскошь медных табличек. Сам перечень этих имен свидетельствует о неистинности нашей Америки. Мы постоянно ищем похожест, соответствие известным образцам, и образ земли обетованной складывается как облик идеального жениха: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча...»

Россия, при всем ее многообразии, все же вызывает у нас некие цельные ассоциации, дает возможность обобщений, которая зиждется на неразрывной долголетней связи – то, что называется плоть от плоти. Америка же – калейдоскоп, который мы вертим дурацкими руками, каждый раз приходя в ужас и восторг от получившейся картинки.

Дискретная картина мира интересна и даже плодотворна для наблюдателя, ибо позволяет видеть с наибольшей ясностью одну из сторон в каждый данный момент. Но жить – просто жить, ходить на работу, растить детей, покупать продукты – с таким видением так же нелепо, как пытаться искать внешнее сходство с оригиналом на кубистических портретах Пикассо. Мы все складываем свои кубики впечатлений, и, конечно же, рано или поздно и у нас получится в результате тотальное восприятие Америки. И тогда мы станем такими же сильными и беззаботными, как наш сосед-янки (который, положа руку на сердце, гораздо хуже: глупее, необразованнее и даже не очень-то богаче). Конечно, при условии, что мы всего этого хотим.

Потому что для тех, кто не хочет, есть другой выход – жизнь в эмиграции.

Можно уверенно и резко уйти от проблем дискретности, волнующих пытливого русского американца – полицейские добрые, велфэйр не дают, преступности много, курица дешевая, с бензином неясно, – от всей этой каши впечатлений и понятий, слишком медленно формирующейся в нечто определенное. Можно жить, как китайцы в Чайнатауне, смоленские староверы в Орегоне или тот встреченный нами в Неаполе старик, который прожил семнадцать лет в Нью-Йорке и произносил по-английски два слова: «май дота» (моя дочь).

Но эмиграция не статическое явление, а процесс. Существуют объективные закономерности вхождения в новую среду, не зависящие ни от иступленного американизма, ни от оголтелого неприятия. Каждый из нас ощущает это на себе. В нашу жизнь входят не только многократно высмеянные слова вроде «окешить», но и сами новые понятия, для которых, увы, не хватает русского языка.

В процессе эмиграции несчастному советскому пришельцу приходится перестраиваться по всем статьям. Меняется иерархия ценностей.

Запад выработал всеобщий эквивалент – деньги. Это ни хорошо и ни плохо, это так, и рабочий с окладом в 40 тысяч чувствует себя куда комфортабельней, чем русский журналист с окладом в 12 тысяч, будь он трижды властителем дум.

Господствующее коллективное сознание уступает место сознанию индивидуальному. Можно обругать президента, надеть пиджак с желтыми шортами и издать пансатирический журнал.

Частная жизнь оказывается независимой от общественной. Можно успешно и без последствий сочетать ударный труд с нечистоплотностью в быту.

И наконец главное, чего мы ждали, ради чего ехали, что тяжким бременем легло на нас здесь, – наличие инициативы. Абсолютно не важно – какой: открывать магазины и открывать созвездия, писать книги и издавать книги, основывать банки и грабить их. Если попытаться вычленить нечто самое общее, что определило мотив эмиграции (свобода слова, материальные преимущества, отсутствие антисемитизма и пр.), то этим общим знаменателем будет именно тяга к проявлению личной инициативы: финансовой, творческой, религиозной. То есть в конечном счете мы ехали за чем-то, а не от чего-то. Чем, собственно, и отличаются эмигранты от беженцев. В конце концов, наш статус *refugee*¹⁴ не более чем политический маневр.

¹⁴ Эмигрант (англ.).

Беженцы бегут, как вьетнамцы и кубинцы, а мы едем, законно обижаясь на изъятие бриллианта на таможене. Едем все-таки не потому, что так уж было невтерпех, а потому, что ждем чего-то эдакого, хорошего.

И вот мы приехали. И ощутили себя сообщностью. То есть из грандиозного российского разнообразия собрались в компактную кучку «мы».

Любую эмиграцию объединяют или политические убеждения, или национальное происхождение. У нас и то и другое было неясным. В политике — только тотальное отрицание прошлого, с национальным вопросом — путаница.

В нашей эмиграции до изумления легко за одно и то же высказывание оказаться одновременно антисемитом и русофобом — именно потому, что никто, за исключением религиозного меньшинства, толком не разобрался, кто же он, наконец. Редкий, достойный занесения в Красную книгу гибрид «русский еврей» воплотил в себе все лучшее и все худшее из сути двух великих наций. Мы сочетаем предприимчивость и имперский дух, любовь к книгам и тягу к пьянству, корыстолюбие и разгильдяйство, склонность к компромиссу и нетерпимость, гордыню и самоуничтожение, мелочность и широту, скромность и хамство, привычку танцевать фрейлахс и привычку петь «Очи черные». На почве, унавоженной столь богато, вырастают диковинные цветы нашей потрясающей ментальности, отягощенной еще и американскими наслонениями. Мы смертельно оскорбляемся за еврейство, мы отстаиваем русский народ, мы не даем в обиду Америку.

Эмиграция всегда эксперимент, причем с человеческими жертвами. А в нашем случае опыт осложнен еще тем обстоятельством, что мы попали в Америку. Окажись мы в какой-нибудь Голландии, бюргерская рассудительность, может, привела бы нас в чувство. А Америка несет в себе идею тотальной свободы, которая оказалась насыщенной питательной средой для натуры нашего эмигранта.

Годы жизни при тоталитарном режиме взрастили в нас два, казалось бы, взаимоисключающих комплекса: ненависть к коллективистскому сознанию и неприятие чужого индивидуального сознания. С точки зрения диалектики это вполне объяснимо — согласно закону о единстве противоположностей. Но никакое знание теории не уберезет от кошмара в реальной жизни. На примитивном уровне это формулируется приблизительно так: «В Америке слишком много свободы. Свободы достойны не все. Я — достоин. Зяма и Шура — тоже. Остальные — нет».

В неуклюжем мозгу эмигранта произошло смещение понятий. Но ведь если можно ходить в шубе и босиком, то это не значит, что можно ограбить компаньона или оклеветать конкурента. Истина простая, но страшно далека она от народа. Отсутствие ханжества не означает торжества аморальности. Подобные сентенции выглядят жалкой банальностью, но только на бумаге. Америке пришлось пройти долгий и временами весьма мрачный путь, чтобы впитать подобные истины. А у нас за плечами — ничего, кроме «в своих дерзаниях всегда мы правы!».

Увы, в эмиграции, словно шелуха, слетела память о российском социальном быте, годами регулировавшем наше поведение. Специфическая интеллигентская традиция — та самая, с бородкой и в пенсне, — господствовала в нашем тамошнем обществе, конечно же не в качестве модели ежедневного поведения, но хотя бы как некая абстрактная норма. Глупо было бы утверждать, что там мы были честными, справедливыми, благородными. Но сама ситуация, весь общественный этикет был построен так, что вы всегда и безошибочно знали, в какой момент поступили нечестно, несправедливо, неблагородно.

Дело тут не только в российском интеллигентском наследии, но и в обстановке общего противостояния режиму, который объединял людей независимо от черт их характера. В такой ситуации общество в борьбе с государством естественным образом выработало единственное оружие — общественное мнение.

В эмиграции произошла страшная вещь. Освободившись от нелепых и унижительных идеологических ограничений, мы последовательно освободились и от норм общественного этикета. И тем начисто уничтожили свое единственное подлинное духовное достояние — общественное мнение.

В России непечатаемый писатель был героем и страдальцем. Здесь он — всего-навсего непечатаемый писатель. Там всегда существовало два плана — официальный и подпольный. Почти воздавались и на сцене и за кулисами, и, конечно, закулисные были ценнее. Здесь же второй план исчез за ненадобностью — нет цензуры, нет контроля, свобода. И оказалось, что первый план мало чем отличается от того — советского, официального. Это нормально: если негодяй выступает со страниц тоталитарного органа, с ним все ясно, но если со страниц свободной прессы — то уже не вполне понятно, что он негодяй. А он странным образом может оскорбить достойного человека и остаться безнаказанным, потому что перед лицом тотальной свободы и отсутствия общего врага эмиграция — разрозненная хаотическая

масса. Утрачены нравственные ориентиры, потому что мы охотно и радостно отказались от прежних, навязанных, критериев, а новых не приобрели.

«Младенцы в джунглях» — так назвал один свой рассказ О.Генри. Мы принесли свое младенческое сознание, свою трогательную социальную недоразвитость в джунгли свободы и срочным порядком наращиваем извилины. Дело это, по всему видно, нескорое и непростое.

Но если улягутся страсти и гнусности и львы возлягут с агнцами, может быть, эмиграция приступит к выполнению своей исторической задачи: быть культурной колонией России в свободном мире. Кажется такой достижимой мечтой идея архива, где все ценности российской культуры будут бережно храниться на благо культуры мировой. Может быть, идеал и недоступен и даже неверен (по крайней мере, сомнителен), может быть, главная идея эмиграции — чистое самовыражение, без всякой исторической нагрузки. Просто инженер А, писатель Б, бизнесмен В искали и нашли наиболее благоприятную сферу приложения своих сил. Но идеалы хороши ведь не возможностью воплощения, а тем, что организуют и направляют сознание. Создают некий вектор, благодаря которому, возможно, завершится наше социально-нравственное образование.

* * *

Мы пришли в окончательную точку: отсюда начинается отсчет назад. Мы приобрели свободу, и первое, на что мы ее употребили, был подсчет потерь. Свобода и память близки друг другу. Одна пробуждает другую. Мы стали вспоминать, и наши воспоминания обратились в перечень утраченных иллюзий, в поток lamentаций, в конце концов, в клюзу неизвестно кому на отсутствие предметов первой необходимости.

Мы безвозвратно утратили:

полноценное общение, настоящую горчицу, друзей, свободное рабочее время, ненавистную власть, национальный престиж, пиетет к слову, граненые стаканы, беспечность существования, семейные узы, розовый портвейн, веру в перемены, политические анекдоты, любовь к родине, отвращение к родине, безразличие к родине, эзопов язык, интерес к религии, извращенное наслаждение быть гонимым, борьбу с мещанством, антисемитизм, Чапаева, славянские древности, самиздат, неустроенный быт, милосердие, романтику дальних странствий, ехидную иронию, коммунальные удобства, мазохистскую страсть к передовицам, веселую бедность, письма из-за рубежа, готовность вступить за слабого, нонконформизм, объединяющее чувство протеста, возможность высовываться, ощущение всенародного гнева, правдоискательство, тягу к народу, народ, возвышающее сознание избранности, столичные рестораны, Би-би-си, русскую баню, живых иностранцев, первую любовь, идейных противников, идеи, широту русского размаха, очереди, тайну происхождения, прописку, могилы предков, домашнюю библиотеку, чувство юмора и одну шестую суши.

Мы потеряли множество вещей и понятий. Но первая среди потерь — мечта. Нарядная и интимная мечта о рае. Как слепо мы верили в его осуществимость. Рай помешался сначала дома — «если бы Ленин был жив», потом на Западе — «живут же люди в Америке». И наконец, мы утратили веру уже в этой самой Америке.

Здесь мы впервые в жизни оказались наедине с жизнью. Не с мечтой о ней, не с гипотетическими рассуждениями, не с привычной утопией — нет, мы впервые пришли к трезвому и окончательному выводу: райа нет.

Теперь мы обречены на трезвость. Это, может быть, самое тяжелое испытание для людей, выращенных на опьяняющих революционностью идеалах. Проблемы справедливости, равенства и счастья остались в полузабытом прошлом. Новая жизнь начинается на пепелище сгоревшей веры. Вместо радостной и чистой утопии мирового братства мы оказались в одиночестве. Причем одиночестве экзистенциальном. Мы предоставлены сами себе. За нами больше нет грандиозных пороков нашей прошлой родины, впереди нет сияющих вершин родины новой. Теперь у нас родины нет вообще.

Зато мы приобрели:

широту кругозора, возможность сравнивать, джинсы, свободу, страх перед ней, фудстемпы, американское гражданство, китайскую кухню, наглядный пример терпимости, сексуальную революцию, жевательную резинку, собрание сочинений Гумилева, вид на статую Свободы, панический ужас перед преступностью, практицизм, тараканов, хот-доги¹⁵, феерические книжные магазины, круглосуточное телевидение,

¹⁵ Бутерброды с горячими сосисками (англ.).

заморские путешествия, трезвость (отчасти и в прямом смысле), колониальные гарнитуры, стойкую антипатию к английскому языку. английский язык, комплекс измены Израилю, сигареты «Кэмел», марихуану, полсотни эмигрантских изданий, эмиграцию, материальное благополучие, неопределенность, кондиционеры, ностальгию, сбережения про черный день, ощущение конца пути, мацу, самую демократическую конституцию, расизм, беспредельные возможности, велфэйр, «Плейбой», интернациональные вкусы, обостренное чувство национальной гордости, моргердж¹⁶, концептуальное искусство, воблу и Новый Свет.

И наконец, мы пришли к тому горькому выводу, к которому рано или поздно приходят мудрецы, аскеты и пьяницы: человек один и только он отвечает за себя. Ни пятилетки, ни диссиденты, ни американская демократия не могут ни помочь, ни помешать человеку быть самим собой — это всегда происходит внутри, а не снаружи.

Российский человек, пройдя искушение двумя социальными структурами, оказался в одиночестве — он один, он сам по себе, и все хорошее и все плохое содержится в его личной, уникальной судьбе.

Мы потеряли больше, чем приобрели. Потому что заблуждения всегда слаще истины. Но то, что мы приобрели, стоит того, что потеряли. Потому что истина все-таки отличается от заблуждений хотя бы одним достоинством — она истинна.

Очень непросто приучаться жить в вакууме — самим расплачиваться за самостоятельно сделанные ошибки, верить только в себя и сомневаться тоже только в себе. Но путь, который привел нас к обетованной земле, не оставляет другого выхода.

Сколько мы сделаем остановок на этом пути и сколько из нас дойдут до его конца, вообще-то не важно. Движение к цели бывает важнее ее самой.

И вот пришел день, когда мы остались одни.

И нет больше иллюзий, которые нас согревали.

И нет больше заблуждений, которыми мы тешились.

И нет больше сладостных кушей эдемских.

И в поте лица своего предстоит нам зарабатывать хлеб трезвых истин.

И может быть, это дороже потерянного рая...

Как много мы потеряли оттого, что были лишены всякой возможности общения нашей эмиграцией на протяжении более чем семидесяти лет!

И теперь нам предстоит навестывать все, что еще можно навестать, объедившись под сенью культуры одного языка, одной истории, а то и одной психологии.

И вот еще в чем особенность: в случае, если у добрых знакомцев возникли разные намерения (один и во сне и наяву мечтал о том, как бы ему эмигрировать, а другому подобное намерение и в голову не приходило), эти люди прерывали между собою любые отношения, какими бы близкими и давними они ни были.

Но вот намерение эмигранта осуществилось, он — за бугром. И что же? И теперь эти люди снова испытывают стремление встретиться, пообщаться, понять друг друга.

Публикуя работу П. Вайля и А. Гениса «Потерянный рай», мы не во всем согласны с авторами, особенно в их обобщающих и предваряющих рассуждениях, но какое это имеет значение? Тем более в предвидении того, что тема эта только еще поставлена на страницах нашего журнала, и мы надеемся, что она будет развита людьми оттуда — из новых отечеств, из стран другого языка, другого склада, но близких, даже необходимых нам потому, что мы хотим видеть современный мир не только собственными, но и их глазами.

С. ЗАЛЫГИН.

¹⁶ Закладная (англ.).

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

*

О КАТОЛИЦИЗМЕ

Уроки Милоша

Диалог с католицизмом Чеслав Милош ведет на протяжении всей своей жизни, с первых же сознательных лет. Часто этот диалог бывал спором, даже «войной», борьбой личности за свою интеллектуальную свободу, за право сомневаться, противоречить, критиковать, заблуждаться, искать. Эту «войну» Милош начал еще в гимназии, в польской гимназии в Вильно 20-х годов. Перипетии «войны» дерзкого гимназиста со всесильным ксендзом-префектом гимназии, собственно, и являются сюжетом публикуемой здесь главы «Католическое воспитание» из автобиографической книги Милоша «Родная Европа». Книга вышла в 1958 году в Париже, где Милош уже восемь лет жил как эмигрант, невозвращенец. Пожалуй, именно это уродливое слово, бытовавшее у нас когда-то, особенно точно определяло его ситуацию. Он не мог надеяться на возвращение в родную, то есть Восточную, Европу, будь то Ковенщина, где он родился, Вильно, где он окончил гимназию и университет, или Варшава, где в годы гитлеровской оккупации он оказался очевидцем трагического восстания и трагической гибели города. «Родная Европа» — книга ностальгическая, что, впрочем, не отменяет ни остроты зрения, ни остроты оценок.

Чеслав Милош родился в 1911 году в Ковенской губернии, в усадьбе родителей своей матери. И отец и мать его принадлежали к старинной шляхте бывшего Великого княжества Литовского, шляхте когда-то литовской, но уже несколько столетий польскоязычной и католической. Милош всю жизнь упорно именуется себя польским поэтом литовского происхождения. В Нобелевской речи 1980 года он говорит о «духах Литвы», которые его «никогда не покидали». В повести о детстве и отрочестве («Долина Иссы». Париж. 1955), в стихах и поэмах, в эссеистике, в монументальной «Истории польской литературы» (1969) он подчеркивает свою привязанность к родной Литве, к пережиткам литовского язычества, к давнему, но для него все еще живому Великому княжеству Литовскому, многонациональному и многоконфессиональному. Привязанность Милоша к «литовской старине» — это и привязанность к эпохе Реформации, к XVI и первой половине XVII века, когда и в Вильно, и во всей Литве, и в Кейданской округе, где вырос Милош, очень активны были кальвинисты, а во всей двуединой польско-литовской Речи Посполитой господствовала веротерпимость.

Упоминание о вере почти обязательно сопровождается у Милоша напоминанием о веротерпимости. Не является исключением и один из самых интимных фрагментов автобиографической книги — о матери: «...она была католичкой, соблюдающей обряды, но без того, чтобы подчеркивать их значение... Веротерпимость ее выражалась словами: «Каждый хвалит Бога как умеет» — и, как мне кажется, ей трудно было бы принять за аксиому, что католическая религия — единственно истинная». Милош говорит о матери, но, конечно же, и о самом себе. И уж тем более о самом себе сказано: «Мир для нее был местом сакральным».

Натура религиозная, Милош по окончании своего «католического воспитания» в гимназии остался «до глубины души католиком». Вот как подводит он итог «войны» с ксендзом Хомским: «Многолетние теологические стычки с ксендзом-префектом выработали во мне склонность к фехтованию с самим собой. Если бы я пассивно принимал католическое воспитание и затем стряхнул его с себя как ненужный налет, я был бы

чистой доской, можно было бы писать на ней слова иной веры. Случилось иначе. Благодаря своим еретическим склонностям я остался до глубины души католиком...»

До глубины души. Но и — в глубине души. Только в глубине души. Католицизм Милоша — «добровольный и личный, вне общественной традиции». Его гимназическая клятва самому себе никогда не заключать «союз с польским католицизмом» остается в силе. На протяжении 30-х годов польская действительность лишь утверждает его в таком решении. В Виленском университете, куда он поступил, «воспитанники разных Хомяков чаще всего соединяли в себе фанатичный патриотизм, консерватизм и обожали ритуал, заимствованный из немецких университетов прибалтийских стран. Объединяясь в «корпорации», они ходили в корпорантских фуражках... вечерами пили пиво и фехтовали. Их объединения были местом для снобизма или правой политики, преобладал у них стиль петушиной кичливости и воинственного гонора». Отталкиваясь от таких «корпорантов», Милош оказался в группе «марксистствующих» студентов. Интерес к марксизму оставил след не только в его первой книге стихов, но и в его сознании всех последующих десятилетий. А тогда, в 30-х годах, он довольно скоро отошел и даже открестился от своего студенческого марксизма. Однако не мог стать своим для тогдашних польских католиков, относившихся с недоверием к любым демократам и либералам, «как если бы в отказе от автоматического послушания лозунгу «Бог и Отчизна» уже содержался бессознательный марксизм». Другого же польского католицизма, кроме правого, консервативного и «национального», в ту пору не было. Но хуже всего, что свой католицизм афишировали «черные», как называл их Милош, то есть крайние, фашиствующие польские националисты середины и второй половины 30-х годов, которые погромную антисемитскую агитацию аргументировали ссылками на Фому Аквинского или средневековые уставы католической церкви. Порядочным людям, если они были верующими католиками, приходилось жить, «сохраняя свои религиозные взгляды для себя, декларируя свой искренний антиклерикализм» и противостоя опасной смеси католицизма и польского национализма, в которой они видели угрозу наступления самой мрачной реакции. Привычка Милоша отделять себя, католика в душе, от польского католицизма закрепится на многие десятилетия.

Подобно тому как гимназист Милош, споря с ксендзом, искал поддержки в чтении Августина, так Милош 30-х находит поддержку в книгах Жака Маритена, а Милош 50-х (уже во Франции) — в книгах Симоны Вайль.

В эмиграции, во Франции (1951—1960), а тем более в Америке, за океаном (с 1960-го), Милош интенсивнее, чем прежде, ощущает свою неразрывную связь с родным польским языком, с польской литературой, культурой, с «польскостью». Тем болезненнее он, оставшийся католиком, переживает свою отчужденность от польского католицизма.

Но идут годы. Меняется Милош. Меняется и католицизм. А польский католицизм особенно. «Много воды утекло в европейских и американских реках,— пишет Милош в 1977 году,— с того времени, когда я гордо заявлял, что с польским католицизмом я не хочу иметь ничего общего. И поскольку я много пережил, гордыня моя надломилась. Лишь в сравнении мы убеждаемся, что «худшее не имеет дна»... Те общественные структуры, которые в какой-то мере предохраняют человека от попадания в крайнее зло, заслуживают уважения». В этом фрагменте зафиксирован поворотный момент в эволюции Милоша: момент «признания» им польского католицизма. Дана и мотивировка: «худшее не имеет дна». В 70-х годах XX века, после сталинщины, после гитлеровской оккупации Польши, реакционный польский католицизм 30-х годов уже не кажется Милошу самым страшным явлением из возможных. Что же касается нового польского католицизма, обновившегося в годы бедствий и трудных испытаний 1939—1980 годов и часто предохранявшего поляков от «попадания в крайнее зло», он для Милоша приемлем.

Не только Магомет пошел к горе, но и гора к Магомету. Большое значение имела для Милоша «огромная перемена, совершавшаяся в послевоенные годы» в польском католицизме и в католичестве вообще. Диалог Милоша в 80-х годах с католицизмом Иоанна Павла II или с друзьями из польского католического еженедельника «Тыгодник повшехны» — совсем новый диалог.

Но и теперь это именно диалог. Но и теперь Милош резко отвергает титул «католического поэта», который ему настойчиво навязывают (тем настойчивее, что он теперь нобелевский лауреат). Такова суть его люблинской речи 1981 года. В этой речи он остается собой: в католическом университете с иронией высказывается о «профессиональных католиках». Русский читатель, возможно, вспомнит слова Соловьева о «тех людях», которые «особенно хлопочут о христианстве, делают из него свое специальное занятие и из христианского имени какую-то свою монополию или привилегию».

С Соловьевым Милоша сближает многое. Не только антидогматизм и принципиальная неортодоксальность. Общее у них — ощущение неполноты каждой из трех ветвей христианства в отдельности (католичества, православия и протестантства), тоска о некоем синтезе. Понятно, почему Милош писал о Соловьеве, перевел однажды фрагмент из «Трех разговоров», и нынешний интерес к Соловьеву в Польше распространился не без влияния Милоша. Интересуется Милош и другими русскими религиозными философами, не говоря уж о Достоевском, о котором писал неоднократно, а в Калифорнийском университете, где Милош с 1960 года стал профессором славянских литератур, он читал и курс Достоевского. Выросший «на границе Рима и Византии», Милош с детства соприкасался с православием, а русский язык — один из двух языков его детства.

Да, кстати, к вопросу о языках. Во второй половине 70-х годов Милош приступил к переводу книг Нового, а затем и Ветхого завета, изучив для этого древнегреческий, а затем и древнееврейский язык (латынь он хорошо знал по гимназии и юридическому факультету университета).

Уроки Милоша и пример его личности важны не только для верующих, но и для неверующих. Умение противостоять любому диктату, а прежде всего, что особенно трудно, — диктату «своих». И в то же время — уважение к взглядам и верованиям чужих.

ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ.

КАТОЛИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ*

В течение восьми лет нашего пребывания в школе мы начинали день молитвой и песней «Когда утром встают зори»¹. Все классы собирались в длинном и широком коридоре вместе с учителями. От молитвы освобождались иноверцы: евреи, караимы, мусульмане, православные и лютеране. Их было немного. Отчужденные таким образом от общности, они, вероятно, чувствовали себя чуть-чуть глупо.

Восковые свечи и белая одежда при Первом Причастии, запах и голубой дым ладана, блеск священнического одеяния и дароносицы, сосание под ложечкой, когда возвращаешься Натощак из костела, радость вновь обретенной добротели. Поводом недоразумений бывал список грехов, особенно рубрика «нечистота». Поместив в эту рубрику издавание дурных звуков попкой, я заметил сквозь решетку исповедальни, что ксендз странно горбится и закусывает губы, то есть что я совершил бестактность. Но вся эта область обязанностей и обрядов, неподвластных мысли, существовала сама по себе, как бы принадлежа природе. Так, впрочем, она сильнее всего действует и оставляет самые прочные следы.

Однако религия в школе, поначалу ограниченная рассказами из священной истории, постепенно становилась делом серьезным. Оценка, поставленная ксендзом-префектом², решающим образом влияла на свидетельство в конце года. Требования его росли в отношении тех учеников, которых он подозревал в анархических или бунтарских склонностях. А преподаваемые им предметы — догматика, история Церкви, апологетика — не очень уступали по уровню подобным предметам в духовной семинарии. Эти интеллектуальные сложности пришлось на период, когда моя голова уже кишела силлогизмами.

Католическая доктрина — очень трудная, потому что содержит как бы разные геологические пласты. Наивные вопросы и ответы катехизиса не позволяют поначалу допустить, что между ними и тем, что под ними скрывается, такая же разница, как между растительным покровом и кипящим нутром планеты. Но едва снимешь первую оболочку, как обнаруживаешь западни, расставленные друг для друга могучими умами. Юный открыватель бьется зачастую в этих западнях, как попавшийся заяц. И уж отнюдь не облегчает его ситуацию столкновение двух систем, на первый взгляд взаимнепроницаемых: религиозная борется с научной, берущей свое начало лишь со времен Ренессанса.

Кабинет естествознания с его современными микроскопами притягивал меня как резиденция наук, наименее абстрактных для меня, ибо они касались моих лесных и охотничьих увлечений³. Здесь мы резали пиявок, разглядывали бьющееся сердце вскрытой лягушки и, задерживая дыхание, наводили микроскоп на резкость над препаратом растительных или животных тканей. Зоологию, ботанику, а затем биологию преподавал доцент местного университета, специализирующийся в цитологии, то есть в науке о клетках. Худой, с желтым оттенком кожи, он был желчным, как все больные печенью, но предмет свой любил и умел заразить этим нас. Он организовал

* Из книги «Родная Европа» (Париж. 1958).

Кружок любителей природы, где я задавал тон как один из энтузиастов. Я не ограничивался нашими занятиями и учебниками, обращался к серьезным книгам. В четвертом классе гимназии я выступил с первым моим докладом: о Дарвине и о принципе отбора. Как раз в это время у меня начинался кризис, задержавшийся из-за множества обязанностей, которые наваливало на меня мое царство аквариумов, банок и клеток с птицами или белыми мышами. В одном лишь я не сомневался: что будущая моя специальность уже определена и что я буду естествоиспытателем. Пророчество, что я своему призванию изменю, меня тогда ужаснуло бы.

Нужно, однако, вкратце описать тот человеческий фон, на котором возникали наши симпатии и антипатии. В глазах учителей из массы крикливых и неряшливых подростков, вероятно, лишь некоторые выделялись какими-то задатками индивидуальности. Подобным же образом и для нас на олимпе воспитателей было несколько корифеев и хор. Божки поменьше привлекали внимание своими чудачествами. Так, например, географ, прозванный Гориллой, почему-то казался нам воплощением прошлого, и действительно он вроде бы преподавал еще в царской гимназии. Верзила с черной щетиной на щеках и черными усами, он носил брюки в полоску и короткий сюртук. Развалившись на стуле, он страшно зевал, открывая черное, как нам казалось, небо, что у собак — признак злобного характера, и в его случае это подтверждалось. То, что он томился от скуки, тотчас передавалось нам, и класс начинал бесноваться. Тогда, слишком ленивый, чтобы пользоваться словами, он направлял указательный палец в сторону наших парт и очерчивал рукой небрежный полукруг. Избранный им ученик подымался и шел в угол. К концу урока парты были почти пусты. Этот географ или, например, историк, дядюшка Калашевский, говоривший с сильным белорусским акцентом, относились, однако, к фигурам второго ряда, к тому же часто сменявшимся.

На авансцене выступали только две личности, мощные своими влияниями, которые боролись друг с другом за наши умы. Им предназначено было остаться с нами навсегда, вопреки движению времени. Когда я уже в университете прочел «Волшебную гору» Манна, то обнаружил, что это, собственно, книга о них — если спор иезуита Нафты с гуманистом Сеттембрини мы признаем более важным, чем историю Ганса Касторпа. Я не виноват, что даю портреты столь литературные: действительность любит иногда такие, как бы взятые из книг, контрасты. У нашего Нафты было округлое личико увядшего мальчика, волосы, обрезанные челкой на лбу, и движения смиренного слуги Божьего, часто опускающего глаза. Ничто в нем не позволяло угадать, где и как он жил, прежде чем стал ксендзом, в деревне или в городе, в аристократической семье или в плебейской. Он не был похож в этом отношении на других ксендзов, которых мы знали. Некоторые под сутаной сохраняли буйство бывших солдат и забияк. Других отличала крестьянская неторопливость или угловатость. Наш префект скорее всего с самого начала рос под сенью храма, прошмыгивая со сложенными ручками между хризантемами алтарей. Если бы он оказался сыном костельного сторожа, это больше всего отвечало бы его внешности.

В невзрачном теле бушевала ожесточенная и огненная душа. О ней давали знать скорбные морщины около губ, твердый голубой взор, когда ксендз подымал веки, и темный румянец сдерживаемой ярости. Он рожден был быть инквизитором. По вздрагиванию мышц лица, по наклону головы он угадывал молнию порочной мысли. Он пребывал в том измерении, где все обязывало к неустанной бдительности, к напряженности, где ежесекундно нужно было отбивать атаки дьявола. Грех не означал для него только нарушение заповедей: грех разветвлялся и распространял свои шупальца, прикидываясь невинными забавами. К игре в футбол в школьном дворе Хомяк, как мы переименовали его фамилию⁴, относился недоброжелательно, видя в этом приближение переломного нашего возраста, когда дьявол должен победить. Голос, крепнувший в период созревания, заставлял его вздрагивать от отвращения, а запах табачного дыма он трактовал как материальный знак присутствия врага: пола. К детям он относился мягко, но когда мы превращались в подростков, он выказывал всем своим поведением в классе, что перед ним — существа падшие. Однажды на перемене один из нас нарисовал на доске батареи и электрические провода, объясняя коллегам какое-то задание по физике. Хомяк проходил по коридору и, приоткрыв неожиданно дверь, как он любил делать, мельком взглянул на меловые круги и эллипсы. Этого было достаточно, чтобы он запыхал одним из самых темных своих румянцев и побежал к директору, которому сообщил, что обнаружил на доске изображение половых органов.

В его угрюмом ощущении зло человеческой природы не поддавалось излечению никакими духовными средствами. Можно полагать, что он не верил в действие Милосердия, если оно ускользало из-под человеческого контроля, и не считал, что ошибка — это, может быть, нечто, необходимое подчас на пути к спасению. В то же

время он судорожно держался за образ света, окруженного мраком: спасенных узнают по внешним доказательствам добродетели, то есть послушание инструкциям, невинная интонация голоса, смиренные жесты — иначе говоря, тренинг. Но кто принадлежал к спасенным? Разве что «Дети Марии»⁵ с голубой лентой через плечо, со свечой в руке. Во всяком случае, поскольку добро все равно недостижимо, следует по крайней мере навязать дисциплину себе и другим, ибо если остается какая-то надежда, то перемена человеческой природы может совершаться только извне, а не изнутри. Он представлял, стало быть, в крайнем варианте давний тезис католической Церкви, что мы не можем приблизиться к Богу иначе как посредством чувств, что вера и добродетель личности — функция поведения общности. Посещая мессу, исповедуясь и причащаясь, мы даже против воли проникаемся стилем, который, подобно тому как медь — хороший проводник электричества, служит проводником для неземного элемента. Поскольку люди слабы, безумством было бы предоставить их самим себе и считать, что они сами, вопреки стилю окружения, обретут связь с Богом. Скорее уж следует такую связь облегчить, вырабатывая в массе условные рефлексы. Принуждая нас к участию в обрядах, Хомяк наверняка не имел больших иллюзий. Но не имели их и его предшественники, обращавшие еретиков мечом.

Осуществить свою волю в полной мере позволяло ему его положение. Оно не очень отличалось от того, какое получил позже в школах Центральной и Восточной Европы преподаватель марксизма-сталинизма. Хомяк постоянно трудился, чтобы все более совершенным образом связывать воедино ячейки своей сети. Присутствие на воскресной мессе было обязательно, но городские костелы не обеспечивали надежности надзора, поэтому он устроил часовню в нашем здании, и уполномоченные им ученики отмечали отсутствующих крестиком в списках. Уполномоченные вербовались из его лейб-гвардии: Марианской Социалистической (Братства Марии). Раз в квартал нужно было прийти к исповеди и к причастию. Во время Пасхи происходили долгие реколекции⁶. Чтобы избежать обмана и уверток, наш теократ поставил анализ чистоты душ на здоровую основу: ввел письменные свидетельства. Приступая к исповеди, ты получал в исповедальне клочок бумаги с печатью, который нужно было отдать префекту. Справедливость требует сказать, что доносительство он не организовал. Если это и случалось, то из подхалимства или религиозного рвения «социалистов».

Свои уроки он разнообразил грубоватыми издевками над другими религиями, над модой и над человеческим разумом. Не чурался он и ругани в адрес социалистов, стараясь выработать у нас рефлекс враждебности на самый звук этого слова. Искусность его логики рушилась вдруг, когда он переходил к проблемам современным, да и оскорбленный хороший вкус уже сам по себе склонял некоторых из нас к противоречию.

Его противник, преподаватель латыни Адольф Рожек, являл собой полную противоположность, хотя бы своей изысканной, едва заметной иронией, за пределы которой в своей войне с ксендзом он не выходил, относясь к тому с подчеркнутой учтивостью. В его всегда гладко выбритом лице было нечто от римской скульптуры. Может быть, так сформировала сам его облик проникнутость принципами классической меры. Безукоризненно одетый, иногда с красным цветком в петлице, он, собственно говоря, должен был бы носить тогу. Он властвовал над нами легко, почти никогда не повышая голоса, самой своей чуть язвительной серьезностью. Сын пролетария из Галиции, он принадлежал к последнему, вероятно, поколению тех воспитанников габсбургской монархии, которые с первых школьных лет поглощали большие порции латыни, греческого и комментариев к древним. На уроках он заботился не только о словаре и грамматике. Когда мы оставили Юлия Цезаря и Цицерона, то есть гимнастику вставных вводных предложений, и взялись за Овидия и Горация, уроки Рожка превратились в ренессансную науку прекрасного сочетания слов. Сначала читали оригинал, и если ученик неверно скандировал гекзаметр или аллееву строфу, из уст учителя слышалось шипение, как если бы его кололи шпилькой. Настоящая работа начиналась после грамматического разбора. Все вместе искали слов, самых близких по своим оттенкам к оригиналу. «Так, — и он морщил брови, — это уже неплохо, но звучит шероховато. Кто предложит что-нибудь еще лучше?» Польский синтаксис оставляет довольно большую свободу порядка слов в предложении. Рожек следил, чтобы удержаться на грани, за которой впадаешь в искусственность, хотя иной раз его увлекала чуткость к латинскому синтаксису — как увлекала в прошлом многих польских писателей. «Желтый мед источался...» — мы уже приходили к окончательному варианту, переводя описание вечной весны у Овидия. Движением руки он задерживал нас. Снова мы кружили между подлежащим, определением и сказуемым, чтобы после многих попыток прочесть наконец достигнутое сообща:

И желтый из дуба зеленого мед источался.

Часто на одну такую строку мы тратили целый урок, и на целый школьный год приходилось не более нескольких страниц стихов. Однако теперь я вижу, сколь велико влияние, какое оказали на меня эти упражнения, при всей скудости использованного для них материала. И хотя тогда я вовсе этого не подозревал, время, отведенное на эти упражнения, оказалось важнее, чем многие дни громождения бесполезных впоследствии знаний из разных областей. И в конечном счете дело не в мечте о Золотом Веке⁷, не в замке Солнца, который стоял, опираясь на блестящие колонны, не в юном Фазтоне, падающем с неба, не в снежной вершине горы Соракте⁸ и не в пастухах из «Буколик». Дело даже не в обрывках стихов, настойчиво возвращающихся позже в разных обстоятельствах жизни, даже не в них, хотя их звучность пробудила любовь к ритму и неприязнь к поэзии, слишком гладко текущей:

*Trahuntque siccis machinae carinas*⁹ —

с очень долгим *i* в *carinas*. Самое важное — раз и навсегда обретенное умение сосредоточить внимание не только на смысле слов, но и на искусстве их сочетания, уверенность, что то, что говорится, меняется в зависимости от того, как говорится. Упорство Рожека показывало, что стремиться к совершенству — стоит, причем не глядя на часы, то есть он учил уважительному отношению к литературе как плоду кропотливого труда.

Рожек рассказывал нам о римских обычаях, биографии поэтов перемежал анекдотами, например, об Овидии, который, когда мать его была за страсть к поэзии, плача, обещал — стихами «*Iam, iam non faciam Versus carissima mater*»¹⁰; переходил также на разговор о живописи и о современном театре. С местным театром он живо сотрудничал — в некоторых представлениях участвовали его дети — маленький мальчик и девочка. Ему мы были обязаны школьным театром. Он оказался хорошим режиссером («Пана Бенета» Фредро¹¹). Как воспитатель нашего класса он учредил самоуправление, и на этом примере, будучи одним из ораторов и спорщиков, я убедился в трудностях управляемой демократии. Политических высказываний избегал, хотя известно было, что он социалист. Он излучал оптимистическую веру в человеческий разум, в возможность коллективных достижений и в прогресс.

Между таким Нафтой и таким Сеттембрини дан был нам, уже самим их присутствием, выбор. Бунт против ксендза склонял чашу весов в пользу латиниста. Мой религиозный кризис не был, впрочем, однократным, не закончился ясным «да» или «нет», и, поступая в университет, я этот кризис вовсе не преодолел. Это не значит, что он не был острым. Я стремился построить интеллектуальные мосты между несоприкасающимися областями. Моим товарищам подобное стремление было, в общем, чуждо, область религии они считали скорее отдельной, подчиняющейся правилам условных приличий. Моя горячность ставила меня среди них в положение еврея среди говев.

Если убийство — это закон природы, если выживает сильный, а гибнет слабый, и так ведется многие миллионы лет, где же тогда место для доброго Бога? Почему человек на маленькой звезде, висящей в пустом пространстве, значащей не больше, чем простейшие под микроскопом, особо выделяет свое страдание, точно такое же, как страдание птицы с простреленным крылом и зайцев, пожираемых лисами, почему только оно должно быть достойно внимания и Искупления? Откуда эта исключительность и откуда, если так, жестокость болезни, смерти, пытки, которым люди подвергали людей же, доказательство, что закон природы распространяется и на этот биологический вид? Чем отличается толпа на улице от скопления амев, кроме того, что элементарные реакции людей более сложны? Такие вопросы не раз на целые недели повергали меня в состояние, близкое к физической болезни. Время естественных наук — пространственно, его нельзя себе вообразить иначе как линию, тянущуюся назад и вперед в бесконечность. Чисто пространственная теория эволюции. Тогда вечность либо тоже представляется в виде линии, либо совершенно не постигается умом. Нелегко прийти к мысли о вне-времени, представить себе, что в какой-то божественной перспективе уничтожение Ниневии, рождение Христа и дата, написанная в школьной тетради, одновременны, что к тому же в этой перспективе исчезает также протяженность и может быть поставлен знак равенства между «величиной» галактики и атома.

Ответа я искал в учебнике, которому обязан немалой частью моего образования. Это был учебник истории Церкви. Я мало что вынес из порубленных на фрагменты хроникальных сведений, которые нам вливали в голову в качестве истории Польши и других стран. Здесь же перед тобой была история целой Европы. Поэтому я думаю сейчас, что католическая школа очень полезна для кого-то, кто старается сохранить в себе «европейское сознание».

Некоторые разделы учебника были напечатаны, в отличие от других, мелким шрифтом, именно таким шрифтом давались довольно подробные описания различных ересей. Моими любимцами были гностики, манихейцы и альбигойцы. Они по крайней мере не прикрывались неопределенными фразами о воле Божьей, чтобы оправдать жестокость. Необходимость, правящую всем, что существует во времени, они считали творением злого демиурга, противопоставляемого Богу, который, вынесенный таким образом за скобки, пребывал в сфере, лишь ему присущей, свободный от ответственности, как предмет желаний. Эти желания очищались тем более, чем более обращались против тела, то есть Творения. Я не знал тогда этой фразы манихейцев: «Разорванный Дух, разделенный на части, распятый в пространстве» — с явной атакой против пространственно-временного мира. Тем не менее я находил в мелком шрифте достаточно информации для моих размышлений. Дуалистическая горечь, Абсолют, спасенный такой ценой, приводили меня в упоение, как шершавая поверхность после гладкой плоскости, за которую нельзя ухватиться. Авторы учебника резко осуждали разврат, который практиковали некоторые манихейцы как средство «борьбы с плотью», но мне это не казалось убедительным. Я неплохо понимал этот скачок мысли: если уж мы пребываем во власти Зла, нужно поступать как бы назло, погрузиться во зло так глубоко, как только возможно, чтобы презирать себя как можно больше. Я убедился позже, что дуалистические элементы у католиков очень сильны. Например, девушки, проводящие с кем-нибудь ночь ради спорта, зная, что утром надо вовремя проснуться, чтобы не опоздать к мессе, — в этом есть нечто большее, чем обыкновенное лицемерие, так же как мало назвать лицемером ксендза, сожительствующего с любовницей. Сосуществование нищеты плоти и воспарений духа, довольно спокойно трактуемое католицизмом, противоречит, однако, крайним склонностям юношеской души. Она хочет решить: пусть будет или — или. Отсюда моя тяга к манихейцам.

Ересь, оплодотворенная моим интересом к биологии, не склоняла меня, странное дело, в сторону нашего античника, но наоборот, через бунт, в сторону ксендза. Мои чувства к нему были сложными и не менее извращенными, чем к учителям гностицизма. Если Природа — это царство Зла, то он был сторонником анти-Природы. Он устанавливал другой закон, он боролся с врагом, Князем Мира Сего. Как весь наш класс, я смеялся над сумасшедшими иногда выходками Хомяка и над его подозрительностью. Однако его старая сутана, его измученное искушениями лицо и внутренняя напряженность будили жалость и создавали как бы ощущение родства. Что мог противопоставить этому Рожек? На какой основе он склонял к вере в разум е с т е с т в е н н ы й, то есть подлежащий закону Необходимости и попадающий в западни, которые ставит физиологическая принадлежность к животному миру? На какой основе он строил свою убежденность, что «тут кончается животное, а тут начинается человек»? Это было еще менее ясно, чем учение Церкви. Так что мое отношение к Рожеку можно было бы определить как симпатию, подтачиваемую насмешкой, а отношение к ксендзу-префекту как насмешку, подтачиваемую симпатией.

Я открыл и еще один повод недоверия ко всему, что составляет нашу натуру. Время от времени я переживал сильный религиозный подъем и одновременно другой половиной себя — рефлексировал, приходя к не очень приятным выводам. Взять, скажем, добрые дела или очищение от грехов на исповеди. Совершая доброе дело, преодолевая искушение или возвращаясь с исповеди, мы думаем, что мы в такую минуту добродетельны. И впадаем тем самым в грех гордыни, возношения себя над другими, потому что не можем удержаться и не сравнить себя с ними, нам жаль грешников, которые хуже нас. Так чего же стоит добродетель? Я шел, не сознавая этого, тропинкой св. Августина, натываясь на одну из ключевых проблем христианства. Наш префект уже тем, что акцентировал испорченность человеческой природы, был мне, стало быть, близок. В то же время он отталкивал меня своим требованием участия в обрядах. Жадно читая в учебнике о споре между теми, которые все ставили в зависимость от Милости Бога, и теми, которые оставляли известную свободу человеческой воле, я взрачивал в себе протестантские склонности.

Хомяк, вздрагивая от отвращения при звуке ломающихся подростковых голосов и видя грех в табачном дыме, имел, признаем это, известный резон. Невинность кончается, когда появляется «я», то есть старая гордыня грехопадения: «Будете как боги, знающие добро и зло». Никогда она не выражалась у меня более явно, чем по утрам в воскресные дни. По разным обстоятельствам мы в старших классах вместо школьной часовни ходили иногда в костел св. Ежи (Георгия). Этот костел посещало так называемое хорошее общество. При выходе из него на улице происходил парад. Офицеры отдавали честь, адвокаты и доктора раскланивались, женщины демонстрировали свои улыбки, меха и шляпы. Медленно двигаясь в этой толпе или стоя на сквере, я был так заряжен ненавистью, что вот-вот мог взорваться. Человек, по моему мнению, что-то значил лишь постольку, поскольку имел страсть — к природе, к

охоте, к литературе, но при условии, чтоб вкладывал в это всего себя. А это были обезьяны. Каков их смысл? Зачем они существуют? Я возносился на какую-то божественную высоту и глядел на них сверху вниз, как на препарат. Они рождаются, секунда, умирают — и никакого следа. Ну посмотри на их кокетства, интрижки, переглядывания, на их суету ради тщеславия и денег. Ничего, кроме этого, в них нет. Я утешал самого себя, призванного, как я думал, к великим делам. То есть я трактовал этих людей как вещи.

Опыт, который невозможно передать никому другому, исключительно мой личный. Я удивился бы, если бы кто-нибудь объяснил мне, что этот опыт вовсе не был такой уж личный, как мне казалось, и что он имеет название: «ненависть к буржуазии». Поскольку этот вид презрения, хотя и полезный интеллектуально, позже приводил меня ко многим ошибкам, я подозрительно отношусь сейчас к интеллектуалам, разглагольствующим о революции. Любовь к угнетенным дает им предлог, но они играют свою игру. Предлогом оказывается в конечном счете и полное понимание (например, «исторических процессов»). Речь идет о том, чтобы других столкнуть на уровень предметов, а себя признать субъектом. Уже в раннем детстве я черпал ощущение превосходства из моих размышлений над всеобщностью смерти: все они вокруг меня над этим не задумываются, а я задумываюсь, стало быть, я выше их. Подобным образом упивается тот, кто в мыслях своих раздевает встречную женщину на улице: больше, чем секс, его интересует сама власть как таковая.

Можно опасаться, что я был потенциальным палачом. Им является каждый, кому в помощь его «я» приходит естественный способ мышления. Соблазн перенести на общество законы эволюции вскоре становится почти неотразим. Тогда другие сливаются в «массу», зависящую от так называемых главных линий развития. Мыслящий же проникает своим разумом эти главные линии, то есть он свободен, он над рабами.

Если в каком-то грехе я должен был исповедоваться, так именно в этом. Проблема была, однако, чересчур усложнена, как всегда, когда естественная склонность каждого человека отгородиться своей гордостью от других усилена садистским воображением пятнадцатилетнего подростка. Так чья же была вина, моя или Адама, во мне? Впрочем, меня уже всего целиком переполнял дух протеста, и я открыто вступал на тропу войны.

Участие в обрядах вместе с обезьянами унижало меня. Религия — нечто святое, как же может быть, чтобы их Бог был одновременно и моим Богом? Какое они имеют право считать его своим? «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне». Чем быть вместе с явно более низкими, так уж скорее следовало объявить себя атеистом, чтобы отмежеваться от круга недостойных. Следовало разрушить религию как общественную условность и обязанность. Как можно видеть, в моей борьбе с Хомяком переплетались лучшие и худшие мотивы. Вкус к независимости, отвращение ко всякому лицемерию, защита свободы совести сочетались с интеллектуальной наглостью, с уверенностью, что я понимаю больше, чем кто бы то ни было, и со стыдливой заботой о чистоте. Начиналось с мелких стычек, каверзных вопросов о тонкостях догматов, задаваемых префекту во время уроков. Война усиливалась, вплоть до большой баталии, когда я публично заявил, что в связи с введением карточек я не буду больше ходить на исповедь. Хомяк, вероятно, весь внутренне трясся каждый раз, начиная у нас урок. Правда, класс держался пассивно, лишь гулом выражая дикое удовольствие, которое доставляло ему зрелище состязания юного безумца с авторитетом школы. От паршивой овцы класс, однако, заразился нахальством. Чрезмерное реагирование Хомяка вскоре дошло до того, что даже если я сидел тихо, он вдруг прерывал свою речь на полуслове и кричал мне: «У тебя неприличное выражение лица, выйди за дверь!» Если бы это зависело только от него, он, вероятно, выгнал бы меня из школы, но группа учителей, которую можно назвать партией Рожека, защищала меня как «способного».

Не последней причиной конфликта были особые черты польского католицизма. Эти черты сформировала историческая ситуация на периферии католической Европы, особенно в XIX веке, а именно: сопротивление поляков протестантской Пруссии и православной России. Вся польская культура развивалась в орбите Ватикана, и не был исключением фермент Реформации, когда великий спор скорее будил интерес к папству, чем окончательно от него отдалял¹². Когда после крушения государства¹³ явился узвевленный национализм, между понятиями «поляк» и «католик» поставили знак равенства. Под властью царизма переход поляка в православие приводил к исключению из общности: такой человек вызывал недоверие как потенциальный или действительный коллаборационист. То есть религия стала тем принципом, благодаря которому сохранялась национальная обособленность, и в этом отношении поляки напоминали евреев в Римской империи, а чтобы сходство было более полным, среди них появились мессианистские настроения. Столь крепкая спаянность приводила в

отчаяние Россию, которой не удавалось поляков переварить. Они, однако, платили за свою устойчивость и способность сопротивляться внешнему нажиму большую цену: там, где нельзя определить, что национальный обычай, а что религиозный, религия становится общественной силой, консервативной и конформистской. И мы, пытаясь разорвать узы, которые налагает на нас среда, вынуждены атаковать религию. Мой протест против сентиментальных мифов и национальных предписаний, против старины, враждебной непокою, словом, против изысканного общства, гуляющего по главной улице, был вполне понятен, если его отделить от подозрительных приправ. Откуда он брался, проанализировать было бы нелегко, наверно, из чуткости к флюидам *Zeitgeist*'а¹⁴, что, впрочем, мало объясняет.

Польский католицизм, хотя он глубоко проник в самый склад ума и вызывал у русских болезненную ненависть к Ватикану, остался в первую очередь привязанностью к литургии. В нем слабы библейские традиции, путешествие Откровения во времени не наполняется содержанием, что не помогает увидеть внешние формы в их развитии. Никогда мы с Хомяком не раскрывали Ветхий Завет, который он считал противопоказанной для нас книгой. А если бы он посвятил чтению и комментированию, например, Книги Иова¹⁵ хотя бы шесть часов, которые наш античник посвящал одному стихотворению Горация, мы получили бы больше пользы, чем от его кратких рассказов о пророках, где он ограничивался лишь предвозвещениями Христа. А он мог бы нам объяснить, как ценно уважение к тайне, наказывающее не произносить вслух высшее имя. Он мог бы нам растолковать, что иудаизм, в отличие от соперничавших с ним в древности религий с их цикличным видением мира, воспринимал Творение в движении, как диалог, как постоянное возникновение вечно модифицирующихся вопросов и вечно модифицирующихся ответов и что эту особенность унаследовало по нем христианство. Поступая так, он сделал бы нам предохранительную прививку, чтобы мы потом не хватались слишком жадно за аксиому, что все человеческое находится в процессе становления, а не только существует, словом, освоил бы нас с историей. Но он был лишен воображения и от напора современности отгораживался барьером жесткой позиции.

Польский католицизм выказывает, кроме того, сильную склонность трактовать грех почти как правонарушение в римском праве, и Хомяк не составлял тут исключения. Это не совсем согласовывалось с его глубоким убеждением, что испорченность — нечто, присущее людям, что сами предписания не спасают. Но он множил казуистические классификации, как бы применяя максимум уголовного кодекса *nullum crimen sine lege*¹⁶. Грех это или нет — съесть что-нибудь точно в полночь, если утром идешь к причастию? Когда нарушение поста — тяжкий грех, а когда обыкновенный? Что можно делать в воскресенье? Что станет с детьми, если они умерли до крещения, а не могут попасть ни в Чистилище, ни на Небо? Количество подобных казусов пугало. В этом отношении Хомяк был жрецом Ветхого Завета. Поскольку у меня была скрупулезная совесть, я постоянно жил с чувством вины. Нетрудно догадаться, что это чувство тем более касалось вопросов пола. Католицизм к ним довольно снисходителен, но многие воспитанники нашего префекта никогда, наверно, не освободились от психических травм, и каждый сексуальный акт, даже благословленный Церковью, был для них злом. Выход они могли найти только манихейский: сознательное распутство, с преодолением самого себя, раз уж идеал поведения вообще недостижим.

Хомяк не умел нам по-настоящему показать, что нравственная обязанность касается личности другого человека. Его система наказаний и наград (параграфы и соответствующие санкции) была направлена внутрь, к спасению индивидуальной души, и отдавши другим «то, что им положено», ты выполнял лишь отрицательное условие, а подлинная работа начиналась позже, когда уже закроешь как бы окно, за которое изгнаны докучливые насекомые. Это не значит, впрочем, что он поощрял нас к созерцанию, к ритуальным очищениям, предметом которых является наша собственная личность. И в этом я тоже вижу одну из черт польского католицизма. Он подчеркивает ответственность в отношении общностей, то есть Церкви и Отчизны (в большой мере отождествляемых), но гораздо менее важной считает ответственность в отношении живых и конкретных людей. Он способствует идеализму разных видов и абсолютизирует действие: оно всегда должно иметь великие цели. Отсюда, может быть, происходит способность поляков на героические порывы и легкомыслие либо небрежность в отношении с другим человеком и даже равнодушие к его страданию. Они носят корсет — римский корсет — который лопается после определенной порции алкоголя, а из-под него проглядывает хаос, реже встречаемый в западноевропейской цивилизации. Религия редко бывает для них внутренним опытом, чаще собранием наказов, основанных на привычках и племенных предрассудках поэтому они постоянно находятся в рабстве Общественного Животного Платона¹⁷. Их литература полна проблем долга по отношению к общностям (Церковь, нация, общество, класс) и возникающих отсюда конфликтов. Ничего удивительного, что сила отрицания у некоторых была прямо пропорциональна силе этой традиции.

Ксендз считал меня атеистом, в чем ошибался. Я, правда, сам вводил его в заблуждение из своеобразной ревности: то, что скрыто, дороже нам, чем если бы мы оглашали это публично. Подобную склонность я заметил позже у крипто-католиков, принадлежащих к аппарату коммунистического государства¹⁸. Их религиозность была более пылкой, чем у открыто верующих. У меня было слишком мало данных, чтобы стать атеистом, потому что я постоянно жил в удивлении, как бы перед завесой, которая должна же была когда-нибудь подняться. Темперамент у меня был созерцательный, не склоняющийся к активной жизни, и заметки о природе, мгновения над микроскопом или впоследствии литература подчинены были одному и тому же закону сосредоточенности внимания на одном пункте. Кроме того, дома у меня не было повода для религиозного бунта. Индифферентизм отца не вызвал святошеского рвения у матери, она была католичкой, соблюдающей обряды, но без того, чтобы подчеркивать их значение. Зато все происходившее было для нее взаимосвязанным, предустановленным, а ее культ тайны, скрытой во всем, говорил об устойчивости чуть-чуть языческого мистицизма, так часто встречаемого в Литве. Мир для нее был местом сакральным, хотя разгадывание его загадки должно было произойти за гробом. Веротерпимость ее выражалась словами: «Каждый хвалит Бога как умеет» — и, как мне кажется, ей трудно было бы принять за аксиому, что католическая религия — единственно истинная. Жесткие категории Неба и Ада расплывались в ее пожимании плечами: «Что мы знаем?» Мои школьные скандалы с начальством вовсе ее не волновали.

Как быть с тем, что вселенная и прекрасна и в то же время математически жестока? Что здесь видимость и иллюзия, а что действительная суть? Я растаптывал гусеницу на тропинке, как совершают сексуальный проступок: хотелось бы этого не делать, но мы делаем, потому что живем на земле и включены в общий круговорот вещей. Какая разница, растопчу ли я ее нечаянно или же, когда сапог мой уже ее коснулся, осознаю ее присутствие и прижму подошву со злостью — злостью против того, чем я являюсь? Если Бог — злой, как я могу оправдать мою молитву? Когда Хомяк выгонял меня за дверь, я, протестующий, искал приватного пути. В двух книгах я пробовал найти помощь. Это были «Исповедь» св. Августина и «Религиозный опыт»¹⁹ Уильяма Джеймса.

Не суть важно, что это за книги и как их интерпретировали. Я черпал из них то, что было нужно мне. Если отбросить мысль о посмертных наказаниях и наградах как неприличную (ибо что это за пошлая торговая сделка), если история христианства вызывает сомнения не только потому, что часто оно служило маской для угнетения, также еще и потому, что первые христиане обманывали себя, ожидая исполнения времен; если догматы не согласуются с научным мышлением — тогда нужно открыть иное измерение, в котором противоречия меняют тон и обретают законность. Это другое измерение не мешает биологии и физике, оно существует параллельно. Сложность и богатство переживаний св. Августина были фактом, так же как фактом были религиозные экстазы многих обыкновенных мужчин и женщин, описанные Джеймсом. Как мне кажется сегодня, я не делал прагматического вывода: если что-то обеспечивает счастье и энергию, то критерии истинности и неистинности неприменимы. Нет, скорее я хотел убедиться, что мои запросы — не исключение, и понимал, что столь всеобщая жажда не может не быть удовлетворена. Иначе говоря, действительность я считал значительно более глубокой, чем то, что я мог о ней помыслить, и позволяющей разные виды познания — в чем я был верен матери и верен Литве, посещаемой духами Сведенборга²⁰. Мне не удавалось подавить внутреннюю уверенность: что существует светящаяся точка на пересечении всех линий и что, когда я ее отрицаю, я теряю возможность сосредоточиться, а вещи, стремления рассыпаются в прах. Уверенность касалась также моей связи с этой точкой. Я остро ощущал, что ничто не зависит от меня, что если я что-нибудь осуществлю в жизни, это будет мне дано, а не достигну мною. Время открывалось передо мной как туман, через который я, если заслужу, пробьюсь и тогда пойму.

Комедиантство, истеричность и глупость молодых мужчин часто неплохо соседствуют с серьезностью размышлений, и, по-видимому, для девушек-сверстниц эти грязные, шумливые создания, свою несмелость маскирующие нахальством, представляют загадку. Да и учителям, пожалуй, нелегко бывает отличить в учениках данные, предсказывающие будущую неудачу, от тех, которые могут привести к положительной роли в какой-нибудь области. В этих психологических дебрях уравнивошенный Рожек передвигался увереннее, чем ксендз. Эффективнее была и его борьба с похабными шутками и с приступами коллективного смеха при малейшем намеке на подробности человеческой анатомии. Под его холодной иронией виновник извивался, краснел и усваивал несомненную истину: что был ослом. Тогда как Хомяк, оконтуривая запретные зоны, не умел заметить, что в этом сложном химическом процессе ни один элемент не обнаруживал себя, а вступал во все новые и новые соединения, мешая нам хоть как-то разобраться в себе самих.

Тем не менее я должен был найти ему какое-то место. Вечная война мне наконец наскучила. Не доверяя идее вселенной как механизма — да, достижения науки прекрасны, но из них ничего не следует, — я позволял себе сохранять предрассудки и, принося жертвы маленьким лесным божествам, я был бы в согласии с собой, зная, что поступаю абсурдно, но еще крепче зная, что поступаю хорошо, ибо связь с силами, которые есть, хотя назвать их не удастся, требует символических жестов. Возможно, я преувеличиваю, но рассветы и закаты, проведенные в выслеживании лесных птиц, а также память о военных опасностях, пережитых в детстве, не предрасполагали меня к вере в случайность.

Вечно погруженный в великое целое, я был, как это называют, натура до глубины религиозная. Католическая церковь импонировала мне грандиозностью своего здания, она обращалась ко мне, не требуя ничего, кроме подчинения дисциплине и приостановления моего права рассуждать. Несмотря на все, как внимательный читатель истории Церкви, я соглашался с необходимостью дисциплины, потому что сам не мог изобрести никакой. Было ли это самоотречением? Я не терял надежды, что эту головоломку мне удастся разобрать и сложить заново. Хомяк уменьшался в моих глазах, он уже не занимал первый план. Да, убогий, но разве могла бы Церковь, будучи учреждением человеческим, росом людских поколений, не опираться на таких, как он? В последний год перед аттестатом зрелости между нами установилась не очень сердечная, но вежливая. Он, видимо, сориентировался, что силой меня не переломает. Когда он перестал на меня давить, я пошел на исповедь. Акт смирения перед Бытием должен был быть строго добровольный и личный, вне общественной традиции. Я поклялся себе, что никогда не заключу союз с польским католицизмом — не обязательно употребив именно этот термин, — что я не сдамся обезьянам.

Сейчас я вижу их обоих. Ореховые глаза Рожка окидывают нас, сидящих за партами, лаконичным взглядом. Из-под маски римского сенатора у него временами проступало личико внимательного крестьянского ребенка, маленького горца из карпатской деревеньки. Он прохаживается, заложив руки за спину, и, взвешивая фразы, рассказывает о дворе Августа. Хомяк роется в складках сутаны и вытаскивает носовой платок. Поскольку платок не слишком чистый, он пользуется им украдкой, сжимая в кулаке. Под глазами у него синяки, во всем лице утомление после дурной ночи. Оба они были для меня как бомбы замедленного действия. Первому я обязан тем неудовольствием, которое удручало меня в годы моих первых литературных опытов. Романтические печали или автоматизм вдохновения лишь заслоняли мою тоску по прозрачной, логической структуре, но не могли ее устранить. Второму я обязан моей чуткостью к запаху адской серы, моим принципиальным дуализмом, трудностью взаимоотношений с тем другим в нас, над которым мы не властны, но вынуждены глотать стыд за него.

Войны с Хомяком усиливали мою врожденную скрытность, дух противоречия и склонность к искусственным позам, выбираемым или для самообмана или для изощренной игры. Такие педагогические результаты, может быть, не заслуживают похвалы. Однако я никогда не перерезал ту нить неприязненного братства, которая нас связала¹. Я очень ощущал его присутствие, когда узнал после второй мировой войны, что он отказался уехать из нашего, взятого Советским Союзом, города. Страшный и несокрушимый, он остался со своими прихожанами.

Нельзя перестать быть членом католической церкви — так учит доктрина. И подтверждают это обе позиции, как приятие, так и протест. Прикрытый или обнаженный в своей остроте, центральный вопрос остается, и я думаю, что для всех, воспитанных в католицизме, хотя бы этого или нет, философия всегда *ancilla theologiae*². Может быть, впрочем, иной философии нет вообще и нужно признать, что правы те последовательные противники религии, которые искореняют всякую философию как подозрительную.

Сила католицизма — в разнообразии его аспектов, которые раскрываются и в ходе истории, и в сменяющих друг друга фазах индивидуальной жизни. Сохраняющееся вот уже несколько столетий напряжение между ним и «научным мировоззрением», хотя и порождает кризис веры в массах, скорее способствует обоим антагонистам. В конечном счете современная наука — создание иудео-христианское, и, пожалуй, только поэтому она сумела прийти до таких понятий о вселенной, которые не может представить никакой ясный и очевидный образ, которые могут быть выражены лишь при помощи знаков. Кто имел случай проследить этот спор в себе самом, согласится, что такое противоречие — продуктивно.

¹ «Утренняя песня» (1787) Францишека Карпиньского, ставшая, как и несколько других его текстов, религиозным песнопением польских католиков.

² Законоучитель в школе.

³ О них Милош рассказывает в повести «Долина Иссы» (1955).

⁴ Хомский

⁵ Марианские Содалиции, или Марианские Конгрегации, братства Марии — организации (мальчиков-школьников), посвященные культу Марии; первая была основана в римской коллегии иезуитов в XVI веке.

⁶ У католиков — ежегодный ритуал, имеющий целью достижение внутренней концентрации и нравственного очищения, обновления, существует с XVI века; различаются открытые реколекции — в костелах, для всех верующих, и закрытые — например, в монастырях или специальных помещениях для реколекций.

⁷ В «Метаморфозах» Овидия.

⁸ Соракте в снегу — в 9-й оде первой книги од Горация.

⁹ «Влекут на блоках высохшие днища» (перевод А. Семенова-Тян-Шанского) — 4-я ода из первой книги од Горация.

¹⁰ «Больше не буду стихи сочинять, любимая мама». Источник установить не удалось. А в автобиографической 10-й элегии из четвертой книги «Скорбных элегий» Овидий вспоминает, что его страсть к стихам вызывала неудовольствие отца. (За это указание благодарю М. Л. Гаспарова.)

¹¹ «Пан Бенет» (1859) — одна из поздних пьес Александра Фредро (1793—1876).

¹² Позже, в «Истории польской литературы» (1969), Милош подчеркивал значение традиций Реформации, не католиков, вольнодумцев, еретиков в польской культуре XVI—XVIII—XX столетий.

¹³ То есть после разделов Польши.

¹⁴ Дух времени (нем.).

¹⁵ Милош позже перевел Книгу Иова (первое издание — 1980).

¹⁶ Ни одного преступления без (карающего это преступление) закона (лат.).

¹⁷ К этому кругу мыслей и ассоциаций Милош вернулся в стихотворении 1988 года, где говорит о нации (польской, но и любой) как о Великом Звере Платона:

...Миллионноголовой Зверь хочет слышать только приятное.

Хочет слышать, что он — великолепный, героический, мудрый, благородный...

¹⁸ Милош писал о них в книге «Порабощенный разум» (1953).

¹⁹ Русский перевод книги — «Многообразие религиозного опыта» — вышел в 1910 году, польский — в те же годы. Книга оказалась важной для польских поэтов нескольких поколений (Стафф, Ивашкевич, Милош).

²⁰ О «духах Литвы» и Сведенборге Милош говорит в Нобелевской речи (русский перевод — «Иностранная литература», 1991, № 5); духовидцу Сведенборгу (1688—1772) посвящены многие страницы книги Милоша «Земля Ульро» (1977).

²¹ Ксендзу Хомскому был посвящен заключительный стих книги Милоша «Три зимы» (1936); его памяти Милош посвятил цикл стихов и эссе в книге «Необъятная земля» (1984).

²² «Философия — служанка теологии» — слова св. Петра Дамиани (1007—1072), теолога, автора нескольких трактатов.

О КАТОЛИЦИЗМЕ*

Воспитанный в католической религии, я не остаюсь равнодушен к великолепным успехам американского католицизма, читаю его прессу, высказываюсь за некоторых его известных деятелей против других известных деятелей и даже, может быть, могу считаться хорошим прихожанином. Или нет. Деление на верующих и неверующих всегда меня несколько смущало, потому что оно предполагает качественный скачок, разную субстанцию «верующего» и «неверующего». Я подозреваю, что, кроме немногочисленных исключений, мы имеем дело с решением, с волей верить или не верить, опирающейся на мотивы скорее побочные по отношению к сути, и что по характеру воображения те люди, которые ходят на мессу каждое воскресенье, не отличаются от тех, которые никогда не переступают порог католического храма. Я даже пошел бы дальше — трудность, которую должно преодолеть воображение, чтобы согреть и оживить религиозные символы, это, может быть, не последняя причина триумфов вероисповедания, не поощряющего частных размышлений и требующего, или требовавшего до сих пор, прежде всего послушания. В католицизме — безопаснее, решение касается, собственно, не веры, но покорности или бунта против авторитета, ответственность перекалдывается и верующий лишь исполняет: опускается на колени, подымается, опять опускается, поет, причащается, праздничный, как бы выделенный из самого себя.

Теплое, человеческое присутствие Бога, который воплотился, чтобы познать наш голод и нашу боль, чтобы мы не были обречены напряженно обращать очи к небу, но могли кормиться словом, высказанным такими же устами, как наши. И Бог-человек не есть один из нас в минуты нашей гордыни и славы, но один из нас в несчастье, в рабстве, в страхе перед смертью. Час, когда Он согласился пойти на пытки, преодолевает время, и века перемен, преходящие цивилизации оказываются незначительными, кратковременными, и какие-либо мертвые громады из цемента,

* Из книги «Видения на заливе Сан-Франциско» (Париж. 1969).

стекла и металла не сделают человека отличным от того, к которому Он обращал воззвание в Галилее. Он имеет право по-прежнему провозглашать: «Я — любовь»; Сын, а рядом с ним Мать, вечная мать, всегда скорбящая над страданием своего ребенка, покровительница, заступница, — и так догмат Троицы незаметно переходит в воображении в другой, не сформулированный догмат Троицы: Отца, Матери и Сына. Ее свет утверждает сосуществование и общности живых и умерших, диалог, заступничество. Таким образом, параллельно физическому пространству построено пространство чисто человеческое, наполненное лучами, идущими от очей к очам, от рук к рукам, голосами просьб и молитв. Все человечество, минувшее и нынешнее, — это поистине Церковь, сохраняющаяся вне обыкновенного пространства и времени, Церковь, противопоставленная необходимости, вписанной во вселенную. Католицизм — самая антропоцентричная из религий, и как бы своим избытком божественной человечности он сопротивляется уничтожающим современного человека точным наукам, стало быть, парадоксальным образом он менее, чем другие вероисповедания, подвержен разлагающему влиянию науки и техники. Даже Земля и Небо. Схождение и Вознесение имеют в католицизме особенности отношений не между мирами, но между человеческими ипостасями.

В то же время, однако, поскольку католический катехизис, крепость на скале, неуязвим, сила католицизма оказывается его слабостью. Разум заранее предупреден, что он не должен пускаться за стену догматов и тайн веры, смиренно склоняясь перед тем, что не перестает быть для него абсурдом, даже если он отречется от себя. Запрет правильный, ибо католицизм означает участие в трапезе, во время которой собравшиеся едят хлеб, пресуществленный в истинное тело Христа. Попытка зараженного рационализмом ума ответить на вопрос, как шепотка муки с водой может быть одновременно телом Бога, привела Цвингли¹ к тезису о том, что Христос присутствует в облачке лишь символически. В протестантизме это было начало падения веры в Евхаристию, то есть начало конца сакральной трапезы. Сколько же, однако, католиков, приступая к Причастию, напрасно стараются побороть в себе сомнение и прибегают к символической интерпретации, поскольку их ум не может ни преодолеть, ни обойти преграду!

Неучастие в воскресной мессе — смертельный грех. Перед принятием Евхаристии надлежит очиститься от этого и от других смертельных грехов исповедью. Но верующие не могут постичь ни значения Первородного Греха, который в катехизисах сводится к акту, нарушающему табу, ни значения греха вообще. Грех расплывается на суммы психологических и социологических факторов, универсализуется, превращается в чувство недифференцированной вины, и шепот через решетку исповедальни о нарушениях пронумерованных предписаний кажется беспечельным; исповедальня психоаналитика уже научила, что напех перечисленное жрецу не будет правдой и что отпущение грехов люди получают, будто бы сокрушаясь, тогда как на самом деле они трактуют свои прошлые поступки как более или менее неизбежные.

Решаясь быть искренним, пожалуй, каждый католик признался бы, что он не может связать воедино отдельные пункты доктрины. Так, например, *Credo*² не требует веры в бессмертие души, только веры в воскресение тела и вечную жизнь; это нечто совсем иное, нежели шествия астралов, духов, освобожденных от скелета и мышц. Но при этом требуют от воображения, чтобы оно совладало с тайной вечного наказания за зло, так сильно укорененное в некоторых людях, что это заставляет обратиться к другой тайне, тайне предопределения и свободы, а в то же время воскресение тел связывается с вечной физической пыткой.

Впадает ли в заблуждение тот, кто хотел бы понимать разумом то, во что он верит? Такое возражение было бы верным, если бы католицизм не трудился столетиями над возведением внушительной интеллектуальной системы вокруг догматов и если бы его теологи не укладывали в силлогизмы все хлопоты человека с проблемами его существования. Каждый раз как верующий, стоя на своем месте в церкви, не ограничивается бессмысленным исполнением, что, впрочем, невозможно, так он вступает в области, возделываемые и ведаемые теологией, хотя это вовсе не значит, что он должен был читать ее трактаты. Уже сама интеллектуальная структура католицизма приводит к тому, что препятствия для современного ума становятся очень заметными. Ибо система, доведенная до совершенства в тринадцатом веке (а до обновления ей, что ни говори, далеко), принадлежит к другой цивилизационной формации, к другой *episteme*³, и арки, пролеты, аркады, некогда ясные в своей связи и единстве, теряют очевидность.

Навыки, полученные католиком в детстве, склоняют его к уважению тайны, жизнь и смерть скрывают свои глубины под многими слоями смыслов. Тайна заставляет покорно подчиняться авторитету, черпающему свою власть из воли Бога, но разум колеблется между отречением от себя и надеждой, что есть какая-то тропинка, ведущая внутрь крепости. Если бы не эта надежда, то не было бы при входе в американские католические храмы прилавков с *paperbacks*⁴ католической философской литературы. Я допускаю, однако, что верующий, принося домой какой-

нибудь том «Суммы теологии»⁵ и усаживаясь серьезно его читать, принимает решение, не очень отличающееся от решения «быть верующим». Фразы, которые он встречает, оказывают непреодолимое сопротивление, наводят скуку, и можно сказать, что сон, склеивающий веки, обозначает границу между намерением и поражением.

«Summa Theologica» и Калифорния. Есть особый смак в таком сопоставлении. Калифорния, омываемая Тихим океаном, открытая в сторону островов Японии и азиатского праматерика, земля или, может быть, отдельная часть земного шара, потому что она и есть и не есть только один из штатов Северной Америки, принимающая ветры из-за моря, то есть с Дальнего Востока. Столица поисков мистического единства, расширяющих сознание наркотиков, экстатических сект, публикаций, посвященных индуизму и дзен-буддизму, пророков, вещающих мудрость, заимствованную у тибетских монахов, словом, всего того, что обращено против привязанности западного человека к интеллектуальной точности, привязанности одной и той же у Фомы Аквинского и у его светских последователей, якобы уже бесполезной и пагубной. Начало великого перелома? Ведь наука и техника, без которых калифорнийские пророки не имели бы что поеть, развились не где-нибудь, а только там, где и схоластики и их противники исходили из общей для них предпосылки, постулирующей гармонию между операциями разума и деятельностью мира.

¹ Цвингли Ульрих (1484—1531) — деятель Реформации в Швейцарии, основатель цвинглианства.

² Католический символ веры, начинающийся словом: «Верую...»

³ Знание (*древнегреч.*); отсюда — эпистемология (теория познания).

⁴ Дешевые издания в мягких обложках.

⁵ Основной труд Фомы Аквинского, написан в 1267—1273 годах.

РЕЧЬ В ЛЮБЛИНСКОМ КАТОЛИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ИЮНЕ 1981 ГОДА ПОСЛЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА

Многоуважаемый господин ректор, достойный сенат,
дорогие участники этого торжества.

Я чувствую себя, как студент, который заснул над книгами и видит во сне, что вдруг получил звание доктора, и не понимает, как это случилось и действительно ли это означает, что завтра ему не нужно сдавать экзамен, к которому он готовился. Такое сравнение пришло мне, может быть, потому, что с минуты, когда я напечатал первые мои стихи в ежегоднике нашего университета «Alma Mater Vilnensis», я сдавал много экзаменов, с разным, не всегда удачным, результатом. Но этот сон накануне экзамена имеет также много общего с чудесами утекающего времени, ибо я не полностью убежден, что действительно было все случившееся со мной в разных близких и далеких странах со дня, когда я покинул мой университетский город, что действительно были переводы моих книг на экзотические языки и моя профессорская карьера в Калифорнии. Прежде всего, однако, сон студента подводит к контрасту между непокоем, незнанием, нерешительностью молодости и торжественностью тоги и берета, в которые его облачают. А ведь постоянно происходит так, и это даже правило жизни среди людей, что одежды, которые мы носим, являют нас иными, чем мы есть в собственных глазах. Мы постепенно осваиваемся с ними, не без того, однако, чтобы наше подлинное «я», ощущаемое изнутри, не высказывало бы тихого протеста, мечтая об одеждах менее пышных, но более близких к телу.

Вероятно, многие присутствующие задают себе вопрос, что на самом деле думает старый поэт, который в своих заграничных скитаниях собрал три международных премии, в том числе Нобелевскую, и тридцать лет спустя возвращается в страну своего языка. Прежде всего я хотел бы предостеречь многочисленных, наверно, в этом зале молодых людей, мечтающих о профессии литератора. Содрогнитесь, если вы начинаете писать стихи. А если уже пишете, старайтесь их не печатать. Я говорю это потому, что печатное слово обладает удивительной способностью застывать в форму, которая вскоре становится автору чуждой и в которой он уже не может себя распознать. Тем не менее он должен нести ответственность, раз она была подписана его именем и фамилией, и так вот все, что для него является уже прошлым, складывается в общественный образ его творчества и личности. Он гнался, ловил, и казалось ему, что вот-вот поймает, а то, что выходило из-под его пера, трактовал как попытки, как подготовку к подлинному свершению. Но приходит день, когда он оглядывается назад и видит, что всякая временная форма превратилась в его дом навсегда. Он пойман ею и задержан, остановлен в своей погоне, а сам он над застывшей формой уже не властен.

В юности у меня были туманные представления о том, что такое почтенный возраст, рисовавшийся мне где-то после пятидесяти. Он виделся мне как спокойствие законченного труда, пожинание плодов, блаженная медитация по поводу пережитого. Сегодня, почти семидесятилетний, я вижу, сколь ошибочны были эти представления. Ибо старость оказалась горьким знанием, но также непокоем, неутолением и большим, чем когда-либо прежде, изумлением чудесностью жизни, а также неустанной надеждой, что я еще научусь и буду подобен тем японским художникам, которые, лишь отмечая свое девяностолетие, говорили: «Начинаю уметь писать». И, как легко догадаться, я сознаю одновременно, сколько в этом иллюзий, если освобождение от того, что для других кажется моей сутью, останется больше моим секретом, чем формой, которая преодолела бы ту, давнюю, поскольку с возрастом мы все более разборчивы и со все большим неудовольствием пользуемся имеющимися средствами выражения.

Может быть, особая причина такого ощущения недостаточности¹ — время, в которое мне выпало жить, вся спазматическая история Польши и мира. Размышляя над невероятными судьбами людей, городов и стран, я поражался, как мало из трагедии моего столетия нашло выражение в слове, а если и нашло, так только в обрывках, искажающих действительность. Действительность вздымалась надо мной и вздымается — будто огромная гора, которую не охватить взором. Также и повседневная действительность в Польше, удерживающаяся лишь почти нечеловеческим терпением и благоразумием всей нашей большой общности. Мне кажется иногда, что именно так могли бы замкнуть это в слове другие, которых я замещаю. Ибо отсутствие многих человеческих существ, миллионов, как в Польше, забранных смертью раньше, чем они реализовались, не может не изменить историю, и страну, и ее литературу, отсюда и моя мысль, что я пишу вместо них, также и вместо лучших, чем я, и более талантливых.

Меня называли когда-то катастрофистом и приписывали мне веру в близкую гибель человеческого рода, среди таких сцен, как из Откровения св. Иоанна. Называли меня также моралистом и усматривали в моих произведениях редкую ныне привязанность к неизменным этическим нормам. Эти названия не совсем точны, и многое из того, что я писал, объяснилось бы как бегство от них. С годами меня все меньше удовлетворяло то деление, которое является, видимо, основой всякого катастрофизма, деление истории на нормальное прошлое, ненормальное настоящее и гибельное будущее. И все больше раздражал меня в литературе тон оплакивания безнадежного якобы жребия современного человека, что, впрочем, я слышал вокруг себя с юности. Не то чтобы литературу нельзя прочитывать как пророчества, которые исполнялись. Уже в угрюмом тоне декадентов, символистов, модернистов было предвещие великой бойни, первой мировой войны, которая стала концом и позорным завершением девятнадцатого века. Но об их жалобах мы сегодня думаем без сочувствия. Вероятно, так же отнесутся и к нынешним благородным в своих намерениях нигилизмам и сеговоаниям о духовной обездоленности. Современность ненормальна, но какой она была почти всегда, а нормальной становилась только в воспоминании. Мы учились жить с катастрофой как интегральной частью исторического времени, по образцам Апокалипсиса, который есть не история, но метаистория, то есть рассказывает о втором плане, укрытом за историей. А что касается опасности науки и техники, несомненно обездоляющих человека, то нужно стараться их осмыслить, не для того, однако, чтобы вернуться к состоянию, когда их не было, но для того, чтобы подготовить новую науку, более человечную, и более человечную технику.

Моралистика и поэзия плохо согласуются, поэтому меня тревожило, когда меня причисляли к судьям, то есть к тем, которые достаточно чисты, чтобы выносить приговоры. Я уделил много внимания романтической теории художника как человека с изъяном недочеловечности, что так сильно представлено в «Небожественной комедии»², и что в двадцатом веке Томас Манн избрал центральной темой своего творчества³. Многие из открытий, совершенных в эпоху романтизма, сохраняют правомочность и ныне. Правда и то, что «язык лжет голосу, а голос мыслям лжет»⁴, обоснованно и осуждение поэта у Красиньского: «Через тебя течет поток прекрасного, но сам ты не прекрасен»⁵. И прав был романтизм, занимаясь также ролью поэта как медиума, как инструмента сил более мощных, чем он сам⁶. В раннем детстве, когда я умирал от дифтерита, моя мать вверила меня опеке Матери Божией Остробрамской, и я выздоровел. Затем я рос в католическом окружении, и необыкновенно сильное чувство греха, вплоть до склонности к манихейству, я приписываю моему религиозному воспитанию. И возможно, что я стал медиумом, устами которого вещали голоса определенной цивилизации, прочерчивающей благодаря христианству резкую границу между добром и злом.

И все же, принимая почетное звание в учебном заведении, выросшем из факультета теологии Виленского университета⁷, я чувствую себя обязанным заявить, что я не католический поэт. Тот, кто употребляет в литературе этот эпитет, предпо-

лагает тем самым, что другие поэты, без этого эпитета, — не католические, что представляется мне и сомнительным, и несогласным со смыслом слова *katholicos*, которое значит «всеобщий». Разделяя, легко проглядеть то, что людей соединяет, не делит. Как часто ныне верующий человек среди самых близких ему находит неверующих и, наоборот, неверующий вынужден как-то отгнестись к религиозной вере в своем ближайшем окружении. И я думаю, что и одни и другие принадлежат к одной и той же семье умов, если объединяются в своем уважении к великой тайне существования мира и человека, укрывая в сердце смиренное изумление перед тем лабиринтом противоречий, каким является наша жизнь, вырабатывая в себе дар внимания, который, если достигнет достаточной интенсивности, становится, как говорит Симона Вайль⁸, молитвой. Как бы они себя ни называли, все они — друзья человека, ибо их позиция уважения — противоположность презрению, с каким относятся к миру и человеку довольные собою адепты теорий и доктрин, имеющих на все ответ. Я был бы счастлив, если бы мои книги служили людям, в широком смысле этого слова, набожным. И если я занимался религиозными писателями, как Симона Вайль и Лев Шестов⁹, если я переводил и перевожу Библию, то не без скрытого намерения: я хотел, может быть, показать, что это не забронировано только для, если можно так выразиться, профессиональных католиков,

Я пытаюсь тут опровергнуть, хотя бы частично, определенные мнения о себе. Обязанный быть кратким, я заканчиваю, обращаясь еще раз к мечтающим о литературной профессии. Если они думают, что слава — вещь сладкая, ошибаются. Кто ее отведает, убедится вскоре, что это западня и смертельная опасность для души. Среди восхищенных шепотов, аплодисментов, вспышек фотоаппаратов легко впасть в восхищение собой и уверенность в себе, а это называется *hubris*¹⁰ и, как мы знаем из греческой трагедии, влечет заслуженную кару. Мне выпало счастье долго жить в изоляции и одиночестве и писать, как я тогда думал, впустую, а лавры начали меня венчать по-настоящему лишь несколько лет назад. И если я чего-то достиг, так благодаря одиночеству, этому горькому ученичеству мудрецов. Выдержу ли я и как выдержу новое испытание, не знаю. Может быть, лучшее лекарство — это память об обрядовом, символическом характере общественных чествований и увенчиваний. Я захожу даже так далеко, что приписываю некоторую случайность в отношении личностей, которые увенчиваются, то есть если бы этих людей не было, их нужно было бы изобрести. Так же как одиночество и отсутствие читателей ничего не говорят о ценности или об отсутствии ценности творчества, так и слава не является доказательством ни за, ни против. Сколь многих славных в свое время мы вспоминаем сейчас, пожимая плечами, тогда как другие сохраняют свое положение наравне с малоизвестными при жизни. И сейчас, когда я слышу из уст друзей о моих заслугах, я обороняюсь, возвращаясь мыслью к тем долгим и добрым временам, когда я один на один с моей совестью перебирал в памяти мои недостатки.

¹ Мысль о недостаточности поэзии, недостаточности литературы — постоянная у Милоша.

² Поэтическая драма Зыгмунта Красиньского «Небожественная комедия» (1833—1835) — одно из самых значительных и важных произведений европейского романтизма. Анализ этой вещи посвящен очерк Милоша (1959).

³ В эссе «Аморальность искусства» (русский перевод — «Вопросы литературы», 1991, № 6) Милош пишет об этом, отталкиваясь от рассказа Томаса Манна «Тонию Крегер».

⁴ Мицкевич, «Дядьды», часть III, «Импровизация».

⁵ Одна из первых фраз «Небожественной комедии».

⁶ Ср. в стихотворении «*Arg poetica?*» (1968):

...Стихи же писать можно лишь редко и нехотя,
под невыносимым нажимом и только с надеждой,
что мы не злых, а добрых духов меднум.

(«Новый мир», 1991, № 2).

⁷ После закрытия царскими властями Виленского университета (1832) его теологический факультет был переведен в Петербург, а в 1918 году на его основе был создан Католический университет в Люблине в обретшей независимость Польше.

⁸ Вайль Симона (1909—1943) — французская писательница, философ, «святая Симона». Милош опубликовал ее «Избранные произведения» в своих переводах (Париж. 1958) и посвятил ей статью «Значение Симоны Вайль» (1960).

⁹ Шестов Лев (1866—1938) — выдающийся русский и европейский философ. Ему посвящен большой очерк Милоша (1973).

¹⁰ Гордость, высокомерие (*древнегреч.*).

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

О СУДЬБАХ РУССКИХ МАЛЬЧИКОВ

(1941—1945)

В революцию и в 20-е годы заметным явлением московской жизни была маросейская мечевская община. Основание ей положил «городской старец» протоиерей Алексей Алексеевич Мечев (1859—1923), ставивший своей целью христианское просвещение обитателей столицы¹. Его личность производила равно большое впечатление как на простой народ, так и на столь различных людей, какими являлись Патриарх Тихон и философ Бердлев. После смерти старца его дело продолжил сын, священник Сергей Мечев (1892—1941).

В приходе Николая Чудотворца на Маросейке шла серьезная внутренняя работа, возвращавшая смысл жизни и ясное понимание своего места в ней многим взрослым детям этого лихолетья. Перед общинниками стояла насущная задача: найти путь, который помог бы им сохранить свою свободу и душу в окружающем мраке. В православных общинах того времени образованные слои общества возвращались к своим религиозным корням. Для мечевцев вера, убеждения и поступок сливались в неразрывное единство.

О. Сергей Мечев и большая часть его паствы не признали главой Церкви митрополита Сергия (Страгородского) после его декларации 1927 года. В 1932 году храм Николая в Кленниках закрыли. Еще раньше для отца Сергия началась череда заключений и ссылки; незадолго до войны он перешел на нелегальное положение, в июле 1941 года был арестован в последний раз и вскоре расстрелян в Ярославле. В те годы пострадали многие из его духовных детей. Но кружок мечевцев в Москве уцелел.

Судьба членов этой общины, супругов Пестовых, Николая Евграфовича (1892—1982) и Зои Вениаминовны (1900—1973), кажется вполне благополучной для того времени. Николай Евграфович был талантливым ученым, доктором химических наук, семья принадлежала к привилегированным научным кругам столицы, занимала отдельную просторную квартиру. Они с Зоей Вениаминовной получили хорошее образование: гимназия и Московское высшее техническое училище. Даже тюремное заключение, которого им обоим не удалось избежать, по тогдашним меркам было недолгим, исчислявшимся месяцами (Зоя Вениаминовну арестовывали дважды, в 1924 и 1931 годах). Николай Евграфович был старостой маросейского храма до его закрытия, а в одной из комнат его квартиры был сооружен престол, на котором тайно служилась литургия. Их дети не вступали ни в пионеры, ни в комсомол, что в то время и при общественном положении родителей грозило серьезными последствиями.

После войны Николай Евграфович организовал молодежный кружок по изучению истории Церкви, собиравшийся у него нелегально на дому. Своими церковно-историческими интересами он оказал влияние на будущего священника и богослова Александра Меня (1935—1990)², который через свою тетку В. Я. Василевскую (1902—1975)³, участницу движения непоминающих, соприкасался с мечевцами.

Для Пестовых важнейшим проявлением христианской жизни являлась семья и воспитание детей (Недаром священники Мечевы придавали большое значение созданию домашних церквей.)

Зоя Вениаминовна родилась в Угличе, в зажиточной семье врачей Бездетновых. Спустя много лет она писала в своих воспоминаниях: «Не хочется вспоминать тяжелое детство, дела, слова и речи, которые сеялись в душе родителями, далеко отстоявшими от Церкви. Грехи родителей терзали мою детскую душу — я все знала, все понимала в свои пятнадцать лет...»⁴.

Публикация и вступительное слово ПАВЛА ПРОЦЕНКО.

¹ См.: О. Алексей Мечев: Воспоминания. Проповеди. Письма. YMCA-PRESS. Париж. 1970 (2-е изд. — 1989). См. также: «Храм Николая Чудотворца в Кленниках». Вып. 1. М. Издание «Московского журнала». 1991.

² По словам о. Александра, первый человек, кому он понес на рецензию рукопись своей первой книги «Сын Человеческий», был Н. Е. Пестов. См. также интервью о. А. Меня в «Московском комсомольце» (16.9.90).

³ См.: «Два портрета (По воспоминаниям В. Я. Василевской «Катакомбы XX века»)». — «Вестник РХД» (Париж), 1978, № 124, стр. 269—298.

⁴ Из рукописи З. В. Пестовой «Поездка в Саров». В сокращенном виде опубликована в сборнике «Надежда» с моим предисловием (Франкфурт-на-Майне. 1983, вып. 9, стр. 170—216).

Николай Евграфович родился в Москве, в неверующей семье разорившегося владельца гастрономического магазина и начал свой путь вполне в духе эпохи: прапорщиком в тыловых частях на первой мировой войне, потом на гражданской в Красной Армии, где вступил в партию. Но в 1919 году в Москве он случайно попадает на лекцию «Действительно ли существовал Христос?» знаменитого проповедника Марцинковского, под влиянием которой в нем совершается религиозный переворот. Он рвет партийный билет, благо на учет, приехав с фронта, еще не успел встать. Посещая межконфессиональный студенческий кружок, он познакомился с молодежью из мечевской общины. Здесь встретил и будущую свою жену⁵.

В семье Пестовых было принято многое из того, что в обществе тогда считалось зорным или даже крамольным. Своих детей они воспитывали в ласке и нежности, и уже это вызывало нарекания окружающих («У Пестовых все время целуются»). Или ежегодное празднование Рождества Христова тогда, когда сам образ праздничной елки находился под административным запретом. «Зимой, обычно седьмого или восьмого января, — вспоминал Николай Евграфович, — у нас торжественно справлялась рождественская елка. Она была у нас неизменно и в те годы, когда это считалось предосудительным: елки разрешил нарком Постышев в 1937 году. В мешке или чемодане нам их привозили тайно. В этот вечер приглашалась многочисленная детвора из круга друзей и знакомых. Дети выступали с декламацией стихов, славили Рождество»

Пестовы-дети приучались к чтению на образцах дореволюционной детской литературы с ее подчёркнуто жалостливым и сострадательным отношением к людям и животным, «меньшим братьям», с ее призывом к жертвенности. До старших классов у Коли Пестова (1924—1943) не было близости со школьными товарищами, далекими от духа его семьи. Учился он прекрасно, за что однокашники прозвали его профессором, но избегал участия в обязательной для советских учебных заведений общественной работе. Родители, зная мягкий характер сына, побаивались: сможет ли мальчик осторожно и твердо не допустить вмешательства школы в свою духовную жизнь, не отступит ли при первых нажимах?

«Его вера, — вспоминал отец, — не позволяла ему быть пионером или комсомольцем. На него, как на лучшего в классе, всегда давили в этом направлении. Однажды класная руководительница вызвала его, двенадцатилетнего мальчика (шел 1936—1937 год. — П. П.), настойчиво уговаривала вступить в пионеры и расспрашивала о причинах отказа. В этих случаях он обычно молчал.

— Как тебе было при этих уговорах? — спросила его потом мама.

— Так страшно, мамочка, было, что коленки у меня дрожали, — отвечал Коля.

Но, несмотря на робость, выходил победителем при подобных испытаниях, хотя и знал, что его упорство в этом вредит ему. В одном из писем бабушке он упоминает: „Меня тягивали в комсомол, я выдержал диспут с комсоргом, и положение не изменилось. Окончить вторую четверть и быть отличником мне не дадут, да мне и не надо, незачем: прошел учебный год, я кончил отличником, а похвальную грамоту мне не дали”.

История заквашена на чуде. Несомненным чудом является и то, что в тоталитарную эпоху не перевелись на Руси юные души, изо всех сил старавшиеся сохранить верность любви, но не идеологии. К этому племени относился и Николай Пестов...

При составлении подборки воспоминаний супругов Пестовых и писем их сына из военного училища и с фронта (всего сохранилось около 130 писем) мною использованы воспоминания Николая Евграфовича «Памятник на могилу сына», написанные в конце 50-х годов. Заметки Зои Вениаминовны вписаны ею в одну из машинописных копий воспоминаний мужа.

Н. Е. ПЕСТОВ, З. В. ПЕСТОВА. Воспоминания о сыне

Н. Н. ПЕСТОВ. Письма близким

1941

Н. Е. Пестов

Немцы быстро продвигались в глубь страны и приближались к Москве. Жизнь выходила из колен. Началась сплошная эвакуация учреждений, заводов и вузов. МЭИ был вывезен в Среднюю Азию, а Колюша остался с семьей в Москве.

Так как все учреждения эвакуировались, то мы все остались без службы: Чтобы что-нибудь заработать, стали плести веревочные сумки-авоськи. Но это давало мизерный заработок и право лишь на одну рабочую карточку для всей семьи.

— Колюша, комендант нашего дома предлагает тебе быть истопником. Мы получили бы вторую карточку рабочую, и ты помог бы семье.

⁵ Некролог Н. Е. Пестова опубликован в парижском «Вестнике РХД» (№ 136, стр. 303—304).

Колюша сразу согласился и, будучи студентом, стал выполнять грязную и утомительную работу.

Следует заметить, что работать истопником в то время было изнурительнее, чем обычно. Топлива было мало, и топили всем, что только можно сжечь.

Долгое время Колюше приходилось сжигать горы старой бумаги, которую сваливали в кочегарку эвакуировавшиеся из Москвы учреждения. Топка от бумаги очень быстро засорялась, а при шуровке из нее вылетали тучи пыли из бумажной золы и обуглившихся листочков. Поэтому Колюша возвращался всегда с работы крайне изнуренным, с черным от угольной пыли лицом и утомленными от бессонных ночей глазами. Но он не роптал.

В это тяжелое для семьи время Колюша помогал нам и тем, что ходил разгружать автомобили с картофелем у продовольственных магазинов: за это ему отпускали картофель вне очереди и в увеличенной норме.

3. В. Пестова

Лето 1941 года мы жили на даче (100 км от Москвы). Николай Евграфович приезжал по воскресеньям.

22 июня было объявлено по радио, что немцы начали войну. Я пошла на речку встречать мужа и Наташу.

«Николай Евграфович! Объявлена война,— сказала я и вдруг добавила: — Колюша будет убит!»

«Ну что ты, война окончится через два-три месяца, а Колюше еще семнадцать лет».

...Ставлю к чаю самовар без воды. Распаялся.

«Быть беде!» — пророчит хозяйка избу.

Особенно негодует Сережа: «Нельзя же так расстраиваться! Коле еще семнадцать лет». А сам ставит самовар другой.

Хозяйке была нужна горячая вода, она слила из нашего самовара, а Сережа ушел и забыл. Еще второй самовар сел. «И у меня беда будет!» — говорит хозяйка.

А я все твердила: «Колюша будет убит!» (Коля в 1943 году был убит, а Клавдия, дочь хозяйки, умерла.)

...Хотели сразу же после 22 июня ехать в Москву, но узнали, что студентов и девяти-десятиклассников комсомол посылает на фронт. (Всем московским комсомольцам пришли повестки, и их сейчас же отсылали; класс Зои Космодемьянской взяли 25 августа.) Да, детей, не умеющих стрелять,— окопы рыть! Школы работать не будут — детей всех эвакуируют.

В деревне стоял вой матерей. Провожали детей — сыновей четырнадцати лет — в Смоленск. Дети скоро, дней через 15, убежали: есть нечего, немцы быстро двигались на Москву.

Коля, Нюра и Сережа (пятнадцати лет) рыли «окопы» в деревенском поле. Крестьяне эти окопы называли «братскими могилами». Ведь вокруг леса, овраги. Зачем рыть?

Чтобы помочь фронту, мы раздобыли тележку и ходили по хатам, собирая железный лом. Крестьяне не отдавали старых сох, но давали всякий лом, и мы собрали за неделю две тонны лома, который и свезли в Коломну на переплавку. Некоторые говорили: «Вот патриоты»,— а другие: «Вот придут немцы и вас повесят».

Перестали продавать хлеб и крупу. 25 августа велели «прорежать помидоры, свеклу». А их и не видно под травой, все заросло. Скот отправляют! По вечерам ночное затемнение в деревне, а с немецких самолетов бросают листовки и зажигательные ракеты. Все собираемся у клуба и смотрим, как в Москве бьют снаряды, сплошной заградительный огонь.

9 сентября стали снимать электрички, и 10 сентября мы спешно покинули деревню и вернулись в Москву.

В магазинах ничего нет. Наташа достала 10 кило изюма; я, простояв в очереди два часа, кило масла. Нет картофеля, нет круп, мяса.

Все ходят советоваться: ехать из Москвы или оставаться. Москва готовится к защите — везде мешки с землей, везде достраивают бомбоубежища — в садах, в подвалах, в метро.

Часто, по 4—10 раз в сутки, объявляет радио: «Граждане, воздушная тревога». Улица пустеет. Стекла на окнах заклеены марлей. Коля делает деревянные ставни, да разве они спасут? По крыше стучат осколки разорвавшихся снарядов. Прожектора ловят немецкие самолеты, увозя их из города.

Бабушка с иконой ходит вокруг нашего дома. Заготавливаем доски, деревяшки — топить плиту. Керосина нет. А главное — голод идет!

25 сентября москвичам были выданы спецталоны на «сталинский пуд» муки. Тысячные очереди стояли в магазинах. Так как многие уехали, то талоны разошлись,

и паника усилилась. Мы (пять человек) встали в 4 часа утра, а дошли в 11 вечера: подходили «свои», «без очереди». И это было счастье, что мы получили: это была последняя мука на складе, а за нами стояли еще сотни людей. По знакомству кое-кто забрал белой муки, но мы были счастливы, что хоть ржаную-то получили.

25 ноября я, Коля, Наташа и Сережа, помогая на складе (немцы приближались, и все склады распродавались), заготовили пять мешков картошки, что спасло нас от голода.

Институт, где я работала, эвакуировался, и я осталась без заработка. Дети — без школы. С одним учителем организовали где-то в подвале классы. Записались многие, и мы открыли «курсы 7—8-х и 9—10-х классов». Сережа в седьмом классе, Наташа в девятом. Ребята сидели в нетопленных классах в шубах и шапках. Мы вели настоящие уроки, взяв из школ парты и доски. А в школах были лазареты для раненых. Весь 1941/42 учебный год школы были закрыты.

Н. Е. Пестов

При окончании средней школы Колюше суждено было пережить первое юношеское увлечение одной из своих одноклассниц, Лидой Ч. (Впрочем, оно было и последним.) Зарождение чувства произошло на выпускном вечере в средней школе... Наступила война, и Лида эвакуировалась из Москвы. После этого они изредка обменивались письмами, и он виделся с нею несколько раз непосредственно перед отправкой на фронт.

Николай Пестов — Лиде Ч., 16 октября

За ночь положение резко ухудшилось. Радио принесло нерадостное известие. Может быть, мы больше и не увидимся. Может быть, это письмо до тебя не дойдет или же твой ответ не дойдет до меня, если ты только не в Москве. И вот теперь я снова с тобой прощаюсь — мало ли что может случиться? А если что-нибудь и случится, то это не будет иметь значения. Все равно в этом реальном мире, полном забот и скорбей, полном несчастий и страданий, ты для меня уже не существуешь. Ты для меня существуешь только как мысленное представление твоего образа. Ты заняла в моей душе тот тихий и спокойный уголок, где дремлют все мои драгоценные мечты, святые заветы моих предков и надежда на счастливое будущее великого народа и всего человечества.

А что я для тебя?

Этот вопрос во мне еще теплится, еще немного — и он совсем погаснет... Но тебя я не забуду.

Я думаю, что это мое последнее письмо. Но ты все-таки напиши мне хоть два слова: так тяжело жить одному, без друзей, одинаково с тобою мыслящих.

Иногда, когда я думаю о тебе, о справедливости судьбы по отношению ко мне и о надеждах, которые должны сбыться, мне кажется, что мы встретимся тогда, когда эта буря пройдет, этот кошмар кончится и великий народ заживет спокойной, трудолюбивой жизнью своих предков. Тогда мое счастье будет полным. До свидания. Прости.

З. В. Пестова

Я и Колюша вели карту войны, отмечая красными флажками движение войск. А фронт был совсем близко! Участились налеты. Газетные полосы посвящались подвигам наших войск, подвигам комсомольцев. Коля делал вырезки из газет. Мы восхищались и Чекалиным, и Космодемьянской, и другими, отдавшими свою жизнь на подвиг.

11 октября началось общее бегство жителей Москвы. Уехали правительственные учреждения (и митрополит Сергей, в Ульяновск). А в Москве военное положение.

5 декабря у деревни Дубосеково дивизия Панфилова отогнала немцев от «последней трамвайной остановки». А Николаю Евграфовичу все предлагали ехать в Сибирь, на руках уже были бланки, но мы решили никуда не ехать. Кому мы там нужны? Мы беспартийные, погибнем от голода и холода. Особенно отговаривала нас бабушка: «От гнева Божия не убежишь».

1942

Н. Е. Пестов

Видя, как изнурительно влияет на Колюшу работа истопником, я нашел ему другое место — ученика электромонтера в научном институте. Здесь он проработал до весны 1942 года, когда хотели возобновить занятия в Энергетическом институте.

В 1942 году зимой мы уже не голодали: разрешили личные огороды (сто квадратных метров — сотка — на человека), и мы запаслись овощами на зиму.

...В первый год войны Энергетический институт еще не давал брони от призвания на военную службу для студентов первых трех курсов, а срок призыва Колюши приближался. «Может быть, ты поступишь в Станкин? Там, говорят, дают броню от призыва», — как-то спросил я. «Но это значит на всю жизнь посвятить себя военной специальности», — возразил он и отклонил мое предложение.

Незадолго до призыва Колюшу вызвали в военкомат и сказали, что направят его в артиллерийское училище. При этом спросили, какой вид артиллерии он хочет выбрать, полевую или зенитную. Коля ответил: полевую. Я был очень недоволен его ответом и спрашивал, почему он сделал выбор более опасного вида войск. Для Колюши, помню, были тяжелы мои упреки. Он молчал в ответ на них и не объяснял мне мотивов своего выбора, впрочем, не оказавшего никакого влияния на его судьбу. Он был направлен курсантом в пулеметно-минометное училище.

Колюша и ранее не пропускал праздничных церковных служб, но последние месяцы до призыва стал ходить еще усерднее.

В августе 1942 года Колюша призван на военную службу и должен ехать в военное училище. Перед отъездом он подумал о том, как должен быть распределен оставшийся после него на месяц хлебный паек. При прощании наша бабушка сказала ему: «Колюша, попомни обо мне, когда ты будешь архиереем». Он серьезно ответил ей: «Хорошо, бабушка».

Всей семьей мы пошли его провожать. Он простился с нами совершенно спокойно и легкими шагами ушел от нас за дверь комендантского помещения, охраняемую часовым...

Коля в вагоне и едет в Ярославль с товарищами. Грубость и распущенность царят среди последних. (Благодаря обилию подробностей в письмах этот восьмимесячный период жизни Коли мы знаем, пожалуй, не хуже, чем время его совместной жизни с нами. Более того, эти письма были для меня откровением, раскрыли для нас его внутренний облик, чего могло и не произойти, если бы он был с нами.)

Николай Пестов — родным. Август

В Загорске заснули, в Александрове встали, начали ужинать. Почему-то на всех напало желание ругаться. Вижу, дело идет к анекдотам. Тогда я сказал: «У меня есть предложение». Общий интерес: «Какое?» «За едой не ругаться». Один сказал «во», другой — «дело», третий — «идет», четвертый выругался. «Я говорю серьезно, — сказал я, — и ставлю на голосование. Почему вы считаете, что перед едой шапки снимать надо, а ругань — продолжать? Надо быть последовательными». Предложение приняли единогласно под давлением аргументов. Лишь один согласился от чистого сердца. Потом опять ругань. Мне довольно удачно пришлось разыграть рассерженного. «Или выполняйте договор, или расторгнем». Больше ругани не было. У кого срывалось, заставлял извиниться перед всеми.

Н. Е. Пестов

По приезде в Ярославль курсантов не сразу зачислили в военную школу. До этого их посылали работать в колхозе, рыть картошку.

В КОЛХОЗЕ

Николай Пестов — родным

Вот уже десять дней как я веду походный образ жизни. Сплю на полу, рюкзак под головой, ляжка обмотана вокруг руки. Встаю в пять или шесть часов, умываюсь холодной водой из пруда, потом мерзну, пока не потеплеет. Последние два дня грелись у костра, варили картошку.

Кормят нас неважно, но кто с головой, а кто, еще лучше, с компанией, не растеряется и поест за двоих. Мы попали в пулеметчики. Все говорят, что это лучше, чем в минометчики. С дисциплиной очень строго...

Ночью мерзли на сеновале. Ложились в девять, но еще часа полтора ругались из-за мест...

Стали рассказывать анекдоты. Я лежал, заткнув уши. Я тогда еще не умел засыпать среди шума и разговоров, а теперь засыпаю скорее не от появившейся привычки, а от вечного недосыпания. Лежали на боку, тесно прижавшись друг к другу, как штампованные детали на конвейере...

Мамочка, ты боялась, что я окажусь инициативным, быстро попаду под влияние других. Вышло не так. Я вроде как бы «комиссар» отделения. Фактический командир отделения, Покровский, командует строем. А бытом — командую я. Я подаю за обедом пример — снимаю шапку, — остальные делают то же...

Когда ребята разболтаются до анекдотов, я напоминаю, что они за столом. Часов ни у кого нет, я определяю время по солнцу и звездам. Когда предоставлялась возможность, ребята меня проверяли три раза. Я ошибался на 5—10 минут.

Когда едим вместе, то они едят быстрее и успевают съесть больше. Но едят они лишнее, а я — сколько надо.

К моему образованию все относятся с уважением. С одним я ради практики разговариваю по-немецки, а с другим — по-английски. Я даю ребятам научные советы: не пить на дорогу, разуваться на ночь, мыть лицо после похода, — и меня слушаются. Когда один из нас заболел желудком, я велел отдать ему все белые сухари и сахар. В ход пошли и мои галеты...

Я уже писал, что назначен завхозом в нашей компании. Все, что мы имеем привезенного из дома, полученного здесь и купленного на рынке, я делю поровну точно между нами шестерыми.

Ребята уверяют меня, что они голодны, и требуют разрешения покупать на рынке больше хлеба. Я говорю, что, судя по себе, мы не голодаем и можем подождать до 1 октября. Когда нас определяют в училище, на первых порах будем получать по 45 рублей. Думаю, мне этого хватит. Обо мне не беспокойтесь.

Я себя чувствую очень уверенно, по дому не скучаю и сам себе в этом удивляюсь. Стараюсь писать вам каждый день. Когда будете писать мне, напишите, каков доход от огорода.

Николай Пестов — Сереже Пестову. Начало октября

Поздравляю тебя с Ангелом и днем рождения и желаю тебе всего хорошего. Дарю свой микроскоп и подзорную трубу. Возись с ними сколько хочешь и изучай оптику на практике.

Ты просишь рассказать несколько смешных случаев. Их масса, ведь вся эта вольнка — сплошное недоразумение. Но я их не запоминаю, смех нашей компании пустой и грубый... Бывают и прискорбные случаи. Вчера в столовой я разливал суп по мискам. Ребята спорили из-за табака, один — воронежский — здорово ругался. Я крикнул: «Прекратить ругань». Меня не послушали. Тогда я дал воронежскому половником по лбу, — все расхохотались, забыли про табак и принялись за еду.

Бывают и остроумные случаи. В колхозе мы таскали в мешках картошку. Ребятам пришлось очень много потрудиться, они спорили с лейтенантом, который требовал «темпов и скорости». Тот наконец рассердился и сказал: «Прекратить разговоры. Вам, будущим командирам, надо быть выносливыми».

Я сказал из толпы: «При плохом питании выносливость ведет к истощению». Он разозлился, но меня не видел и крикнул: «Кто сказал?» Я ответил: «Павлов». Он опять не видел: «Кто это Павлов?» «Русский академик».

Это прозвучало так неожиданно, что все рассмеялись и лейтенант тоже. Теперь ему уже нельзя возвращаться к серьезному разговору. А такие пререкания с командиром редко проходят даром. Один москвич получил пять суток ареста за «разговор» с майором, другой — два наряда. Вообще у нас строго.

Ты не удивляйся моей смелости. У нас без некоторого нахальства нельзя, и я уже немного набрался: силой отнимал у других казенные котелки, которые те не хотели отдавать; отнимал в столовой у своего стола миски и хлеб, чтобы произвести правильную дележку, срывал с голов фуражки и кидал вниз (в вагоне, когда новоприбывшие пытались разместиться на полках, а мы отбивали атаку).

Будь здоров, расти большой, не попади на мое место...

Николай Пестов — матери

Мама, помнишь, на вокзале одна мать провожала своего Васеньку, парня громадного роста. Этот Васенька порядочный лопух, ленив и неуклюж. Ребята над ним смеются, зовут его не иначе как «большой».

А я зову его «Вася» и вообще пытаюсь завести порядок звать друг друга по имени, так что он всегда ищет у меня поддержки. Когда над ним смеются, я перевожу разговор. Мы едим из котелков попарно, и он ест со мной. В вагоне тоже мы спали вместе — никто не хотел спать с таким «длинноногим».

...У нас во взводе есть сержант — окончил два курса в Омском педагогическом институте по части истории. Я вчера перед сном с ним познакомился. Разговор начался с угличского вечаевого колокола, сосланного в Тобольск. Никто ему не верил, я один поддержал его.

Лежа вечером, мы болтали с сержантом о древних цивилизациях Египта и Вавилона, о возникновении христианства, о Петре I, о Бисмарке, о том, что есть

прогресс, и о двух «библейских легендах» — всемирном потопе и вавилонской башне...

Сегодня читал ребятам и переводил «Страдания молодого Вертера». Потом говорил вообще об иностранных языках... Здесь, в здании, на сцене стоит рояль. Я никак не могу до него добраться. Совершенно нет свободного времени. А поиграть на рояле ужасно хочется... Кажется, всегда вел такую жизнь — спал на полу, ел из котелка, умывался водой из пруда...

Наша компания все больше и чаще ссорится. Пятеро травят шестого, все время порываются оставить его без ужина, так как на ужин мы из своих средств варим какао и картошку на костре, а он ничего не хочет давать. (Мы разгружали баржу, и нам дали картошки.) Я, как завхоз, продолжаю делить все поровну, тем самым настраивая ребят и против себя. Зато я разрешил им оставить его без табачного пайка, который в мое ведение не входит...

Теперь нас пятеро, шестого выгнали из коммуны. Ребята подозревают, что он украл у меня несколько оставшихся конфет и пачку махорки у П. Мне его ужасно жаль (хотя он хвастун, эгоист и лентяй), до чего же он не приспособлен к жизни. Он один пропадет.

УЧИЛИЩЕ

Николай Пестов — родным

Мы уже три дня обедаем в столовой училища. Уплетаем пшенку за обе щеки. Я всегда делю все. Кроме меня, никто не умеет точно разделить на всех сидящих за столом несколько обкромсанных буханок с довесками и ведро супа или каши или тарелку сахарного песку. Обычно после моей дележки все бывают в восторге от точности, особенно когда дело касается белого хлеба...

Еще ребята довольны тем, что я не велю им есть, пока дележка не кончится, и потом, когда тарелки расхватывают, беру себе что останется, хотя все части равны. Однажды одному пареньку вылили чашку кипятка в кашу за то, что он делил сам и себе положил больше всех. Теперь всегда делю я...

Пишу письма во время перерыва, по десять строчек в перерыв. У ребят получается впечатление, что я пишу по десять писем в день; грозят, что не будут давать ручку...

В перерывы я вытаскиваю Гёте и читаю; ребята смеются — «как еврей с Библией». От дождей и походов он размок, истрепался и развалился по листкам, но я его все-таки прочту еще несколько раз. Остальное время пропащее...

Теперь меня заметил и лейтенант. На уроках по оружию я его заменяю; он использует это время в своих интересах и теперь ко мне расположен; спрашивал о моем образовании.

Состав у нас неважный: 80 процентов деревенских с семью-восемью годами школьного обучения. Это очень сильно сказывается в преподавании и проведении свободного времени...

В перерывах из класса всех выгоняют, так как все курят (махорку, от которой меня тошнит, покупают в бане за сто пятьдесят рублей стакан). Без курева ребята очень страдают; видя, как они выпрашивают друг у друга окурки, сознаю свое счастье.

Вообще я держу ребят в своих руках. Двое определенно поддаются моему влиянию. Кажется, у меня сильная воля, только не для себя. ...Нас расформировали, московскую компанию разбили, чему я очень рад. Поговаривали, чтобы создать из москвичей комсомольско-молодежный взвод. Вы понимаете, кто бы туда попал (кто этого не заслуживает, и вообще я против уравниловки)...

Н. Е. Пестов

В первых числах октября Коля пишет о грозящих ему неприятностях: «Лейтенант сказал, что желательно, чтобы мы все подали заявления в комсомол. Так что вы это примите к сведению». Последними словами Коля просил помочь ему молитвой.

Эта опасность так беспокоит Колюшу, что он решается на все. В конце письма он замечает: «Многие ребята недовольны нашей жизнью и хотят ехать добровольно на фронт. Я тоже поступлю так, если дело дойдет до комсомола. Прощайте и поминайте».

Николай Пестов — родным

У нас очень строго: утром плохо заправишь матрац — наряд, встанешь в строй в грязных ботинках — второй наряд, начнешь пререкаться с командиром — три наряда. Как правило, это мытье полов ночью. Некоторые мою полы чуть ли не каждый день.

Я внеочередного наряда еще не имел. Я объясняю это тем, что довольно дисциплинирован по сравнению с другими. Когда я совершу проступок (это бывает редко) и командир мне выговаривает, я молчу, и все проходит хорошо. А другие за самый пустяковый промах получают наряды после препирательства с командиром. У нас все возмущаются мелочностью и «придирчивостью» командиров, я один нахожусь все в порядке вещей.

Н. Е. Пестов

Питание у курсантов было недостаточное при крайнем напряжении сил и постоянном недосыпании. Овощей в пище почти не было: обед состоял из неизменного супа «пшенки» и жидкой пшенной каши.

Стрелковые занятия длились по восемь часов (с девяти до пяти) и сопровождалась лежанием часами в окопах и снегу или переползанием по мокрой земле. Казармы не топили, и обычно в них было плюс пять градусов; между тем курсанты в гимнастерках — шинели надевать не разрешалось — спали под тонкими одеялами. В баню почти никогда не водили. Зимой два месяца водопровод был замерзшим и в казармах не было воды. Негде было умываться, лишь изредка удавалось вымыть руки на кухне. От малейших царапин вследствие грязи на руках вскакивали нарывы. Все курсанты, в том числе и Коля, захворали фурункулезом, и развились кожные заболевания. Фурункулы у Колюши были и на руках и на ногах. Он болел ими потом почти год — они прошли у него лишь к осени 1943 года.

Следует упомянуть, что многие подробности из жизни в Ярославле мы узнали лишь впоследствии из рассказов Коли. Он не писал о них в письмах, чтобы не расстраивать нас.

Николай Пестов — родным. 10 октября

Вчера у нас был поход — восемнадцать километров в колхоз за соломой для тюфяков и подушек. Туда шли днем, назад вышли в семь вечера, а пришли в первом часу ночи. Таких грязных людей, какими мы вернулись, я никогда не видал. У всех ботинки промокли, обмотки в комьях грязи, руки по локоть в глине, на коленях и бедрах грязь, тюфяки тоже вывалили в лужах. Мы и сегодня ходим все еще мокрые. Мне теперь кажется странным, как это я раньше ходил в темноте осторожно, обходил маленькие лужицы, а если шел домой мокрый, то знал, что мне есть что сменить. А тут я шел с чувством: все равно, куда ступить, в лужу так в лужу, падать так падать, лишь бы в темноте не отстать от своих; все спешили на ужин. Опоздай мы на два часа, остались бы не евшими до утра. И мы в темноте бежали по лужам, падали в канавы, вязли в грязи, но успели на ужин.

...Если утром промок на занятиях под дождем (а нам еще не дали шинелей), то будешь ходить мокрым весь день, и лишь за ночь рубашка и гимнастерка высохнут. Мои ботинки не высохали, с тех пор как их выдали, а портянки высушают только ночью, и мои ноги совсем разучились отличать мокрое от сухого. Занятия по строевой и физической подготовке — сплошное мучение. Бегаем по два километра с оружием, лазим через заборы и тому подобное.

У нас стараются подавать заявления в комсомол — все двадцать пять человек. Учите это... Прощайте и выручайте.

Приписка отца

Колюша всегда имел большую веру в молитву семьи о нем.

Николай Пестов — родным. 13 октября

У меня со всеми очень хорошие отношения. Иногда ребят куда-то посылают, в город или за город, и они возвращаются с морковью, капустой, огурцами, купленными или даровыми. Все выпрашивают «кусочки» овощей у тех, кто принес их, иногда получают желаемое, но чаще всего нет. Я никогда ничего не прошу, даже не намекаю. Ребята сами подходят ко мне и предлагают изрядные порции. Иногда, когда несколько ребят принесут моркови и каждый даст мне по несколько штук, у меня оказывается больше моркови, чем у тех, кто ее доставал.

Иногда ребята обступят того, кто принес кочан, и он угощает товарищей маленькими ломтиками или листиками, и все галдят: «мне отрежь», «меня не забудь». Тогда я слышу слова: «Хватит с вас, надо еще Николаю оставить», — и мне остается чуть ли не полкочан. Когда он попадает в мои руки и я тоже начинаю делить его, слышатся такие голоса: «Ну чего вы обнаглели? Ему самому ничего не оставите». И некоторые настаивают на прекращении дележки. «Николай, не давай им больше, ты же себе не оставишь».

Чем я вызвал к себе такое хорошее расположение, сам не понимаю. Может быть, крайне добросовестной дележкой хлеба в столовой: я делю очень точно, и все бывают довольны. Меньшую порцию (если дележка бывает не совсем точная) я всегда беру себе. Раньше ребята видели в этом справедливость, а теперь протестуют, сами выбирают для меня большую порцию хлеба или мяса. Когда не удастся положить в каждую тарелку по картошке (крупяной суп), я наливаю туда больше жижи. Потом жеребьевка. Один отворачивается, я беру тарелку и спрашиваю — чья? Он называет фамилию, я даю.

А что только делается за другими столами: каждый держится за свою тарелку и кричит: «Мне мало, мне подлей». Довольно часто делильщик берет себе большую порцию, поднимается крик и шум...

Не беспокойтесь, с комсомолом дело замялось.

Николай Пестов — отцу. 29 октября

Дорогой папочка!

Давно собирался ответить на твое письмо, часто обдумывая, о чем буду писать. Ты, очевидно, неправильно понял мое отношение к комсомолу и фронту. Я только собирался сопротивляться до конца, но не думал сам заикаться о фронте.

Я именно так и сделаю, как ты советуешь, во всем отдаваясь воле Бога, никогда не проявляя инициативы, где это касается моей судьбы. Когда спрашивают: «Кто кончил десять классов?» — я молчу, а вопрос о высшем образовании ставится редко.

Поэтому я до сего времени был середняком. Только недавно командир взвода, лейтенант, «заметил» меня, когда я его замесал на занятиях по пулемету. Потом мне предложили стать командиром отделения, заменить одного «семиклассника», который совсем плохо владеет языком. Я отказывался, хотя меня и убеждали, просили и напоминали, что командир отделения не имеет закрепленного оружия, которое надо чистить и таскать на себе во время походов, не ходит в очередной наряд и имеет много других льгот. Я так и остался рядовым курсантом...

Сегодня на политзанятиях преподаватель сказал, что ему нужен помощник, который будет опрашивать всех и выставлять отметки: он просил выставить кандидатуры. Все в один голос закричали: «Пестова». Я думаю, что они рассчитывали на мою образованность, честность, проверенную в столовой, и доброжелательность ко всем...

Все недовольны своими отделенными командирами, поэтому ребята так и свхатились за возможность самим выбрать себе начальника. Впрочем, они говорят, что из меня выйдет хороший командир, с сильной волей, приводят как пример мои действия за столом и прочее.

Теперь совсем о другом.

Как-то ты мне сказал, что надо уметь в каждом жизненном случае, в каждой так называемой случайности видеть указание Бога и что ты теперь этим руководишься в жизни и во всех вопросах.

Сперва я очень удивился и подумал, что я додумался до этого раньше тебя, четыре-пять лет назад, но потом понял, что «додумался» только частично, только для второго случая.

Первый случай — он предшествует всякому делу — указывает нам, как поступать, даже если совесть спокойна относительно любого выбора. Я еще не научился узнавать в этом случае волю Бога: очевидно, надо «подумать о Боге» и отказаться от всякой инициативы. Я это делаю не всегда, иногда стараюсь сам догадаться, как будет лучше, но частое применение этого правила ведет всегда к тому, что мне часто явно «везет».

Второй случай — после всякого дела — показывает нам, правильно ли мы поступили. Свои неправильные поступки, то есть грехи, я распознаю по двум положениям: 1) наказание следует немедленно и 2) следует в этой же области, в этом же вопросе. Впервые такая мысль пришла мне в голову, когда я получил «пос» на экзамене по литературе в восьмом классе.

Тогда я был в совершенном недоумении, не понимал воли Божией, так как все данные были за то, чтобы получить «отлично». А потом я вспомнил, что учебник по литературе был у меня не свой, а найденный, и, узнав перед самым испытанием, чей он, я его не отдал владельцу.

С тех пор я стараюсь в каждой неудаче видеть указание на неправильно совершенный поступок. Так и теперь. Будучи в колхозе, я обнаружил, что потерял ложку. Я вспомнил, что вынимал ее последний раз в поле, когда незаконно съел одну ложку из ведра, которое нес с кухни своим ребятам.

На том месте она и осталась. Я вернулся туда, но ложки не нашел. Я удивился, что не мог найти ложки, — я ведь понял свой проступок и раскаялся. Вернувшись в деревню, решил себе купить деревянную ложку или выменять ее. В первом же доме я получил ее за десять конвертов.

И я все понял и увидел в этом величайшую мудрость: 1) она досталась мне совсем даром и 2) теперь всякий раз, когда я сажусь за стол и делю суп, она напоминает мне о моем проступке; если бы я нашел свою старую ложку, я бы забыл об этом.

Но все же я недавно немного нечестно поделил хлеб, и в тот же день у меня стащили перочинный нож, которым я резал хлеб. Иногда мне приходят в голову мысли о суровости и даже жестокости наказания (ножик из-за пятидесяти граммов), но я все же думаю: ни шагу назад от тех принципов, на которых я воспитан. И во всем вижу справедливость.

А когда я задаюсь вопросом, как же живут другие (почему они не растеряли своих ложек и ножей), то отвечаю: во-первых, «с них меньше взыщется», а во-вторых, и им даются такие же указания.

Пример с моим соседом за столом. У него была своя ложка железная; он решил, что неплохо бы иметь в запас и для продажи потерявшим свои ложки несколько ложек еще, и стащил в колхозе у хозяйки три деревянных ложки. И я в течение недели наблюдал, как у него не осталось ни одной. Свою стальную он выронил в уборной и не смог ее достать; одну деревянную он забыл в столовой; вторую украли; третью он сломал, вытирая ее краем клеенки. Ночью он стащил ложку в соседней роте, на другой день и ее потерял.

Один паренек из нашей роты дал ему свою запасную, из нее он ест и до сих пор. Случай поразительный.

Я ему говорил: «Знаешь пословицу — ворованное добро в кармане не держится». Он махнул рукой. Разве ему понять? Меня эта жизнь очень многому учит, я только жалею, что у меня не хватает времени, чтобы читать.

Папочка, ты был прав, когда говорил, что я не смогу выполнять утреннего и вечернего <молитвенного> правила. Так оно и оказалось. Мы встаем по команде, еле успеваем одеться, вечером моментально засыпаем от усталости. Но я очень часто вспоминаю и тогда делаю это, стоя на посту, шагая в строю, сидя в столовой в ожидании обеда. Я стал чаще вспоминать об этих правилах, поскольку надо мною часто нависают всякие опасности, мне часто грозят неприятности. И все всегда кончается очень хорошо, даже выгодно для меня. Мне во всем «везет». Я еще ни разу не мыл полов, так как командир отделения «свой» — вместе были на всеобщее, мне достаются легкие обязанности, легкие посты, во время трудных занятий по физкультуре я всегда бываю или занят в ленкомнате, или на дежурстве и прочее и прочее.

Папочка, помни, что сын твой останется верен своим убеждениям и своим родителям. Еще я очень часто вспоминаю, что мне во всем везет благодаря тому, что вы обо мне молитесь...

Пишу ночью на дежурстве, завтра будут тактические занятия за городом. Пришлось бы таскать на себе оружие и пулемет, рыть окопы и лежать на морозе в шесть часов утра, но мне повезло — я буду спать.

Николай Пестов — крестному отцу

Постоянное желание улучшить свободную минутку научило меня ценить время... Еще больше научился я ценить положительные знания. Мы здесь изучаем оружие, химическое дело, инженерное, баллистику. Когда кончится война, эти знания окажутся ненужными. А разве я раньше мало уделял времени другим, не нужным человеку наукам? Я изучал механику, а куда я ее сейчас применяю? Если бы я полтора года назад увидел себя объясняющим курсантам убойную силу пули, я не пошел бы в Энергетический институт, пошел бы в медицинский. И я это сделаю, когда вернусь из армии, если только к тому времени не найду более гуманного поприща для служения человечеству.

...Я стал очень внимательно присматриваться к каждой случайности в жизни, стал рассматривать их как указание Бога... Для меня нет случайностей, все что-нибудь да значит. Всякую «случайность» по людским понятиям надо рассматривать как непонятый жест Судьбы. Если я теряю карандаш, то вспоминаю, что только что без всякой причины отказался дать его на время товарищу. И карандаш находится. Если же я найду чужой карандаш и не постараюсь найти его владельца, я должен быть готов к тому, что потеряю и чужой карандаш и свой. Если сказать об этом кому-нибудь, не назовут ли меня сумасшедшим? А ведь я всю свою жизнь стал рассматривать по мелочам. И как я благодарен Судьбе, что попал в такие условия, которые учат меня жить; и я готов пробыть здесь столько, сколько надо, чтобы после войны, научившись жизненной мудрости, жить правильно.

* Имеются в виду слова Христа из притчи о благоразумном домоправителе (Лк. 12, 48): «Кому много вверено, с того больше взыщут». (Здесь и далее прим. публикатора.)

Николай Пестов — отцу. 20 декабря

Сначала я хочу рассказать о своем отношении к наукам, к обществу, к своему будущему, изменившемуся от постоянного занятия делом, к которому не лежит душа. Когда-то я спорил с тобой о том, что «мы» должны активнее вести себя, «бороться», не замыкаться в своем кругу и так далее. А теперь я строгий индивидуалист; может быть, потому, что не имею здесь себе равных и мне не с кем поделиться своими мыслями. Те науки, которые мы здесь изучаем, изменили мое отношение ко всем наукам. Я теперь признаю одну медицину; жалею о том, что учился в МЭИ, а не в медицинском, туда я пойду после войны.

Раньше я часто мечтал о своей карьере: то инженера, то философа, а чаще всего дипломата (это свойственно всем в моем возрасте). А теперь, когда возможности для карьеры самые широкие, я мечтаю иногда о роли сельского учителя или просто доктора, иногда о спокойной жизни огородника или еще о чем-нибудь подобном.

Когда я думаю, куда же поведут меня дальнейшие события, накапливающийся жизненный опыт — не к желанию ли пойти по Дивеевскому пути (имеется в виду монашество, священство. — *Прим. Н. Е. Пестова*), — я говорю (Богу. — *Прим. Н. Е. Пестова*), что я готов пробыть в этих стенах, а потом и в запасном полку — и даже, если надо, попасть на фронт, на передовые позиции, словом, носить военную форму, — до тех пор, пока мои взгляды не сформируются окончательно и я не решусь пойти по единственно правильному последнему пути...

Хочу написать о моем отношении к еде. Вы, наверное, удивлены тем, что я пишу, что нас то хорошо кормят, то плохо. Сейчас я думаю, что хорошо. Сначала, когда мы только что приехали, нас кормили хорошо. Потом дело пошло, как мне казалось, хуже.

Однажды я вспомнил, что раньше писал вам, что «у ребят от хорошего питания развивается жадность», — я сообразил, что и со мной случилось то же, что еще немного, и я буду так же постоянно думать и говорить о еде, как Н. в прошлом году. Я стал убеждать себя, что нас кормят хорошо, в этом мне помогли несколько уроков, данных мне Богом.

Я уже писал вам, что потерял ножик после нечестной дележки хлеба, а затем нашел его, когда понял этот случай. Аналогично, когда я хоть немного недобросовестно разделю хлеб, мне достается нецелая селедка или тарелка с жидким супом.

А недавно я снова потерял первый ножик, затем сломалось короткое лезвие у другого — я все это принял к сведению.

Раз в две недели, а то и в десять дней рота идет в наряд: кто на кухню, кто за дровами, кто в караул или в патруль, кто посыльными из штабов. Тогда рота кушает не вся сразу, а кто когда придет, и все едят по-разному. А кое-кто благодаря тому, что на кухне работают свои же ребята, поест за троих. И вот однажды, придя с поста, старался поесть получше; и все равно попал на тот стол, куда принесли совсем водянистые щи. Я злился на себя, не хотел понять волю Бога, ушел в караул голодным. Через час ребята с кухни принесли в караульное помещение кастрюлю с кашей для «своих». А я стоял на посту у дверей, видел, как все объедались, а сам не мог сойти с поста. Разозлился еще больше, разгорелась жадность. За ужином я опять пытался поесть получше, долго торчал в столовой, но остался ни с чем, а в карауле мне попало от лейтенанта за отсутствие.

Тут я смирился и старался перестать думать о еде, хотя был голоден после плохой еды и стояния на морозе на посту. И вот когда я совсем примирился со своей судьбой, пришли ребята и пригласили меня в столовую пообедать во второй раз. Я, конечно, согласился и благодарил Бога за такой урок.

В другой раз я опять пытался поесть добавочно, а потом вспомнил о предыдущем уроке, махнул рукой и пошел на почту отправлять вам золотую бумагу (для елочных игрушек. — *Прим. Н. Е. Пестова*). Одна тетка, после того как я написал ей адрес на посылке, дала мне сухарей. Я увидел в этом Промысел Божий, так же как и тогда, когда стоял на посту в пропускной будке, вызывая курсантов к приехавшим родителям, а те угостили меня кое-чем.

Много подобных уроков давал мне Бог, и я все больше и больше приходил к такому выводу: не надо слишком заботиться о еде, следует довольствоваться своим законным пайком; а тем более нельзя гореть желанием поесть, когда не заслужил этого работой.

Когда я был патрулем, я мог беспрепятственно ходить по городу. Товарищи приглашали меня после смены пойти на Московский вокзал, а там, притворившись проезжающим красноармейцем, пообедать бесплатно в столовой. Они уже несколько раз делали так беспрепятственно и удачно. Тем не менее я не согласился. Они пошли на вокзал, я — в казармы.

В этот день мне подали в столовой полную тарелку супа, а когда я был в гастрономе (зайдя туда с улицы, чтобы погреться), продавщица угостила меня ломтем хлеба граммов в триста.

Вот такие и аналогичные факты воспитывают меня. Я теперь твердо решил довольствоваться своим пайком и не желать большего, а тем более честно делить все за столом. Об этом мне напоминают ножик со сломанным лезвием и ложка, — я когда-то потерял точно такую же.

Другой случай: будучи дежурным по конюшне, я довольно легкомысленно относился к своим обязанностям, редко заходил в конюшню, осматривал город целый день. Внешне все было в порядке, и я сдал дежурство. А через пять дней меня вызвали и сказали, что во время моего дежурства пропали седло, сбруя и сумки. Мне пригрозили трибуналом, дали сутки на розыски.

Я был совсем подавлен событием. Я сознавал, за что так случилось, и принял меры в смысле раскаяния. Само собой выяснилось, что после моей смены на конюшне произошла кража, а чтобы свалить вину на меня, в книге сдачи и приема дежурства после слов «дежурство сдал Пестов — дежурство принял такой-то» приписали «не хватает того-то». Когда меня повторно вызвали в штаб батальона, я там держался стойко и бодро, отрицал кражу во время моей смены. Теперь, кажется, все дело кончилось для меня благополучно.

Вот так, диалектически рассматривая всё, все случаи, даже малейшие детали, я формирую свое мировоззрение. Куда это ведет меня — не знаю.

Я записался в библиотеку — и не знаю, что читать. К светской литературе не лежит душа, научную — умышленно отталкиваю, военную изучаю лишь по мере надобности.

Все больше и больше замыкаюсь в самом себе, становлюсь неразговорчивым и нелюдимым, но отнюдь не падаю духом. Я бодро ожидаю того дня, когда надену гражданское платье и смогу пойти по выбранному мною пути. Пока что я его не выбрал и потому должен ждаться. И не ожидая скорейшего окончания мною военной службы, должен чаще говорить: «Да будет воля Твоя». И по отношению к своим начальникам вести себя так же, пусть они сами за меня решают мою судьбу.

Если надо — я готов быть отчисленным и быть выпущенным лейтенантом. Все, должно быть, к лучшему... Простую, примитивную, часто легкомысленно истолковываемую пословицу «нет худа без добра» я рассматриваю как выражение величайшей мудрости.

Когда-то Гегель сказал: «Все существующее — разумно». Не знаю, что он хотел сказать этим, но я бы сказал: «Все случающееся есть указание Бога на наши ошибки и достижения, и потому все разумно». И все существующее существует с целью дать людям возможность изучить Бога, изучить Его волю и научиться правильно жить.

Николай Пестов — Наташе Пестовой. 9 ноября

Моя милая, дорогая сестра. Я вчера прочел твое искреннее, простое письмо, оно так пришлось мне по сердцу, что я прочел его несколько раз без малейшего желания раскритиковать его или придрасться к чему-либо. Твои переживания мне были так близки и понятны, так сходны с моими собственными, что и у меня на глаза навернулись слезы.

Бывают такие минуты, когда хочется почувствовать себя в другом мире, вспомнить свою семью, убедиться в том, что где-то с нетерпением ждут твоих писем, беспокоятся о тебе, переживают вместе с тобой все твои невзгоды. Тогда я достаю пачку писем и перечитываю их все: от первого, от 25 сентября, до сегодняшнего. И в простых словах, которые обычно представляют для меня семейную хронику, чувствую, что я для кого-то дорог, меня с нетерпением ждут.

...Я вижу мою семью, сидящую вокруг стола (почему-то при свете керосиновой лампы): маму, распечатывающую фиолетовый конвертик или белый треугольник; папу с задумчивым и печальным лицом, облокотившегося на стол; тебя, моя сестричка, мой тяпик, стоящую коленками на стуле; Сережу, бросившего рисовать миниатюрные танки и слушающего письмо; бабушку, прислонившуюся к дверям и стоящую в темноте. Я сам нахожусь где-то рядом и слышу ваши голоса. Это похоже на сон, да и во сне я часто вижу то же.

Когда я вспоминаю свою семью, нашу квартиру и прежнюю жизнь, то жалею о потерянном времени и лишнем знании, которые придется забыть. Когда я вернусь домой, я буду совсем другим — дельным, серьезным, очень ценящим любовь...

Николай Пестов — Лиде Ч. Конец декабря

...Домой я пишу почти каждый день — это называется хроникой. Если в хронику и влетает что-либо эмоциональное, то оно из-за краткости лишено вдохновения. А сейчас мне хочется высказать всё сразу, чтобы, увлекшись воспоминаниями,

соединить воедино все пережитое в Ярославском пулеметно-минометном училище за полтора месяца. Это не так трудно сделать: здешняя жизнь так однообразна, что достаточно описать один ее день.

Он начинается с протяжной команды «подъем», от которой одеяла летят куда-то в сторону, все вскакивают как ужаленные, с быстротой и ловкостью матросов спускаются с нар, чтобы успеть за четыре минуты одеться и выбежать в гимнастерках во двор на пятнадцатиминутную зарядку на морозе. Кто опоздает, будет «заряжаться» не пятнадцать минут, а тридцать, и потому все, толкаясь и застегиваясь на ходу, пулей вылетают с крыльца. А при возвращении — давка в дверях: озябнув, все спешат зайти в казарму.

...Первые два часа — строевая подготовка; забрав оружие, идем на стадион. Винтовка на плече, поддерживаемая левой рукой; выбрав момент, когда лейтенант не видит, правой рукой придерживаешь приклад, даешь отдохнуть утомленной левой. Так каждый день, и ты привыкаешь, забываешь о том, что в согнутой руке — четыре с половиной килограмма, которые ты должен носить во имя будущей победы над фашизмом.

...Иногда вместо строевой бывает более веселое занятие — физическая подготовка: «скачок вперед, скачок назад». Мартышкин труд, по выражению старшины. Со смехом и упорством курсанты изучают способы колоть штыком и бить людей прикладом.

Возвращаясь в казарму, думаешь о беспорядочно и бесцельно проведенном времени, потраченном на усовершенствование в деле истребления людей.

Так каждый день, и эта мысль учит меня ценить время. Правда, я немного научился ценить его, когда зимой 1941/42 года работал истопником и электромонтером. Придя с работы, я старался употреблять оставшиеся несколько часов для работы над собой. Я прочел много книг, из-за пренебрежения отвергавшихся мною раньше, я полюбил хороший роман. Я научился играть на рояле и полюбил музыку, незнанием которой раньше бравировал. Я окончил переводческие курсы и использовал свое знание немецкого языка, которое раньше не ценил. Но если бы я увидел себя сегодня марширующим на стадионе, я бы использовал время втрое лучше.

9 часов. «Рота, выходи строиться на завтрак!» Роту, выстроенную в колонну по четыре, ведет старшина. «Рота, стой!» Старшина скрывается в здании: надо доложить о прибытии роты, которая, ежась от холода, стоит в стойке «смирно» перед крыльцом. Наконец команда: «Справа по два шагом марш». Через минуту все стоят вдоль столов. «Снять головные уборы», «Садись», «Приступите к еде».

Я делю хлеб и масло. Не всякий сумеет точно и честно разделить между сидящими за столом несколько обкромсанных буханок и кусок масла. Мне эта работа доверяется как математику... Сахар и суп делят другие, потому что уже через пятнадцать минут: «Рота, кончай кушать», «Встать», «Выходи строиться».

Курильщики задерживаются в дверях покурить, а некурящие, ожидая их, мерзнут на улице в строю. Старшину ругают за нераспорядительность, а курящих за несочувствие к товарищам. Только укоряют — надо же учитывать людские слабости. «Шагом марш», «Рота, стой».

Старшина снова бежит докладывать о прибытии роты, мерзнувшей на улице в ожидании команды «разойдись».

Следующие два часа по расписанию — изучение материальной части оружия, огневая подготовка — проводят командиры взводов. Но наш лейтенант перекладывает эту работу на мои плечи. Что стоит для меня, изучавшего в институте теорию машин и механизмов, понять принцип работы пулемета? Десять минут. А тем, кто окончил семь классов, нужны часы, и я разжевываю им работу замка пулемета при стрельбе. Вот куда уходят еще два часа, вот куда я применяю мое знание механики.

Так каждый день. Я думаю о том, на что мне понадобится после войны мое знание всех этих орудий истребления людей...

Недавно воронежские ребята поспорили, войдет ли гривенник в электрический патрон. Сказано — сделано. Яркая вспышка, брызги расплавленного металла, все от испуга разбегаются, оставив гривенник в патроне. Два дня казарма была без света — монтер не мог найти повреждения, пробки вылетали, как только их ставили на место.

И вот эти ребята, побоявшиеся после короткого замыкания подойти к патрону, изучают полевой телефон УНАФ на уроке связи. Никто не может понять назначение трансформатора и микрофона, дело идет так туго, что сам преподаватель получает прозвище «Унаэф».

Политподготовка похожа на изучение катехизиса.

«Что сказал товарищ Сталин о дисциплине?» — «Армия без дисциплины превращается в сброд».

«Что сказал Суворов о боевой учебе?» — «Тяжело в ученье, легко в бою».

«С каких пор военная присяга дается индивидуально?» — «С 1939 года».

Доходит очередь и до меня, и мне задается вопрос: на чем зиждется дисциплина в капиталистических армиях?

Ответ должен быть простой: «На страхе и обмане». А я начинаю распространяться о классовых противоречиях, цитирую Бисмарка: «Солдат должен бояться своего командира больше, чем пушек неприятеля», — и Вильгельма II: «Если бы солдаты знали истинные цели войны, они никогда не пошли бы воевать». И я зарекомендовал себя как образованный человек.

На санитарном деле скучаю еще больше, зато баллистику слушаю с любопытством. Чтобы довести до своих слушателей какие-то крохи знаний, преподаватель прибегает к примитивному объяснению отдачи, выстрела, взрыва, а когда дело доходит до такого сложного явления, как дериация, он начинает говорить буквально глупости.

Тем не менее никто ничего не понял, а на вопрос «ясно?» все хором ответили: «Ясно!» — в надежде на то, что Пестов все объяснит. Мои объяснения кажутся ребятам более простыми и понятными. Все «проясняется», и масштабы, и действия отравляющих веществ, и работа пороховых газов.

Возвратившись из классов в казарму, все обступают дневального, который раздает почту... Я получаю ежедневно несколько писем. Позавчера ребята вручили мне сразу шесть писем, одно было от Лиды Ч. Через десять минут они с усмешкой спросили: «Ну, что тебе пишет твоя любезная?» А мне было не до шуток, я сказал им, что мой первый школьный товарищ Боря С. в боях под Сталинградом лишился левой руки. После непродолжительного молчания кто-то сказал: «Ничего, ты отомстишь».

...Последние и самые трудные часы занятий — тактика в поле, в шести километрах от города. Мы забираем все оружие, в том числе и пулемет, который разбирается на две части, по тридцать два килограмма каждая; все несут их по очереди по полтора-два километра. Когда я раньше носил такие грузы, то приравнивал это к героизму, а ведь сейчас несую эти два пуда без отдыха и в строю, и это не кажется ничем особенным.

...Если сегодня оборона, мы возвращаемся в казармы замерзшими после продолжительного лежания в окопах; если сегодня наступление, мы возвращаемся мокрыми после подползания и стремительной атаки.

...В пять часов обед. Роту ведет лейтенант К. Он хороший, не заставит всех зря мерзнуть на улице. И правда, не останавливая роту, он подает команду: «Самолет». И все разбегаются.

Но вот веселое ожидание обеда сменяется вполне нормальным чувством, чем-то средним между голодом и сытостью, настроение у всех падает... После чистки оружия — два часа самоподготовки, это почти те же обязательные занятия... Иногда, пользуясь отсутствием начальников, я беседую с курсантами о Суворове и Кутузове, о планетах, о звездах, об особенностях иностранных языков. О Ростане, Ибсене, обо всем, что их интересует.

Когда политрук спросил ребят, кого бы они хотели выбрать ему в помощники — проводить систематический опрос курсантов по политподготовке, все единогласно выбрали меня. Им понравилась моя система преподавания и опроса, товарищеская и простая, без крика и дисциплинарных взысканий за сонливость. На днях выбрали товарищеский суд; они не упустили возможности самим выбрать себе хоть одно должностное лицо, и меня единогласно утвердили председателем суда.

Вчера, когда я у карты объяснял ребятам положение в Африке, командир взвода, лейтенант, спросил меня: «Ты это дело, — он показал на карту полушарий, — хорошо знаешь? Завтра объясни мне кое-что, а то иногда курсанты спрашивают, а я не знаю... Неудобно получается».

Стоило написать одну заметку в стенгазету, и пришлось фактически редактировать ее; мне поручили оформление ленкомнаты к празднику, меня назначили агитатором во взводе, несмотря на то, что я не комсомолец. Так, против моего желания, мое образование делает мне карьеру. И вот я вчера был назначен командиром отделения вместо паренька неумного, но крикливого. Это налагает на меня массу обязанностей и ответственность за семь человек и в то же время освобождает от мойки полов, чистки оружия и других дел.

«Рога, выходи строиться на ужин». Роту ведет лейтенант Н., не только строгий, но и злоупотребляющий своей властью. Беда, если кто запоздает в строй, — будет стоять на морозе еще с четверть часа. Во дворе скользко, снег давно утопан тысячами ног, идти трудно, а лейтенант гоняет роту строевым от казармы и обратно: «Пока не пройдете как следует: строевым шагом и с настоящей песней, чтобы стекла дрожали».

...Самый драгоценный час — личное время курсантов. Правда, это свободное время часто употребляется для общественной работы, но в большинстве случаев все используют его для писания писем.

...Кто не пишет писем, собираются в кружок и поют песни хором или слушают сольное пение под аккомпанемент гитары или гармонии. Поют о «девушке по имени Людмила, отдыха не знавшей сестре», о печальной участи преступников, не могущих исправиться, о любви, разрушенной войной, о любимой девушке, вернувшейся на правильный путь бандита-уголовника. Эти романсы — и старое и новое — совсем не похожи на те песни, которые мы поем в строю, которые рекламируются в кино и по радио. И лишь как исключение на мотив «Сулико» исполняется «Катюша». Часто поют «Из-за острова на стрежень», «Ямщик» и другие народные песни с медлительным и торжественным мотивом, которые напоминают мне Баха, Бетховена и церковные песнопения.

Иногда в ленинской комнате собирается целый оркестр двух рот: две гармонии, гитара, балалайка, мандолина и губная гармоника. Устраивается целый концерт. Конферансье — сержант-армянин, рассказывающий анекдоты истинно армянские, совсем не похожие на те, которые зовем армянскими мы, москвичи.

Иногда все собираются слушать рассказы фронтовиков о прошлом годе войны, о пепелище освобожденных деревень.

...Иногда мы идем в клуб-читальню. Там я играю на рояле вальсы из «Ромео и Джульетты», «Фауста», «Под крышами Парижа» и «Дунайские волны» — то, что больше всего нравится ребятам.

...В десять часов — отбой. У меня еще зимой появилась привычка: перед сном обдумывать прошедший день, делать выводы из всех событий. Это материалы для писем отцу...

Н. Е. Пестов

С середины ноября положение Коли с внешней стороны несколько облегчилось. Из дома он получил несколько посылок с теплыми вещами и продуктами. Кроме того, его назначили командиром отделения и дали звание сержанта.

СЕРЖАНТСТВО

Николай Пестов — родным

Ребята очень рады, что отделенный теперь я. Сами мне говорят, что я лучше к ним отношусь, чем другие, и забочусь о них. Приводят такой пример: «Товарищ командир отделения; у меня для чистки оружия нет ни пакли, ни масла, ни тряпок». «Языком вылижи, а чтобы винтовка чистая была», — говорили им командиры.

А я иду или занимать в долг все это в другом взводе, или выпрошу у старшины, или дам из запаса, который у меня всегда предусмотрительно имеется.

Вообще это очень неприятно, когда молодым ребятам дают власть в руки и они таких же, как сами, заставляют мыть полы вне очереди, всячески над ними издеваются и не позволяют им по-дружески с собой разговаривать...

Вчера у нас отчислили тех, кого командиры считали неспособными стать лейтенантами. В число четырех попал и Н. Его считали копухой, лопухом и слабоватым. Перед этим он чистил пулемет; по всегдашней привычке держать детали в карманах забыл о «боевой личинке» да так с ней и уехал. Пулемет не работает, и командира его отделения должны отдать под суд — почему не осмотрел оружия после чистки?

А позавчера другой такой же неудачник обратился ко мне с просьбой попросить лейтенанта перевести его в мое отделение. Он мне прямо так и сказал, что я один хорошо и с сочувствием к нему отношусь — понимаю его неспособность к учению. Он обещал мне быть прилежным и дисциплинированным, не «позорить» мое отделение так, как он «позорил» другие, по мнению лейтенанта.

Я даже не мог себе представить, чтобы человек мог так унизительно умолять меня. Мне самому было не по себе, когда я отказал ему: не хотелось с ним возиться. Все-таки он упросил самого лейтенанта и с радостным восторгом доложил мне о его распоряжении. Теперь его отчислили, а мой поступок остался у меня на совести.

Н. Е. Пестов

В конце ноября у Коли усиливается фурункулез. Упомянув в письмах об обострении болезни, он замечает: «Вся надежда на врача Пантелеймонова». Так он зашифровал святого великомученика Пантелеймона, которого почитал. Позже, заметив в наших письмах беспокойство, Коля перестал жаловаться на фурункулез, хотя страдал им почти год. Деньги, которые мы посылали ему, чтобы хоть несколько улучшить его питание, он высылал нам обратно.

...Наконец разразилась и гроза, которую Коля предчувствовал.

Николай Пестов — родным. 4 декабря

Новое осложнение прежнего дела. Лейтенант принес анкеты и раздал всем: «Заполняйте и вступайте». Я целый день проволынил, а другие тем временем вступили в комсомол. Сегодня лейтенант спросил: «В твоём отделении сколько не комсомольцев?» «Все». «Это они с тебя пример берут! — он здорово рассердился. — Чтобы сегодня же вечером подать анкеты». Что-то будет?

Н. Е. Пестов

Под давлением начальства весь взвод, двадцать четыре курсанта, вступили в комсомол. Только один Коля отказался. Дело осложнилось еще тем, что он был уже не рядовым курсантом, а сержантом и командиром отделения.

Николай Пестов — родным. 9 декабря

Вчера вечером у меня были большие неприятности из-за моего отказа поддержать всех. Лейтенант вызвал меня, говорил, что я подаю плохой пример отделению, что я обязан... И что он должен, как отец, знать настоящую причину. Последние пятнадцать минут я стоял молча, он тоже ждал ответа. Так он и отпустил меня, ничего не узнав, со словами: «Это, очевидно, неспроста, можешь идти...»

Секретарь комсомола сказал мне: «В нашем взводе ты один остался, ведь на тебя все пальцами показывают. Когда же ты?..» Я ответил: «В том-то все и дело, что я один и на меня пальцами показывают, а то бы мы с тобой и не разговаривали вот так. Не правда ли? Именно в этом загвоздка». Затем я перевел разговор на другую тему весьма удачно... Потом уже запросто по-товарищески кончил разговор безобидными анекдотами.

Здесь есть курсант Донцов, мой новый сосед по койке, я с ним сдружился более, чем с кем-либо. Так вот он мне сказал: «Мне с тобой серьезно поговорить надо. Меня Михайлов (заместитель секретаря комсомольской организации) расспрашивал о причинах твоего отказа вступить в комсомол, о твоём отношении к советской власти». «Что же ты сказал?» — «Сказал, что вполне наш, вроде беспартийного большевика... А что же еще?» — «Ну и молодец».

У него было такое выражение, будто мы два сговорившихся вора. Я спросил с напускной легкостью: «Ну а как ты сам-то думаешь, похож я на изменника, предателя, словом, на врага?» Он испугался: «Что ты, что ты». И мои подозрения тоже рассеялись. Покровского вызвали в особый отдел. При моих вопросах он от этого отказывался. Я не стал настаивать, с меня как с победителя было достаточно того, что я отбил атаку.

И все же я в этот вечер устроил Михайлову и Покровскому скандал в столовой в ожидании ужина. Я им, как и всем, подал график обязательств на декабрь и январь, которые они должны были взять на себя. Они представили по всем предметам «четыре» (то есть обязуемся учиться на «хорошо»). — *Прим. Н. Е. Пестова*. Я спросил:

— Это что — хулиганство, что ли?

— Просто я хочу, чтобы мои обязательства были мною перевыполнены.

— Шкурник ты, а не командир отделения. Какой пример ты показываешь своим курсантам? Ты везде поставил четверки, а вот Соколов просто кавычки поставил под твоими четверками: дескать, подражаю своему командиру.

— А мне какое дело? — Он смеялся.

— Как какое дело? Ты меня в комсомол агитируешь, а я в сто раз сознательнее веду себя: я не позволю себе служить отрицательным примером курсантам. Как ты смеешь агитировать меня, а тем более своих курсантов?

— Не из той оперы...

В спор вмешался помощник командира взвода: «Михайлов, кончай дурачиться. Сам понимаешь, что Пестов прав. Ты и Покровский — переправить свои показатели». Он здорово рассердился, и те двое поставили все «пятерки». Я торжествовал победу.

...Я вам не описал еще, как я был патрулем. Стоял на перекрестке с часу ночи до шести часов утра и с двенадцати дня до шести вечера. Получил инструкцию задерживать ночью людей и машины и проверять ночные пропуска, а в случае, если машина не остановится, — стрелять вслед.

Некоторые машины не останавливались, я не стрелял. Потом, часа в четыре, я решил задержать одну машину, здорово мчавшуюся. Вышел на середину, поднял руку. В машине ехали проверяющие от коменданта города. Если бы я не задержал машину или грелся бы в это время в аптеке, было бы плохо.

Днем проверял паспорта и документы. Вышел погреться в гастроном. Неожиданно продавщица сунула мне ломоть черного хлеба в четыреста грамм; был очень тронут.

Пришел в казарму, застал разгром после обыска: все пошли в баню, а старшина вытаскивал из-под матрасов и подушек все полученное из дома. Хорошо, что мое теплое белье было на мне на посту.

1943

Николай Пестов — родным

Для меня 1942 год был большой школой, я изменил очень многое в своих воззрениях. Я часто благодарю Бога, что мои родители дали мне начальные сведения, как правильно жить. И сама жизнь, особенно последние четыре месяца, подтвердила правильность моего пути и еще больше укрепила мои духовные силы и уверенность в Истине. Знаю, что, когда нужно будет, снова увижусь с вами.

Николай Пестов — двоюродному брату

Сегодня исполнилось ровно пять месяцев, как мы учимся в училище; жаль, что я не веду дневник, иногда бывает очень интересно сравнить себя сегодня и себя в прошлом. Например, как я реагировал на разные события. Когда нас только что призывали, мы были в постоянном страхе перед начальством: стоило какому-нибудь постороннему командиру прикрикнуть на нас, как мы уже трепетали. А теперь — нам все нипочем, грози хоть арестом.

...Я совершенно ясно чувствую, что порядочно отупел, разучился рассуждать, правильно излагать свои мысли, говорить литературным языком. Все это сделала среда, в которой я живу; ее интересы — еда и сон; гулять запрещено; ее разговоры — как мы раньше ели и как будем гулять в будущем, когда станем лейтенантами; ее остроумие — в сочетании ругательств, а высшая мудрость — в обмане начальства. Учиться тут нечему.

Насколько я разучился говорить, насколько снизился мой запас слов (обиходный лексикон), как однообразна, варварски груба и по-дикарски примитивна стала моя речь, я могу судить по тому, что иногда, к своему ужасу, чувствую потребность выругаться, так как не нахожу другого способа для выражения своих чувств. Конечно, я сдерживаюсь... Но можешь ли ты представить себе такой ужас?

Относительно еды я с тобой во всем согласен. Когда мы сюда приехали и часть ребят попала работать на кухню, никто не обедался, никто не бегал к «своим» на кухню поесть. А теперь, как только «свои» на кухне, столовую буквально атакуют всей ротой; атаку отбивают заведующий столовой и официантки, а «свои» играют роль «пятой колонны».

Нельзя сказать, чтобы нас плохо кормили. В самый раз. Но переход на строгую диету и однообразную пищу развил у всех страшное желание есть, есть и есть. И во имя еды чего только не делается! В столовой разворовали все миски, кастрюли, клеенки. Всего не хватает. Одна рота заберет миски, сидит ждет супа; другая забрала суп в кастрюлях, ждет мисок. Образуется пробка.

...Сейчас будет отбой — надо кончать письмо.

Николай Пестов — родным. 10 января

...От фронтовиков часто слышишь, что на фронте люди морально очищаются, потому что «много ли человеку надо, когда он не знает, будет он завтра жив или нет!». Там люди проходят через очистительный огонь. Гибнут те, кто не хочет понять, чего от нас хочет Бог; поэтому войну можно рассматривать как войну только между теми, кто ее заслужил. И ее не надо бояться. Еще я вспомнил, что «сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу».

Николай Пестов — Наташе Пестовой

Очень сочувствую мамочке, уставшей и физически и духовно. Очевидно, вы страдаете от холода больше меня. У нас есть ленкомната, где непрерывно по очереди занимаются четыре взвода: там шесть градусов тепла утром и до двадцати вечером. Там мы греемся. В казарме — плюс пять и ноль градусов вечером.

Николай Пестов — двоюродному брату. Январь

...Я благодарю Судьбу за то, что Она меня сюда послала учиться житейской мудрости.

Главное, когда будешь на военной службе, проще и спокойней относись к событиям, к строгости начальников, никогда не возражай — вообще молчи побольше.

* Слова, сказанные Христом апостолу Петру (Лк. 22, 31).

Один мудрец сказал: «Сколько раз я сожалел о сказанном, но ни разу не пожалел о том, что смолчал». Я тоже пришел к выводу, что большинство вопросов, которые перед нами ставит жизнь, не заслуживают того внимания, которое мы ему оказываем.

Первое время ты будешь очень удручен злоупотреблением власти со стороны начальников. А потом сам увидишь, что они этим унижают себя больше, чем ты себя беспрекословным выполнением приказа или нарядом вне очереди. По крайней мере так будешь думать про себя: «Наплевать, вымою пол. Что мне от этого сделается?»

Поначалу подольше молчи, пока не научишься выкручиваться. Еще совет — побольше читай самой разнообразной литературы, требующей упражнения ума (даже решай задачи), потому что здесь голова тупеет и теряется острота ума.

Николай Пестов — родным. 27 января

...Стоят морозы. Трое отморозили кончики носов, один — щеку. В казарме температура стремится к нулю. У многих опухли пальцы. У меня немного болели суставы, я мажусь вазелином.

Николай Пестов — родным. 29 января

Перед отбоем я выделяю двух человек мыть полы, если нет провинившихся. Это дело поручили мне, и вот по каким обстоятельствам. В нашем взводе восемь москвичей, из них один — помощник командира взвода, все четыре командира и три курсанта. Так вот отделенных и помощника командира взвода обвинили в том, что они покровительствуют москвичам и ярославцам (тем родители часто приносят передачи, и они угощают, кого выгодно), и получается, что одни моют пол каждую неделю, а другие — раз в месяц. Когда это дело поручили мне, то воронежцы, калининцы и горьковчане остались довольны: «Теперь все будет в порядке».

...Еще до войны я читал в Апокалипсисе, что перед всеобщим концом будут ужасные войны и голод по всей земле и гонения. «Вот еще немного, немного усилий, и благоденствие воцарится по всей земле» — так говорят леди и джентльмены. Правда, я должен думать о конце не всеобщем, а своем собственном; но это близко одно к другому.

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ

Н. Е. Пестов

С начала февраля начались преждевременные отправки на фронт курсантов. Колю оставили в школе до конца срока учения, хотя почти все прибывшие с ним в школу москвичи были отправлены до окончания. В связи с этим произошли переформирования.

Николай Пестов — родным. 10 февраля

Нас, оставшихся, влили в четырнадцатую роту. Поскольку все младшие командиры остались, то их и получилось втрое больше, чем надо. Ясно, что не только я, а и старшие сержанты стали рядовыми курсантами... Командиры отделений все из первой роты, они все трудности сейчас сваливают на нас, новичков. За мной закрепили станковый пулемет. Таскать его на себе на занятия, а потом чистить весь вечер — очень мало удовольствия.

Однако такие мрачные перспективы не только не приводят меня в уныние, а вызывают новый прилив бодрости. После того как я был командиром, я буду опять таскать пулемет и мыть полы — в этом глубокий смысл. Так что я ничуть не огорчен, вы тоже не огорчайтесь, учиться осталось недолго.

11 февраля

Вчера вечером уехали на фронт наши друзья; с ними вместе уехали сто пятнадцать рублей долгу. Бог с ними. Я сначала очень беспокоился, чтобы получить долги, а потом вспомнил, что сам у одного из уехавших старый должник — со времени работы в деревне: он менял свои вещи на молоко, а пили все вместе.

Н. Е. Пестов

В конце февраля Коля узнает от одной старушки, где расположена церковь. Ему удается тайком сходить туда несколько раз. Устраивалось так, что других курсантов назначали в наряд, а он оставался свободен.

Николай Пестов — родным. Февраль

Один я был свободен весь понедельник. До сих пор не могу понять, как это случилось. Вечером и в воскресенье и в понедельник ходил к Елоховым (так Коля в письме называл церковь. — Прим. Н. Е. Пестова), никого не было дома. А вообще мне там понравилось: мало народу. К семи часам на улице темно; единственное, что меня выдает, — ужин в семь часов. Собираюсь сходить туда, когда буду явно свободен и без наблюдения...

19 марта

Остаться преподавателем при училище очень плохо: заняты они круглые сутки, живут на казарменном положении. И потом, я не хочу гонять курсантов так, как гоняли нас; а это так уж полагается. Лучше предоставить все Судьбе.

Николай Пестов — Сереже Пестову. Апрель

...У нас есть один паренек, Х-ин, который увлекается бульварной литературой; и вот он часто рассказывает ребятам содержание целых глав. Он говорит таким стилем и такими «изысканными» фразами, которые бывают только во французских романах. Можно догадаться, что он читает.

И вот недавно была тревога, выключили свет, и он в темноте рассказывал про всякую дрянь, и все слушали очень внимательно и напряженно. Когда он кончил, воцарилась тишина, и все ждали продолжения. Но продолжать стал я, у меня не хватило терпения молчать. «Слушай-ка, Х-ин, я вот не понимаю, как это могут люди умные и с образованием тратить время на всякую ерунду. Неужели нет другой темы для разговора как любовные похождения?» Я не знал, что сказать дальше, и все молчали. Потом кто-то сказал: «Не люблю — не слушай». Это был единственно правильный ответ и на мой вопрос, и на общее молчание. Сразу загалдели: «Правильно, кому какое дело?»

Я перекричал всех: «Так я вам ничего и не говорю, мне за Х-на обидно. Учился десять лет, а чему научился? Где видно, что ты извлек пользу из учения, а не даром ел хлеб?» Я начинал кипятиться. Шевцов перебил меня: «Ты со своим образованием только воду мутишь». Салов поддержал его: «В самом деле, до сих пор человек ругаться не научился. Ну какое тебе дело до Х-на?» Я совсем разошелся: «А зачем он неправильное мнение о себе создает? Что, он в самом деле такой пошлый человек?.. А еще вот что обидно — за Москву. Когда мы сюда приехали, каждый лейтенант старался москвичей к себе перетянуть. А кем они оказались? Ш-на с Т-ным выгнали, С. за воровство в штрафную роту отправили. В новом наборе московскую роту разогнали, потому что хулиганья больше половины оказалось. Если вас спросят, кто самые плохие товарищи и самый недружный народ, скажете — москвичи» (Реплика: «Точно») «Раньше я гордился, что я москвич, а теперь замалчиваю это, потому что такие, как Х-ин, Москву позорят. Или в самом деле наша столица рассадник азиатчины? Потому и горячусь, что это не так».

Тут подали команду на ужин, и все пошли строиться, но с Х-ным я спорил всю дорогу и в столовой. Такие споры были у меня и в школе и в институте.

...Случаи, когда я иду против общества, случаются все реже и реже. Раньше я хотел повлиять как-то на ребят, но ничего не вышло, и я предпочел больше молчать. Но иногда я раздражаюсь такими тирадами.

Шел разговор о том, что наша техника отсталая, никогда наши машины не будут лучше зарубежных и никогда наши инженеры не научатся работать на импортных машинах, не ломая их. «Как была матушка Россия «медведицей», так и останется». «Ложь, — сказал я, — почему вы не задаетесь вопросом, отчего это так получается? Из-за вашего собственного наплевательского отношения к образованию. Ведь слово «интеллигенция» — презрительная кличка. В какой-либо другой стране право на образование привело бы к расцвету науки, а у нас что? А еще дело в том, что служащие разбились на две группы, научных и административных работников: первые работают больше рабочих, а вторые паразитируют».

Еще немного говорил я о том, как живут научные работники и как безграмотна администрация.

...Некоторые открыто говорят, что «русскому человеку всегда больше всех достается». Снова я взял слово: «И никакая судьба русского не научит правильно жить... Если бы не татарское нашествие, русские до сих пор вряд ли бы объединились. И эта война нас уже очень многому научила».

А вообще я редко вмешиваюсь в разговоры, только иногда, когда уж очень интересно и никто не может сказать истины. А в остальных случаях я молчу, до того мне все равно, о чем говорят. Да и остались ребята все больше нехорошие. Из славных воронежских ребят, которыми я командовал, не осталось никого. Из тридцати пяти москвичей — трое...

Еще хочу сказать тебе — учись как можно лучше, жадно, как губка, впитывай в себя все те знания и сведения, которые тебе преподносят. Они никогда не пропадут, и о времени, потраченном на них, ты никогда не пожалеешь. И потом, под каким бы кислым или сладким соусом ни подносилось блюдо, всегда можно разобраться, что оно представляет само по себе. Я хочу сказать, что многое, особенно литература и история, освещаются преподавателями не с той стороны, с какой надо. Но все-таки все факты можно понимать по-своему...

Николай Пестов — Наташе Пестовой. Апрель

...Ты не думай, что все, что мы учим, пропадет зря. Не столь важны знания, сколько тренировка ума при их изучении. От всех тех знаний, что мы «усваиваем», в конце концов останутся лишь несколько практических навыков да способность к быстрому пониманию всего происходящего. И потом, я вижу, что не стоит заглядывать далеко вперед, лучше отдавать все внимание настоящему моменту.

Николай Пестов — Лиде Ч. Апрель

...Наша здешняя жизнь вовсе не требует упражнений ума. Бывают случаи, когда кое-кто попросит меня рассказать о дифференциальном исчислении. Когда мне под руку попадает учебник физики или химии, тогда я с любопытством наблюдаю, как в моей памяти восстанавливаются касательные к кривым, эллиптические формулы — все то, что оказалось ненужным и было забыто. Впрочем, я не жалею о том, что забыл; это помогает мне разобраться, что нужно знать и что не нужно. Время — самый справедливый судья, который учит нас отличать хорошее от плохого, полезное от вредного. Время покажет, чего заслуживает Шолохов, Шостакович и Лысенко, которых приравнивают к Льву Толстому, Моцарту и Мичурину. Очень многое из того, что я раньше считал первостепенно важным, я сейчас считаю никчемным. Я даже благодарю Судьбу за то, что Она научила меня многому такому, чему я в гражданке никогда бы не научился, и помогла мне разобраться во многих жизненных вопросах.

Я не завидую тем, кто остался и продолжает учиться. Бросив Энергетический институт, я туда больше не вернусь. Я рад тому, что не стал энергетиком. А какую выбрать специальность на будущее, я успею подумать.

Недавно вызывает меня в канцелярию новый лейтенант. Прихожу и докладываю: «Явился» — и прочее. Сначала я не мог даже понять, что он мне говорит: «Ich habe gehört daß sie gut deutsch sprechen? Ist es wahr?» Отвечаю: «Ganz wahr. Wer hats Ihnen gesagt?»

Мы разговорились. Все сбежались слушать, как Фриц с Гансом болтают. Конечно, никто не понял, о чем мы говорили: о том, как быстро забывается все выученное в школе и в институте (он был взят с первого курса Индустриального института), куда мы пойдем после войны, если только не придется всю жизнь носить шинель.

Я разговаривал с ним очень неуверенно, чувствуя недостаток в запасе слов; сказывалось и то, что в институте я изучал английский, а немецкий был заброшен в течение целого года. Теперь надо бы им заняться: может быть, скоро пойдем на фронт, там он мне пригодится.

Николай Пестов — двоюродному брату. Апрель

Погода отвратительная, а мы стали повторять тактику. Целый день у нас насквозь мокрые ноги, в ботинках хлопает, как в болоте. Вечером, раздевшись, кладем портянки под себя, под простынь, больше их негде сушить. Все равно они утром сырые. Вечно мокрые ноги — самое неприятное, хуже плохого начальства.

Кстати, о начальстве. Я уже в третий раз попадаю к новому командиру. Сначала это были мальчишки на год-два старше меня, а теперь я попал к пожилому человеку с высшим образованием. Он человек совсем не военный, но именно поэтому — «человек» в полном смысле слова, а не обрубок какой-то. Военная жизнь калечит людей, делает их какими-то однобокими. Чтобы не быть целиком увлеченным ею, надо вносить в жизнь что-то личное, читать и так далее. А это совершенно невозможно в наших условиях. Вот я и жду выпуска как избавления. Хорошо бы попасть в запасной полк, или штаб, или еще лучше в Москву. То есть кем угодно, лишь бы увидеть свою семью. Так хочется услышать живое слово, поговорить по душам. Ведь у меня и здешних-то полутоварищей отняли, отправили всех на фронт (уже пишут из-под Брянска). Совсем не с кем поговорить.

А начнешь писать письмо, ощущаешь какую-то душевную пустоту, вернее голод, за недостатком душевной пищи. Эта голодовка подсознательно всеми ощущается, и

* Я слышал, что вы хорошо говорите по-немецки? Правда ли это?

** Совершенно верно. Кто вам это сказал?

поэтому мы бываем очень рады, когда идем в наряд, в город патрулями; все по очереди смотрят в день три фильма в трех здешних кинотеатрах. Хоть это и «эрзац» на американский лад, но все-таки тема для разговоров. До того мы отвыкли от рассуждения, что наши споры вертятся вокруг уставов и наставлений.

Николай Пестов — отцу. Апрель

Я жалею, что буду младшим лейтенантом, а не лейтенантом, только потому, что это значит получать меньшую зарплату и я вряд ли смогу посылать вам денег, а что еще хуже — вы мне будете посылать.

О том, чтобы остаться при училище, я и не думаю — не потому, что здесь плохо кормят комсостав, а потому, что новая обстановка научает меня многому из того, чему я еще не научился. Да все равно училище укомплектовано, и из двух выпущенных рот здесь остался один человек.

Я спрашиваю: почему раньше не ценил своего положения? Уверен, что после буду жалеть о том, что не использовал многих возможностей в Ярославском училище, ибо попаду, вне сомнения, в худшие условия: к этому ведет логика моих взглядов. Что будет дальше — зависит от Бога.

Папочка, ты прав в том отношении, что осенью у меня было более светлое состояние души и я легче переживал все невзгоды. Сейчас у меня от всего остается гнетущее впечатление и на душе тяжело. В тринадцатой роте было хорошо с молодыми ребятами-провинциалами, у них еще были детские черты.

А сейчас половина оставшихся — взрослые лет под тридцать. А это значит — бесконечная ругань, анекдоты, ночью ходят к своим бабам, днем рассказывают о ночных похождениях. Им ничего не скажешь. Мое образование ставится только в упрек (как и то, что я москвич). Думаю, что мое положение облегчится, надо только как следует провести эту последнюю, седьмую неделю (Великого поста.— *Прим. Н. Е. Пестова*).

Письмо придет, должно быть, к Празднику — поздравляю вас.

Николай Пестов — Борису С.

Чему удивляться, когда имя Штрауса (а о ком же еще говорить?) приводит людей только в недоумение. Для них частушки — «деревенщина», романы — «интеллигентщина». Чего же они хотят? «Хлеба и зрелищ», как говорили древние римляне. А это требование удовлетворяется у нас по принципу «сытое брюхо к учению глухо», и развлекаются разрешают лишь по официальным праздникам. Воскресенья мы сидим в казармах или работаем.

Н. Е. Пестов

К концу Великого поста стугилась около Коли окружавшая его мрачная атмосфера. Его душа изнывала в этой среде. Он не любил обычно расстраивать нас чем-либо, предпочитая все перетерпеть самому. К этому времени у нас появилась возможность кое-что переслать ему с одной знакомой, А. А., уехавшей из Москвы в Ярославль. Известие об этом обрадовало Колю, но А. А. долго не могла его увидеть: его перевели в другую роту, а в старой не могли сказать в какую.

Наступила Пасха. Он писал: «Сегодня в Праздник разорился на сто пятьдесят рублей — купил хлеба, булку, блин и яйцо... А. А. больше не заходила, видимо, она уехала. Я каждый день два-три раза выхожу за ворота».

Николай Пестов — родным. 27 апреля

Здравствуйте, мои дорогие! Вчерашний день был для меня таким прекрасным! Меня разбудили в пять часов утра. «К тебе мать приехала». В пять часов двадцать минут я был уже в проходной будке. Там меня ждала А. А. Она принесла мне почти целую буханку (ломтик надо было дать дежурному), два куска ватрушки и крашеное яичко. До шести часов мы немного побеседовали и договорились встретиться после двух часов.

...После обеда я ушел из казармы до ужина «в самоволку». Мы пошли с А. А. к ее ярославским знакомым. Там они организовали чай. Старался есть поменьше — очень усердно угощали. Побеседовали по душам: я впервые говорил откровенно за семь месяцев о том, что для меня было интересно. После чая погуляли по ярославским улицам, продолжая нашу беседу. Я был рад возможности «отвести душу», почувствовать себя не в казарменной обстановке.

...Пришел в казарму — наши уже поужинали. Чтобы не поднимать шумихи вокруг оставшейся порции (неизвестно чьей) и не выдавать меня, ребята принесли мне ужин в казарму...

ОФИЦЕРСТВО

Н. Е. Пестов

В половине мая Коля окончил военное училище и был направлен в запасную часть в Москву. Исполнилась его мечта, он снова мог быть с нами. Он бывал у нас примерно через день и иногда ночевал.

Совсем другим приехал Колюша из Ярославля. Он уехал туда веселым и жизнерадостным, а вернулся серьезным, сосредоточенным, задумчивым и молчаливым. Кажется, ни одного лишнего слова не выходило из его уст. Изменились и его походка, и внешняя манера держаться. Во всей его натуре замечалась какая-то сдержанность и степенность. Было странно, что такая резкая перемена во внутреннем и внешнем облике могла произойти в течение нескольких месяцев. Было заметно, что внутри у него продолжал идти глубокий душевный процесс.

Он был худ, болел чесоткой, а его ноги и руки были в гноиниках и нарывах (фурункулез), которые он старался скрыть и не любил показывать. К своим болезням он относился с полным спокойствием.

З. В. Пестова

Под коленками у него были кровавые расчесы. «Чем не ранение?» — сказал он мне, показав ноги. Руки все были в расчесах. Мы сделали ему ванну. Я мыла ему голову, и он все приговаривал: «Погорячее, побольше мыла на шею, как приятно горячая вода!» Натерли ему серной мазью руки, и он перестал чесаться по ночам. «Мамочка, как ты быстро меня вылечила от чесотки», — целовал мне руки. Фурункулы на шее и спине быстро проходили. Мы старались его питать как можно лучше.

Н. Е. Пестов

Как-то пришел он домой, прихрамывая, медленно, с трудом передвигая ноги. Шел он без шапки, которую у него украли. Грустен был его вид, и больно сжалось мое сердце, глядя на него. Он заметил мою тревогу. «Полно, папочка, не расстраивайся. Все, что ни случается с нами, все от Бога», — старался успокоить меня Коля. Мы достали ему военную пилотку.

...В первых числах июня он был отправлен в резерв Западного фронта. Стали ждать от него писем. Но какова же была наша радость, когда через четыре дня он вновь оказался в семье: время на фронте было тихое, и за переполнением частей фронта командным составом его направили в запасную офицерскую часть в Подольск. Это дало нам возможность видеться в течение около двух с половиной месяцев.

Из дневника Наташи Пестовой

...Однажды (незадолго до отъезда) он спал днем, и одеяло съехало с ног. Они, босые, высунулись до колен; по ним ползали мухи. Я боялась его разбудить. Он лежал на спине, руки закинув за красиво остриженную голову, лицо темное, загорелое. Наконец я покрыла его ноги. И тотчас же, как из глубины сердца, услышала: «Спасибо»... В этом слове было столько чувства благодарности, что я невольно вздрогнула.

Н. Е. Пестов

С течением времени он явно стал бодрее. Как-то раз Наташа заметила в нем вспышку былой жизнерадостности, когда он в шутку подпрыгнул за чем-то. «Ну вот и прыгать начал», — сказала радостно Наташа. «Поживешь дома, опять с вами маленьким сделаешься», — смущенно и как бы оправдываясь, отвечал Коля. Это была его последняя вспышка жизнерадостности перед окончательным отъездом на фронт.

...«Сядь около меня — поговорим», — звал он то меня, то кого-либо другого из семьи. Больше всего приходилось говорить ему с Наташей. Я и мама были часто или на работе, или на огороде.

З. В. Пестова

«Не могу!» — как-то отказала я ему посидеть на диване перед сном. Мне хотелось выть от горя разлуки с ним. Со стыдом, с раскаянием я вспоминаю об этом. «Что мне говорить ему? — думала я. — Он будет убит! Вот о чем были все мысли.

Мне не хотелось слезы лить или упрекать его, что не пошел в Станкостроительный институт, где давали броню. Стоять на коленях около дивана, ласкать его волосы, смотреть в его голубые глаза и выть от горя. Никакой надежды на жизнь не было.

Н. Е. Пестов

...Как-то мама послала Колю к отцу его товарища, бывшему ранее комиссаром дивизии, для выяснения возможности попасть в его часть. В разговоре с ним Коля

сознался, что у него нет чувства ненависти к немцам. Это вызвало очень резкие упреки комиссара, который говорил, что надо так ненавидеть немцев, чтобы быть готовым, когда надо, «перегрызть им горло». Грустный пришел Коля после разговора, не спросив о возможности поступления в часть комиссара. Он увидел, что им вместе не по дороге...

Как-то в присутствии Коли зашел разговор о преимуществах, которые дает хорошее знание немецкого языка тем, кто попадает в плен. Как бы отвечая на не высказанные собеседниками мысли, он возразил на это с полной серьезностью: «Я никогда не буду служить немцам. Я принял присягу на верность русскому народу...»

Я как-то рассказал, что Константин Великий выдавал своим солдатам денежную награду за каждого пленного вражеского воина, желая этим уменьшить кровопролитие. Этот способ уменьшить жестокости войны вызвал в Коле большое сочувствие.

...В запасном офицерском батальоне ему как-то пришлось быть в наряде дневальным в штабе. Начальник приказал ему подмести пол. «Есть, товарищ майор, — весело и бодро отвечал Коля, — только разрешите сначала снять погоны», — и он начал отвязывать погоны. «Зачем это?» — спросил в недоумении майор. «Как же я буду мести с офицерскими погонами?» — серьезно спросил Коля. «Отставить! Мести не надо», — майор понял свою нетактичность.

...17 августа он приехал вечером ко дню моего рождения. Где-то задержалась мама, и это его очень огорчило...

З. В. Пестова

Каюсь, я знала, что дома семейный праздник, но где-то рыдала у сестры и пришла, когда Коля лежал на диване.

Узнав, что он принес в подарок папе сахар из своего мизерного пайка (граммов пятнадцать—двадцать), я плакала, запершись у себя. Мне хотелось причитать, выть, как деревенской бабе, но меня муж и дочь останавливали....

«Посиди со мной», — позвал он меня из столовой, где спал на диване. «Не могу, устала», — сказала я. Как я могла отказать ему в ласке? Хотелось плакать, а надо было молчать.

До сих пор я точно слышу этот голос: «Посиди со мной».

Н. Е. Пестов

Когда была возможность, он ходил в церковь. За несколько дней до отправки на фронт пришел оттуда только около трех часов дня. «Там хоронили священника, — объяснил он маме, — было так хорошо, что не хотелось возвращаться оттуда». Это было его последнее посещение церкви.

...Настало время больших боев под Орлом и Белгородом. Начались регулярные отправки на фронт офицеров. Коля снова стал серьезным и задумчивым. Он попрощался с некоторыми из знакомых, многим написал письма и сходил к своей крестной, хотя ранее почти не виделся с нею. Затем стал отдавать свои вещи, подарил брату свой велосипед и свою офицерскую шинель, оставив себе простую, солдатскую.

Я хорошо помню тот вечер, когда Коля пришел проститься. Я радостно приветствовал его, когда он вошел в дверь. Но лицо его оставалось серьезным, он молчал. Я сразу понял, что случилось неизбежное.

...Наташа зашила на груди его гимнастерки золотой крестильный крестик, который я всегда носил на себе. Я тогда не понимал еще, что с этим Колюшиным крестом навсегда снималась с меня забота о нашем первенце.

З. В. Пестова

Мы были извещены, что отправка будет с Курского вокзала. Я и Наташа пришли туда 21 августа к шести утра. Приходили поезда, но Коли не было. В девять часов мне надо было принимать экзамены на курсах. Я вернулась в четыре часа уставшая и легла отдохнуть на полчаса, пока Колю кормили обедом. Меня разбудил муж: «Вставай, Коля уходит!» Я сообразила, что он совсем уходит. «Не ходи на вокзал, ты будешь плакать, а там сейчас такое настроение. Все кричат: „Возьмем Смоленск“».

Мы помолились вместе, и Коля бодро ушел. А мы стали ждать писем.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ. НА ФРОНТЕ

Н. Е. Пестов

Придя на вокзал, Колюша выяснил, что его партия уехала, а с ней уехали и все его вещи, продовольствие и шинель. Отставших от партии комендант станции отправил вечером вдогонку.

Николай Пестов — родным. 25 августа

Вчера мы сели на машины и поехали к передовой. Остановились в трех километрах от линии фронта. Сегодня мне дали взвод и оружие. Взвод стрелковый. Но ничего. Плохо, что шестьдесят процентов узбеков-казахов двадцать пятого года призыва (то есть восемнадцатилетних). К счастью, один казах-сержант понимает меня и прямо-таки спасает. Раздал им пачку папирос. Говорят: «Хороший командир».

Есть у меня старший сержант, он во всем выручает, я ведь совсем неопытный. Ну вот и не знаю, о чем писать. А ведь столько дел. По дороге видел сожженные в этом наступлении деревни, разбитую технику. Трупов нет.

Кажется, завтра пойдем в наступление. Никогда не думал, что к бою так тщательно готовится командование, как это сегодня сделали мы. Дали карту и прочее. Еще дали автомат (мне лично). Думаю, что в бою не растеряюсь.

Капитан П. Д-а — Пестовым

Здравствуйте, Зоя Вениаминовна.

Приношу искреннее извинение за то, что, будучи совершенно неизвестным Вам, я решаюсь писать, но полагаю, что мое письмо будет представлять для Вас интерес, поскольку оно имеет прямое отношение к Вашему сыну. Вчерашний день был вторым днем, когда Ваш сын участвовал в бою.

Познакомился я с ним при весьма тяжелых и вместе с тем интересных обстоятельствах. Всего рассказывать невозможно, но в тот день он проявил исключительное мужество, решимость и настойчивость, спасая своего командира роты, раненного в бою. И я полагаю, что то, что он сделал, есть блестящая характеристика его боевой деятельности. Ко мне как к старшему командиру он обратился для разрешения одного вопроса, в чем я ему помог. Мне он понравился, и я испросил у него разрешения познакомиться и с Вами, для того чтобы рассказать Вам о нем, так как на днях собираюсь быть в Москве... У меня есть тоже мать, пять ее сыновей тоже находятся на фронте, и я полагаю, что ей было бы весьма приятно услышать о своем ребенке.

Н. Е. Пестов

Как мы узнали впоследствии, капитан Д-а был уже немолодой, лет около сорока, украинец с твердой волей и спокойным характером. До войны он был горным инженером и старым членом партии. На фронте занимал ответственную должность в штабе танковой бригады. Вот что он рассказал нам лично, посетив в Москве:

«На том участке фронта, где ваш сын, рано утром началось наступление. Вначале все шло успешно, немцев выбили из окопов. Но к вечеру положение изменилось. В 19 часов немцы пошли в контратаку, и их артиллерия начала очень сильный обстрел наших позиций. Положение создалось очень серьезное, и бой стал тяжелым.

Поздно вечером я находился около медсанпункта нашей танковой части. К нам подъехал автомобиль с нашими ранеными. Там о чем-то шумели, и я подошел ближе. Медицинская сестра, сопровождавшая автомобиль, обратилась ко мне со словами: «Товарищ капитан, приведите к порядку этого офицера, он занимается партизанщиной. Он разбил стекло в нашей кабине и грозил оружием шоферу».

Я увидел молодого лейтенанта, сплошь всего покрытого пылью и грязью и залитого кровью: блестели только глаза и зубы. Мне стало ясно, из какой обстановки он попал сюда. Я всмотрелся и увидел симпатичное, интеллигентное лицо. Это был ваш сын.

«Товарищ гвардии капитан, разрешить мне поговорить с вами отдельно», — вежливо попросил меня лейтенант. Я отошел с ним в сторону, и он рассказал мне о себе:

«Я и один из солдат — вот все, что осталось от моего взвода. С поля боя я вынес своего раненого командира роты с перебитой ногой. Когда проезжал мимо автомобиля, я потребовал, чтобы взяли на него раненого, но шофер отказывался. Тогда я вскочил на подножку автомобиля и, разбив стекло, пригрозил шоферу автоматом. Я сознаю, что нарушил порядок, но я не мог поступить иначе, имея на руках раненого».

(Капитан Д-а объяснил нам, что раненые принимаются лишь медсанпунктами своей части. Если шоферы не знают, где этот пункт расположен, то стараются уклониться от захвата раненых этой части, хотя обязаны всегда брать раненых. Они боятся потратить много времени на розыски соответствующего медсанпункта, в то время как они должны выполнять боевые задания, часто очень срочные, по подвозу боевых припасов.)

«Молодец, — сказал я. — Так и надо было сделать».

Я отдал распоряжение перевязать раненого: у него было перебито бедро осколком снаряда и он был без сознания.

Вашего сына я постарался привести в человеческий вид, дал ему умыться и почиститься. Потом накормил его. С ним ничего не было: ни вещевого мешка, ни продовольствия, ни шинели.

Ваш сын попросил меня дать ему справку, что он отлучился с поля боя только для того, чтобы отвезти раненого. Я написал ему не только справку, но удостоверение того, что он спас жизнь старшему офицеру, что давало ему право на награду.

Пробыв у меня часа полтора, он встал, чтобы снова идти в свою часть. Я уговаривал его подождать до утра. Он не согласился. Затем я советовал ему идти в тыловые части его полка, указывая на то, что связь с боевыми расположениями была уже прервана, а подвозившие боевые припасы машины возвращались назад, не доставив их по назначению. Но и на это он не согласился. «Меня могут счесть дезертиром, если я тотчас же не вернусь опять в боевые порядки. Я пойду искать свою роту. Дайте мне только карту и компас».

Я отдал ему свои. Дал ему также винтовку и патроны, чтобы у него не было неприятностей из-за оставленного на дороге автомата. (Он не успел взять его с собой, как шофер повел уже машину, приняв раненого.)

Была темная ночь (одиннадцать часов ночи 28 августа.— *Прим. Н. Е. Пестова*), когда мы простились, и он ушел со своим солдатиком разыскивать своих боевых товарищей».

Николай Пестов — родным. 29 августа

Здравствуйте, мои милые! Нахожусь на передовой. 27 августа был большой бой, мы прорвали оборону. Командир роты и первого взвода вышли из строя, мне пришлось командовать ротой и вести ее в атаку. Немцы бежали, их догоняли, и мне пришлось брать их в плен, отнимать у бойцов, готовых их убить. Потом отстал от роты, тащил на себе раненого командира роты. Да разве все опишешь. Может быть, к вам пойдет гвардии капитан из танковой бригады. Он много расскажет. Как ужасно гибнут наши танки! Уже три раза допрашивал пленных, раз при майоре; может быть, попаду в штаб. Коля.

Н. Е. Пестов

На другой день после его последнего письма вновь был бой, в котором Коля был убит. Первые сведения мы получили о том только через месяц после его смерти от писаря его части в ответ на наш запрос. Потом об этом сообщил нам и один из его товарищей. Наконец пришло и официальное извещение из военкомата:

«ИЗВЕЩЕНИЕ

Ваш сын, младший лейтенант Пестов Николай Николаевич, уроженец г. Москвы, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, был убит 30 августа 1943 года и похоронен на братском кладбище в деревне Чуваксино Спас-Деминского района Смоленской области».

Почти через год после его смерти Господь помог нам узнать подробности его кончины от его товарища Миши П. Вот что Миша написал нам о Коле:

«В четыре часа утра Николай, находясь в боевых порядках пехоты, поддерживал огнем минометной батареи роту автоматчиков с задачей выбить немцев из деревни Чуваксино, где и был ранен от разрыва снаряда; их называют у нас «ишак».

Раненый в руку и контуженный, он остался корректировать огонь, но шальной снаряд помешал ему выполнить приказ: его ранило вторично в живот и вывело окончательно из строя... По дороге в санбат умер. Последних слов его сказать не могу. Лишь знаю о том, что он был в судорогах и его тошнило.

Он пал смертью храброго воина, и вы должны гордиться своим сыном Колей. Вы воспитали его, ваша в этом заслуга.

Похоронен в селе, за которое отдал жизнь. Вот и все, что я могу написать».

Наташа также послала Мише большое и очень сердечное письмо. Но ответа получено уже не было... На наши запросы в часть мы получили извещение от товарища Миши, что он, как и Коля, был убит осколком снаряда в живот. Очевидно, что между письмом Миши к нам и его смертью прошло не более двух-трех дней.



СТАНИСЛАВ ДЖИМБИНОВ

*

КОЭФФИЦИЕНТ ИСКАЖЕНИЯ

Революция и культура

Петух пропел

Мы всегда знали, что режим рухнет. Только мало кто верил, что доживет до этого дня. Вот почему так поразили слова Солженицына о твердой его уверенности, что он еще вернется на родину. Эти слова внушали тайную надежду: а может быть, и в самом деле доживем?

Верили же в неизбежное крушение потому, что слишком уж противоестественной была государственная идеология — в кричащем противоречии с историей страны и ее культурой. В стране, идеалом которой была Святая Русь, власть захватили материалисты и атеисты, а попросту говоря, безбожники. Захватили власть ночью, когда мирные люди спали или молились в храмах. А дальше — террор, заложники, расстрелы. Назвали все это великой революцией, заставили воспевать в тысячах книг и кинофильмов, в миллионах статей. Все несогласное глушилось, запрещалось. Воспитание любви к дедушке Ленину начиналось с детского сада. Одного только не удалось за семьдесят лет — сделать его тексты любимыми и читаемыми для души. Народ принял ласковое, домашнее имя Ильич, но читать Ильича?.. Только представьте, что в какой-нибудь семье вечером читают вслух книгу Ленина — ну как, например, в семье Достоевского читали том за томом «Историю» Карамзина... Тут ничего не смог сделать даже миллионный аппарат пропагандистов. Календарь настенный не хотелось покупать, потому что в апреле и ноябре обязательно Ленин.

Помню, как приобрел большой том «Третьяковская галерея» в неплохой серии «Музеи мира». Но на цветной суперобложке из всех богатств Третьяковки была выбрана «Делегатка» Г. Ряжского. Нес книгу домой и думал: почему она так отвратительна, почти до боли, эта «делегатка», даже не сама картина, а человеческий тип? Видимо, разрыв с традицией русского и — шире — христианского искусства слишком кричащий. Самоуверенность, переходящая в бессовестность — наглуго, торжествующую. Бездушность, переходящая в жестокость. Из истории известно, что ничего, кроме «леса рук», эти делегатки не создали. Они убили в себе женскую суть — жалость и сострадание.

Одно время в Третьяковской галерее русское искусство до 1917 года и советское искусство были на отдельных этажах. С раннего детства, еще когда ходил с бабушкой, запомнил отличие. Два разных мира. И насколько в одном все родное и знакомое, настолько в другом все было иное, необязательное. «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов» — эти картины источали ненависть (официально называемую духом классовый борьбы). А от мазков авангардистов веяло холодом.

По художественной своей незрелости мне в детстве больше всего нравилась картина К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Ведь это символ родины, который и перед смертью вспомнить не грех (недаром Андрей Платонов, уже перед войной, как школьник, написал по этой картине рассказ — сочинение — «Июльская гроза»). Что в ней так привлекательно, сразу не скажешь. Мостик ветхий и сделанный кое-как, дети босые, но все природное, естественное и гроза — Божья гроза. Девочке всего-то лет восемь, а уже на спине малолеток — она ему как мать. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Счастье России, что ей удалось собрать в одном месте почти все, что ее художники увидели и захотели увековечить на протяжении нескольких столетий... Поэтому действие на детскую и юношескую душу так велико, что уже не проходит никогда. Третьяковка всех делала русскими. Смеем заверить, что Третьяковская галерея всегда спорила с Октябрем, как и классическая русская литература.

Марксистско-ленинское иго закончилось так же странно, как татаро-монгольское — помните, стояние на реке Угре? Уже снова хотели русские покориться, снова платить дань, как платили ее целых сто лет после Куликовской битвы, — и вдруг татары отошли... Устали владычествовать... Марксизм тоже продержался бы еще лет десять—пятнадцать, но решили демонтировать его досрочно. А народ? За семьдесят лет привыкли к игу-то, сроднились с ним, потерпели бы еще. Но если все-таки не было никаких серьезных выступлений против «перестройки» (что такое Нина Андреева?), то тут, я думаю, незримая работа русской живописи и русской литературы в душах людей многое могла бы объяснить.

Никогда не забуду, как в августовские дни прошлого года, когда, жалкий и беспомощный, повис над площадью истукан Дзержинского, я увидел женщину лет тридцати, со слезами на глазах говорившую в толпу: «Они же наших детей семьдесят лет калечили!..»

Что касается нашего брата гуманитария, то ясно помню свое ощущение во время посещений Дома политкнижки (он тогда еще помещался на двух этажах в проезде Художественного театра; эти два этажа были набиты какой-то чертовщиной вместо литературы). Ощущение страшной тшеты, напрасно растрчиваемой бумаги и усилий: «Акуля, что шьешь не оттуля? — А я, матушка, еще пороть буду». Одного Ленина издали более 653 миллионов экземпляров — по две книги на каждого жителя. И при этом целых 3724 текста и документа не вошли даже в самое полное собрание в пятидесяти пяти томах, так как могли скомпрометировать образ вождя. Такой цифры, я думаю, никто себе не представлял. Сейчас хотят все это издать в восьми томах (неужели найдут бумагу?).

Все-таки худо-бедно, но мы перетерпели самое страшное испытание: шутка ли, первое в истории атеистическое общество! Сбылось предсказание К. Леонтьева: народ-богоносец породил антихриста. Но сбылось и предсказание Достоевского: «Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь...»¹.

Два главных итога атеистической революции: мужик разучился сеять хлеб, а баба разучилась рожать детей, то есть подрублены самые основы бытия. Если бы не огромные природные ресурсы, все кончилось бы гораздо раньше.

По своим последствиям Октябрь равен скольким Чернобылям? Была пробита «озоновая дыра» над одной шестой частью суши. Кто будет проводить дезактивацию почвы и души? Все ценности оказались смещенными и перевернутыми. Все стали социальными и культурными мутантами.

Проще всего выразил происшедшее В. Шукшин в своей сказке «До третьих петухов»: черти захватили монастырь, вместо икон развесили свои портреты. Можно добавить: назвали в честь себя города и улицы, а когда сейчас решили восстановить исторические названия, народ упирается; он ведь привык к новым именам, и это уже часть его истории...

Стоило только хоть немного углубиться в историю культуры и особенно в историю философии, как неизбежно открывалось философское убожество материализма вообще и в частности весьма второстепенное, чтобы не сказать маргинальное, место марксизма в истории философии. Уровень нашей, советской философской продукции был такой отчаянно низкий, что даже никакого самиздата и тамиздата, никакого спецхрана не требовалось, чтобы понять что к чему. Молодому гуманитарю, если у него душа не принимала марксизма и если он не желал лгать и лукавить, оставалось пристраиваться где-нибудь в котельной или в сторожке. Но главное — оставалось непоколебимо верить, что рано или поздно петух пропоет и эта нечисть рассеется вмиг. И вот он пропел: к девяносто первому году исчезли все пути идеологии. Почему же после первой эйфории так грустно на душе?

В нашей «перестройке» (какой фальшивый термин! ничем не лучше «преодоления культа личности и его последствий») прежде всего поражает ее полная и абсолютная беспочвенность, то есть неукорененность в национальном и историческом бытии. Даже говоря о вхождении в мировое сообщество, ссылаясь на «передовые страны Запада», не вспоминают петербургский период русской истории. Никто из теоретиков «перестройки» не произнес слова «реставрация», все говорили только о новой революции (или того хуже — что старая «революция продолжается»). Разумеется, реставрировать Россию 1913 года значит реставрировать Россию, уже, возможно, беременную революцией. Но реставрировать Россию лета 1917 года значит реставрировать девятый месяц этой беременности... Сколько было споров на московских кухнях о том, какую Россию восстанавливать, а ответ может быть один: только ту, чаемую Россию, которой никогда не было иначе как в идеале, но элементы

¹ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л. 1976, т. 14, стр. 288.

которой были всегда. Однако о сегодняшнем дне речь пойдет потом, а сейчас углубимся в прошлое и рассмотрим только три темы: как было насильственно прервано воспроизводство интеллектуальной элиты, как была переписана заново история русской литературы и как советский читатель был отрезан от целых пластов мировой культуры.

Гибель филологического образования

Странное дело: про что сейчас только не пишут, но ни разу не пришлось прочесть о том, что меня особенно интересовало, — о ленинском указе 1921 года, по существу ликвидировавшем филологическое, историческое и философское образование в стране. Сам я узнал об этом указе довольно поздно: в 1984 году на филологическом факультете МГУ торжественно отмечалось пятидесятилетие восстановления кафедры классической филологии. Так волей-неволей признали, что до 1934 года в Московском университете нельзя было изучать греческий язык и литературу, латинский язык и литературу. Да что Московский университет! По всей стране все кафедры классической филологии были закрыты еще в 1921 году (отсюда — эмиграция выдающихся филологов Ф. Ф. Зелинского и Вячеслава Иванова). Кто это сделал? Большой любитель древних языков, и в частности латыни, В. Ульянов (Ленин). Как и почему? Мне захотелось найти соответствующие документы. Осуществить это оказалось не так просто, историки советской культуры об этом помалкивают. Оставалось прочесть подряд все постановления правительства за 1921 год. И вот наконец искомый Декрет Совета Народных Комиссаров от 4 марта, подписанный председателем СНК В. Ульяновым (Лениным), управделами СНК Н. Горбуновым и секретарем СНК Л. Фотиевой. Декрет называется скромно и безобидно: «О плане организации факультетов общественных наук Российских университетов»². Читаем: «2. В нормальный состав факультетов общественных наук Российских университетов входят отделения: экономическое с циклом: организации промышленности, труда, снабжения и финансово-административным; правовое с циклом: судебным и административным; общественно-педагогическое с циклом: школьным и внешкольным».

Это все! А где же отделения философское, историческое, филологическое? Где искусствоведение? Приказали долго жить. Только для одного университета, в знак особой милости, было сделано исключение: «3. В Московском университете в составе факультета Общественных Наук кроме отделений, указанных в предыдущем пункте, учреждаются также отделения: статистическое, внешних сношений, художественно-литературное».

Но, обратите внимание, даже в Московском университете не предусмотрено ни философского, ни исторического отделений! Далее следует примечание: «Прочие университеты, кроме Московского, могут организовывать перечисленные в настоящем пункте отделения лишь по особому разрешению Народного Комиссариата просвещения по представлении данных о наличии достаточных преподавательских сил».

Нужно ли говорить, что под «преподавательскими силами» подразумевались преподаватели-марксисты? Об этом недвусмысленно свидетельствует хрестоматийный очерк Горького «В. И. Ленин». Горький предложил Ленину организовать «литвуз с кафедрами по языкознанию, иностранным языкам — Запада и Востока, — по фольклору, по истории всемирной литературы, отдельно — русской». Ленин без колебаний зарубил проект писателя. «Гм-гм, — говорил он, прищуриваясь и похихатывая. — Широко и ослепительно! Что широко — я не против, а вот — ослепительно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по этой части, а буржуазные такую историю покажут... Нет, сейчас нам этого не поднять. Годика три, пяток подождать надо»³. Подождать пришлось не пяток, а двенадцать—четырнадцать лет. Поразительно это четкое разделение на «своих» и «буржуазных» — то есть всех немарксистов, — и преподавать имеют право только свои.

Но вернемся к ленинскому декрету от 4 марта 1921 года. «Примечанием» к пункту 3 вскоре воспользовался Петроградский университет, испросив право на организацию «этнолого-лингвистического отделения», где появились все-таки романно-германская и славяно-русская секции. Именно в этих двух секциях занимался будущий академик Д. С. Лихачев. Про другие же университеты лучше не вспоминать.

Далее в указе следовал пункт 4, может быть, самый важный: «Исторические и филологические отделения факультетов Общественных Наук при Российских университетах с 1-го мая 1921 г. упраздняются».

² «Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1921 г.». М. 1944, стр. 176.

³ Горький М. Полное собрание сочинений. М. 1974, т. 20, стр. 48.

Правда, через полтора месяца появился новый декрет СНК, от 18 апреля 1921 года, где вносится уточнение: «Пункт 4-й... принять в следующей редакции: „Историко-Филологические Факультеты, а равно исторические и филологические отделения факультетов общественных наук при Российских Университетах с 1-го июня с. г. упразднить”»⁴ — и те же три подписи. Это уточнение лишь продлило на месяц (с 1 мая до 1 июня) жизнь российской исторической и филологической науки, имевшей к тому времени уже мировое значение. В сущности, ленинский указ ставил своей целью разгромить весь комплекс исторических наук, от философии до археологии, которые по традиции группировались вокруг историко-филологических факультетов.

Одновременно указом СНК от 11 февраля 1921 года в Москве был организован сугубо партийный Институт красной профессуры во главе с ректором М. Покровским. Общее руководство институтом, естественно, осуществлял агитационно-пропагандистский отдел ЦК партии. Его кадры со временем должны были сменить всю «буржуазную» профессуру в университетах и институтах.

Но в ленинском декрете прямо не названо одно из самых катастрофических его последствий — запрещение на всем пространстве страны классической филологии, то есть изучения языка и культуры древней Греции и Рима. Даже в Москве и Петрограде отделения классической филологии не были разрешены. Само собой разумеется, было запрещено (или «упразднено») преподавание древних языков (греческого, латинского и церковнославянского) и в средних школах (бывших гимназиях). Судьба тысяч преподавателей этих языков никого не интересовала.

Сколько это длилось? В 1932 году восстановили отделение классической филологии в Ленинградском университете, в 1934-м — в Московском (точнее, в Московском институте философии, литературы и истории — МИФЛИ, — который в 1942 году вошел в МГУ). Казалось бы, справедливость восторжествовала, пусть через двенадцать—четырнадцать лет. Но это только на первый и невнимательный взгляд. На самом деле классической филологии у нас нет и сейчас, семьдесят лет спустя после ленинского декрета.

Дело вот в чем. В дореволюционной русской классической гимназии греческий и латинский языки преподавались по крайней мере пять-шесть лет (в разные годы по-разному, в некоторых гимназиях был только латинский язык, без греческого). Таким образом, поступая в университет, первокурсник уже имел за плечами несколько лет интенсивных занятий греческим и латынью. Еще пять лет университета делали его настоящим филологом-классиком — вспомним русских поэтов Иннокентия Анненского, Вячеслава Иванова, Валерия Брюсова. А теперь представим современного филолога, который приходит на первый курс классического отделения с нулевыми знаниями по греческому и латинскому. Вопрос: сможет ли он за пять лет занятий этими языками (лучшие для изучения языков ранние годы упущены) достичь хотя бы уровня дореволюционного гимназиста? То есть высшая школа в классической филологии незаметно и неизбежно превратилась в обычную среднюю.

Стоит хотя бы кратко вспомнить грустную историю классического образования в России. Существует два типа образования — обучающее (реальное) и воспитывающее (формообразующее). Реальное образование заполняло ум школьника всякого рода сведениями и знаниями, формообразующее — старалось прежде всего воспитать его интеллект, сделать его гибким и сильным, способным к решению любых интеллектуальных задач. Реальное образование свелось к изучению естествознания (физики, химии, биологии), формообразующее же испокон веков строилось на изучении языка и культуры двух древних народов Европы — греков и римлян. Это изучение не было простой гимнастикой ума, оно во многом тоже было «реальным»: гимназист изучал историю, религию, искусство, литературу, быт и нравы двух великих народов. Более того, эти два народа создали весь тот понятийный аппарат (космос, хаос, материя, идея, республика, демократия, поэзия, драма и т. д. до бесконечности), без которого наше мышление было бы невозможно или немногим отличалось бы от мышления дикаря. Поэтому изучение древних языков — это, по существу, генеалогия духа. Но изучение древней Греции и Рима имеет и нравственное значение, давая тысячи примеров для подражания (вспомним только «параллельные жизнеописания» Плутарха).

Конечно, греческий и латинский языки гимназисты знали неважно. Но интеллектуальная закладка и опыт, приобретенные в процессе изучения древних языков, позволяли им буквально шутя овладеть двумя новыми языками (обычно немецким и французским). Отказавшись от древних языков, мы загубили и изучение новых. Современный митрофанушка даже английский язык, не требующий одной десятой усилий, необходимых для изучения греческого или латыни, постигает с трудом, через

⁴ «Собрание узаконений...», стр. 309—310.

пень колоду. Вообще исчез тип подлинно образованного человека, который целиком стоял на фундаменте классического образования.

Когда в начале 70-х годов прошлого века министр народного просвещения Д. Толстой, поддерживаемый М. Катковым, стал вводить по всей России классическое образование, «передовая общественность» встретила это нововведение в штыки. Память о газетно-журнальных баталиях того времени можно найти на страницах двух великих русских романов — в «Анне Карениной» Л. Толстого и «Братьях Карамазовых» Ф. Достоевского. Но если Толстой защитником классического образования делает неприятного Каренина (см. часть IV, глава X), то Достоевский, наоборот, устами своего любимого героя Алеши Карамазова возражает либеральным нападкам на классицизм как на полицейскую меру, которая должна-де отвлечь молодежь от насущных проблем жизни (см. часть IV, глава V — «У Илюшиной постельки»). Свое же собственное отношение к классическому образованию Достоевский высказал в «Дневнике писателя» за 1876 год:

«...ровно пять лет назад произошла у нас так называемая классическая реформа обучения. Математика и два древних языка, латинский и греческий, признаны наиболее развивающим средством, умственным и даже духовным. Не мы признали это и не мы это выдумали: это факт, и факт бесспорный, выжитый на опыте всею Европою в продолжение веков, а нами только перенятый... Вся нравственно развивающая сила этих двух древних языков, этих двух наиболее законченных форм человеческой мысли и уже поднявших, веками, весь бывший варварский Запад до высочайшей степени развития и цивилизации, — вся эта сила, естественно, минует нашу новую школу, именно из-за упадка в ней русского языка»⁵.

Таким образом, Достоевский говорит, что классическая филология за несколько веков превратила варварский Запад в культурный и цивилизованный.

Еще удивительнее высказывание о классическом образовании Пушкина, запечатленное в дневнике М. Погодина в мае 1830 года. В беседе с Погодиным Пушкин сказал: «Как рву я на себе волосы часто... что у меня нет классического образования, есть мысли, но на чем [?] их поставить»⁶.

Удивительно здесь то, что в обычном нашем представлении образование в Царскосельском Лицее было классическим, во всяком случае оно было насквозь пронизано античностью. Тем не менее для Пушкина этого было мало, латинский язык без греческого не удовлетворял его. В это время он задумал изучить первообразы поэзии — метафоры, сравнения — и должен был довольствоваться французскими переводами.

Реформа М. Каткова и Д. Толстого дала результаты сравнительно быстро. Вся великая русская религиозная философия конца XIX—начала XX века вряд ли была бы возможна без этой реформы. Был достигнут, а потом и превзойден средний европейский уровень образования. Владимир Соловьев, В. Розанов, С. Булгаков, Н. Бердяев, братья Сергей и Евгений Трубецкие, Н. Лосский, Л. Карсавин, И. Ильин, П. Флоренский — вплоть до Г. Федотова и моего учителя А. Лосева, — были бы они собой без гимназической латыни и греческого? Ленинский указ рассчитан безукоризненно. Он на десятилетия вверх российский классическое образование в затхлый провинциализм, в котором диамат и истмат могли спокойно чувствовать себя вершиной мировой философии.

Вскоре после Великой Отечественной войны тогдашний министр просвещения РСФСР В. Потемкин сделал попытку (невольное хочется сказать — героическую попытку) восстановить хотя бы неполное классическое образование в нескольких средних школах. Были изданы учебники латинского языка для восьмых—десятых классов и осуществлены учебные издания римских классиков. Но Потемкин вскоре умер, и дело его, как говорится, было спущено на тормозах. Тем не менее еще в начале 50-х годов в одной из московских школ (в Староконюшенном переулке) Сергей Аверинцев с восьмого по десятый класс изучал латинский язык и смог прийти на первый курс университета с тремя годами латыни. За одно это спасибо и вечная память Владимиру Петровичу Потемкину... Латинский язык в советской школе постепенно придушили только к концу 50-х годов.

Разве не симптоматично, что, как только повеяло духом свободы, сразу стало возрождаться классическое образование в средней школе? Первые лицеи и гимназии с древними языками появились у нас года два назад. Не обошлось без нелепых перекосов: в некоторых православных лицеях только греческий язык, без латинского. Слов нет, и Новый завет написан на греческом языке, и русская культура имеет греческие (византийские) корни, да только вышеупомянутое формообразующее,

⁵ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. 1981, т. 23, стр. 82.
⁶ «Пушкин и его современники». Вып. 23—24. Пг. 1916, стр. 106.

воспитывающее интеллект значение имсет прежде всего латинский язык просто в силу особенностей своей грамматики. Поэтому классическое образование на основе одного языка похоже на прыгание на одной ноге вместо нормальной ходьбы.

Русская гимназия... Скольким собакам на нее было навешано — от чеховского «человека в футляре» (не случайно учителя греческого языка) до солугубовского Передонова. А она свою нелегкую службу несла смиренно и к XX веку помогла подготовить людей невероятной, сверхевропейской учености, вроде о. Павла Флоренского или поэта Вячеслава Иванова. Советская средняя школа людей такого типа (за единственным, боюсь, исключением — С. Аверинцева) создавать уже не могла — одно из многих последствий дальнбойного ленинского декрета.

Швабрин пишет историю литературы

2 сентября 1988 года в «Известиях» появилась удивительная заметка «Гриф «секретно» снят». Из нее я узнал, что еще с конца 30-х годов, когда Высшее геодезическое управление было передано в подчинение НКВД, и вплоть до 1988 года все карты СССР стали умышленно искажаться. «Люди не узнавали на картах свою Родину. Туристы тщетно пытались по ним ориентироваться на местности... Там изменялось почти все: передвигались дороги и реки, разворачивались городские районы, неправильно указывались улицы, дома. Например, на туристической карте Москвы верны отчасти лишь контуры столицы». Делалось все это, чтобы запутать врагов. Но у тех уже давно сверхточные карты, сделанные с помощью съемки со спутников, так что страдали только отечественные бедолаги. У меня тогда мелькнула мысль, что нужен ведь целый штат этих искусных фальсификаторов-искажителей, и что у нас такая же ложная, искаженная карта не только пространства нашей страны, но и истории ее и культуры.

Кажется, вся история русской литературы написана у нас переметнувшимся к Пугачеву Швабриным (из «Капитанской дочки») по заданию победившего Емельяна Ивановича и в строгом соответствии с его указаниями.

В самом деле, до 1936 года история изучалась по учебнику М. Покровского («Русская история в самом сжатом очерке»), где даже о Куликовской битве не было ни слова, поскольку все сводилось к борьбе торгового и промышленного капитала. Потом появился новый школьный учебник под редакцией А. Шестакова, и люди останавливали друг друга на улицах: «Слышали? В школьном учебнике о великих князьях написали». Разумеется, Шестаков тоже был швабриным и тоже писал по заданию Пугачева, но все-таки хоть какие-то крохи фактов в учебник попали. Пугачев и дальше не раз менял свое мнение по одним и тем же вопросам, и каждый раз многочисленным швабриным нужно было колебаться вместе с линией и переписывать все заново.

Что касается истории русской литературы, то здесь коэффициент искажения был не менее велик. Нужно было самую христианскую литературу мира превратить в материалистическую, революционную и безбожную. Ведь Швабрин, как всякий передовой человек своего времени, «в Господа Бога не верует» (по словам комендантши Василисы Егоровны).

Очень важную роль должны были сыграть понятия «прогрессивный» и «реакционный». Прогрессивно все то, что способствовало гибели исторической России, подрывало ее изнутри, расшатывало, готовило победу Октября. Наоборот, реакционно все то, что могло этот процесс задержать, с самого начала прозревало всю его гибельность для страны, народа и его культуры. Приведу простой пример. Где напечатаны величайшие книги русской литературы, поставившие русский роман во главе европейского романа, — «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» Достоевского, «Война и мир» и «Анна Каренина» Л. Толстого, «Накануне» и «Отцы и дети» И. Тургенева? Все без исключения названные книги были напечатаны в «реакционном» (Ильич непременно сказал бы — «архиреакционном») журнале Михаила Никифоровича Каткова «Русский вестник», малотиражном и плохо платившем. Но ведь «Война и мир» и «Братья Карамазовы» — это вершины русской литературы. Тогда, может быть, прогрессивная критика по крайней мере оценила эти книги? Как же: Писарев успел написать рецензию на «Войну и мир» с выразительным названием «Старое барство», а «Братьев Карамазовых» громил уже сподвижник Чернышевского М. Антонович, его статья называется не менее красноречиво — «Мистико-аскетический роман»... А если бы Толстой и Достоевский толкнулись с этими творениями в прогрессивные журналы, то, надо думать, получили бы там недвусмысленный ответ: «Милостивые государи, вы ошиблись дверью, апологист старого барства и мистико-аскетических романов не печатаем».

А что же печатали сами лучезарные «Современник» и «Отечественные записки»? Ну как что — литературу пожиже, уже второго сорта: «Нравы Растеряевой улицы»

Г. Успенского, «Что делать?» Чернышевского, «Поддиповцев» Решетникова. Да мало ли писалось у нас прогрессивных книг.

Этот маленький пример помогает восстановить подлинную иерархию ценностей и коэффициент искажения в швабринской истории литературы.

За все семьдесят лет у нас не появилось ни одной работы о духовных основах русской культуры. Но знал ли наш швабрин, что еще в самом начале XX века два крупных писателя — датчанин Герман Банг и немец Томас Манн — не сговариваясь назвали нашу словесность «святая русская литература»? Наверное, знал, но слова «святая» боялся, как черт ладана. Когда в 1958 году во время травли Пастернака в газетах и речах замелькало слово «иуда», Ахматова в ужасе спрашивала: какой смысл они вкладывают в это слово? В самом деле, автора книги, напомнившей им о Христе, они называли иудой, самих же себя, давно отрекшихся от Христа, очевидно, иудами не считали. То есть подлинный смысл слова совершенно стерся для бесчисленных швабриных.

Для нас член-корреспондент Академии наук Д. Д. Благой — почтенный академический ученый, автор увенчанного Сталинской премией труда «Творческий путь Пушкина. 1813—1826». А вот каким его видел его современник О. Мандельштам: «В Доме Герцена один молочный вегетарианец — филолог с головенкой китайца — этакий ходя... когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки...»⁷. Портрет Благого заканчивается грустным восклицанием: «чем была матушка филология и чем стала!» Для Мандельштама Благой был советским швабриным. Развивать эту тему слишком тяжело: даже швабрины по-своему страдали от всемогущего Пугачева. Да и далеко не все советские литературоведы были швабриными: до 1930 года много печатались бывшие опоязовцы («формалисты»), хотя в 30-е годы швабрины уже перекрыли им кислород. Помню, как рассказывал В. Б. Шкловский: «Собрались мы и стали решать, как жить дальше: заниматься поэтикой нельзя. И вот Борис (Эйхенбаум) ушел в текстологию, Тынянов — в историческую беллетристику, а я в кино».

Какой же представлялась история русской литературы советскому школьнику? В каждом писателе швабрины старались выделить то, где наиболее громко звучало проклятие старой России и русской жизни. Ведь нужно было узаконить, легитимизировать свой переворот и ночной захват власти. (Удивительно, но вплоть до 80-х годов на всех предприятиях и в институтах в праздничные дни, 7—8 ноября и 1—2 мая, оставлялось круглосуточное дежурство: всё боялись выступлений. Как объяснил мне приятель, в память о выступлении троцкистов 7 ноября 1927 года... Прямо английская традиция!) Из Гоголя, естественно, «Ревизор» и «Мертвые души», из Островского — «Гроза» (вся Россия — темное царство), из рассказов Л. Толстого — «После бала» (грациозно танцевавший на балу полковник оказывается садистом, истязавшим беглого солдата). В комментариях следовало бы указать, когда появились телесные наказания в армии и когда были отменены — за полвека до написания рассказа; но об этом ни слова, и школьник может полагать, что прогоняли сквозь строй в царской армии вплоть до 1917 года. Да и без всяких комментариев, достаточно только переменить оптику, угол зрения на рассказ — и вы увидите, как молодой богатый аристократ навсегда отказывается от любимой девушки только потому, что ее отец участвовал (пусть по долгу службы) в экзекуции; душа его не может примириться с этим, забыть зрелище наказания дезертира. Представляете такой рассказ во французской или английской литературе? Я не очень. То есть даже здесь при внимательном чтении можно было увидеть не только ненависть к царской России.

Все и всегда ругали школьные учебники, но никто не писал главного (да и нельзя было это написать) — что сам марксистский классовый подход к литературе, особенно русской, никуда не годится. Тут уж будь хоть семи пядей во лбу — все равно слон в посудной лавке. Марксизм просто не охватывает, не захватывает и даже не чувствует девяти десятых бытия. Значит, нужно было или игнорировать эти девять десятых бытия, или уродливо подтягивать эти девять десятых к экономической и классовой одной десятой. Марксизм всего лишил глубины, бесконечности, тайны да и просто доброты. Все стало прозаическим и неинтересным, за всем следовало отыскивать классовую пользу.

Меня сначала очень озадачивало, что о «Евгении Онегине» у нас нет ни одной серьезной монографии (кроме построчных комментариев Н. Бродского и Ю. Лотмана и небольшого общего очерка Г. Макогоненко). А потом стало понятно: в этом тонко-одухотворенном мире марксисту с его классовой отмычкой просто нечем поживиться.

⁷ Мандельштам Осип. Сочинения в 2-х томах. М. 1990, т. 2, стр. 94.

Лет пятнадцать, прочитав впервые статью Писарева «Пушкин и Белинский», я был почти ошеломлен: боже, да он же чуть ли не во всем прав! Ну конечно, как можно считать «энциклопедией русской жизни» книгу, где о крепостном праве ничего (кроме «ярем он барщины старинной»), а брусничная вода и женские ножки не забыты. Дело же было в том, что, хотя нам старались привить какое-то уважение к Пушкину, все-таки все направление и содержание нашего — марксистского — образования были вполне писаревскими.

В десятом классе мне было непонятно, почему это Лука, который для всех сделал что-то хорошее, воплощает ложь и сплошной обман. Так нам объясняли на уроках и в учебниках. Это плохо согласовывалось с текстом пьесы «На дне», один из героев которой говорит: «Старик... действовал на меня, как кислота на старую и грязную монету». Позже я прочитал в первом томе сочинений Горького «О чиже, который лгал, и о дятле, любителе истины» — и все сразу стало на место. Чиж говорит: «Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там, за рошей, но ведь верить и надеяться так хорошо!.. Я же только и хотел пробудить веру и надежду, — и вот почему я солгал... Он, дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья?»⁸. Так что школьники попросту обманывали, внушая им, что Лука (чиж) для Горького нехорош. Хотя теперь-то мы знаем, что нас ждало за рошей.

Пришло время осмысливать утраченное и исправлять положение дел. Но руки опускаются, когда думаешь об объеме предстоящей работы. Все надо издавать, отбирать и комментировать заново. В каждом маленьком «Избранном» русского писателя — обязательное марксистское косоглазие.

Это можно показать на любом примере. Такие стихи Пушкина, как «Монастырь на Казбеке», «Когда владыка ассирийский...» и даже всеми сейчас цитируемое «Два чувства дивно близки нам...», бесполезно было до последнего времени искать в «Избранном». То же и с более крупными произведениями. Как только какая-нибудь вещь в особенном загоне — не упоминается, не комментируется, — значит, что-то не ко двору. Пушкин сказал Нащокину, что поэма «Анджело» — лучшее из всего, что он написал. Но у нас ее что-то не жалуют, и понятно: глубоко христианское произведение, все в нем против гордыни и взятого на себя права карать. Или поэма «Тазит», где Пушкин попытался сопоставить этику христианства и ислама. Разумеется, швабрину это не нужно. Он будет избирать и комментировать другое.

Читаю статьи В. Розанова о Лермонтове и думаю: а мог бы марксистский литературовед понять, о чем вообще идет здесь речь? Хотя бы такое (статья «Вечно печальная дуэль», 1898): «В Лермонтове срезана была самая кронка нашей литературы, общее — духовной жизни, а не был сломлен хотя бы и огромный, но только побочный сук. «Вечно печальная» дуэль; мы решаемся твердо это сказать, что в поэте таились эмбрионы таких созданий, которые совершенно в иную и теперь не разгадываемую форму вылились бы все наше последующее развитие. Кронка была срезана, и дерево пошло в суку»⁹.

В более поздней статье «О Лермонтове» (газета «Новое время» от 18 июля 1916 года) Розанов пояснил, что он имел в виду: «...«Спор», «Три пальмы», «Ветка Палестины», «Я, Матерь Божия», «В минуту жизни трудную», — да и почти весь, весь этот «вещий томик», — словно золотое наше Евангелище, — Евангелище русской литературы, где выписаны лишь первые строки... И далее: «...мне как-то он представляется духовным вождем народа. Чем-то, чем был Дамаскин на Востоке: чем были „пустынники Фиваиды“: Да уж решусь сказать дерзость — он ушел бы „в путь Серафима Саровского“». И под конец: «Он дал бы канон любви и мудрости. Он дал бы «в русских тонах» что-то вроде «Песни песней» и мудрого «Экклезиаста», ну и тронул бы «Книгу Царств»... И все кончил бы дивным псалмом. По многим, многим «началам» он начал выводить «Священную книгу России». Ах Мартынов, что он сделал! Бедный, бедный Мартынов!.. Час смерти Лермонтова — сиротство России».

Что мог бы сказать по этому поводу марксистский «органчик»? Ведь для него все сказанное Розановым — китайская грамота. Лермонтов взял такую высокую серафическую ноту, которую никто не смог повторить или продолжить. Может быть, Гумилев в отдельных лучших своих стихотворениях. Расстреляв прямого наследника Лермонтова — Гумилева, марксисты не имеют права печаловаться и о Лермонтове. И тем не менее с этой швабрийской критикой мы жили семьдесят лет...

Русская литература и в самом деле была святой. Приведу простой, но по-своему красноречивый пример. В детстве все зачитывались «Графом Монте-Кристо» Дюма.

⁸ Горький М. Полное собрание сочинений. 1968, т. 1, стр. 52.

⁹ Розанов В. В. Литературные очерки. Изд. 2-е. СПб. 1902, стр. 158.

А возможен ли был бы в России двухтомный роман, описывающий наслаждение — пусть самой праведной — мезью? Безусловно нет; русскому писателю свойственно чувствовать, что самочинная месть — греховна: «Мне отмщение и Аз воздам».

Тот же Розанов: «Нищие почтили потому, что он был немец, и притом — страдающий (болезнь). Но если бы *русский* и *от себя* заговорил в духе: «падающего еще толкни», — его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать»¹⁰.

Виновна ли русская литература в гибели России? Безусловно. Русская литература своей христианской гуманностью, чуткостью ко злу и состраданием воспитывала такое обостренное чувство справедливости, что чуть ли не все были за упразднение несовершенной власти и собственных привилегий. (Миллионер Лопухин, купив вишневы сад, стонет: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь». Изменилась. И достаточно скоро.) Мало кто понимал, что совершенная власть невозможна, что будет еще хуже, что вернее исходить из того, что есть, и потихоньку улучшать. Тот же Чехов усмехался по поводу «аптечек» и «библиотечек» (то есть работы земств) в «Доме с мезонином». Хотя этот скепсис только в рассказах, а в жизни он то и дело организовывал библиотечки и аптечки (тоже ведь по-своему праведный был человек). Чехов как бы не видел, что жизнь сестер Волчаниновых чиста и высока, чего после переворота 1917 года стало гораздо меньше.

Даже слушая по радио пьесу И. Попова об Ульяновых «Семья», я не раз думал: где сейчас такие семьи? Они только в дореволюционной России и были возможны. Ленинизм их истребил.

Словом, с помощью своей литературы Россия вырастила у себя на голове такие ветвистые рога сострадания и справедливости, что, загибаясь, рога эти стали вращать в ее тело и помогали ее губить.

Можно предложить и другое объяснение. В «Чтениях о Богочеловечестве» Владимир Соловьев пишет: «Социализм иногда изъявляет притязание осуществлять христианскую мораль. По этому поводу кто-то произнес известную остроту, что между христианством и социализмом в этом отношении только та маленькая разница, что христианство требует отдавать свое, а социализм требует брать чужое»¹¹. Получается, что социалисты и христиане созданы друг для друга: одни хотят взять, а другие отдать. В России было не более трех процентов социалистов, но христиан хватало. Дальнейшее известно.

Почему ничего подобного не произошло в других странах Европы? Очевидно, там были ненастоящие христиане или ненастоящие социалисты. Все это, конечно, наполовину шутка, но максимализм россиян — реальность: князь Владимир после крещения сомневался, может ли он теперь казнить душегубов-разбойников. Все принималось слишком буквально и безоглядно.

Теперь зададим простой вопрос, который, однако, в прямой форме у нас не ставился: можно ли рассматривать так называемую советскую литературу как продолжение русской литературы? Без колебаний отвечаешь: нет, это весьма отдаленный мутант русской литературы. Вспомним «Как закалялась сталь» Н. Островского — казалось бы, житие святого, один из основных жанров древнерусской словесности. Но книга начинается со взрыва ненависти, направленного на школьного священника, и чем дальше, тем больше превращается в эпос ненависти, в «черную мессу», в литургию сатаны. А этот роман — одна из наиболее цельных книг советской литературы.

В старой России роль водонапорной башни духовности играли монастыри. В советской России такую роль для духовности отрицательной играл ГУЛАГ. Его незримое присутствие поднимало тонус всех воинственных призывов к борьбе с пережитками абстрактного гуманизма. Классовый гуманизм оказался лагерным гуманизмом.

А литература? Как из кофе у нас удаляется (вытягивается) во время обжарки кофеин (для медицинских будто бы целей), так из литературы уходило все глубокое, глубинное, все, что касается Бога и греха, тайны смерти и тайны пола. Вместо этого миллионными тиражами шли литературные муляжи.

Единственной серьезной попыткой приближения к русской литературе прошлого в послевоенные годы была наша деревенская проза, вышедшая, в сущности, как из «Шинели» Гоголя, из маленького рассказа А. Солженицына «Матрёнин двор». (Вот что значит родной голос, напомнивший о забытом: сразу откликнулись десятки голосов.) Казалось, отыскался след Тарасов. Христианские ценности восстанавливались в душах читателей. Но все-таки был на этой прозе налет провинциализма, это —

¹⁰ Розанов В. В. О себе и жизни своей. М. 1990, стр. 77.

¹¹ Соловьев В. С. Сочинения в 2-х томах. М. 1989, т. 2, стр. 10—11.

русская литература без петербургского периода русской истории, без Европы. Да и христианские мотивы звучали приглушенно (цензура, редакция). И все равно это был подвиг травы, пробившейся сквозь асфальт.

Но если русская литература все же издавалась, пусть в определенном идеологическом освещении, то русская философия была запрещена полностью. Обязанности философов должны были исполнять идеологически близкие публицисты-шестидесятники Чернышевский, Добролюбов, Писарев, хотя каждый, кому была небезразлична история русской мысли, чувствовал невыносимую фальшь такого положения¹²...

Русская литература продолжалась в эмиграции. Мы читали поздние рассказы Бунина и невольно сопоставляли их с советской литературой. Вот как расставались героини рассказа «Холодная осень» (1944) в 1914 году:

« — Ну что ж, если убыют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.

Я горько заплакала... а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер... И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня — с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду»¹³.

Все родное, и все-таки как будто голос с другой планеты. Шесть десятилетий социализма заложили уши. У нас тоже прощались и тоже говорили перед разлукой:

— А куда же напишу я?
Как я твой узнаю путь?
— Все равно, — сказал он тихо. —
Напиши куда-нибудь.

Прислушайтесь внимательно — и в словах комсомольской песни вы услышите христианское смирение и веру в чудо.

В течение тысячелетия русский человек «с сокрушенным сердцем» стоял в храме и слушал православное богослужение — без всякого инструментального сопровождения, один только голос человеческий. Неужели это осталось без влияния на русскую культуру и русскую литературу? Это пение во многом сложило душу русского человека, который сложил русскую культуру. Эта простота и неукрашенность подлинной красоты вошли в Пушкина и Толстого, откликнулись даже в комсомольской песне. Вообще русское в советском — никем не исследованная тема. Потому и трудно так расставаться, что кое-что сроднилось и проросло.

Еще удивительней, чем встреча с эмигрантской прозой, была встреча с эмигрантской поэзией. Тоненькая брошюрка в 52 страницы — Георгий Адамович, «Единство. Стихи разных лет» (Нью-Йорк. «Русская книга». 1967). Читая ее, вдруг задумываешься: может быть, это тот следующий этап русской поэтической речи, который был бы у нас, если бы не вытоптали и не пожгли все. Какое-то сверхцеломудрие и эфирность языка. Никаких побрякушек-отвлекушек. Стихи монаха, живущего в миру. Аскеза. Восхождение через нисхождение, через кенозис. Есть это и в поздних удивительных стихах Георгия Иванова, но не так целомудренно. У Адамовича всегда сознание своих скромных сил и полной обреченности и бесполезности попыток. У него ведь есть статья — «Невозможность поэзии».

Проспорив всю жизнь о русской поэзии, затвердив ее всю наизусть, Адамович просто должен был в конце концов перестать писать стихи. Он и перестал, но не «просто», а вот с несколькими вздохами о невозможности поэзии и ее недоступности. Эти вздохи и составили сборник «Единство». Так умирала русская поэзия за рубежом — с редким достоинством. Разумеется, рядом были десятки других поэтов, но два петербургских поэта — Г. Иванов и Г. Адамович — действительно пытались создать новую простоту и новое целомудрие в русской поэтической речи.

Каков он будет, завтрашний день нашей литературы и нашей поэзии? Слишком ведь ясно, что пересмешники постмодернисты — не более чем временщики, никакой духовной жажды они не утоляют.

Акуля, что шьешь не отгуля?.. А кто знает, где это «отгуля»? Знаем. Не вчера родились. Есть кормчие звезды, которые не обманут. Рублев — Пушкин — Достоевский — Ахматова...

Идеал был и есть только один — Святая Русь. Разумеется, он никогда не был осуществлен, но тяга к нему была в каждом сердце — от сибирского крестьянина до Амвросия Оптинского, до интеллигента-агностика Чехова. Ничем это не вытравишь. Большевики уже просчитались. Как бы не просчитаться и демократам: Россия, как

¹² Подробнее об этом в нашей статье «Возвращение русской философии» («Здесь и теперь» (Москва), 1992, № 1).

¹³ Бунин И. А. Собрание сочинений в 9-ти томах. М. 1966, т. 7, стр. 208, 210.

Татьяна, может остаться со старым генералом и не пойти за молодым европейцем Онегиным.

На смену социализму идет демократия. Уместно привести слова великого историка нашего времени Арнольда Тойнби: «Коммунизм, который является одной из разновидностей новейших религий, по моему мнению, представляет собой страницу из книги Христианства, страницу вырванную и неправильно прочитанную. Демократия — другая страница из той же книги Христианства, которая, боюсь, тоже вырвана и хотя, может быть, прочитана правильно, но наполовину обесмыслена тем, что оказалась отделена от своего христианского контекста и секуляризирована; мы, по всей видимости, уже в течение нескольких поколений живем на духовный капитал, то есть пытаемся поступать по-христиански, не обладая христианской верой, а действия, не подкрепляемые верой, есть невосполнимая растрата, что мы и обнаружили, к нашему горю, в этом поколении»¹⁴.

Пока мы будем руководствоваться вырванными из книги страницами, мы все время будем похожи на мартышку в ее упражнениях с очками. Только вся книга, во всей ее полноте, содержит Истину и Путь.

Старик Шпенглер был прав: закат Европы все-таки наступил, ее согревают сейчас только последние лучи заходящего солнца. Но не нам говорить об этом.

Белые пятна на карте культуры

Для удобства и полноты идеологического контроля выгодно было иметь как можно меньше издательств: для печатания классики одно издательство — «Художественная литература»; для пропитания советских писателей тоже одно — «Советский писатель», одно для молодежи — «Молодая гвардия», одно для детей — Детгиз. Так, собственно, и получилось, как только к началу 30-х годов были постепенно ликвидированы все частные и кооперативные издательства. Читатели огромной страны с 200 миллионами жителей получали духовную пищу из узкого горлышка одного-единственного в данной отрасли издательства. Поэтому, строго говоря, удивляться надо не тому, что что-то осталось неизданным и непереведенным, а тому, как много все-таки успели сделать и издать. Система давала сбои. Ведь подлинно тотальный идеологический контроль был у нас сравнительно недолго, лет семь — с 1948 по 1954 год. Тогда действительно издавали книги только сугубо «прогрессивных» (то есть сочувствующих тогдашней политической линии СССР) современных зарубежных писателей. А до и после были какие-то просветы и послабления. Да и то сказать: уж очень убого выглядела эта «прогрессивная» литература. Кто мог всерьез поверить, что лучшие французские писатели — Андре Стиль и Жан Лаффит, а американские — Говард Фаст и Альберт Малы?

Но все это в прошлом. Давайте посмотрим, насколько полно представляем мы мировой литературный процесс сегодня, в 1992 году. Начнем с Франции. Назовем пять самых значительных имен во французской литературе XX века. И вот тут начинаются чудеса. Оказывается, что эти пять имен для нас и для самих французов не только будут разными, но и вообще ни одно имя в двух списках не совпадет — вот как далеко разошлись ножицы издательской политики и читательских симпатий у нас и во Франции. Советский список имел бы, наверное, даже сейчас такой вид: Анатоль Франс, Ромен Роллан, А. де Сент-Экзюпери, Франсуа Мориак, Альбер Камю. А наиболее вероятный французский список: Поль Клодель, Шарль Пеге, Поль Валери, Марсель Пруст, Андре Жид. Как видите, не совпадает ни одно имя. Посмотрим же, насколько переведены у нас эти французы. Первые два — Клодель и Пеге — относятся к католической французской литературе и фактически по этой причине не переведены у нас совершенно (Пеге представлен несколькими стихотворениями в антологиях, а Клодель — третьестепенной по роли в его творчестве драмой «Протей»).

Поль Валери считается если не величайшим, то по крайней мере самым совершенным французским поэтом XX века, но у нас до сих пор не переведен основной корпус его стихов, в том числе и главная его поэма «Юная парка», представленная лишь крохотными отрывками в «Избранном» 1936 года. Правда, эссеистика Валери переведена гораздо полнее (объемистый сборник «Об искусстве», 1976). С Прустом тоже далеко не благополучно: все еще нет русского перевода двух последних томов семитомного романа «В поисках утраченного времени» («Беглянка» и «Обретенное время»). У Андре Жиде есть даже собрание сочинений в четырех томах (Л. 1935—1936), состав которого определил сам автор в период его недолгого увлечения

¹⁴ Тойнби А. Civilization on trial. The World and the West. Cleveland and New York. 1965, p. 207.

коммунизмом, но это собрание не включает доброй половины сочинений А. Жида, не говоря уж о его огромном и очень интересном дневнике. Таким образом, из пяти названных писателей переведены только три, да и те наполовину или того меньше.

Обратимся к немецкой литературе. Там таких взаимоисключающих списков уже, пожалуй, не составить, потому что хотя бы одно имя — Томаса Манна — будет неизбежно в обоих (этот факт говорит о гибкости и широте личности Т. Манна). Тем не менее целый ряд виднейших немецких писателей у нас, по существу, не переведен. Прежде всего это лирика и исключительно важная эссеистика Готфрида Бенна, творчество братьев Эрнста и Фридриха Юнгеров, католических романистов Вернера Бергенгруна и Рейнхольда Шнейдера (кстати, оба знали и любили русскую культуру), романы Уве Йонсона, главные книги крупнейших австрийских романистов Г. Броча («Сомнамбулы») и Х. фон Додерера («Бесы» — «Die Dämonen»: так переводят на немецкий язык и название романа Ф. Достоевского). Не изданы отдельными книгами у нас и крупнейшие австрийские и немецкие поэты XX века: Гуго фон Гофмансталь, Георг Тракл, Стефан Георге, Карл Кролов, Пауль Целан и другие.

Такую же сводку можно сделать и по английской, итальянской и другим литературам, но не хочется обременять читателя длинной чередой имен и названий. Гораздо важнее другое. Четыре раза предпринимались у нас попытки познакомить советского читателя с богатствами мировой литературы, и каждый раз они наталкивались на непреодолимое сопротивление марксистской идеологии. Напомню эти попытки в хронологическом порядке. Почти на другой день после революции (4 сентября 1918 года) М. Горький создал в Петрограде издательство «Всемирная литература». На роскошной слоновой бумаге был издан каталог намеченных к изданию книг европейских писателей XIX и XX веков. Этот каталог и сейчас просматривать приятно: слева названия книг на языке оригинала, справа русский перевод. В состав редколлегии экспертов вошли А. Блок, А. Вольнский, Н. Гумилев, Е. Замятин, К. Чуковский. Правда, никто из них не был марксистом, да и сам каталог составлен на редкость объективно. Это в конце концов и погубило издательство. Всесильное петроградское начальство — Г. Зиновьев и И. Ионов — при первой же возможности ликвидировало его. Сколько раз потом Горький вспоминал с горечью, что в Петрограде растоптали самое дорогое его сердцу дело. План-каталог удалось выполнить едва ли на одну десятую.

Несколько лучше сложилась судьба следующего культурного начинания — издательства «Academia». Созданное еще в 1922 году в Петрограде как частное, оно вскоре стало издательством при Институте истории искусств, но лишь к концу 20-х годов сделалося действительно лучшим и самым культурным издательством за всю историю книгопечатания на Руси. Менее чем за девять лет (примерно с 1928 до начала 1937 года) было выпущено несколько сот образцово подготовленных и оформленных книг классиков мировой и русской литературы. Мало кто знает, что душой и фактическим руководителем обоих издательств, «Всемирной литературы» и «Academia», был один и тот же человек — Александр Николаевич Тихонов (Серебров). Но и это издательство разгромили и уничтожили в 1937 году (известную роль сыграло, вероятно, то, что одним из руководителей в последние годы был Л. Каменев). Однако и в программе «Academia» не было ни египетской «Книги мертвых», ни буддийского палийского канона, ни Фомы Аквинского, ни Фомы Кемпийского.

Следующим по времени начинанием стала всем известная серия «Литературные памятники», выходящая в издательстве Академии наук («Наука»). По количеству и качеству вложенного в нее исследовательского труда серия превосходит все остальные попытки познакомить нашего читателя с мировой литературой. Но серия с самого начала была задумана как постоянно продолжающаяся, поэтому, несмотря на почти сорок пять лет издания, в ней до сих пор нет многих самых основных произведений мировой литературы (Вергилия, Горация, Шекспира, Рабле, Мильтона, Флобера и других). Даже «Исповедь» Августина в этой серии не удалось издать, несмотря на героические усилия Н. И. Конрада.

Наконец, последней по времени попыткой была также всем известная (под аббревиатурой «БВЛ») серия «Библиотека всемирной литературы» издательства «Художественная литература», получившая ласковую народную кличку «Всемирка». Эта двухсоттомная библиотека вышла в годы глубокого застоя (1969—1977), и коэффициент идеологического искажения в ней больше чем где-либо. Отдельными томами представлены такие писатели, как А. Барбюс, И. Бехер, А. Зегерс, М. Пуйманова, Дж. Рид, зато нет не только никого из названных пяти французских писателей (М. Пруста, П. Валери, А. Жида, Ш. Пегги, П. Клоделя), но и Дж. Конрада, К. Гамсуна, Дж. Джойса, Г. Гессе, Р. М. Рильке, А. де Сент-Экзюпери, Ф. Мориака, Г. Грина и других. Не только Кафка, но даже Ремарк и С. Цвейг были, видимо, признаны слишком упадочными и не попали во «Всемирку».

Если же перевести взгляд на историю философии, то сразу бросается в глаза зияющая брешь на самом важном участке, соединяющем неоплатонизм и христианство. До сих пор нет русского Плотина (из «Эннеад» в общей сложности переведена едва ли четверть), Порфирия, Максима Исповедника, Иоанна Скота Эриугены (хотя перевод основного его труда «О разделении природы» был сделан для издательства «Путь» еще перед революцией). Нет книг главного систематизатора исихазма Григория Паламы.

Вспоминаю давний (в конце 70-х годов) разговор с Алексеем Федоровичем Лосевым о Псевдо-Дионисии Ареопагите. Лосев два раза полностью перевел весь корпус сочинений Ареопагита — четыре трактата и десять писем. Первый перевод забрали в НКВД при обыске и аресте, второй погиб от прямого попадания авиабомбы в дом ученого в начале войны. Вот судьбы нашей культуры. Я взмолился: «Алексей Федорович, переведите в третий раз! Вы же, наверное, почти наизусть текст помните!» — «А кто будет издавать?» — «Как кто — конечно, грузины». (Существует теория Ш. Нуцубидзе о грузинском происхождении автора ареопагитик.) — «Нет, там даже Прокла издать было сложно...» Так и не уговорил я Алексея Федоровича. Недавно два из четырех трактатов Ареопагита появились в новом переводе Л. Лутковского в Киеве (в сборнике «Мистическое богословие», 1991) — увы, без всякого научного аппарата. А ведь первые русские переводы Псевдо-Дионисия вышли в России еще в XVII веке, и переоценить его значение для русского богословия и философии невозможно.

Обратимся к немецкой мысли. И снова сплошные белые пятна — от Мартина Лютера к поэту-мистика Ангелусу Силезиусу, далее через И. Гаманна, Ф. Якоби, Ф. Баадера, вплоть до Гуссерля, Шелера и Хайдеггера в его главных сочинениях. А ведь Хайдеггера могли бы у нас «переживать», как в свое время Гегеля и Шеллинга. Нет даже русского перевода бесценных «Фрагментов» Новалиса (переведена едва ли двадцатая часть). Нет великих испанских мистиков Терезы из Авилы и св. Иоанна Креста (Хуана де ла Крус). Нет даже современного перевода «Мыслей» Паскаля, учитывающего последние достижения французских текстологов, а в «БВЛ» из «Мыслей» выброшено три четверти, в том числе вся главная часть — мысли о религии и атеизме.

Свой идеологический Чернобыль мы разносили по всему миру на десятках языков — от английского до суахили. А между тем в издательствах «Прогресс» и «Радуга» накоплен немалый опыт издания книг на иностранных языках. Вот бы произвести конверсию и начать двуязычно (текст и перевод) издавать классиков мировой литературы и философии от древности до наших дней. Уверен, что наш читатель поддержал бы такое начинание всеми своими скудными средствами. А духовные последствия таких изданий трудно переоценить. Сначала некоторые будут чертыхаться, увидев на левой стороне разворота иностранный текст, но уже дети их могут заинтересоваться непонятным текстом и взяться за него. Нужно возродить тип русского европейца, который был же у нас перед революцией и о котором любил писать Достоевский, потому что чувствовал его в себе.

Но, может быть, намного лучше у нас обстоит дело с изданием русской классики? Только на первый взгляд. Ни разу не издали сколько-нибудь полного Г. Державина, даже стихи — всегда «избранные». Ни разу — полное В. Жуковского (его дореволюционные однотомники — «Полное собрание сочинений в одном томе» — несравненно полнее самого полного советского издания Жуковского в четырех томах (М. — Л.: 1959—1960); Жуковскому не могли простить не только гимна «Боже, царя храни», но и многих десятков стихотворений на духовные темы). Ни разу даже не пытались издать собрание сочинений Н. Карамзина. Ни разу — сколько-нибудь полное Батюшкова (далее двухтомника не пошли). Знатоки книг знают, как соотносятся гrotовский Державин и майковский Батюшков с самыми полными советскими изданиями этих классиков: небо и земля! Ни разу — полного собрания Баратынского (со всеми письмами) и Тютчева (советская бумага не выдерживала его политических статей, да и письма — опять-таки только избранные). Ничего хотя бы отдаленно приближающегося к двенадцатитомному шереметьевскому П. Вяземскому не было и не могло быть. Ни разу не собрались сколько-нибудь полно издать ни И. Гончарова, ни Н. Лескова. Писемский вечно без «Взбаламученного моря», Фет — без двухтомных «Моих воспоминаний»... Называю только бесспорных классиков. А как быть с такими литературными изгнанниками, как Аполлон Григорьев, которых и до революции-то не издали сколько-нибудь полно? Первый том «Полного собрания сочинений и писем в 12 томах» вышел только в 1918 году, да сразу стал и последним. С тех пор дальше двухтомника не ходили. Основатель русской религиозной философии, самобытнейший Иван Васильевич Киреевский издавался до революции всего два раза, с интервалом в пятьдесят лет, — в 1861 и 1911 году. До третьего издания интервал вырос еще больше — почти семьдесят лет (1979). Чувствуете ли вы эти убийственные

полувековые пролеты? Откуда такое равнодушие? Зато «неистовый Виссарион» издавался каждый год. Тут и Октябрь становится понятен.

Опыт русской классической литературы, по существу, остается у нас неосмысленным. Только в 1990 году появились два сборника, которые хочется назвать критическими антологиями нового поколения, — «Пушкин в русской философской критике» и «О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881—1931 годов» (оба в издательстве «Книга»). Но дойдут ли эти книги при тираже в 30 тысяч до школьного учителя, до сельских библиотек? Нужны такие же сборники русской философской критики о Гоголе, Лермонтове, Л. Толстом, Чехове.

Все еще не пришли к нам замечательные труды русских зарубежных литературоведов — К. Мочульского (его монографии о Достоевском, В. Соловьеве, Блоке, А. Белом написаны на редкость доступно и прозрачно), П. Бицилли, Д. Чижевского, Ю. Иваска, Н. Ульянова, В. Вейдле. Во всяком случае, ни одной их книги я не видел на наших прилавках...

Беспредел

Странно, что до сих пор нет газеты и журнала с таким названием. Какое еще слово, как широкая шапка, покрывает все то, что происходит сейчас у нас дома? Хотели написать «демократия», а прочиталось — «беспредел». Неужели в нашей стране никакого иного прочтения этого слова и быть не может? Есть над чем задуматься.

Подойдем к одному из множества книжных лотков у станции метро. Число таких лотков в Москве увеличилось за последнее время, наверное, в сотни раз. Что же мы видим здесь? Прежде всего — крах сладостной мечты о лучшем в мире читателе. Направление главного удара на всех лотках одинаковое и формулируется так: остросужетный зарубежный детектив. Остросужетный, то есть динамичный, где уже на первой странице сворачивают скулу, — это вам не логические кроссворды добрых старых англичанок вроде Агаты Кристи. Абсолютный чемпион «крутого детектива» и абсолютный любимец публики — Джеймс Хедли Чейз, англичанин, живший в Швейцарии и писавший об Америке. Чуть поодаль лежит фантастика — разумеется, англо-американская и давно уже не научная, переходящая в бредятину о вампирах. Для прекрасного пола — многотомная «Анжелика» супругов Голон, для юношей — многотомный «Тарзан» Э. Берроуза.

Так вот где таилась погибель русской культуры, вернее, русского читателя, — умереть от Тарзана и Анжелики! Когда тебе не давали этого полвека, то хочется наброситься с жадностью. А что делать с прочитанным Чейзом? Неужели гордо поставить на полку? И не стыдно перед гостями? Ведь это то, что на Руси называлось ванькина литература. Самое грустное — эта литература тоже формирует мировоззрение и вкус своего читателя. Такой книжечкой уже не осилит ни «Моби Дика», ни «Волшебной горы».

Понимаю, что сейчас не до книг. Все гибнет: журналы, газеты, издательства. Цены на бумагу за три года увеличились в сто раз. Книгоиздание на глазах становится не только невыгодным, но и убыточным. Прощай, Гутенберг! До встречи на новом историческом витке.

И все-таки как много успели издать за эти три-четыре года! Вернулась русская религиозная философия: десятки книг В. Соловьева, В. Розанова, Н. Бердяева. Вернулась проза русской эмиграции. И еще — в одной Москве уже несколько десятков отделов и киосков православной книги. Пройдет немного времени — и как Антей, коснувшийся матери-земли, и как Самсон, у которого выросли остриженные во сне волосы, русский человек постепенно придет в себя, вернется в дом отчий.

...Важно бы сейчас показать — в десятке дельных книг — научную несостоятельность атеизма. Ведь стоя на так называемой научной точке зрения, совершенно невозможно объяснить ни происхождения жизни, ни появления сознания. Просто концы с концами не сходятся хоть плачь. Получается, что в процессе эволюции вещи падали не вниз, а вверх. Но это ведь чудо. А без этого чуда путь к человеку не объяснишь. Словосочетание «научный атеизм» есть нелепость, оксюморон, потому что сколько-нибудь убедительной научной картины мира нет и по сей день. Вряд ли это простая случайность.

Нам еще предстоит понять, что корни материальных, в том числе и экономических, достижений — духовные (яснее всего это видно на примере Японии). Биржевой маклер — брокер — никогда не станет народным идеалом, как ни рекламируй его подвиги по телевидению. Опять шьем не оттуля, такая уж, видно, судьба. Странно, что наши демократы, устремляясь в «мировое сообщество», торопясь занять место между Бангладеш и Индонезией, не захотели даже вспомнить собственную почтенную либеральную традицию — Б. Чичерина, Л. Кавелина, П. Новгородцева, П. Струве.

В самой безысходности и беспросветности нынешнего беспредела его скорая кончина. Нельзя долго стоять на голове.

Одно счастье мы уже обрели — освобождение от чудовишной, калечащей душу идеологии. За это не жаль и высокой цены. Призрак большевизма может еще возвращаться не раз, но только с ножом, приставленным к горлу, можно заставить нас поверить в гениальность ленинских статей о Толстом. Хочется надеяться, что этот духовный Чернобыль уже под надежным саркофагом.

А кто же будет платить за культуру? Платить будет наш читатель, который все-таки заслужил право зваться лучшим в мире (в годы застоя он всегда безошибочно находил в гряде марксистского мусора книгу «реакционного» писателя или философа, чудом проскочившего через все фильтры). Только дайте ему деньги и сделайте эти деньги настоящими.

Платить будет и новый предприниматель. В России «экономический человек» был смягчен и облагорожен православным прихожанином, христианином, и это может вернуться.

Платить будет государство, которое примет же когда-нибудь культурные и цивилизованные законы.

Одна строка Верлена вспоминается мне в эти дни:

L'espoir luit comme un brin de paille dans l'étable.
(Надежда светит, как соломинка в конюшне.)

И одна русская строчка: «Быть не может, чтобы Бог забыл» (О. Седакова).

В 1993 году

«Новый мир» предполагает опубликовать новое произведение

ИВАНА ОГАНОВА

Песнь виноградаря осенью

Эпос

Никто в Кахетии не был так близок к Старой дороге как те, которых она кормила. Вот она, арба, запряженная медленным, неповоротливым волом. Слышите, как задумчиво скрипит колесо?.. Аробшики!..

Это люди, кровно породнившиеся с дорогой. Для них судьба — это медленная езда на арбе. Завоевывание пространства. Вот сгорбившаяся спина аробшика, а впереди задубелая спина вола, он тащит арбу неторопливо и нехотя, еле двигая тяжелыми копытами. Еще одно древнее, наше родовое ремесло!..

И хотя в наших землях много передвигались и ездили (возили на продажу вино, водку, шкуры, мясо, шерсть), но все равно для аробшика испокон веков Старая Кахетинская дорога была чем-то иным, более сокровенным и насущным, чем для остального народа.

Народ тысячу раз извездил свою дорогу, и все вдоль нее казалось давно открытым, изученным, исхоженным копытами, раздавленным колесом. Даже малый ребенок был хорошо знаком с каждой щербинкой на пути, с самым невзрачным, запыленным камнем.

Дорога вела кахетинцев из малой жизни в большую жизнь, полную горизонтов, сторон света, облаков и чистых, освежающих дождей. Иногда Старая дорога вдруг пропадала, глхла, терялась. Она рассыпалась пыльной горячей пылью, разбивалась на ручьи и стертые, забытые тропинки. И тогда кахетинцам казалось, что дорога становилась для них чужой, она вела в бессмертие или в глухое забвение, что совпадало. Дети кахетинцев принимались звать назад свою дорогу, искали, и останки ее вдруг поблескивали где-нибудь возле одичалых, влажных от тумана садов. Или блестела дорога солью, просыпанной с арбы.

Это была память о вечной жизни, проходящей через деревню Велисцихе.

(«Ило Аробшик»)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. МОТОРИН

*

ЛИРИЧЕСКИЙ ПРИЛИВ

После поэтических гроз 80-х установилось затишье, и тогда раздались жалобы: упал интерес к стихам. Однако болезненность и мгновенность реакции на паузу (в сущности, мнимую) — скорее признак растущего интереса. Поэт чуткий, А. Кушнер спокоен за дело своей жизни: «Мне как человеку, пишущему стихи, давно уже ясно, что эпические времена сменились лирическими. Этот процесс начался не сегодня, но приобрел гигантское ускорение на наших глазах» («Литературная газета», 1990, № 12).

Политические потрясения начала 90-х годов воздвигли лишь временную плотину на пути лирического потока. Уровень, энергия лиризма растут, и вот-вот плотина будет размыта. Лирическая стихия грозит теперь разбушеваться до степени, сравнимой разве что с началом нашего века. И вряд ли этому воспрепятствует экономический развал. Вспомним слова поэта, написанные в марте 1922 года — во время угасания былого поэтического всплеска и в ситуации не меньшего, чем ныне, хозяйственного и эстетического хаоса: «Стихомания расцвела пышно, несмотря на неурядицы, на недостатки бумаги, на типографские цены, несмотря ни на что, книги, книжечки, книжонки, брошюры, листовки, написанные стихами, выходили. Не выходили временно печатные — выходили рукописные, устраивались словесные „альманахи и сборники”» (М. Кузмин, «Парнасские заросли», 1922).

Лирическая стихия противится классификации, но постоянно провоцирует ее. В лирическом расплаве эфемерно кристаллизуются объединения, школы, на ломких, нежных гранях играют термины-однодневки. Ориентируясь в современной поэтической ситуации, хочется прежде всего не упустить главного, а главное — это причины нарастания, коренные особенности лиризма и тенденции его развития. Важно вникнуть в смысл слова «лирика». Известно: углубляясь в значение слов, проясняя для себя их происхождение, мы приближаемся к корням проблем, знаменуемых этими словами. Такой путь особенно актуален для нас, «советских людей». Мы стенаем вместе со своими поэтами: «О, вечная гордыня Вавилона! Язык распался, как во время оно» (А. Зорин).

Лирика. Древние греки называли так песни, исполнявшиеся под аккомпанемент лиры. Это словно бы песня птицы: откровение жизненного ритма, выражение душевной индивидуальности, не терпящее себя, неискренности. «Поэзия лирическая есть портрет, отражение и зеркало собственных высших движений души поэта... Ложь в лирической поэзии опасна, ибо обличит себя вдруг надутостью...» (Гоголь, «Учебная книга словесности для русского юношества»).

В сущности, всякий творец изящной литературы — лирик. Все внешнее преломляется в гранях его «я», и художественный мир изводится из глубин его духа, заряжается его ритмом. Эпос и драма — это распространение, разрежение лирического импульса, излетевшего из души творца. Эпосу и драме свойственна несколько большая отстраненность писателя от описания, некий хлад объективности.

Подстреканная правдой жизненных ритмов к предельной, неконтролируемой искренности, лирика неложно свидетельствует о роении настроений, умозрений в обществе. Она то зеркало, на которое «неча пенять, коли рожа крива». Творческие порывы разных поэтов перекликаются в своих обращениях к людям, к миру, к Богу. Так творится «соборное» лирическое «я» с его неподдельностью, невымысленностью и возвышающейся над разумением и волей отдельных людей сверхзаданностью. Так, хотим мы того или нет, сохраняются принципы древнего народного творчества. И может быть, только письменное, а не устное бытование современных лирических

текстов препятствует их теснейшему воссоединению в пределах одного «гомерического», ассимилирующего сознания.

Порождая свой художественный мир из глубин собственной души, автор действует сообразно Богу-Творцу. Бог любит свой мир. Так и писатель любит свой мир. Творчество без любви невозможно. Это древняя аксиома. И конечно же, лирика в своих лучших проявлениях выражает любовь самую пламенную, еще не остывшую, не рассеянную в духовных пространствах. Это свойственно не только узкому чувственно-страстному направлению лирики; это касается и молитвенной, философской, пейзажной и всех прочих ее условно обозначаемых разновидностей.

Выражая импульс любви, то есть импульс воссоединения, устройства, лада, лирика служит созиданию художественного космоса, «мира», как писали раньше, а подразумевали, что «миръ и миръ одно и то же» (В. Титов, «О достоинстве поэта». 1827). Любовный импульс лирики включает жизнь художника в строй вечно творящегося космоса (в одних представлениях — живого и самодвижущегося, в других — творимого Богом). Творчество соразмеряет, со-меряет, человека с большим миром, с-миряет творца. «Искусство есть примиренье с жизнью», — согласились умудренные творческим опытом Гоголь и Жуковский, оба лирики.

Истинный поэт, по словам Платона, «существо легкое, крылатое и священное», он творит, лишь будучи одержим вдохновением, то есть когда на него нисходит любовь священных муз; тогда-то им «овладевает гармония и ритм» («Ион»). Искусству свойственна память ритма. У лирики с ее повышенной ритмичностью особенно ясна эта родовая память о божественном (по неложному свидетельству древних мудрецов) происхождении искусства.

Современный скептически настроенный поэт и теоретик поэзии В. Бурич призывает освободить поэзию от ее исконного, ключевого влечения к повышенной ритмичности. Особенно раздражает В. Бурича рифма (вспомним, что слова «ритм» и «рифма» происходят от одного греческого корня): «Рифменными стихами надо писать только в надежде на эффект нерукотворности произведения»; рифма — «стимулятор и регулятор ассоциативного мышления», которое создает впечатление «колдовства», «шаманства», «наития» (В. Бурич, «Тексты». М. 1989). Энергия лирического ритма действительно возбуждает алхимическое взаимодействие слов, образов в стихе. Если всякая метафора есть, по выражению Дж. Вико, «маленький миф», то в лирике метафоры с особой охотой раскрывают свои мифотворческие потенции, напоминая людям, как все со всем в этом мире связано, все возможно и как это, по существу, чудесно.

В лирическом творчестве раскрывается личностное бытие; а личность, согласно глубоко продуманному определению А. Ф. Лосева, «есть самое существо мифа <...> Миф есть <...> энергичное самоутверждение личности <...> разрисовка личности, картинное излучение личности, образ личности» («Диалектика мифа». М. 1930). Лирика и миф во многом совпадают.

Итак, «искусство есть примиренье с жизнью». Оно устанавливает и укрепляет связи человека и мира, человека и Бога (богов, демонов — в соответствии с различными верованиями). В лирическом вдохновении человек воспекает возделенные предметы своей любви, веры, надежды. Именно лирика с древнейших времен выражала поклонение людей высшим, сверхчеловеческим силам — в гимнах, псалмах, молитвах. И в лирике же — в заклинаниях, заговорах — человек устанавливал равноправные отношения с духовными существами, менее высокими в мировой иерархии. Наконец, лирика славилась героям и возлюбленным из среды самих людей.

Все сказанное здесь о лирике касается ее характерных, постоянных черт. История литературы свидетельствует, что эти черты с особенной силой проступают и привлекают к себе внимание в определенные «лирические» эпохи.

Нынешним литературным событиям предшествовали две колоссальные лирические волны. Они прокатились по русской словесности в конце XVIII — начале XIX столетия («золотой век») и в конце XIX — начале XX («серебряный век»). Мы свидетели нового подъема в конце XX века. Так что можно говорить о некоем вековом ритме в жизни поэзии последних трех столетий. Причем единообразно типичные черты первых двух лирических эпох позволяют нам яснее увидеть в современности то, что не вполне еще вызрело.

Прежде всего бросается в глаза необычайный интерес лирических эпох к мистике и магии, к древним верованиям и суевериям и попросту к чудесам. Сейчас на наших глазах этот интерес быстро поднимается от «низовых», «местных» изданий

до самых респектабельных, центральных и до умов самых образованных. Но то же самое совершалось и в прежних «веках» лирики. «Золотой век» пришелся на эпоху романтизма. Влиятельный тогда Фр. Шлегель писал: «Я утверждаю, что нашей поэзии недостает средоточия, каковым для поэзии древних была мифология, и все существенное, в чем современная поэзия уступает античной, можно выразить в словах: у нас нет мифологии. Но я добавлю, что мы близки к тому, чтобы иметь ее, или, точнее говоря, наступает время, когда мы со всей серьезностью должны содействовать ее созданию» («Разговор о поэзии». 1800).

На подобные призывы, раздававшиеся и в России, поэтические души откликнулись бесчисленными «Пророками», «Ваханками», «Прозерпинами», «Ундинами», «Русалками», «Домовыми», «Давидами», «Демонами», «Ангелами», лирикой мистических видений, переложениями псалмов.

То же повторилось через век. Как романтики с помощью возрожденной мифологии пытались преодолеть давление порочного и тупикового, с их точки зрения, просветительства с его рассудочным скепсисом и рассудочным же догматизмом, так и век спустя символисты и сопутствующие им течения «серебряной» эпохи совершили новую попытку мифологического Возрождения, на этот раз в упорном противостоянии позитивизму, новой форме просветительства. И опять в этой борьбе полагались прежде всего на лирику.

«Старший» символист Д. С. Мережковский в своем программном и пророческом сочинении писал: «Непростительная ошибка думать, что художественный идеализм — какое-то вчерашнее изобретение парижской моды. Это — возвращение к древнему, вечному, никогда не умиравшему»; «...четыре лирических стиха могут быть прекраснее и правдивее целой серии грандиозных романов». Мережковский указал на «три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, с и м в о л ы и расширение художественной впечатлительности» («О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». 1893).

А по убеждению З. Гиппиус, «все стихи всех действительно поэтов — молитвы» («Собрание стихов. 1889—1903». М. 1904).

Любовь к музыке, этой основе лирики, также была унаследована от романтиков. Это романтических трактатов звучит в словах А. Белого: «Перевал от критицизма к символизму неминуемо сопровождается пробуждением духа музыки... Современное человечество взволновано приближением внутренней музыки к поверхности сознания... Музыка — окно, из которого льются в нас очаровательные потоки Вечности и брызжет магия» («Символизм как миропонимание». 1904).

Отдавая дань поэтической магии, А. Блок написал в 1906 году большую статью «Поэзия заговоров и заклинаний». В 1905 году Блок сочувственно цитирует Вяч. Иванова: «Мы идем тропой символа к мифу. Большое искусство — искусство мифотворческое... К символу миф относится, как дуб к желудю» («Творчество Вячеслава Иванова»).

Все это очень напоминает рассуждения Шеллинга, Фр. Шлегеля и других романтиков. Вот и Блок на закате жизни подтверждает связь романтизма своей эпохи с исканиями вековой давности и утверждает вневременность и всемирность романтического духа: «иенский кружок» немецких романтиков рубежа XVIII — XIX веков «дает нам право понимать под романтизмом в узком смысле один из этапов того движения, которое возникло и возникает во все эпохи человеческой жизни <...> Романтизм — условное обозначение шестого чувства»; «...а сегодня мы опять в плену у наших пяти чувств, и наш творческий дух томится, изнемогает, испытывает ущерб»; «...романтизм есть восстание против материализма и позитивизма, какие бы с виду стремительные формы ни принимали они» («О романтизме». 1919).

В начальной поре критической деятельности Блока затерялась маленькая рецензия на совсем неприметную книжку «Близость второго пришествия Спасителя» (СПб. 1903). Важен сам интерес поэта к теме: он типичен для лирических эпох, всегда склонных к логике последних сроков и развязок. Чуть позднее, в статье «Творчество Вячеслава Иванова», Блок указал на глубокое сходство своей литературной эпохи с древним «александризмом», когда «за два-три века перед явлением Всемирного Слова» — Христа — «сплав откровений всех племен готовился в недрах земли»; «...во времена затаенного мятежа, лишь усугубляющего тишину, в которой надлежало родиться Слово, — литература (сама — слово) могла ли не сгорать внутренним огнем <...> Мы близки к их эпохе».

И мы близки к их эпохе. Мы ближе. Три века до Рождества Христова в развитии античной культуры действительно напоминают три последних столетия Нового времени. И если при жизни Блока (на близящемся уже исходе второго тысячелетия от Рождества Христова) второго пришествия хотя и ждали, но еще не слишком напряженно, то теперь, когда до конца века, второго христианского тысячелетия и астрологического зона Рыб остались считанные «мгновения», все континенты потрясены мистико-магическим катаклизмом, соизмеримым уже не с какой-нибудь духовной волной, а с настоящим потоком. Ныне об антихристе, конце света, сошествии Бога или как минимум о резкой перемене типа цивилизации рассуждают не только колдуны, ведьмы, маги, астрологи, верующие всех исповеданий, но даже, по-своему, вчерашние непреклонные скептики от всех наук. На наших глазах сдается «Литературная газета», этот последний оплот классического скепсиса среди изданий, осмысляющих изящную словесность. Теперь бороться с «суевериями» небезопасно с точки зрения самоокупаемости. Наука и магия с небывалой силой стремятся ко взаимному слиянию. Лирика вспоминает о своем пророческом, жреческом происхождении и призвании.

В сущности, весь XX век видится теперь как постепенный, неравномерно импульсивный рост мифологических качеств сознания. Признаки близкого Апокалипсиса, отмеченные многими в начале столетия, с тех пор не отпускали внимания.

Самый рационализм XX века растворяется в иррационализме.

Торжеством языческой черной магии стали немецкий фашизм и русский вариант коммунизма с их иррациональными лозунговыми заклинаниями, эмблемами, испещрившими столбы, стены, страницы книг, с их безудержным кумиротворчеством и ритуальным оправданием жертвенной крови, своей и вражеской.

Молодая советская поэзия живо откликнулась на заклинания новой мифологии. Частично этот процесс отображен в статье А. Якобсона «О романтической идеологии» («Новый мир», 1989, № 4). Здесь вспомним лишь одно характерное для той эпохи стихотворение, оно известно всем и до самого последнего времени изучалось в школе. Это «Смерть пионерки» Э. Багрицкого. Юная пионерка Валя даже умирая отказалась смириться перед крестом. Главный нерв стихотворения — песня, с которой, по мысли поэта, «пойдут пионеры». Эта лирическая песня — образец недоброго заклинательного магизма: «Возникай содружество / Ворона с бойцом, — / Укрепляйся мужество / Сталью и свинцом. / Чтоб земля суровая / Кровью истекла, / Чтобы юность новая / Из костей взошла».

Так, с боями, утвердилась и надолго застоялась в нашей стране крайне приземленная и — при всей своей злобности — не черная, а какая-то серая магия. Ее мало изменил второй (после начала XX века) и столь же глобальный по охвату импульс мифологических настроений, прокатившийся по планете в конце 50-х и в 60-е годы. Это было время хиппи, время внимания к разнообразным, но особенно восточным, мистическим учениям, время новых попыток воссоединения Востока и Запада в едином учении о Духе. В нашей стране это совпало с оттепелью, и тогда успели выйти несколько специальных книг и статьи (в том числе и на страницах пятитомной Философской энциклопедии) по вопросам мистики, магии, парапсихологии и т. п.

Но вскоре нашу огромную страну на десятилетия сковал ртутный взгляд очередного главного Мага («...а ведь если разобрать хорошенько дело, так на поверку у тебя всего только и было, что густые брови». — Н. В. Гоголь, «Мертвые души»). В такт его речам поколения «отцов» хлопками сотрясали воздух кремлевского дворца, в то время как «дети» вслед за своими западными сверстниками уже тряслись в музыкальных ритмах, воспринятых от искусства африканских колдунов. В тени официальной придворной лирики вызревала лирика русской рок-культуры.

Мистико-магический импульс 60-х оживил заглохшую было традицию «серебряного века». В эти годы формировалась не только политическая поэзия новых шестидесятников, но и лирика иного, по глубинной основе и по генезису — мифологического, склада (наиболее характерен для этого направления Г. Айги); к родникам «серебряного века» склоняются — каждый по-своему — И. Бродский, А. Кушнер, А. Вознесенский и многие другие поэты, начинавшие в те годы.

Новый, самый мощный и уже последний в XX веке порыв увлечений мистикой и магией охватил весь мир с конца 70-х годов. В нашей стране выходит двухтомная энциклопедия «Мифы народов мира» (М. 1980—1982). Помаленьку стали переиздавать мифологические штудии XIX века: труды А. Афанасьева, Ф. Буслаева, И. Сахарова и других. Потом, уже в годы перестройки, была сломана цензурная плотина, и весь океан чуждых магических и мистических учений (по-латински — сект, по-гречески — ересей) низвергся на нас водопадом. В его шуме, пока что еще слабо, слышен

голос крепнущей после гонений, коренной для России религии — православия. А между тем журнал «Наука и религия» набрал массовый тираж из-за того, что почти мгновенно превратился из атеистически-коммунистического (то есть исповедующего узкое направление черной магии) в оккультный самого широкого цветового спектра. Народ стремительно вовлекается в сложное противоборство многообразных духовных учений. Возникающие душевные переживания, как всегда, выражает (а отчасти и формирует) лирика.

Литературная критика наконец-то почувствовала и стала осмыслять новые веяния. И вот уже понятие творческой «энергии» (в своем магическом значении) стало модным термином; вот уже Вяч. Курицын широкоохватным жестом пытается описать всю новую литературу и культуру как «энергетическую» («Литературная газета», 1990, № 44), а И. Роднянская названием и содержанием статьи призывает поэтов: «Назад — к Орфею!» («Новый мир», 1988, № 3). Но многих поэтов уже и призывать не нужно. Они сами впереди критиков идут «назад», к мифу, мистическим и магическим концепциям жизни и творчества. Идут не только поэты, но и прозаики, также охваченные общим лирическим порывом.

Л. Гинзбург, проведя несколько десятилетий в наблюдениях за литературным процессом, в конце концов призналась: «Порой ловлю себя на грустном парадоксе восприятия: откроешь наудачу журнал, начнешь с интересом читать с середины что-то новое, неизвестное — и наконец заглядываешь в начало, дабы узнать, что же ты читаешь. Видишь рубрику «рассказ» — и... тотчас интерес гаснет <...> явление существует, и его надо осмысливать. Я бы назвала его кризисом вымысла <...> На наших глазах стирается грань между документальностью и художественностью, автор выходит из-за кулис и ведет прямой разговор с читателем, оставаясь при этом художником по способу мышления, характеру взгляда на мир» («Литературная газета», 1990, № 27).

Но что же это как не частное проявление возрастающего в современной прозе лиризма? Особенно характерны для современной лирической прозы две новые (возрожденные старые) тенденции: одна ведет автора и читателей от вымысла как духовного зерна первореальности к объективированной, развиваемой из этого зерна жизни, другая — от аморфной материи объективной жизни к конденсированному ее осознанию, к мыслям о ее сути. В обеих тенденциях воображение — это реальная могущественная сила, организующая мир, данный человеку в восприятии. Обе тенденции теперь нередко воссоединяются вполне в духе Шеллинговой философии тождества, принимая отблеск старинной романтической иронии.

Закономерно, что нечто подобное происходило с прозой и накануне «серебряного века». Сначала традиционный для Нового времени демифологизированный художественный вымысел стал осознаваться как «обман» читателей. Л. Толстой, корифей эпического творчества, признается, что ему все более стыдно писать выдуманные истории о выдуманых людях. Лиризм овладевает прозой Гаршина, Чехова, Бунина. Вновь, как когда-то в «золотом веке», писатели испытывают потребность сочинять не только прозу, но и стихи. В конце концов воображение осмысляется как главный (если не единственный) способ постижения действительности; так что на закате «серебряного века», в 1919 году, М. Кузмин назвал художественное воображение «младшей сестрой ясновидения» («Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро»).

И вот мы снова переживаем эпоху, когда проза, даже и лирическая, постепенно уступает первенство поэзии. Это время катаклизмов в природе и государствах, трагическое время нового великого переселения народов. Нам некогда писать и читать размеренный эпос. Самый принцип больших литературных форм — принцип «правдоподобного вымысла» — непривлекателен теперь, когда не просто хочется, но и абсолютно необходимо жить непосредственно, реагировать на толчки и удары извне мгновенно. Настало время молниеносной лирики с ее предельной искренностью, практической полезностью ее импульсов. Лирика дарует людям магическую защиту заклинаний, заклятий, а также мистическую поддержку псалмов, гимнов, молитв, пророчеств.

Но, могут возразить, где же среди современных поэтов гении — непрменный признак великих лирических эпох? Не будем спешить с выводами. Гениев вообще трудно рассмотреть на близком расстоянии. А если даже их пока что и нет, история нас утешает: когда угасали былые лирические всплески и еще только предчувствовались новые, на землю (совсем незаметно) приходили люди, обреченные на будущую славу. Вспомним предысторию «серебряного века»: еще слышались звуки

голосов Фета, Полонского, еще только готовились петь «старшие» символисты, и вот дружно, почти одновременно рождаются — Блок (1880), Белый (1880), Гумилев (1886), Ходасевич (1886), Ахматова (1889), Пастернак (1890), Мандельштам (1891), Цветаева (1892)...

То же происходило и столетием раньше, накануне «золотой», пушкинской поры. Один только Лермонтов чуть поотстал тогда с рождением, но зато поспешил с творческим развитием и слишком поторопился со смертью, словно бы стараясь остаться в пределах златых времен.

Новейшая лирическая поэзия уже достойно представляет всю гамму современных сомнений, верований, «суеверий». Возрождается вкус к традиционным романтическим направлениям лирики: религиозно-христианскому, демоническому, пантеистическому (например, в духе поэтического шеллингианства Тютчева). Возобновилась и лирика солипсическая, представляющая весь окружающий человека мир производным от субъективного воображения. Отражаются в лирике и модные направления оккультизма. Усиливается неоязычество, подпитываемое возрождением магических познаний.

Постепенно обозначаются новообретенные признаки лирики: более высокая степень доверия к слову как сгустку реальности, к его метафорическим глубинам, к его таинственной памяти об истоках бытия, к его неугасимой способности сплавляться с другими словами в речь-миф. Молодые поэты предают свою волю потоку художественной речи — потоку сознания и оставляют где-то за пределами поэтического мира обычную логику (при этом в большинстве своем они отказываются от футуристической, богоборческой ломки слов). Поэты снова веруют в сверхразумный Логос, присущий богоданным словам. Метафоры реализуются. Слова играют на воле и разрушают инерцию обыденного восприятия речи.

Правда, современная лирика, стремящаяся «освободить» слова (и себя с ними), вместе с тем не свободна от напряженных усилий воплотить в своем языке философские и лингвистические разыскания о природе речи, мифа. Само по себе это могло бы быть и похвально, если бы поэзия не становилась в очередной раз чрезмерно «ученой». При таких реконструкциях древнего поэтического сознания изгоняемая из текста логика торжествует в подтексте и, возможно, вытесняет оттуда Логос. В результате крылья стиха тяжелеют.

А ведь древнейшие тексты — «Псалтырь», ассиро-вавилонская лирика, древнегреческие гимны, «Ригведа», «Шицзин» — ясны и привлекательны в своей мудрости, открытой разным уровням понимания, эзотерической и экзотерической одновременно.

Будем же надеяться, что самое традиционное направление современной мифологической лирики, восходящее к классическим молитвенным образцам древности, вновь подтвердит свою неизбывную надобность. Отнюдь не случайно, что почтенный исследователь древних культур выступает сейчас в печати и как лирик.

Неотразимым острием меча,
Отточенного для последней битвы,
Да будет слово краткое молитвы
И ясным знаком — тихая свеча.

Да будут взоры к ней устремлены
В тот недалекий, строгий час возмездья,
Когла померкнут в небесах созвездья
И свет уйдет из солнца и луны.

В этом восьмистишии С. Аверинцева есть и мистическое предчувствие испытаний, и душеполезное поучение, и «щит веры».

Будем откровенны: сейчас некогда (а в общем-то, никогда и не полезно) спорить о допустимости вторжения мифологии в литературу и общественное сознание. Неизбывно актуальна другая проблема: какие именно верования вторгаются в наши души, какие из них приемлются нами и, соответственно, какое воздаяние получим мы в своей судьбе.

Лирика будет свидетельствовать.

Новгород.

ОЛЬГА ПОСТНИКОВА



СТИХИ НЕДАВНИХ ЛЕТ

Опыт повторного чтения

И никак не могу вспомнить, у кого вычитала (должно быть, в прозе 20-х годов): обоз, деревня, с голоду двинувшаяся в путь, степное становище, девушка, зарождение чувства, вернее, радостный отклик на внимание к ней красивого, сильного парня. Но читателю по ходу действия дается понять, что ласковость героя и даже некое сияние его лица вызваны совсем особой страстью: девушка не предмет любви, а объект каннибальских планов. Нежность людоеда... Чего только не было в жизни России даже и на памяти ныне живущих...

Отвержение христианской нравственности, многолетняя обработка умов ложным учением имели следствием, кроме всего прочего, сужение эмоциональной сферы человека и закрепление искаженного восприятия реальности. Человек, лишенный церкви, современной ему полноценной литературы, правдивой информации, не мог сложиться как нормальная личность, не говоря уж о том, каким разрушительным для психики был опыт жизни под знаком возможного физического истребления. Конечно, параноидальному складу сознания, внедряемому государством, мощно противостояла русская литература XIX века, защищая каждого уже с отроческих лет. Однако человек не может выработать должного отношения к действительности, если у него не установилась шкала духовных ценностей современной ему жизни. Незрелость, стертость моральных и эстетических устремлений приводит к такому сокращению возможностей жизненной полноты, что единственно сильным проявлением личности становится агрессивность.

Все это имеет отношение к современной поэзии, потому что для некоторого числа людей ощущение жизни сердечно связано и с поэтической версией времени, хоть и не стоит преувеличивать влияния литературы в наши дни.

Я помню, как исключительно велик был авторитет поэтов-современников в 60-е годы, ибо казалось, что именно поэзия брала на себя смелость говорить о душе, о боли, о свободе, часто заменяя собой и публицистику, и философию, и религию, отождествляясь с проявлением гражданского мужества. Успеху и расцвету творчества так называемых поэтов-шестидесятников, охотно выступавших на эстраде, способствовала не только их талантливость, но жажда мальчиков и девочек, чье отрочество пришлось на оттепель, скорее идентифицировать себя в мире. За малейшее проявление бескомпромиссности, за искренность воздавалось тысячекратно, потому что образ свободного и открытого человека был особенно дорог по контрасту с типом запуганного, осторожного существа.

Искренняя интонация, доверчивость речи была тогда оценена столь высоко, что образ любимого поэта сохранялся даже тогда, когда впоследствии эта интонация только имитировалась.

Интонация — мера эмоциональности, искренности, способности сердцем откликнуться на чужое мучение, ее звучание определяется голосом совести, тягой к сверхчувственному. Художник как инструмент времени фиксирует его гул и помогает оформить его мелодии. Поиски интонации, манеры выказать себя, являясь важнейшим процессом адаптации к жизни, очень трудны. В иную церковь войдешь — и даже там слышишь фальшивое пение, и не оттого, что слуха нет у прихожан, а оттого, что душа разучилась извлекать из себя звуки.

Когда-то мой сын-подросток, испытывая некие не открываемые взрослым душевные терзания, требовал от меня: «Дай стихов!» И всегда зная, что в стиховых

формах есть нечто целебное, я сейчас задумалась, что в современной поэзии остается для меня лекарством от уныния и не горчит ли это лекарство?

Как верны были по мироощущению стихи Ольги Чугай, написанные в 70-е годы:

Холодно в Питере,
Холодно в Питере,
Холодно в комнате,
Холодно в свитере,
Словно в пустой
коммунальной квартире —
Холодно в мире!

.....
И ни души —
Только духи да слухи,
Только усталые серые шляхи
В грязном кафе
Да стакан бормотухи...
Слушай — какие стихи?

Да, казалось бы, какие уж тут стихи... Но стихи были необходимы. И ныне так. Какие-то прежние стихи утихли, боюсь, навсегда. Те, которые душа не отторгает, пришли вопреки всему в эпоху застоя. Мария Аввакумова, Ольга Ермолаева, Геннадий Русаков, Лариса Миллер, поэты, о которых я буду говорить дальше, не представляют группу, они, может быть, даже незнакомы друг с другом. Проходя земную жизнь, каждый из этих поэтов был вроде наособицу, но то, что привлекает к ним, имеет общие черты. Никто из них не был никогда захвачен злобой дня, не компенсировал своими стихами отсутствие публицистики, не брал на себя обязанности учительства или пророчества, но как будто пришел оторвать жизнь этого бессловесного народа, не просто сострадая ему, а как бы и всей судьбой разделив с ним ужас существования. Разделив, чтобы выдержать не напоказ этическую норму, открыть другим лично обретенную духовную правду доверительно и без назиданий. Стихи нескрываемой боли самой экспрессивностью отрицали идеологию, приведшую к общенациональной трагедии:

Фэззушное платье тех лет...
ты в кладовке пылишься сегодня.
А хозяйки давно уже нет.
И кого ни возьми — в преисподней.

Потеряло и форму и цвет
фэззушное платье тех лет.
Только пуговицы — где серп и молот —
всё блестят, как глаза комсомолок!
.....

Ох да славное платье! Ура
смастерившим его не из байки!
Только, может быть... может быть, зря
оказалось ты крепче хозяйки?..

И зачем тебе жить столько лет,
если нету хозяйки в помине, —
изломавшей девичий хребет
в беспощадно гремящей машине.

(Мария Аввакумова)

Лирические герои Русакова, Ермолаевой, Аввакумовой не были ни эгоистически обособленными личностями, ни социальными типами. Трагедия страны была явлена ими как трагедия отдельного человека, любого. Образ страны как огромного «инвалидного дома» (М. Аввакумова), образ искалеченного народа запечатлен этими поэтами с жестокими реалиями.

По большой — от моря и до моря,
по земле немереных кровей
ходит горе, плясом пляшет горе
и зовет любимых сыновей.

Будет срок подсчитывать обиды,
воздавать, кому не воздают.
Но еще не скоро инвалиды
по вагонам песни допоют.

Мертвым — слава. Вспомним и заплачем.
А живые — выжил, так живи.
Мы вам по три пенсии назначим,
ветераны спаса-на-крови!

Завтра — всё, чего б ни захотели!
 Нынче — счет не ранам, а трудам.
 И поют сапожные артели
 по российским малым городам.

И летит — от моря и до моря,
 упадает, ломит направо
 птица-память, клича птицу-горе...
 И меня касается крылом.

(Геннадий Русаков)

Для этих поэтов, чьи книжки выходили крайне редко, поэзия была личным делом, их жизнь не по лжи, они больше сказали правды о народе, чем многокнижные записные радетели нации. Идея служения нигде не заявлена ими впрямую, однако их неровный (живой!) стих согрет подлинным гражданским пафосом, который невозможно симулировать.

Трагедия героя лирики Русакова не только в его военном сиротстве, но в бездомности и сиротстве каждого в этой стране, ибо родина, оставленная Богом, не умеет быть матерью.

Идеология, требовавшая забыть себя и близких ради счастья человечества, государственная система, вменявшая жертвовать родными, отрекаясь от них в виду светлого будущего, оспаривается страстным взысканием родства, семейной любви как неотъемлемого права человека, данного ему свыше.

Сладко мне пожилось-попилося,
 гольгѣбе, продолжателю рода,
 на железной земле поспалось
 под присмотром большого народа!

Русаковы, скупая родня!
 Отзовитесь — охрипну от воя:
 «Кто-нибудь — отыщите меня
 в детприемнике под Лозовою!

Я от плача осин в детдомах,
 я в раздаточных пайки ворую.
 У, как скудно в моих закромах —
 я гнилыми жмѣхами пирую.

Кто я вам — пятиуродный брат?
 Однокровник по ветке убогой?
 Тридцать лет и три года назад
 отыщите меня, ради Бога!»

Тем не нужно — молчат, ни гугу.
 Из могил не услышат другие.
 Сколько жил, а теперь не могу —
 дорогие мои, дорогие...

Где я вас растерял на земле?
 Где золою родство наше стало?
 Хоть ладони погрею в золе...
 Опоздал — и ее разметало.

(Геннадий Русаков)

В пору страшного отчуждения людей, сгущения душевного мрака вопль родственной любви — этот неэстетизированный, безметафорический стих Ольги Ермолаевой, я помню, меня поразил:

Вот и свиделась я со своим стариком,
 И во сне он был жив и здоров.
 Меж других мужиков не пьяней, не трезвей
 В магазинчике встрял у дверей.
 Только стал он красивей, прямой и грустней,
 Только стали глаза озорней...

Это свидание с умершим дедом полно той теплоты, той бесхитростности, той подлинной принадлежности людей друг другу, которая сохраняется даже и в переживании смертной разлуки:

«Что же, деданька, дай, я тебе помогу
Иль консерву какую куплю»...
И проснулась, и слез удержать не могу
Оттого, что так сильно люблю.

.....
Это кто разрешил мне свиданье с душой,
Это что так тоскует и мрет?
Что за милая птаха поет надо мной,
Что за нежная птаха поет?

Воспоминания о дочери или о матери в стихах Ольги Ермолаевой влекут за собой состояние душевного просветления. Почему через столько лет после прочтения ее книжки все помнится имя бабушки — Перепетая? Почему простое повествование Марии Аввакумовой о том, как стирала ее мать, просится быть прочитанным еще и еще? В чем «секрет белоснежных простынок»? Семья как источник чистоты, как моральная опора:

И зачем нам, голодным,
была чистота,
холод простыни этой хрустальной?
Видно, та чистота
и была ВЫСОТА
нашей северной мамы печальной.

Идее бесконечной борьбы, самовоспроизводящейся агрессивности в такой поэзии противостоит сильное, горячее и в истоке своем «ветхозаветное» чувство. Надо сказать, что эта поэтическая линия отвечает давней необходимости, еще в начале века отмеченной В. Розановым, отстаивавшим библейскую версию освящения семейного и кровного родства, органически присущую сознанию русского народа, но не привитую русской поэзии.

Стихи Ларисы Миллер, в 70-е годы казавшиеся мне слишком сдержанными, сегодня читаются по-иному. Они внесли ту интонацию спокойного, негорделивого достоинства, которое так хочется обрести в это нервное, без конца провоцирующее на крик время. Гармоническая слаженность ее текстов как отражение внутреннего лада в душе больше всего влечет меня воплощением одной из утраченных добродетелей: кротости. Это при том, что одними и теми же устами дана и жесткая отповедь веку («Предъявите своих мертвецов, / Убиенных мужей и отцов. <...> / Их убийца не смерч, не чума — / Диктатура сошедших с ума»), и полная материнского трепета колыбельная песня:

Погляди-ка, мой болезный,
Колыбель висит над бездной,
И качают все ветра
Люльку с ночи до утра.

В черно-белых строках Ларисы Миллер — тот охват жизни, в котором сосуществуют горе и надежда:

И в черные годы блестели снега,
И в черные годы пестрели луга,
И птицы весенние пели,
И вешние страсти кипели.
Когда под конвоем невинных вели,
Деревья вишневые нежно цвели,
Качались озерные воды
В те черные, черные годы.

Я с пристрастием ищу мотивы упования, слова невымученного приятия жизни и смирения. Они есть у Русакова, хотя и изгорчены незабываемым опытом печали:

Когда мне воздуха от счастья не хватает
и жизнь моя, горя, не может догореть,
я слышу, как ночник в саду стволы шатает,
и знаю, что теперь не жалко умереть.

Не жалко -- что жалеть? — хотя и не пора бы,
пока еще трещат в акациях стручки,
и палочки у слив так беззащитно слабы,
и птица в темноте расширила зрачки

Бесчеловечности и безбожию мир этих поэтов противостоит как бы инстинктивно, как бы самой своей природой; готовностью к простой радости: «Ребенку теплые носки / Надела я после купанья. / И жизнь ослабила тиски» (Юлия Покровская). Или: «Сплю ногами к полю, / К лесу головой. / Окнами на волю / Дом мой угловой. <...> / Над стволами гроздь / Звездные в ночи... / А за печкой гвоздик, — / А на нем ключи: / Этот от сарая, / Этот от ворот, / От земного рая / Неказистый тот» (Лариса Миллер).

У Марии Аввакумовой вырвалось признание: «Мы все, кто духом уцелели / в объятьях сатаны-страны, / мы веры в Бога не хотели, / но верой были спасены». От самых ранних стихов, строя их на заповеди «не лги», эти поэты как бы невольно, ведомые мирским чувством любви, пришли к осознанию некоей надмирной защиты и призыванию Бога в жизнь и мир, не называя в стихах Его имени. Такой опыт предрелигиозного бытия тем более важен, что мироощущение человека послекоммунистической эпохи — это чувство полной незащитности, ожидание несчастий, подозрительность. Честность прежде всего перед самим собой, способность к исповеди — вот что захватывает в их поэзии, являясь как бы первым шагом к соизмерению своих деяний и мыслей с наивысшими образцами.

Не случайно привлечшие меня поэты так естественно общаются с умершими, просто говорят о смерти (а эта тема вообще была в советской поэзии нежелательной). Нет в них страха умереть, хотя спокойная уверенность в бесконечности существования не свободна от чувства вины и сострадания:

В таллинском старом кафе среди седых и достойных дам
я узнала умершую маму.
Молчунья — она здесь так мило болтала.
...Как удачно ты воплотилась
после ужасной, мучительной жизни.

(Мария Аввакумова)

«Люби без памяти о том, что все рассеется потом», — говорит Лариса Миллер, и волны нежности омыают окаменевший мир. «Любимая, не помни обо мне!» — возглас самоотвержения соседствует с порывом: «Родства, родства! Мы роемся в золе, мы кровь зовем, услова просим силы» (Геннадий Русаков), — и тут «слово» мысленно прочитывается с заглавной буквы.

Должна признаться, что стихи названных мной поэтов, притягательные напряженностью совестного чувства и безошибочностью интонации, с точки зрения собственно поэтики мне не так уж близки, хоть я и отдаю должное душевной энергии, артикуляционному богатству, речевой лепке того или иного из этих авторов. Но как не заметить, что они чуждаются эстетизации реального, что у них скудны ассоциации из широкого поля культуры.

Вместе с тем по мере движения к религиозному (в общем значении этого слова) осмыслению бытия иногда происходят и сдвиги в их прежних эстетических схемах, к примеру отмена прежней манеры стихотворчества у Аввакумовой и обращение к лаконичным верлибрам. Проходя через это, лирики, о которых я говорю, остаются верными себе: эволюция их эстетики органична. Так, в отличие от иных авторов, эксплуатирующих в стихах атрибуты христианской обрядности как знаки заведомой близости к «высшему», у Ольги Ермолаевой появление таких не свойственных ей ранее образов связано с моментом духовного озарения, по-новому осветившего ей мир:

Нынче медно-зеркальное солнце,
И, как темным колодезем, дым
Вдоль стволов, в световое оконце
Шел миндальным столпом винтовым.

Жгут листву, и бестрепетно древо!..
...Сколь нешумно Твое торжество.
Богородица, радуйся, Дева,
Наступило Твое Рождество.

За окладами елей столетних
Облака розовой и нежней.
Стал на воздухе в травах последних
Запах темной крапивы слышней.

От сиреневых, палевых сосен
 Вкось неяркая тень пролегла...
 Даже вид наш, наверно, несносен
 Стал Тебе, а не то что дела...

Сколько лет Ты от нас в отдалении!
 Нас детьми от Тебя увели.
 Чуть не век, будто на поселении,
 Пробыва Ты за краем земли...

С той фатальной ошибки российской
 Мы в посмертном долгу пред Тобой,
 Но склони же свой плат византийский
 К голове моей полуседой:

Обрати свое сердце к затворам,
 К тем, где даже и слезы не льют,
 Где овчарку с уклончивым взором
 Иностранцы-солдаты ведут.

(Прошу извинить за еще одну пространную выписку, но стихотворение до сих пор в отечественных изданиях не публиковалось.)

Эти поэты пришли довольно давно, но остались до сих пор, а между тем многие стихи, раньше привлекавшие остротой и отвагой, померкли. В годы безвременья и только-только выходя из него, читатель консолидировался с поэтом обличающим, резким, ощущая «противостоящим» вместе с ним и себя. По тому, как неактуальны вдруг стали казавшиеся необходимыми стихи, видно, что много вопросов в обществе уже решено. Все обернулось самим собой: публицистика — публицистикой, философия — философией. Поэзия вынуждена оставить миссию просвещения, фиксации событий, общественного обвинения. Изменился контекст времени, и нам, наверное, предстоит пережить смену поэтических эпох.

И хотя прежде любимые строки уходят, как, например, острые, публицистически пылкие стихи Владимира Леоновича, другие стихи становятся слышней: у него в «Страстях Егория» еще ярче вычитываются страсти нашего терпеливого двужильного народа:

Он принимает назначенный труд:
 вот уж на дыбу его волокут,
 вот и в купели —
 в черном котле, что кипит не шутя,
 варят его — он глядит как дитя
 из колыбели.

Как действен этот простодушный лаконизм!.. Как свойственно простодушие русской натуре, простодушие в ужасе, простодушие в радости.

Говоря о переломе, о перемене поэтических пристрастий, я не имею в виду, что все заполнит поэзия авангарда. В свое время я была очень рада появлению эпатажных смелых стихов, в доперестроечные и перестроечные годы популярность их была связана с необходимостью «отметиться» оппозиционно по отношению к системе, издеваясь над ее фетишами. Но именно интонационная ограниченность снижает действенность текстов авангарда. Некоторых же авторов авангард просто себе присвоил. Как можно судить об этом, по каким признакам? Сущностная принадлежность к русской поэтической традиции определяется, конечно, не словарем. Тут приходится обратиться к аналогии.

Мне рассказывали о староверах Сибири: среди дьявольских исхищений значатся у них кино и телевизор, множество вполне невинных предметов тоже попало в запретительный ряд, пользоваться ими грешно, но когда речь заходит об электрическом освещении, о том, можно ли пользоваться лампочками, ответ однозначен: «Свет весь от Бога». Тот жар искренности и любви, которым согреты строки Тимура Кибирова, исходит из вечных световых источников. Вопреки заявленному отказу теоретиками постмодерна от гуманизма поэт не может скрыть того, что составляет подлинный импульс его творчества, — вошедшего в плоть и кровь сострадания ко всем, даже и к тому, кто «мертвый ли, пьяный лежит на земле». А признак этого природного человеколюбия — теплота речи, которую нельзя не узнать.

Видно, умом не понять нам Отчизну.
 Верить в нее и подавно нельзя.
 Безукоризненно страшные жизни
 лезут в глаза, открывают глаза!

.....
 Что ж мы бессонные зенки таращим
 в окна хрущовок, в февральскую муть,
 что же склоняемся мы над лежащим
 мертвым ли, пьяным, под снегом летящим,
 чтобы в глаза роковые взглянуть.

.....
 Вот она, жизнь. Так зачем же, зачем же?
 Слушай, зачем же, ты можешь сказать,
 в цинковой ванночке легкою пемзой
 голый пацан, ну подумай, зачем же,
 все продолжает играть да плескаться?

.....
 Вот она, вот. Никуда тут не деться.
 Будешь, как миленький, это любить!
 Будешь, как проклятый, в это глядеться,
 будешь стараться согреть и согреться,
 луч этот бедный поймать, сохранить.

Что с нами будет, зависит от того, какой тип эмоций возобладает в людях. Вероятность бунта и возможность людоедства тоже остаются. А если люди хотят сказать друг другу слова приязни, поэзия уже нашла их интонацию.

Читайте в следующем номере:

ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ

УТОПИЯ ОДИНОЧЕСТВА

Владимир Набоков и метафизика

Когда-то Мережковский писал, что главный вопрос русской литературы — это вопрос о бытии Бога. Владимир Владимирович Набоков был первым гениальным русским писателем, которому вопрос о бытии Бога — по крайней мере он все сделал, чтобы создать такое впечатление, — заменили язык, бабочки и шахматные задачи. И не только этот вопрос, но и вообще практически все «вопросы», которыми болела отечественная литература, как будто отсутствуют в его книгах. Не только специальность, моральная проповедь и проекты мирового переустройства, но и все религиозные, мистические, символистские темы конца XIX — начала XX века, идеологические и историсофские споры и, наконец, то, что всегда более всего ценилось в мировой литературе — способность к универсальным обобщениям, — почти все выносятся им за скобки. Совершенно осознанно он бросил вызов духу времени, предпочтя единичное, неповторимое, случайное всеобщему и универсальному; узор на крыльях бабочки — «мировым проблемам». Все, чем занималась и занимается во всем мире интеллигенция — объяснением бытия, созданием метафизических или социальных учений, — для него словно не существует, их содержание для него подчас безразлично: он готов поставить на одну доску и своих собратьев-эмигрантов, и их противников по ту сторону железного занавеса. Мир для него бесконечно таинствен, изначально необъясним, он может быть только увиден...

Литература и искусство

ЕГО БОРЕНЬЯ

И. Сурат. «Жил на свете рыцарь бедный...». М. Московское культурологическое общество. 1990. 166 стр.

«С кем протекли его боренья? / С самим собой, с самим собой». Пастернаковские строки не раз вспоминаешь, читая книгу И. Сурат «Жил на свете рыцарь бедный...», потому, что творческая история одного из самых загадочных стихотворений Пушкина представлена в ней как значительный эпизод той внутренней борьбы, которая была «сокрытым двигателем» духовной эволюции поэта. Недостаточно судить об этой борьбе лишь по ее результатам, запечатленным в творчестве, — ведь полем сражения противоборствующих, а подчас и взаимоисключающих начал (что не мешало им, так сказать, «обмениваться оружием») была вся сфера пушкинского сознания, вплоть до сокровенных глубин, где рождаются и созревают творческие замыслы.

Заглядывать в такие глубины — дело крайне рискованное. Хорошо что И. Сурат, предложив генетический подход — «при котором предметом литературоведческого анализа становятся и все затекстовые порождающие связи между творением и жизнью творца», — отдает себе (и читателю) отчет, насколько избранный ею путь «сложен и опасен, он чреват подменами и вчитываниями». А еще, добавил бы я, чреват он соблазном прямолинейных истолкований, не учитывающих, какими отдаленными, ассоциативными, капризными и даже алогичными бывают эти «порождающие связи». Боюсь, что и проведенное автором «детальное соотнесение текста с биографическими фактами и поступками поэта» само по себе еще не гарантирует от субъективизма. Ведь исследуя творческий процесс в согласии с обыденной, «нормальной» логикой, мы склонны забывать, что творческое сознание гения не норма, возведенная в абсолют, а ниспровержение нормы.

Правда, в данном случае — «пушкинском» — на помощь исследователю приходит сам гений. Трудно назвать другого поэта, который оставил бы в им написанном — причем во всех жанрах! — столько следов того спора, что вел непрестанно с самим собой. Нужно только различить эти следы... «Только!» Но это и есть самое трудное.

Изучение пушкинской «Баллады о Рыцаре, влюбленном в Деву» имеет свою долгую историю — свыше столетия ушло на реше-

ние текстологических проблем, на выяснение литературных источников. И. Сурат сумела обогатить эту историю собственными наблюдениями. Но главное, что она, отталкиваясь от намека-предположения, высказанного Д. Д. Благом в 1967 и отчасти развитого М. В. Строгановым в 1987 году, выдвинула и подробно обосновала гипотезу о сокровенно-лирическом смысле «Легенды» (так называлось стихотворение в белом автографе 1829 года).

В свете этой концепции факты жизни и творчества Пушкина в 1828—1830 годах образуют внушительный ряд: неотразимое впечатление, произведенное Н. Н. Гончаровой на Пушкина с первой же встречи; разительное сходство ее с Рафаэлевой Мадонной, засвидетельствованное не одним поэтом, но и многими современниками; несчастливое поначалу сватовство; подробности пушкинской поездки на Кавказ, а по возвращении — нелегкие отношения как с будущей невестой, так и с ее матерью, по своему отразившиеся в записях и рисунках, которые сохранились в альбоме Ушаковых; наконец, сонет «Мадонна», где высочайший идеал вочеловечен и вживе ниспослан поэту. Все это делает не только убедительным, но и доказательным вывод об автобиографическом подтексте, проступающем сквозь текст «Легенды». Досадно лишь, что, не довольствуясь подтекстом, автор порой начинает почти вплотную привязывать уже и сам текст стихотворения к конкретным фактам и обстоятельствам. И тогда в строках «И гнала его угроза / Мусульман со всех сторон» усматривается чуть ли не зеркальное соответствие рассказу (кто поручится, что не апокрифическому?) о личном участии Пушкина в преследовании турок; в словах беса, возникающего в финале, «так и слышится голос Натальи Ивановны, обвиняющей поэта в недостатке благочестия»... А шуточный рисунок, где Пушкин изобразил себя в клобуке и монашеской рясе, в соседстве с бесом, высунувшим язык, да еще подписал внизу: «не искушай(сай) меня без нужды», комментируется с убийственной серьезностью: «На фоне донжуканского списка автопортрет в монашеском образе означает зарок, обет целомудрия...

Такой же зарок, напомним, дает и герой „Легенды“».

Куда продуктивней предпринятое далее исследование «Легенды» в контексте глубокого нравственного кризиса, пережитого Пушкиным в конце 20-х годов. Анализируя и сопоставляя стихи, выразившие этот кризис, автор заставляет расслышать, как из переключки трагических и покаянных мотивов, исполненных отчаяния, тоски, «духовной жажды», рождается новая мелодия. Мелодия, ведущая к «Легенде», герой которой обретает смысл жизни в самоотверженной любви к Деве Марии — чувство безусловно религиозно и вместе с тем земно и страстно настолько, что, скажем, С. Булгакову оно недаром показалось кошунственным. Стихотворение шокировало его «отдельными чертами, заставляющими вспомнить даже о „Гавриилиаде“». «Да, с точки зрения христианских святынь в пушкинском стихотворении, несомненно, есть кошунство, — признает И. Сурат, справедливо напоминая: — Но поэт идет к Богу своим, особым путем, и вряд ли можно измерить этот путь традиционными мерками». Жаль только, что высказанная вскользь пронизательная мысль С. Булгакова о тайном родстве «Легенды» с «Гавриилиадой» не нашла здесь поддержки. А откуда же, как не из «Гавриилиады», грозно напомнившей о себе в 1828 году, заявился в балладу по душу рыцаря тот самый «бес лукавый», что некогда выступал сущим протагонистом пушкинской поэмы, другом ее автора (в чем сознается поэт), изъяснявшимся языком эротической лирики молодого Пушкина?!

Отважусь и на собственное предположение: а что, если пушкинская баллада при всем, что сказано выше, являет собой вместе с тем и попытку некоего парадоксального преобразования Пушкиным своего любовного прошлого? Вспомним бесчисленные увлечения, питавшие его лирику, но вспомним и проходящую через всю эту лирику тему неназванной, неразделенной, едва ли не святотатственной любви. И если вспомнить еще пристрастие поэта к пародийному переосмыслению традиционных сюжетов, то не окажется ли тогда рыцарь бедный своего рода... Дон Жуаном, только с обратным знаком, а его безраздельное служение единственной, недоступной

возлюбленной — пресловутым пушкинским «донжуанством» (см. «донжуанский список»), вывернутым наизнанку? Такое предположение при всей его дерзости, мне кажется, не противоречит убедительно обоснованной гипотезе И. Сурата об отразившейся в «Легенде» готовности поэта поверить в почудившийся было ему путь спасения, который сулит прощение грешнику. И это, как верно сказано, «путь, подчеркнуто не совпадающий с традиционнo-христианским: герой-безбожник приобретает к вечной жизни через свою дерзновенную любовь».

Утешительную эту иллюзию сам Пушкин начал развенчивать уже через год, в «Каменном госте», где Дон Гуан вотще полагает, будто любовь к «ангелу Доне Анне» его нравственно возродила, — нет, он до конца остается и гибнет таким же, каким был: нераскаянным. Развенчивать ее поэт продолжал и впоследствии, что, в частности, сказалось в работе над «Легендой», вплоть до последнего ее варианта, вошедшего в «Сцены из рыцарских времен».

Работу эту автор соотносит с новым этапом духовной эволюции Пушкина, ознаменованным такими стихотворениями, как «Странник», «Родрик», отрывок «Чудный сон мне Бог послал...» с пронизывающими их мотивами бегства, аскезы, искупления грехов. Вслед за этими стихами и создает Пушкин последнюю редакцию «Легенды» (1835). Зачем в ней снята концовка с явлением беса и заступничеством Пречистой, недостаточно объяснять, как делали до сих пор, лишь цензурными либо чисто функциональными соображениями (напомним, что в «Сценах из рыцарских времен» баллада о рыцаре стала песней, вложенной в уста Франца). И. Сурат смотрит глубже: «...из стихотворения исчезает его главная тема — религиозное оправдание любви... Тот путь, который когда-то, пусть и ненадолго, показался Пушкину спасительным, теперь, в 1835 г., расценивается как путь безумца». Такое заключение местами неровной, отнюдь не бесспорной, но бесспорно талантливой работы И. Сурата вплотную подводит к проблематике пушкинского — предсмертного, в сущности, — каменноостровского цикла 1836 года.

Лев ОСПОВАТ.



ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА ЭПОХИ ГДР

Вадим Рабинович. Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух.
М. «Книга». 1991. 496 стр.

Известно, что книги, требовавшие улучшенного полиграфического оформления, советскими издательствами отдавались в производство за рубеж через Внеш-

торгиздат. Последней в ряду книг, напечатанных в Восточной Германии, оказалась «Исповедь книгочея...». Автор ее — доктор философских наук, известный историк на-

уки (его перу принадлежит фундаментальный труд по истории алхимии) и поэт. Книга имеет грандиозный объем (40 печатных листов), содержит 117 прекрасных иллюстраций, делающих честь восточногерманской полиграфии, — воспроизводятся страницы рукописных книг и образцы религиозной живописи. Издана она тиражом в 50 тысяч экземпляров и стоит по номиналу всего 5 р. 60 к., что сегодня ниже стоимости использованной бумаги. После выпуска этой книги ГДР перестала существовать как отдельное государство. Впрочем, издание оказалось символом конца не только политической, но и специфической культурной эпохи, когда книги в СССР были баснословно дешевы и нередко покупались для того, чтобы ознаменовать приобретение хозяина к культуре. Это российское интеллигентское пристрастие подметили еще И. Ильф и Е. Петров; Васисуалий Лоханкин, беря в руки пудовый том «Мужчина и женщина», размышляет: «Рядом с этой сокровищницей мысли делаешься чище, как-то духовно растешь». В начале 80-х годов подписка на четырехтомник Аристотеля достигла 400 тысяч экземпляров, что, по моему убеждению, не менее чем в тысячу раз превосходит количество читателей этого автора. Можно было бы назвать еще ряд изданий с ажиотажным спросом, которые как бы удостоверяли причастность их владельца к культуре. Похоже, что книге В. Рабиновича суждено замкнуть этот ряд. «Исповедь книгочех...» разошлась, и отнюдь не по номиналу, хотя я не верю, что ее прочтут все 50 тысяч человек. Вероятно, перед нами одна из последних книг, которую массово покупают ради ощущения собственной «культурности».

Сама ситуация советского интеллигента, восполнявшего нехватку в реальной жизни удовлетворением от приобщенности к высшим созданиям культуры, уходит в прошлое. Это расставание может вызывать ностальгию, но может и радовать; наконец реальность так насыщена, что не дает погрузиться в далекий от нее мир книжности. (Я говорю именно о культурных, а не духовных ценностях, ибо последние не заменяют жизнь, но вносят в нее смысл — соотносят с глубиной реальностью).

Автор выступает и как представитель тех, кто привык жить в книгах, осваивая через них археологические слои минувшего, и как исследователь этого явления — книгочехства, которому интересно строить и типологизировать различные модели отношения грамотея к книжному тексту. Заглавие «Исповедь книгочех...» имеет буквальный смысл: фактически автор исповедует собственный взгляд на соотношенность книги с жизнью, преломляя его через своих героев: блаженного Августина, Алкуина, Абеяра и святого Франциска. Или так: книгочех-автор читает других книгочехов и,

размышляя над их отношением к книге, пытается осознать место книги в собственной жизни. Автор чувствует, что свойственная его среде установка на отождествление книжного мира с реальным несколько искусственна. Это было понятно, когда чтение самиздата и тамиздата само по себе являлось поступком, и притом достаточно рискованным. В тех условиях уход в чтение становился защитой души от всепроникающего давления системы. И все же автор совсем не случайно завершает свой труд разделом, посвященным св. Франциску Ассизскому, человеку отнюдь не книжному. Читать автору придется уже не творения св. Франциска, а литературу о нем — знаменитые «Цветочки» и эссе Г. К. Честертонна. Св. Франциск не писал ученых трудов и не очень-то ценил ученость. Последнее, правда, не помешало В. Рабиновичу присвоить ему звание доктора Церкви, то есть поставить в один ряд со св. Августином, св. Амвросием Медиоланским, св. Фомой Аквинатом и другими учеными богословами, из которых до выхода книги Рабиновича «докторами» считались всего 30. Более того, на странице 447 упоминается «серафический доктор Франциск Ассизский», хотя в католической традиции до сих пор было принято так именовать св. Бонавентуру, принадлежавшего к ордену францисканцев.

Начинается книга с рассказа о том, что представляло собой обучение в средние века. Для тональности этого рассказа характерна фраза: «Овладение грамотой — упоительное». Школьное «обучение — воспитание», это, как сообщает автор, научение правильно жить по тексту — складывать правильный текст. Мне опять-таки слышится в этих словах не только эрудиция историка, но и воздыхание интеллигента застойных времен, апеллирующего за поддержкой посреди неправильной и несправедливой жизни к тексту как убежищу от жизненных тягот, а не к организующему жизнь началу. Отсюда тоска автора по средневековью, когда была осязаема гармония между ученостью и удовольствием, по эпохе, умевшей, к примеру, использовать латинскую премудрость для достаточно откровенного выражения «грамматики любви». Автор с упоением цитирует описания традиционного «диспута о чем угодно» — *disputatio quod libetaria*. Эта затея и реализуется в его «Исповеди...», где само вхождение в чужие тексты становится поводом для диспута с читателем о чем угодно — ассоциативные связи возникают и рвутся, вместо ученой системы возникает ученая атмосфера, но без обязывающей ученой серьезности и уважения к требованиям профессионализма. Автор сваливает в одну кучу символ, метафору, аллегорию (стр. 69—70), хотя это явления совсем разного порядка. Евхаристию, таинство, творимое в воспоминание о тайной вечере, он называет (на стр. 69) «воспроизведением рождения и смерти Иисуса Христа» (!!).

Впрочем, в настоящем диспуте нашелся бы оппонент, который смог бы собеседника поправить, книга же Рабиновича монологична — это исповедь без корректирующего исповедника.

Через всю книгу проходит образ учителя, научающего учить. Образом учительства предстает сам Иисус Христос, и тем научение получает высшую санкцию. Иисус вносит в мир изначальное Слово, воплощением которого является Он Сам. Учитель учит Слово, то есть оказывается предметом научения, которому ученики должны учить других. Это высшая метафора обучения. Вокруг нее группируется все наиболее ценное и содержательное, что будет дальше сказано о других учителях.

Свои чтения автор начинает с сочинений Алкуина, наставника Карла Великого, при дворе которого тот возглавлял школу для франкского духовенства. Эти сочинения написаны в форме диалогов учителя с учеником, призванных, по мысли В. Рабиновича, «дать урок научения учить». Урок основан на том, что сами вещи учат, но для этого они должны быть выговоренными в словопроении, и умение делать это дорогого стоит. Что ж, автору удалось извлечь урок из уроков Алкуина. Но итог он подвести отказывается, ибо тогда, по его словам, исчезнет загадочность мира. Вместо итога автор предлагает сочиненное им стихотворение, или, как он его называет, зонг. Вот и еще одна культурная ассоциация в бесконечной их череде.

Стихи-зонги исповедующегося книгочая вклиниваются в ученые рассуждения и длинные цитаты. Этим автор стремится подчеркнуть, что за книжной мудростью стоит живая жизнь, а средневековые учителя и их ученики жили полнокровно. К книгам они обращались в поисках смысла, а не для замены жизни иллюзорным существованием.

Парадокс, однако, в том, что сам автор этого главного смысла в средневековой культуре все-таки не ищет. Он судит о ней, не пытаясь вникнуть в пронизывающий ее религиозный дух, в фундаментальные категории ее ментальности. При этом автор безусловно талантлив, остроумен и наблюдателен, а книга его весьма занимательна. Только повествует она не о средневековых мыслителях, но о том, как их способен прочитать представитель советской культуры с порядком атрофированной религиозной интуицией.

От урока Алкуина книга ведет к уроку Августина, который характеризуется как тот, кто учил быть, читать Первослово, учить Первослову и жить в согласии с ним. Производит впечатление, как автор, читая Августина, открывает для себя основы христианского умонастроения: ощущение Божественного вмешательства в историю, перспективу Града Небесного и т. п. Этот путь, на наших глазах проделанный вслед за Ав-

густинном, свидетельствует об учительном даре последнего. При этом возбуждают интерес отдельные грани его мысли. Например, как четко у Августина сформулировано отношение веры и понимания: «Что я понимаю, тому я верю, но не все, чему я верю, я понимаю».

От абсолютного в своей христианской ортодоксии Августина следует переход к своевольному спорщику Абельяру, учившему не чтить, но читать священные книги. Автор умело сопоставляет биографии их как неких антиподов (даже истории любви развиваются у них в противоположных направлениях). Если лейтмотив Августина — раскаяние и смирение перед раскрывающимся в слове «Градом Божиим», то лейтмотив Абельяра — критика, исправление, «просветление» текстов вплоть до евангельских, и все это круто замешено на гордыне. Как характеризует его автор: «Ничего устойчивого!» Эта характеристика подтверждается письмом Элоизы — возлюбленной, с которой Абельяр был трагически разлучен. Вся жизнь Абельяра окрашена его пылкой связью со своей ученицей, за что он был жестоко наказан.

После чтения текстов Абельяра и Элоизы следует чтение выдержек из многочисленных посланий влиятельного аббата из Клерво, который инспирировал преследование Абельяра как «не изучающего, а критикующего, не подражающего, а исправляющего». Впрочем, автор-книгочей внимательно прочитывает и теологический трактат того же Бернарда Клервского «О благодати и свободе воли», хотя судит о нем с позиций современного либерализма, далеко разводящего друг от друга свободу выбора и ответственность, которые в христианской традиции тесно связаны. Поэтому представление св. Бернарда о свободе автор ассоциирует с навязшей в зубах «осознанной необходимостью». Однако и Абельяра он судит сурово: «Учительская миссия Абельяра не состоялась. Хотел научить читать, но разучил чтить» (стр. 395).

В то время как Абельяр «очищал текст от случайностей неподлинного», св. Франциск очищал жизнь от якобы жизни. И потому естествен последующий переход к чтениям о св. Франциске, который сам текстов не оставил, «не учил ничему, а только и делал что жил».

Замыкающая глава о св. Франциске заставляет вспомнить о первом, и главном, образце Учителя — Иисусе Христе, с которого и началась тема учительства. Ведь во Франциске современники видели второго Христа, проповедующего всей своей жизнью. Впрочем, к этой аналогии нужно относиться осторожно, ибо Иисус вел себя как имеющий власть, а Франциск всегда стремился быть вторым, а не первым. Святой из Ассизи воплотил в себе лишь часть наследия Иисуса. Тем не менее неученый простец, отвергавший книгочейство и, можно ска-

зать, саму потребность в культурной организации жизни, стал одним из краеугольных камней культуры средневековья. Стал он и предвестником грядущего Возрождения, переоткрывшего ценность и красоту природного мира, ибо, не стремясь читать, он обладал редким даром любить и почитать. Рядом с ним высится фигура св. Доминика, сумевшего сплавить воедино оба этих дара: читать ради почитания и почитать для того, чтобы правильно читать. Не случайно один из блистательных питомцев семьи св. Доминика, св. Фома Аквинат, ангелический доктор, создал глубочайшую богословскую концепцию о двух путях — разума и веры, — ведущих к единой истине. Но и орден францисканцев дал немало столпов богословия и культуры, начиная от серафического доктора и включая У. Оккама, Р. Бэкона и даже Алигьери Данте.

Средневековая культура и образ жизни были пронизаны стремлением к спасению души и строились как средство для этой цели, а не как самоценность. Секуляризация культуры состоит в признании ее последней высшей ценностью и финальной целью. Но культура сама по себе не насыщает, а ведет лишь к усталости и саморазрушению. Книжечество как жизненная установка порождает культурный гедонизм, превращение культурных текстов в предметы услады.

Букет цветов может выглядеть красивой, чем цветущий куст, но сам по себе букет не вырастет и обречен на увядание. Так и культура произрастает только на плодородной — духовной (то есть религиозной) — почве. Но для автора этой почвы как бы и

не существует — она для него сама лишь часть культуры. Такая точка зрения лишает его возможности увидеть культурную эпоху средневековья в правильной перспективе. Это ошугимо и в мелочах. Автора, например, поражает (и даже восхищает) тот факт, что великого Данте положили в гроб, опоясанного простой веревкой. Но эта пресловутая веревка отнюдь не признак самоуничижения, а необходимая деталь облачения францисканца, в котором Данте и следовало похоронить, точно так же как военного принято хоронить в парадном мундире. Это почесть, а не аскеза.

Автор одновременно наслаждается погружением в достаточно далекие от нас пласты культуры, иронизирует над этим занятием и забавляется пародированием книжной учености. Жанр книги неожиданно несерьезен вопреки ее солидному объему и обильному цитированию. Что ж, к объекту наслаждения не стоит относиться слишком всерьез — его правомерно приправлять по вкусу, как подсаливают или перчат любимое блюдо. Гедонист серьезно относится к собственному наслаждению, но не к его источнику. После тотального духовного поста потребность во вкусной пище естественна и даже в определенном смысле благотворна. И все же ограничиться ее удовлетворением склонен лишь человек, стремления которого искажены тоталитарным идеологическим прессом. Таков, быть может, важнейший урок этой книги, символизирующей водораздел двух эпох.

Ю. ШРЕЙДЕР,
доктор философских наук.

Политика и наука

ЛЕТОПИСЕЦ МОСКОВСКОГО БЫТА

Анатолий Рубинов. *Интимная жизнь Москвы*. М. «Экономика». 1991. 352 стр.

Анатолия Рубинова широкий читатель в основном знает как автора разоблачительных очерков и статей в «Литгазете», связанных с махинациями и аферами в торговле, сфере обслуживания. Казалось бы, творческой палитре этого публициста свойственны лишь резкие, контрастные тона и краски. Поэтому, думается, для многих А. Рубинов-бытописатель, летописец столичных нравов наших дней, каким он предстает в своей новой книге «Интимная жизнь Москвы», с его неторопливо-раздумчивой и ироничной манерой может показаться непривычным и неожиданным.

Читая новую вещь А. Рубинова, невольно вспоминаешь далеких его хоть и не прямых, но предшественников — Михаила Пыляева с его «Старой Москвой» и, конечно же, Владимира Гиляровского, ав-

тора прославленных воспоминаний «Москва и москвичи».

Ушла в прошлое, сгинула без следа, как Атлантида, старая дворянская, купеческая Москва с ее дворцами и особняками, трактирами, торговыми рядами, ночлежками и прочими злыми местами, столь колоритно описанными В. Гиляровским. Ничего от этого практически не осталось. Казалось бы, не нужен советской столице, неоднократно перекраивавшейся по очередным генеральным планам, и новый летописец, запечатляющий ее меняющиеся черты. Так и продолжалось десятилетиями: Москву рушили и крушили целыми кварталами, а новые ее красоты, подчас очень сомнительные, воспевались официальными поэтами и очеркистами, мало кто из пишущей братии был всерьез озабочен подлинными

нуждами многомиллионного города. Помню, как сетовал в свое время на пресс-конференции редактор тогда только что созданного журнала «Москва» Николай Атаров: в этом огромном культурном центре, по его словам, можно было найти массу людей, пишущих на любые темы, кроме одной — жизни самой столицы.

Да, эту тему не жаловали. В годы застоя власти, загодя объявив Москву «коммунистическим городом», предпочитали вовсе не касаться низкой прозы жизни. Недаром А. Рубинов признается в своем «объяснении с читателем», что, начиная книгу, он и не надеялся, что она будет напечатана, и, стремясь оставаться объективным свидетелем, тем не менее знал наперед суровое, опасное в те времена обвинение, которое ему предъявят, — в «очернении действительности». Из письменного стола автор, по его словам, извлек рукопись только в 1989 году, ибо стремился рассказать о Москве «обыденной, частной, будничной, интимной для каждого человека — такой, какая она есть на самом деле».

Любопытно, что Рубинов да и Гиляровский — оба начинают повествование о Москве с вокзалов. Впрочем, это естественно: если театр начинается с вешалки, то современнейший город — с вокзала. Но и манера рассказа и сам угол зрения у обоих авторов очень разные. Если Гиляровский размашист, щедро живописен, все пропускает через себя, то А. Рубинов как бы отстранен от происходящего, сдержан, ироничен, мастерски владеет искусством фиксировать точные, емкие детали. Взять ту же главу о вокзалах («У городских ворот»). Обычно все мы, москвичи и приезжие, промахиваем через эти городские ворота не задерживаясь, занятые своими неотложными делами. Мы не успеваем заметить, что под этими сводами бурлит своя жизнь, что любой из московских вокзалов отмечен лица необщим выраженьем, каждый — своего рода маленькая вселенная. Зато все это подметил А. Рубинов. К примеру, хотя бы такая незначительная, но примечательная деталь, дающая некий неожиданный социальный срез вокзальной публики. Автор рассказывает, как несколько лет назад для задержания опасного преступника на одном из вокзалов провели в ночное время тотальную проверку мужской части транзитных пассажиров. Оказалось, что «самую значительную группу составили вполне приличные по внешнему виду... мужчины, которых привели для дознания в критический момент их семейной жизни. Они поссорились со своими женами, но, вероятно, не без надежды на примирение... Смешавшиеся с транзитными пассажирами поссорившиеся мужья просто испытывали и пугали своих жен». Кроме того, «неожиданно много оказалось пожилых людей, которые ни с кем дома не ссорились. Вполне благополучных людей, у которых имеется комната или

даже квартира... непременно где-то поблизости от вокзала... Стало ясно: старики пришли сюда за развлечением, из-за одиночества — с кем-нибудь поговорить по душам, посмотреть, побыть с людьми».

Это только одна из примет жизни московских вокзалов, запечатленная А. Рубиновым. Отнюдь не главный в вокзальном сюжете эпизод любопытен в силу своей уникальности. Вряд ли еще в какой-нибудь столице мира одинокие старики ищут спасения от бессонницы в обществе разного рода ночных «пташек» под вокзальными сводами.

Конечно, кое-что в рубиновском описании этого быта уже требует корректировки. Ныне все столичные нравы ужесточились, общая обстановка на московских вокзалах, выражаясь языком милицейских протоколов, тоже приобрела более криминальный характер. У Рубинова же подчас картина выглядит очень уж благостной: в привокзальном отделении милиции по-отечески журит проститутку, наставляет алкашей на путь истинный. Если б не дата написания очерка (1980 год), автора скорее пришлось бы упрекать не в очернительстве, а лакировке действительности.

А. Рубинов в своем рассказе о Москве не следует какому-то заранее выработанному плану или сценарию. Но такая свободная композиция, непринужденность рассказа и придает вещи большую привлекательность. Колоритная история расцвета и падения московских общественных туалетов («Ах, интриги!») сменяется не менее впечатляющей главой о столичных дворниках («Вся белая рать»). С дворниками у нас — любой это заметил — дело обстоит из рук вон плохо. Зимой по обледенелым тротуарам, которых не касается рука дворника, опасно стало передвигаться. Книга А. Рубинова во многом помогает понять, почему армия дворников неуклонно сокращается. Этот процесс обратно пропорционален наращиванию руководящих структур: мэрия, городская дума, правительство Москвы, префектуры и т. д. При таком обилии начальства и рдеющих рядах рати дворников ждуть, что наши улицы станут чище и безопаснее для передвижения в зимнее время, по меньшей мере наивно...

В «объяснении с читателем» (выше о нем уже шла речь) А. Рубинов говорил, что предпочитает писать о пустяках, которые и образуют «повседневный быт человека». В этих словах есть известная доля полемической заостренности по адресу тех, кто в минувшие годы предпочитал писать только «о Москве социалистической» и только в патетических тонах. Рубинов далек от патетики. Но и набором случайных репортажных зарисовок и фотографий с натуры его книгу не назовешь. Перед нами довольно широкая и выразительная картина жизни столицы 60—80-х годов. А. Рубинов словно бы предлагает нам увидеть, казалось бы,

всем знакомую Москву в несколько неожиданном ракурсе. Вот, например, глава, само название которой звучит почти кощунственно — «Веселые похоронные истории». На самом деле это воистину чисто кладбищенский юмор, порожденный жизненными обстоятельствами. Как и все в нашем городе, похороны, проводы человека в последний путь, требуют максимального напряжения моральных, физических и материальных усилий остальных членов семьи, близких, друзей. Вот одна вполне реальная история: «На совершенно новом, безоглядно огромном кладбище — Хованском... где действует современнейший могилокопатель (полчаса — одна могила), пожилого, безродную женщину чуть ли не оставили в гробу под синим небом: могильщики отказались зарывать могилу, поскольку им мало заплатили. А платить было некому. Провожали покойницу старенькие подружки, соседки... Старушки потом пошли искать начальство, утирались платочками, плакали от обиды, боясь, что им вскорости предстоит такое же погребение. Пригрозили жалобой, но «Книги жалоб и предложений», естественно, им не дали»...

Такие вот «веселые» похороны. Впрочем, и здесь необходима поправка на время: очерк А. Рубинова помечен 1985 годом. С тех пор этот вид «услуг» приобрел еще более антигуманные формы: покойников (по свидетельству московской прессы) уже хоронят в «сменных гробах» либо прямо в целлофановых мешках. Как же низко мы пали, если позволяем хоронить своих близких, так сказать, в условиях, приближенных к фронтовым... И это в мирное-то время, в конце XX века!..

Как бы продолжая традицию, начало которой было положено автором «Москвы и москвичей», А. Рубинов не обходит молчанием такой представительный объект городского пейзажа, как бани. В свое время В. Гиляровский досадовал, что, полвека проработав «московским хроникером и бытописателем», он в первом издании своей книги ни словом не обмолвился о банях. А ведь, патетически восклицал он, «единственное место, которого ни один москвич не миновал, — это бани». Правда, с тех пор многое изменилось. Далеко не каждый столичный житель, обладатель квартиры с ванной, — непременно посетитель городских бань, число которых за последние годы в Москве к тому же резко сократилось. Тем не менее А. Рубинов правильно поступил, что не повторил просчета В. Гиляровского, включив в свое повествование рассказ о банях. Эта глава его книги («Мужчины в бане») — истинная поэма в прозе, которую

с одинаковым интересом прочтут и те, кто регулярно посещает городские бани, и те, кто их не жалует. Тут и краткий, но крайне насыщенный любопытными фактами экскурс в историю вопроса, главным образом в прошлое знаменитых Сандунов с их особым бытом и нравами. А с каким неподдельным вдохновением живописует автор сам процесс мытья, подготовку парилки к главному священнодействию силами добровольцев из публики, которые всегда с готовностью найдутся! А. Рубинов поднимается тут до таких высот, что предстает перед нами истинным бардом банных утех. В этой его «поэме» имеются и игривые страницы. Автор, не ограничиваясь мужским отделением Сандуновских бань, повествует и о тех любителях женской красоты, которые, подчас с риском для жизни каракаясь по отвесной стене, пытаются заглянуть в отсек, предназначенный для слабого пола. Кого-то эти эпизоды в книге А. Рубинова, возможно, шокируют. Как шокирует, надо думать, некоторых читателей и глава «Шикарные женщины» — о московских проститутках. Ведь еще недавно мы громко заявляли, что «у нас секса нет», а значит, нет и такого побочного продукта его, как «платная любовь», что существует лишь на гнилом Западе. Приходится, однако, признать, что наши путаны — это тоже неотъемлемая примета быта, характеризующая интимную жизнь столицы. Раньше подобные фривольности жестко вымарывались из книг бдительными редакторами и цензорами. Но без быта не существует литературы, да и сама наша жизнь без быта немыслима.

Когда-то К. Паустовский писал об авторе «Москвы и москвичей», «дяде Гиле»: «Каждому времени нужен свой летописец не только в области исторических событий, но и летописец быта... Чтобы до конца понять хотя бы Льва Толстого или Чехова, мы должны знать быт того времени. Поэтому так ценны для нас работы такого писателя, как Гиляровский, — летописца быта и комментатора своего времени. К сожалению, таких писателей у нас почти не было. Да и сейчас нет. А они делают огромное культурное дело».

Думаю, эти слова без большой натяжки можно переадресовать и А. Рубинову. Пожалуй, лишь с некоторой поправкой, что он приближает к нам не только недавнее прошлое Москвы, но и ее настоящее, помогая глубже осмыслить тот беспокойный, сложный мир, в котором мы живем.

С. ЛАРИН.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПИСЬМО М. И. МОЛОЗИНОВА

Здравствуйте редакция журнала Новый мир
Я нуждаюсь помощи твоей
Вы на страницах журнала напишите
О тяжелой жизни моей
 Это было в моей юности
 Меня бросала судьба в лагеря
 Из за партийной не справедливости
 На всю жизнь репресирован я
Был бродяга и что только со мной не бывало
Был в тюрьме по статье СВЭ
Вот больше полвека уже миновало
А парашу я вижу во сне
 Мне снятся нары двойная из досок
 И стальная решетка в окне
 Мне снится речка Чая в Нарыме
 И землянка мне снится в тайге
Я пробовал хлопотал о реабилитации
Да повстречал злодейку но
И так дожить до справедливости
Наверно мне не суждено
 Мне кажется что я уже старый
 Мне не долго осталось жить
 И сейчас я уже убедился
 Что до справедливости мне не дожить

Когда я был еще маленький все время играл с одной девченкой своего же возраста и ни только наши даже чужие люди нас увидят говорили вон мол жених с невестой но дети есть дети в этом мы ни чего не понимали но когда мы стали взрослые то мне казалось что мы любили друг друга и решили справить свадьбу осенью 29. И вот дожили до осени 29 у меня умер отец пришли с похорон а от нашего хозяйства только перья летели раскулачили поселили нас в нечейную полуразваленую амбарушку а через несколько время нам предложили вывезти сколько то хлеба не помню сколько но немного примерно пудов 20 а унас не только что какие то пуды а даже есть нечего было наша мать ходила по деревне собирала куски хлеба и кормила свою семью. За невыполнение государственного задание был арестован брат затем настало время нас погнали на ссылку в составе семьи мать жена брата как бы наша сноха у нее было двое детей девочке было 2 с половиной года а мальчику было несколько месяцев я и младше меня сестра. И вот только прибыли до места назначения я сразу написал письмо вот любимой и получил ответ больше письма не пиши я вышла замуж за токогоже парня и тот парень был мне сдальный сродственник но его отец мне был кресный он отца зовет папой а я как по старому обычаю кресного зову папой и это нас сблизило ну как бы она вышла замуж за назвонного брата и так первая моя любов оборволась на ссылке. Я обратил внимание на свою землячку дважды соседка и дважды землячка но и тут не повезло за ее освобождение боролся комсомол и она вскором отбыла. В ее адрес я много сочинил нескладушек. В поселке унас трудоспособная мужиков небыло были детвора мы молодняк старье. Основной трудовой костяк это были женщины а вернее бабы. Как только закончили строить землянки нас стали гонять на корчевку был такой случай шли мы на корчевку всею бригадой наша сноха несла на плече топор спотыкнулась и упала и топор ей нанес на спине большую трамву так как небыли ни лекарств ни лекарей из за недостатка воды мы были все грязные в виду чего у нее рана сильно опухла но исход был благополучный. Лекарство использовали свое естественное в поселке была ужасная смертность:

Рукопись без названия получена редакцией в мае этого года из поселка Гари Свердловской области. Печатается с сокращениями. Орфография автора сохранена. Синтаксис, за редким исключением, также авторский.

Молодых трудолюбивых женщин
 Загнали в сырую тайгу
 По какой такой причине
 Я даже понять не могу
 Исхудалые бледные лица
 Разносятся в темном лесу
 Дорогие мои соотечественники
 И я с вами тяжесть несу
 Страдаем копаем корчем
 Только слышно звон топоров
 А дети в дыму прокоптились
 Спасаясь от кровадных коморов
 А мамы приходят с корчевки
 Все в саже как черти страшны
 А чтобы немного умыться
 Ни капельки нету воды
 А ведь нужно и что то покушать
 В наличии гнилушки муки колба
 А ведь все это нужно приготовить
 И здесь нужна вода
 Из этих трех компонентов
 От нечего кушать еда
 Тогда как не хватает продуктов
 Это очень большая беда
 А смертность в поселке гуляет
 Каждый день все новый мертвец
 И ни кто в то не верит
 Что настанет мученью конец

Но я хотя и еще был молодой но хорошо владел кузнечным делом а что бы спасти свою семью секретно от комендатуры в основном в ночное время бегал в колхоз. Я им помогал трудом а оне мне помогали продуктами и там я познакомился с девченкой что строго было запрещено с кулаками врагами народа ни какой связи. Много лет мы с ней дружили но все же были вынуждены расстаться.

Я вздрогнул сердце забилося
 По щекам пошла слеза
 Много лет стобой дружим
 По тайге в двоим ходили
 Но женится нам не лязя

Я не только ее я сам себя потерял и сбежал декабрь 36 г. и привратился в самого настоящего бродягу. Через пулусмертельные приключения добрался до родной деревне там жила родная сестра поправедывал сестру а ведь надо поправедывать и кресного все же как никак по религиозной линии отец. Пришел поведывать кресного где встретил ту женщину которую с детства любил. Вышли мы с названным братом в ограду сели на лавочку 6 лет не виделись я ему свое рассказываю он свое а у него на колени сидел ребенок который в мою сторону поднял рученку у отца спрашивал папа это дядя дядя и вдруг мне названный брат сказал ты опоздал соперник мой я поднялся и отбыл. Затем последовал арест тюрьма.

Только закончился мой срок меня сразу мобилизовали в колхоз. Тут же в этом поселке в колхозе меня приняли очень очень плохо. Гдето там пала животное гдето чтото сторело или гдето случилась кража все это рук колониста. Особенно которые были преданы Сталину честенько мене угрожали с большого мата если мы вас порозитов тогда не порастреляли то сейчас задавим. Но время шло настало время я обзавелся семьей в нерабочее время построил себе избушку которую всю жизнь ремонтирую.

Настал 1968 год у меня случилась большая беда поролизовало жену. Первое время мне дали без содержание отпуск. К этому времени унас стал совхоз а не колхоз. Жена получает пенсию 12 р. я ничего. Живем на 12 рублей и вдруг директор совхоза вызвал меня к себе в кабинет и предложил выйти на работу и предупредил в случае невыхода на работу будет оформлен по 47-й. Но выйти на работу возможности небыло. На

* На Севере Томской об.
 есть такая трава
 вкус и запах как чеснок
 но как ее правильно называют
 колб или колба я незнаю

следующее утро снова меня пригласил и конкретно заявил в случае не выхода на работу вечером будет оформлен по 47. Тогда я у него взял клочек бумажки и ручку написал заявление во избежании мне предложенной 47 прошу уволить меня с работы. Директор подписал мое заявление с отработкой 12 дней. Но эти 12 дней я отработать не могу. Затем я обратился к прокурору. Прокурор сказал зайти к директору возьми заявление и иди домой. Пока я дошел до конторы совхоза за это время прокурор переговорил с директором по телефону. И только я зашел в кабинет директор мне говорит ну что ж жаловаться вы имеете право а вот не подумали как будем работать после жалобы после чего мне отказали транспорт для подвозки дров затем отказали лошадь для вспашки огорода а после всего этого директор предложил написать заявление по собственному желанию. Так я и сделал. Прошло время у жены немного здоровье поугушело и я устроился на работу в СХТ. СХТ от моего жительства было не далеко так что я с работы ходил проведовал свою больную. Из СХТ и вышел на пенсию и снова беда настала пора похать огород в СХТ лошадей нет и пошел по деревне в пойсках лошади. С большим трудом удалось спохать а у меня была старенькая бензопила дружба 4 и я решил приспособить сделать изготовить приспособление. Ею похать огород ну условно назовем трактором и включился в работу в домашних условиях. Хожу по металосвалкам собираю всякий металлолом. Люди на меня смотрят с большим недоверием между собой поговаривают непонятно старик толи ряхнулся толи чекнулся как это дружба 4 может похать огород это сним что то неладно а время шло долго я сним возился но все же закончил но за неимением плуга он уменя без дела простоял 3 года а в 1976 году была 1-я борозда.

Много подков переделал
 А сколько коней подковал
 Много плугов я направил
 Много и горя видал
 Немного работал на ферме
 Но много труда на складах
 Все оказалось не нужным
 Все превратилось в прах.

В 1921 году Ленин обратился к крестьянам с призывом товарищи крестьяне вам революция дала землю у которых окажется земли излишки имеете право передать в аренду другим крестьянам и если укого есть кокие не достатки для ведения сельского хозяйства покупайте в государстве в кредит по дешевой цене и перечислил наименование что могут приобрести и попросил товарищи крестьяне давайте все месте будем поднимать россию.

Крестьяне поверили и включились в работу но не вся беднота на которых Ленин опирался в революцию. Обидились как мол так мы воевали за коммунизм заставляет работать а землю свой надел сдали в аренду другим крестьянам. Такая бедная семья жила унас по соседству была молодая пара фамилия Бычковы но по прозвищу Вася Безродный а ее звали просто ласково Фрося. Была уних маленькая избушка и туалет а живности ни какой. Сам Вася всегда был дома а Фрося надолго уходила в другие деревни. Ну как бы в командировку. Собирала то что кто подаст то милостину то на погорелы так и жили. В 1927 году нас лишили избирательные прав голоса я еще был не совершеннолетним а уже был лишенец. Я уже не имел право находится там где группируется молодеж. У нас в деревне клуба небыло была школа которая вечерами заменяла клуб. И вот однажды толи из района привезли кинушку толи приехали с концером и наш деревенский народ собрался в эту школу клуб и я пробрался туда же и вдруг подошел комне комсомолец и сказал ты зачем сюда кулак враг народа взял меня за руку и вывел на улицы и посодил мне хороших 2 синяка но если я здесь оборонился то тут же был бы расстрелян как враг народа такие случаи уже были лето 1929 г.

Я немного пропустил возвращаюсь обратно. В 1923 году мой отец решил взять в кредит сенокосилку но так как отец на войне был тяжело ранен у него происходили частые припадки в виду чего в дальнюю дорогу одного его семья не отпускала и семья поручила мне с отцом съездить в Барнаул за сенокосилкой. Приехали получили сенокосилку после чего начальник кредитной базы стал отца напутствовать. Вобщем говорит отцу приедет домой огитировай своих сельчан пусть как успеют все что им надо больше больше купят инвентаря и всего что им нужно. Чем больше купят то что у нас есть то быстрее поднимем россию.

Привезли косилку домой поставили перед окном на полянку. Унас в деревне небыло слово импорное а говорили загранишная. Машина красавица. Однажды вышли мы с отцом на улицу сели на лавочку и к нам подошел и сел наш сосед Вася отец начал ему говорить Василий возми землю обратно поезжай в Барнаул возми в кредит лошадь плуг и борону сам сделаешь. Борони были деревянные. Семенами я тебе помогу ведь ты же знаеш что Ленин просил крестьян помоч поднять Росию.

Василий на отца осердился и как отца Россию и Ленина устроил на три буквы поднялся и отбыл со словами я сам знаю что мне надо делать.

Настала осень 29 похоронили отца а отнашего хозяйства как я уже выше сказал что только перья летели и получилось что нашему соседу Россия Ленин и на хрен не нужны а нашу кулацкую овцу первой домой потопили.

Настал май 31 год. Под неходящих подогнали подводы а пешком 60 км до Барнаула погрузили нас в вагоны и закрыли наглухо ехали долго. Где сидели и под себя и оправлялись. Дышать было нечем остановился наш поезд гдето в степи нас выпустили как животных все вместе как животные оправились затем вычистили вернее выбросили из вагона свои отходы погрузили и поехали дальше до Томска. Ехали железной дорогой а там нас погрузили на пароход по Томи и затем вниз по Оби доплыли до какойто пристани перегрузили нас на баржи которые зацепили катера и повезли нас в верх по речке Чая довели до деревне Тоя. В деревне была 4 или 5 домов и семей а нас было около тысячи. Для того чтоб нас легче охранять нас сгрудили в кучу. Нас молодых гоняли корчевать дорогу до будущего нашего поселка. Дорогу раскорчевали но почему-то в поселке задержались и утонули все в своем фикалии. И здесь открылась не только смертность а самый настоящий падеж. Но настала время всеже добрались до место назначения и только разгрузились извошки уехали женщины обняли друг друга а это гдето их было около сотни да как заревели что мне казалось что вся Россия слышит наш голос. Ан нет и сейчас еще ничего не слышно ни кто из нас еще не леабилятирован. Настало время я сбежал на работу меня не принимают нужна справка с место работы и я добродяжничал до невозможности. Жить нечем и переспать негде и был уже рад аресту и решил что будет то и будет пошел в Барнаул обратился в учреждение по трудоустройству зашел в кабинет объяснил кто я есть и вконец сказал специальность кузнец я уже рад бы и аресту думаю там хоть накормят но получилось не так начальник написал бумажку в Колманский райисполком и дал мне денег на железнодорожный билет. Там расстояние не большое прыбыл в Колманку подал бумажку кому она была адресована а тот написал бумажку чтоб меня приняли на работу в колхоз в колхозе меня приняли хорошо а на это хорошо и я должен делать хорошо. Дожил до весны 37 и обратил внимание колхоз был большой и почемуто лошадей было всего 6 голов. От МТС уних был трактор У2 к нему прицепной инвентар был плуг и молотилка. Я решил чтоб трактор на работал на заготовке кормов изготовил раму которой соединил 3 косилки и прицепил к трактору поехали в поле на испытание получилось хорошо я целый день работал в качестве прицепщика радость у меня была не измеримая. Проработал я прицепщиком 3 дня на третий ден приехали люди с фото аппаратами фотографируют а через несколько дней меня арестовали и получилось что я сам себя отправил в тюрьму. Арестован был 7.7.37 г. просидел в тюрьме до марта 38 г. В тюрьме я по настоящему высох от тюрьмы до вагонов я вторую половину пути без сознания. Я пришел в сознание гдето через 2-е суток в вагоне спросил как я дошел мне сказали шол сзади всех но нормально а в вагон мы помогли залезти привезли в Гаринский р-н Свердловска лагерей небыло первое время меня на работу не посылали был на слабосилке затем стал работать по своей специальности кузнецом проработал года 2 и вдруг приносит наш дневальный несколько топоров и записку от начальника лагпункта. Работка из топоров сделать матыги. Я не оговорился работал в головных лагпункте при 10-м лаготделении. Только приступил выполнять заказ начальника лагпункта пришел другой начальник лагпункта подал мне бумажку где значилос ЗК-ЗК такойто выполните заказ начальнику лумпоского лагпункта. Срочно завтра его баржа отходит а лагерь Лумпас от нас гдето километров 100 я подумал поскольку пишет главный начальник срочно и я стал выполнять заказ приехавшему начальнику гдето перед вечером приходят за матыгами а у меня не одной не сделано. Прибегает начальник как бы нашего лагпункта и на меня сразу блатным матом я из печурки достал от главного начальника бумажку и подал ему он снова наменя закричал а вас обоих с твоим начальником 5 суток изолятора я подумал мало ли что не бывает покрывал с горича однако сработы пришел поужинал и меня сразу в изолятор а изолятор был не взоне. Утром только вышел из изолятора а навстречу все начальство и охрана идут на развод главный начальник у меня спросил так как попал в изолятор я ему доложил за выполнение вашего распоряжения 5 суток. Он уменя спросил а мое распоряжение ему показывал может он не знает что ты выполнял срочную работу я ему доложил только показал вашу бумажку как он сразу блатным матом меня и вас приказ был сразу убран.

Весной в 41-м г. открывается новый лагпункт Малые Гари а начальник тот же самый меня направляют туда только на летний период как бы с тракторами которые к зиме должны вернуться в головной лагпункт. Я на новом лагере построил себе кузницу из досок с задней стороны кладовых где устроил запчастки для тракторов так как я должен выполнять 3 работы кузнец кладовщик и слесарь по ремонту тракторов а кузница у меня была на берегу реки Тавда. Прошло время гдето с месяц приехали

главные начальники и сразу зашли ко мне. Инженер мне сказал Михаил тебя ждет второй срок а дело вот вчем потолок деревянный причем низкий искра ударяется прям в дерево в любую секунду пожар и запчасти превратятся в метололом и тут же инженер мне сказал я тебя привез жесьть делай над горном зонт и ушли влес. Я сходил за жесьтью раскроил изрезал и вдруг пришел и с таким же лагерным матом как прежде 5 суток изолятора. А начальники сходили на вахту приказ убрали а на следующий день начал на меня грозить кулаком и изрек я тебе отомщу и получается он меня наказывает и он же обещает мне отомстить. Пришла осень настал день нашего отъезда начальство договорились чтоб я запчасти передал начальнику лагпункта приступили к передаче я передаю начальнику в лице механика механик вольнонаемный составили акт я подписался и начальник сказал я сейчас приду и отбыл. Ждали ждали мы его тогда механик предложил мы поедем до деревне Малые Гари я должен ждать начальника для того чтоб он подписал акт и только они скрылись за лесом прибежал начальник с ружьем и мне предлагает отремонтировать ружье я ему говорю гражданин начальник я все инструменты отправил. Но он насильно мне его сует в руки я ему говорю гражданин начальник я заключенный не имею право брать в руки ружье но он всеравно не отступается от меня тогда я выскочил из кузницы и побежал в сторону зоны и оказалось он поставил 2 стрелка у кузницы которые должны были меня схватить с ружьем в руках и подвести меня к расстрелу. Ну лагерная жизнь прошла колхозная жизнь. В плохой колхозной жизни я под старость лет сам себя стал обвинять дело вот в чем почемуто я сильно был заражен рационализацией и просто выдумками но никакие мои предложения колхоз не принимал боялись что я могу что то навредить и так было до 1958 г. В 58-м я подал рацпредложение мне отказали я повторно предложил и снова отказали настал 59-й опять предлагал и отказ за отказом тогда я пишу заявление в котором было или или или примайте предложение или я самовольно ухожу из колхоза. Тогда заседание правления колхоза решили частично принять и я включился в работу все лето работал по 17—18 часов в сутки мне нужно было на зерносушилке и зерноскладе конный и человеческий труд переложить на электрические плечи. И вот сегодня я закончил и сегодня на склад поступила рожь. Те мастера которые прошлые годы сушили зерно они отказались как бы струсилли тогда предложили мне а мне того и надо ни людей ни лошадей на сушилке нет я один моя работа была кочегарить и смотреть. Зерно само взвешивалось само нагружалось и транспортировалось и разгружалось получился без прерывный поток и вдруг заходят ко мне 2 человека один предколхоза и сним человек в военной форме. Подошел ко мне подал мне руку и сказал я корреспондент уральский рабочий сейчас нам некогда он торопится в поле а завтра утром приду и вас сфотографирую и вот настало то завтрашнее утро на работу я вышел на час раньше раскочегарил все включил и работа пошла затем пришел зампредколхоза и закричал давай закрывай свою богодельню иди в поле там комбайн убрал ячень но сделал маленькие копны соломы делай из двух копен одну думаю вот и сфотографировался. Погосил топку выключил электричество закрыл свою богодельню и пошел а то поле было 4 км от сушилки ну и чтож подошел к копне вилы в копну а сам под копну из пустого в порожнее переливать не стал просидел часа 2 приехал за мной сам предколхоза давай иди там тебя корреспондент ждет и уехал. Так для того чтобы сфотографироваться я прошел 8 км. Позже появилась в уральском рабочем статья колхозный рационализатор а через 2 года приехал другой корреспондент была статья сколько стоит мечта. Эта была статья для меня очень тяжелая в общем очень грубая из-за меня из за кокого то колхозника назвал председателя райисполкома бюрократом и больше 30 лет тому назад назвать председателя райисполкома бюрократом это большое дело. Он написал и уехал и мне хорошо поподало правда председатель скоро отбыл. И так с 59-го года обо мне стали как районная так и обласная газеты писать писать писать и получилась у меня хорошая коллекция вырезки из газет. В 87 году три раза побывал у меня писатель три раза выборочно просмотрел мою коллекцию и вот прошло 5 лет и работу я его нигде не встретил.

Мне цыганка в двадцатых сказала
 Не минуем казенных колес
 Вот больше полвека уже миновало
 Что сказала все точно сбылось
 На казенных колесах возили
 На ссылку в тюрьму в лагеря
 На колесах прошла дорога
 Молодость юность моя
 Вспоминаю цыганку невольно
 Когда о родине сильно грущу
 Когда сердце сжимается больно
 И когда от тирана спасенье ищю

Мне тираны всегда угрожали
 Говорили нецинзурный ужас
 Если мы вас тогда не порасстреляли
 То порозитов задавим сейчас
 Эти ужасные тираны
 Народу восхваляли сталинизм
 А сами строили
 Из крестьянских костей коммунизм
 Была великая смертность
 И был ужасный страх
 Ведь люди пачками гибли
 И превращались в прах
 Земля ни когда не знала
 Такой великий ужас
 Ведь люди сами просили
 Пожалуста расстреляйте нас
 А охрана нам отвечала
 Ничего ничего по ахаате по охаате
 И без расстрела сами хорошо подохните.
 Меня спасали профессия и руки
 Я железо рубил и ломал
 И сейчас вот под старость от скуки
 Вам о себе коечто написал

С уважением Михаил Иванович Молозинов

С двадцать седьмого по сорок второй
 Три пятилетки в неволе пробился,—

вспоминает М. И. Молозинов. «Не боюсь, однако, ошибиться, сказав: поток 37—38-го ни единственным не был, ни даже главным, а только может быть — одним из трех самых больших потоков, расправивших мрачные зловонные трубы нашей тюремной канализации,— пишет А. Солженицын в первом томе «Архипелага ГУЛАГ». — До него был поток 29—30-го годов, с добрую Обь, протолкнувший в тундру и тайгу миллионов пятнадцать мужиков (а как бы и не поболее). Но мужики — народ бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не писали, ни мемуаров. С ними и следователи по ночам не корпели, на них и протоколов не травили — довольно и сельсоветского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нем почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) преступления тяжелей».

И там же — в третьем томе: «И так это глухо было сделано, и так начисто соскребено, и так всякий шепот задавлен, что я вот теперь по лагерю отказываю доброхотам: «не надо, братцы, уж вороха у меня этих рассказов, не убираются», а по ссылке мужичьей нискалько не несут. А кто бы и где бы рассказал нам?..»

Да, мемуарных свидетельств об этой трагедии мало хотя бы уже потому, что по уровню культуры да и просто грамотности жертвы коллективизации не могли оставить столько подробных, психологически разработанных, литературно ярких свидетельств прошедшего, как это сделали уцелевшие жертвы из более образованных слоев общества; погибший интеллигент имел шанс уцелеть в воспоминаниях близких, друзей, а миллионы крестьян или рабочих канули без следа — в бездну, в пустоту, мы не видим их лиц. Тем ценнее то, чем мы располагаем. Мне уже приходилось писать об этом (в статье о лагерных мемуарах — «Октябрь», 1989, № 4; сб. «Взгляд». Вып. 3. М. 1991), в частности о воспоминаниях ссыльнопоселенца Николая Мурзина. После этого ко мне обратился М. И. Молозинов с просьбой подыскать ему писателя, чтобы записать его жизнь, а лучше даже писательницу, поскольку: «Я еще несовершеннолетний был как меня лишили избирательных прав голоса... 37—38 это мои оторванные годы и почти весь трудовой период надо мной издевались только мужчины и еще немаловажная причина. Мужчина интересуется производством а женщина интересуется человеком и не меньше производством».

Позже Михаил Иванович описал свою жизнь сам как смог. Вообще публикация простодушных народных жизнеописаний, литературно не обработанных или с минимальной правкой, является давней и сознательной традицией «Нового мира»: вспомним напечатанные еще Твардовским воспоминания А. Бартова о побеге из колчаковской тюрьмы, недавнюю публикацию Е. Киселевой «Киселева, Кишмарева, Тюрчинова», рассказ Бориса Мазурина о толстовской коммуне, повествование И. С. Карпова «По волнам житейского моря», подготовленные Н. Н. Покровским публикации старообрядческих текстов.

Мы печатаем письмо М. И. Молозинова, говоря словами Солженицына, «как знак, как мету... чтоб только место обозначить...».

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

КОРОТКО О КНИГАХ

*

I. МАРИЯ ПЕТРОВЫХ. Избранное. Стихотворения. Переводы. Из письменного стола. М. «Художественная литература». 1991. 383 стр.

Это не «очередное» (всего-навсего третье!), хотя вновь малотиражное издание замечательного русского поэта. Составители представили разные грани творчества Марии Сергеевны Петровых — поэта, переводчика, вдумчивого и наблюдательного читателя, человека, жившего напряженной жизнью души.

«Душа» — ключевое слово ее поэзии. Поэт беседует со своей душой и с душой читателя без посредников и подставных лиц. Даже в «Сказке», изумительной по рисунку и звучанию, не позволяет себе прятаться за кого-то:

Спит королева непробудно,
И замок в чарах забыться.
Самой себе признаться трудно,
Что королева — это я...

При этом Мария Петровых — один из самых сдержанных поэтов нашего трагического века. Никакой экзальтации, выпренности, нажима, надрыва. В отрывках из дневниковых записей, столь же исповедальных, как и стихи, есть примечательное суждение о Марине Цветаевой: «Она, конечно, огромный поэт, и многое у нее я люблю, но не все, потому что, видимо, слишком дорожу в искусстве лаконизмом, гармонией, скрытым огнем». Эстрадно-газетной поэзии Мария Петровых вынесла беспощадный, но во многом верный приговор:

О Господи, какое многословье,
Какое расслабление умов!
Нет, не расстанусь я с моей любовью —
С поэзией незаменимых слов.

Ей претила расхлябанность и разухабистость в слове, обнаруживающая бедность поэтического духа. Эксплуатация корневых созвучий без флексивной рифмовки, рыхлость, вялость интонационно-ритмического строя были ей абсолютно противопоказаны.

В одном из ранних стихотворений, в «Музе», Мария Петровых, как это случает-

ся лишь с истинными поэтами, предсказала свою судьбу в поэзии:

Исчадь мечты, черновик соловья.
Читатель единственный, муза моя.
Тебя провожу, не поблагодарив,
Но с пеной восторга, бегущей от рифм.

Так и случилось. Книга, подготовленная в 40-х, не вышла. Первой книги удостоилась не на родине, а в Армении, ставшей «любовью подспудной», в шестьдесят (!) лет. Трудно поверить, что не хотела публиковаться или примирилась с неблагоприятными обстоятельствами. Цену Мария Сергеевна себе знала, хотя знала и долгие муки немоты, так ранившие и сокрушавшие ее в тяжелые годы. Но и ценима была — и Ахматовой и Пастернаком.

Судьба за мной присматривала в оба,
Чтоб вдруг не обошла меня утрата.

Может быть, она не хотела делиться горем (радости-то было мало)? Да, если уже перед войной пишется такое:

Есть очень много страшного на свете,
Хотя бы сумасшедшие дома,
Хотя бы искалеченные дети,
Иль в города забредшая чума,
Иль деревень пустые закрома,
Но ужасы ты затмеваешь эти —
Проклятье родины моей — торьма.

Подобные стихи в те годы Анна Ахматова сжигала на глазах своих конфиденентов...

Уже двенадцать лет нас окликает голос, которому не суждено затеряться в богатой многоголосице XX века. Когда-то в стихах, обращенных к ней, Осип Мандельштам писал: «Ты, Мария, гибнущим подмога...» Ее поэзия и она сама, живая в своих стихах и дневниковых раздумьях, — подмога и нам нынешним.

II. Е. Ю. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА. Избранное. Вступительная статья, составление и примечания Н. В. Осьмакова. М. «Советская Россия». 1991. 447 стр.

Имя Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваяевой до последнего времени было известно любителям поэзии главным образом как имя адресата знаменитого верлибра

Александра Блока «Когда вы стоите на моем пути...». Стихотворение адресовано семнадцатилетней Лизе Пиленко, находившейся тогда в поисках своего предназначения на свете. Образ драматического времени крушения миров, так же как и образ «трагического тенора» этой эпохи — Блока, ставшего для Елизаветы Юрьевны сокровенным, глубоко личным и одновременно живым воплощением уходящей России, отчетливо присутствует в произведениях, вошедших в данный том.

Всей своей подвижнической жизнью Елизавета Юрьевна, известная миру как мать Мария, ответила и Блоку, и русскому религиозному ренессансу, во многом оставшемуся в сфере чистой умозрительности и из-за этого несущему свою часть вины за крах великой культуры. Эту вину вслед за Николаем Бердяевым, но, может быть, более сердечно и сопереживательно понимала мать Мария. Ее отношение к людям, великим и незаметным, всегда было пронизано материнской болью и состраданием, высшей носительницей которых в христианском сознании является Богородица. «В материнстве предельное ощущение гибели, потому что нет никаких сил вмешаться в сыновний путь».

Творчество писательницы продолжает русскую православную традицию от А. С. Хомякова к Ф. М. Достоевскому и В. С. Соловьеву, философские статьи о которых представлены в настоящем сборнике.

Поэзия Кузьминой-Караваевой, участницы «Цеха поэтов», испытавшей в раннем творчестве влияние мэтра Гумилева и особенно Блока, на наш взгляд, занимает особое место в «книге серебряного века». Проигрывая своим знаменитым современникам во владении поэтическим инструментарием — относительно однообразны их ритмические и образные средства, — стихи поэтессы просковожены одухотворенным, благодарственным отношением к миру, исполненному бед и страданий, но в незримой, глубинной сути своей благодатному:

Нищенство и пыль, и мелочь, мелочь,
И забота, так что нету сил...
Но не Ты ль мне руку укрепил?
Отвратил губительные стрелы?

Все смешалось: радость и страданье,
Темнота, и ширь, и верх, и дно,
И над всем звенит, звенит одно
Ликованье.

Она поистине писала свои стихи как пред Богом, по завету, данному когда-то Александром Блоком.

Исследователи, которые будут сравнивать Елизавету Кузьмину-Караваеву с ее современницами Анной Ахматовой, Мари-

ной Цветаевой, конечно, найдут у нее общее с ними. Нечто созвучное, в частности, в отношении Цветаевой к Блоку и в чем-то очень сходной с караваевским чувством к Блоку цветаевской любовью к Рильке. А простодушный читатель подумает с болью: если бы мать Мария и Цветаева встретились, может быть, Марина Ивановна в роковой час не так распорядилась бы своей жизнью?

Жизнь Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, прошедшая в самые переломные и сокрушительные времена, явственно запечатлена в этой книге ее избранного. Литературный, поэтический облик автора дополняют ее письма Блоку и воспоминания, донесшие до нас аскетическую и вместе с тем глубоко живую личность матери Марии.

Алексей Гурок.

✱

1. ИВЛИН ВО. Черная беда. Роман. Перевод с английского А. Ливерганга. «Иностранная литература», 1991, № 6.

Было время, когда Ивлин Во числился у нас в наемниках англо-американского империализма. Знакомиться с ним — в дозированных порциях — наш читатель начал лишь после смерти писателя. Теперь, спустя почти шестьдесят лет после выхода, появилась на русском языке и его «Черная беда» (1932), превосходный сатирико-юмористический роман, в котором вполне киплингский экзотический материал обработан в духе Диккенса и Теккерея. Речь идет о вымышленном острове, расположенном недалеко от Восточной Африки и Аравии. Судя по топонимике книги, можно догадываться, что автор имел в виду остров Сокотра («предвестие удачи» по-санскритски), узловой пункт на древних торговых путях из Индии в Африку, Аравию и Европу.

В романе дана удивительная «смесь племен и лиц», могущая служить иллюстрацией к теории Льва Гумилева о взаимодействии этнических симбиозов, «химер» и тому подобных формирований. В карликовой империи Азии сосуществуют — во вражде и сотрудничестве — арабы, англичане, армяне, греки, евреи, негры-людоеды, французы и т. д. Доносятся до этого островного государства и отзвуки «великих строев» СССР: здешний император Сет вводит годовые планы развития экономики, а его проект Дня противозачаточных средств имеет успех благодаря советскому плакату 20-х годов, который местным неграм страшно понравился.

Вообще в книге И. Во ассоциации с нашей действительностью вызывает многое — очевидно, поэтому и берегли нас от знаком-

ства с романом. Так, головокружительной нелепостью, абсурдностью прожекты юного чернокожего императора Сета напоминают активность глуповских градоначальников, их уставы «о добропорядочном пирогах печении». С той разве маленькой разницей, что Сет, будучи воспитанником Оксфорда, хлопочет о введении прогресса, а наши утрюм-бурчеевы хотят все науки и искусства прекратить. Точно так же напомним нам кое о чем хорошо знакомом всеобщее воровство в Азании, лихорадочная деятельность министерств, нелепые и жуткие войны, регулярно вспыхивающие между племенами, рознь церквей, придворные интриги, козни шпионов и дипломатов, безалаберность и легковерие масс.

Теккерей постоянно сравнивал уважаемых англичан-снобов с дикими турками и индейцами, а в стихотворной пародии «Тимбукту» он даже предсказывал день, когда черная Африка будет диктовать свою политику Европе. Ивлин Во, следуя предшественнику, ненавязчиво, но убедительно сопоставляет прием в лондонском высшем свете или богемный ужин у Трампингтонов с гротескным африканским пиром при дворе Сета. Великолепен портрет чернокожего «виконта» Боза, обжоры и пьяницы, это же пародийный двойник самого «великого Боза» — Диккенса! Вот до какого «кощунства» доходит сатирик Во. Впрочем, достается от него и другим знаменитостям. Фамилией Маркс наделен в романе инженер, создатель танка, который в условиях тропической жары из боевой машины превращается в камеру пыток для провинившихся солдат. И подобных гротесковых образов, эпизодов в книге очень много: щедрая фантазия юмориста буквально ошеломляет нас каскадом цирковых трюков, фейерверком буффонады.

А главным героем романа становится англичанин Бэзил Сил, сын видного деятеля партии тори. Для него вся эта история маленькой арабо-негритянской империи — не более чем эпизод в его жизни. Бэзил — типичный английский чудака, эксцентрик, которому скучно в рамках истэблишмента. Мир он воспринимает как театр, на сцене которого ему представляются возможности блеснуть своими незаурядными талантами. Но силы героя растрачиваются в нелепых выходах и эскападах либо в тщетных попытках реализовать свои или еще чьи-то химеричные проекты по «модернизации» действительности.

Ивлин Во не дожил до наших дней, когда цветное население с юга массами хлынуло в Западную Европу, когда вавилонское столпотворение рас, наций, племен все чаще ведет к новым вспышкам национализма. Теперь для художника раздвинулись

бы рамки его темы. А пока что мы знакомимся с «Черной бедою», предшественницей «Комедиантов» Грэма Грина.

II. ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС. Трепет намерения. Роман. Перевод с английского А. Смоленского. «Иностранная литература», 1991, № 12.

После «Заводного апельсина» это второе произведение английского писателя, ученого и композитора, с которым знакомится наш читатель. Мы узнаем его уже по манере — изысканно-интеллектуальной, слегка эстетской и в то же время «дурашливой»: карнавално-пародийной, чуточку стилизованной под китч. «Трепет намерения», написанный в 1966 году, автор рассматривает как роман о холодной войне, являющейся лишь одним из аспектов «фундаментального противостояния Инь и Ян, Бога и Дьявол», которое «поддерживает двойственность вселенной». Вместе с тем книга пародирует «шпионские страсти Джеймса Бонда... особенно в их кинематографической форме».

В самом деле, вся шпионская линия романа — а сюжет как будто только на ней и держится — совершенно несерьезна: опытный агент Денис Хильер (таковым он сам себя аттестует) то и дело допускает грубейшие и нелепейшие промахи. Но и в ляпах и в прочих проявлениях «мужского начала» он нисколько не отклоняется от бондианской линии, а повторяет в гиперболическом виде «подвиги» агента 007. С другой же стороны, Хильер предстает и как alter ego писателя — интеллектуала-католика, следователя Джойса, умеющего самые «телесно-низовые» свои ощущения передавать ослепительно радужным и переливчатым потоком сознания, в котором как в калейдоскопе мелькают реалии мировой культуры, идентифицировать кои можно только с помощью ученого комментария. Отсюда особо утонченный мир романа — весь на острых перепадах между чувственной разнузданностью, грубостью и тонкостью, изысканностью множасьихся символических ассоциаций. Забавно, например, когда стена интимной близости между «суперагентом» Хильером и мисс Деви изображается как мифологическая схватка индийских богов, в ходе которой творятся бесчисленные «аватары», смешиваются в диком хаосе названия, имена из русской литературы, английской истории, иудейской апокалиптики. И весь этот сексуально-космогонический акт порожден всего лишь очерченным элементарным просчетом сверхразведчика. Не лучше выглядят и все прочие персонажи романа — когда надо решительно действовать, они пускаются в философские или политические диспуты, «рассиропливаются» и впадают в детство.

И все это потому, что мир воспринимается ими да и самим автором как игра, причем «глупая и бесцельная». Бёрджесс устами своего главного героя открыто принимает манихейство: «Выше Бога — идея Бога, а в идее Бога заложена идея анти-Бога. Подлинная реальность — это дуализм, это состязание двух игроков». В этих словах — сумма всех тех сомнений во всеильной благодати и милосердии высшего существа, которые одолевали и одолевают многих верующих на земле. Здесь можно вспомнить и немецкого романтика Фр. Шлегеля, определявшего идею как «понятие, доведенное до иронии в своей законченности», как «абсолютный синтез абсолютных антитез». И эта мысль кажется неопровержимой, если принять, что мышление и вселенная в целом развиваются диалектически. Может быть, только «абсурдная» позиция Тертуллиана, Кьеркегора и им подобных мыслителей может оправдать христианскую веру?

Бёрджесс, во всяком случае, не склонен к такому парадоксальному оптимизму. Он, конечно, за то, чтобы зло уничтожалось. Но у него нет никакой уверенности в силе добра, ибо оно, по его мнению, «не только нейтрально», но и «неодушевленно» (!). И Хильеру, провозгласившему подобные тезисы, остается в финале романа довольно двусмысленное дело — он, став членом то ли иезуитского, то ли иного католического ордена, собирается насаждать это «неодушевленное» добро с помощью своего не ахти как удачного шпионского опыта...

Отметим еще, что роман явился откликом на знаменитое дело пятерки советских агентов в Англии — отсюда вся эта вымышленная Бёрджессом история с английским ученым Роупером, социалистом, обиженным на родную Британию и перебежавшим в СССР. Сцены в несуществующем крымском городе Ярылыке не лучшая часть романа, но и они по-своему смешны. Автор явно потешается, когда награждает «харьковскую группу» советских изменников фамилиями Брусилов, Столыпин, Гучков, Крыленко, Сковорода!

В заключение отметим, что представление о жизни как игре имеет богатую традицию в английской литературе. Из ближайших предшественников Бёрджесса назовем лишь Грэма Грина, писавшего в автобиографии о своей тяге к «русской рулетке», о том, что он даже хотел стать «двойным агентом», ибо для него, подобно некоторым другим, разведка могла быть делом не расчета или патриотизма, а «шпионажем ради шпионажа».

В. Вахрушев.

Балашов.

*

ЗУФАР ФАТКУДИНОВ. Откровения XX века. Л. «ИГМА». 1991. 168 стр.

Афоризмы, максимы, сентенции — это устойчивый литературный жанр, дошедший до нас из античных времен в изречениях выдающихся философов и мыслителей Греции и Рима.

В наши дни этот жанр можно скорее отнести к реликтовым. И вовсе не потому, что он не пользуется успехом. Любой сборник афоризмов, подчас слепленный нетребовательным составителем «из мыслей великих людей», под самым шаблонным названием (скажем, «О любви, дружбе и товариществе»), не задерживается на прилавках. Читатель такого рода сборников с интересом воспринимает и афоризмы Сенеки, и мысли Эпикура, и сентенции из писем Плиния Младшего, ибо такого рода речения носят как бы вневременной характер, апеллируя к вечным темам, к неизменным, «базовым» качествам человеческой природы.

Вместе с тем этот вид литературного творчества совершенно очевидно связан и с породившей их эпохой. «Максимы» Ларошфуко не спутаешь, к примеру, с парадоксами Оскара Уайльда, а лирические раздумья из пришвинских «Незабудок» — с горько-скептическими «Непричесанными мыслями» Станислава Ежи Леца.

Однако с каждым годом все острее отсутствие новых имен в области афористики. Впрочем, подобный дефицит в известной мере понятен: максима — это, как правило, определенный итог пережитого, пережитого и передуманного самим автором. Итог, нашедший свое выражение в четких фразах, крылатых словах. Такое умение дано далеко не каждому.

Тем любопытнее отметить книжную новинку в этой области — сборник афоризмов профессора, доктора юридических наук З. Фаткудинова (с предисловиями Олжаса Сулейменова и академика Станислава Шаталина). Пожалуй, книга озаглавлена слишком уж громко: откровения как бы сулят читателю нечто вроде нового Апокалипсиса. Но катастрофизм мышления как раз чужд натуре автора. По своей природе он скорее оптимист, что вовсе не настраивает его на бодряческий тон. У З. Фаткудинова немало горьких суждений о времени, о природе власти и т. д. Но это сентенции человека, прошедшего суровую школу жизни, освоившего нелегкие ее уроки и выработавшего собственный взгляд на мир. При этом З. Фаткудинов в своих афоризмах обычно стремится избежать нравоучительного тона, излишнего морализаторства. Лучшие его сентенции нередко содержат в себе и оттенок иронии, окрашены благодушным юмором, что как раз и лишает их ненужной категоричности: «Самое большое, непреодолимое и всегда реализуемое право человека

— это право на ошибки в жизни», «Если бы дураки не были абсолютно уверены в том, что они умные, то не проявляли бы такую постоянную смелость в совершении глупостей»...

В книге несколько тематических разделов: «Время, жизнь, смерть, история», «Свобода, труд, воля, право» и т. д. В целом собранные в книге максимы как бы позволяют нам создать более объемное представление о человеке, о характере современной эпохи, ее потрясениях и социальных катаклизмах. Не случайно большое место уделено размышлениям о специфике тоталитарного государства, о природе диктатуры и авторитарной власти: «Любая диктатура, какие бы «святы» цели и задачи она ни провозглашала, под какой бы вывеской ни действовала, — суть у нее одна — кровавое насилие над людьми», «Мудрость вождя в отличие от народной мудрости всегда претендует на истину последней инстанции, норовя облачиться в форму закона».

Конечно, за некоторыми сентенциями З. Фаткудинова нетрудно распознать впол-

не конкретных политических деятелей, угадать то или иное событие нашей общественной жизни последних лет. Но главный смысл книги не в этом «узнавании». Законы афористики требуют от автора не конкретизации запечатленного в слове, а наоборот — большей его обобщенности. Известно, к примеру, что Ларошфуко порою десятки раз перерабатывал свои «Максимы», добиваясь краткости и высокой степени обобщения. Думается, что З. Фаткудинову подчас недостает именно такой лапидарности, он порой как бы медлит поставить точку.

И еще одно замечание, адресованное также редактору книги: некоторые афоризмы повторяются в разных тематических рубриках сборника. Например, отличная сентенция «Купленная верность — это отсроченное предательство» фигурирует на страницах 77 и 101, подобный дубляж повторяется и на страницах 123 и 125. Впрочем, эта досадная небрежность не портит общего впечатления от книги.

Борис Ряховский.

В МИРЕ ИСКУССТВА

Читайте в следующем номере:

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО

ЭРА ПУСТЯКОВ,

или

**Как мы наконец пришли к легкой музыке
и куда, возможно, пойдем дальше**

В XX веке среди прочих мифов, «внедренных в практику», реализовалась давняя (сформулированная, в частности, у Бозция) мифологема «мировой музыки». *Musica mundana*, издаваемая вращением небесных сфер, звучит неумолчно и вечно. Люди не слышат ее — привычное ухо не замечает звучания, которое всегда в нем. Заменим сферы небесные на земные, социальные. Они постоянно озвучивают себя как бы стихийно сменяющимися друг друга волнами популярной музыки. Советская социальность создала почти не слышимый нами песенный фон. То есть мы, конечно, слышим наши песни. Но почти не вслушиваясь, не внимая...

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



УКАЗАТЕЛИ ЖУРНАЛА «СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК». 1921—1963. Социалистический вестник. Сборник. 1964—1965. Publié par la bibliothèque russe Tourgenév, la Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine et M. A. Lande. Préface d'Andre Liebich. (Bibliothèque russe de l'institut d'études slaves. Tome XC.) Paris. 1992. 392 p.

Институт славянских исследований (Париж) не впервые дарит любителям русской книги надежное и удобное в работе библиографическое пособие: нынешнему изданию предшествовали библиографии Н. А. Бердяева, З. Н. Гиппиус, М. А. Осоргина, Л. И. Шестова, И. С. Шмелева и др. Парижская Тургеневская библиотека также является на сегодняшний день одним из крупнейших библиографических центров по русистике (наибольшую известность среди специалистов приобрел недавно изданный сводный указатель журналов и сборников русской эмиграции за 1920—1980 гг.).

В предисловии к книге видный исследователь меньшевизма А. Либич кратко излагает историю библиографируемого журнала: «„Социалистический вестник“ не был создан как журнал эмиграции. Когда Юлий Мартов (1873—1923) и Рафаил Абрамович (1880—1963) его основали в Берлине в феврале 1921 года, его первыми адресатами были меньшевики в России, втянутые в безнадежную борьбу за сохранение последних остатков законного существования Русской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Очень быстро партия в России превратилась в подпольную и постепенно исчезла. А «Социалистический вестник» существовал более сорока лет. Гордо назвав себя с 1922 года центральным органом РСДРП, в 1933 году он переехал из Берлина в Париж и в 1940-м из Парижа в Нью-Йорк. В течение этих четырех десятилетий он оставался будущим сердцем русской социал-демократии в изгнании, таким же значительным для последнего периода русской социал-демократии, какой была «Искра» при ее возникновении». Добавим от себя, что указатель может оказаться полезным не только историку русской революции: на страницах «Социалистического вестника» появлялись статьи М. Горького, Р. В. Иванова-Разумника, Д. И. Чижевского, Г. П. Федотова...

IN HONOUR OF PROFESSOR VICTOR LEVIN. RUSSIAN PHILOLOGY AND HISTORY. Predicta Ltd. Jerusalem. 1992. 111 p.

Выдающийся русский лингвист В. Д. Левин (род. 1915) известен специалистам по работам, охватывающим самые разные области исто-

рии русского литературного языка. Научная индивидуальность ученого сформировалась в общении с Р. И. Аванесовым, Г. О. Винокуром, П. С. Кузнецовым, А. А. Реформатским, преподававшими в 30—40-е гг. в МГПИ и ИФЛИ, где учился Левин. На исходе 40-х началась и педагогическая деятельность В. Д. Левина, продолжающаяся по сей день: с 1976 г. он профессор Еврейского университета в Иерусалиме. «Из рассказов его слушателей, студентов МГУ, мы знаем о глубочайшем впечатлении, которое вызывали его лекции, всю жизнь хранимые в памяти как незабываемые личные ценности. Знаем и о том, что его ученики на всю жизнь вынесли представление о науке, которая в изложении Виктора Давыдовича (какой бы далекой и абстрактной она ни была) становилась живой, откликающейся на злобу дня, прокладывающей — отнюдь не торные — пути к новому жизнепониманию», — говорится в предисловии к сборнику.

Юбилейный фestsрифт, изданный со скромным изяществом, состоит из нескольких разделов. В публикационной части, открывающей книгу, обращают на себя внимание не известное ранее стихотворение Н. С. Гумилева, обнаруженное Р. Тименчиком, а также впервые вводимое в научный оборот письмо Б. Л. Пастернака М. И. Шацкому (публикатор И. Серман). Т. Винокур (трагически погибшая в те самые дни, когда пишутся эти заметки) представляет стенограмму лекции Г. О. Винокура «Язык писателя и норма», Л. Юниверг — мемуарный очерк В. Милашевского «Моя работа в „Academia“». Завершает раздел неожиданная «автопубликация» — литературоведческая проза А. Жолковского.

Раздел, посвященный истории русского литературного языка, отражает разносторонность тематических устремлений юбиляра: помимо теоретических аспектов проблемы (К. Схоневельд, Л. Крысин, М. Панов, Б. Шварцкопф), исследуется функционирование русского языка в различные исторические периоды — с начала XVII в. до нашего времени (А. Алексеев, Н. Толстой, П. Хюгль-Фольтер, Н. Кожевникова). Столь же разнороден и раздел «Язык русской литературы», имеющий, однако, вполне оправданную научными пристрастиями В. Д. Левина доминанту — творчество Пушкина (статьи Д. Сегала, В. Шуклина, С. Векслера). Другие работы в данной части сборника посвящены творчеству Жуковского (Ф. Федоров), Достоевского (Е. Джанджакова, С. Иванова), К. Леонтьева (М. Кальмансон), Солженицына (Л. Токер).

Наиболее условные жанровые границы имеет четвертый раздел книги («Язык, литература и история»). В нем помещены как строго фактографические исследования (С. Шварцбанд,

В. Террас), так и обобщенно-интерпретационные работы (Е. Эткинд, Вяч. Иванов), подчас тяготеющие к эссенстике (Ю. Апресян, В. Паперный).

Заключительный раздел книги посвящен русско-еврейским литературным контактам (М. Таубе, М. Фундаминский, С. Кузнецова, С. Дудаков). Библиографическая часть книги содержит список избранных трудов В. Д. Левина.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. МАСТЕР СЛОВА — ИСКУССТВА — МЫСЛИ. Istituto Universitario di Bergamo. Paris. 1991. 121 p.

В сборнике, подготовленном к печати Бергамским университетом (Италия), содержатся материалы очередного симпозиума по изучению Андрея Белого (Бергамо, 1986). Две об-

ширные статьи Н. Каухчишвили, деятельного организатора конференции, посвящены методологическим проблемам изучения русской литературы начала XX века. Известный исследователь антропософской проблематики в творчестве Белого Ф. Козлик комментирует отрывки из неопубликованного сочинения писателя «История становления самосознающей души». Творческое сознание А. Белого исследуется и в статьях М. Депперман, а также в сообщении Т. Николеску («Андрей Белый и „Тема о России“»). Более частным вопросам посвящены работы К. Секе «К вопросу об орнаментальности ранней прозы А. Белого (Серебряный Голубь)» и В. Пискунова «Опыт прочтения «Четвертой симфонии» Андрея Белого».

Составитель К. Ю. Постоутенко.

СЛОВО. WORD. № 9. Орган Центра культуры эмигрантов из Советского Союза. На русском и английском языках. Нью-Йорк. Б. г. 76 стр.

Номер полностью посвящен памяти Сергея Довлатова, скончавшегося в США 24 августа 1990 года. Журнал открывается биографическими данными писателя, за которыми следует письмо к нему Курта Воннегута и ряд некрологов, подписанных Е. Скульской, Е. Рейном, Л. Лосевым, А. Арьевым, Я. Гординым, В. Уфляндом, Ю. Карабчиевским, К. Азадовским, Вл. Соловьевым, В. Войновичем, Л. Штерн и другими. Публикуются ранние произведения Довлатова «Блюз для Натэллы», «Чирков и Берендеев», «Когда-то мы жили в горах», рас-

сказ «Виноград», выдержки из «Записных книжек» и несколько статей о творчестве прозаика (С. Рута, К. Карбо, Е. Тудоровская, С. Блох, П. Вайль и А. Генис), а также стихотворения Наума Сагаловского и Юнны Мориц, посвященные его памяти; воспроизводятся интервью писателя журналу «Слово» и его последнее выступление 10 июня 1990 года в Нью-Йорке (на вечере Юнны Мориц). Книжка иллюстрирована фотографиями Довлатова разных лет. Удивляет отсутствие даты выхода в свет этого мемориального номера: порядковая цифра 9 читателю мало что говорит.

А. В.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» ЗА РУБЕЖОМ

Все права на проведение подписки и распространение журнала «НОВЫЙ МИР» во всех странах (кроме территории бывшего СССР) принадлежат германской фирме
A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

All the rights to the subscription and distribution of 'Novy Mir' revue in all the countries (except on the territory of the former USSR) belong to
A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

**A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag
Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5,
Germany. Tel 089/26 30 76, fax 26 30 77**



Attention!

Do you need to reach the most **literate** and **discriminating** audience in Russia and abroad?

Do you want to communicate directly with the country's **movers and shakers**?

Then why not **advertise** your service or products in **Novy Mir**?

Novy Mir's readership is estimated at well over **two million**. Well over two million people, that is committed to the **best** that's available — in literature, poetry and social and economic thought.

Novy Mir was the **first** journal to publish Solzhenitsyn's **Gulag Archipelago**, Platonov's **The Pit**, Pasternak's **Dr. Zhivago** and Orwell's **1984**. For years now, it has been in **Russia** and the **Republics**, and in the **Russian-speaking communities of the West**, a **watch-word for quality**, a **symbol of independence**, a **beacon of hope**.

If a **quality** market is what you are after, then; if the **new** is what you have on offer; if **image** and **prestige** are important to your company's profile and/or marketing needs — then look no further. **Reach out** to the leaders in government, education, science and the arts. **Communicate directly** with the technical and industrial élite. **Call** at **Novy Mir** (095 229-56-92) for a schedule of our advertising rates.

A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag

SUMMARY

The issue is opened by Sergey Zalygin's, the magazine's Editor-in-Chief, article «Ecology and Culture».

A well-known poet, translator and prose-writer Semen Lipkin introduces in this issue the first part of his new long short-story «Notes of an Inhabitant», tracing for a long period of time the lives of some Odessian families of various nationalities. The publication will be finished in № 10.

The poetry section presents poems by Vladimir Aleynikov, Larisa Miller, Nadezhda Grigorieva, Nina Krasnova and Lev Kotiukov.

In «New Translations» section some pieces of Paul Verlaine's poetry, translated by Alexander Revich, are published.

In this issue we start the publication of extensive fragments of «The Endless Impasse», a book by Dmitry Galkovsky, who has recently obtained reputation owing to his acute appearances in press and also to the publication of some scandalizing extracts from «The Endless Impasse». The book itself is a voluminous work of a highly original kind, in which autobiographical, philosophical, political lines and those of literary criticism are interlaced, making up thousand items of a commentary on an imaginary non-existent text.

In «Writer's Journal» section Felix Svetov is sharing recollections of his last meetings and conversations with the late prose-writer Yury Dombrovsky, whose famous novels «Antiquities Custodian» and «Department of Useless Articles» had been once published in «Novy Mir».

Two America-residing writers Peter Vail and Alexander Genis appear in the issue with chapters of their new book «The Paradise Lost. Emigration: An Attempt of Selfportrait», telling of their observations on the «third wave» emigrants' life.

Three essays by Czeslaw Milosz, the Polish poet and the Nobel Prize winner living in the United States, are published in «Religion and the Modern World» section under the common title «On Roman Catholicism» (transl. by Vladimir Britanishsky).

«On the fate of *russkie mal'chiki* (1941—1945)» — Pavel Protsenko published and so titled a collection of letters written by a young soldier Nicolai Pestov who perished at the front battlelines of WWII.

A series of publications «Preliminary Results of the XXth Century» is continued in the issue by Stanislav Dzhimbinov's essay «Distortion Coefficient: Revolution and Culture», discussing the deliberate cut off of the global cultural background and the destruction of the classical education in Soviet Russia.

«Literary Criticism» section offers articles by A. Motorin (Novgorod) «The Lyrical Flux», and by Olga Postnikova «Verses of the Recent Years», both devoted to the analysis of the modern poetical mind.

In the issue Lev Ospovat reviews Irina Surat's book on Pushkin, Yuly Shreider — a study of Vadim Rabinovich on medieval bookish erudition. Vladimir Vahrushev discusses Russian translations of Evelyn Waugh's and Antony Burgess' novels, Sergey Larin writes on book of Moscovites' life sketches by A. Rubinov.

«Editorial Mail» section presents reminiscences in verse and prose of an old and semi-literate man Michail Molozinov, whose life had been ruined by the communist regime violence (afterword by Andrey Vasilevsky).

In the regular column «Russian Books Abroad» K. Postoutenko offers short reviews of new publications of overseas Russian literature.

Производственный отдел Издательского центра «Новый мир» приглашает к сотрудничеству издательские организации.
Предлагаем качественный набор и изготовление оригинал-макетов книг и журналов.
С предложениями обращаться по телефону 946-14-49.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), А. В. Василевский (ответственный секретарь), Ф. К. Вилрашку, Д. А. Гранин, В. А. Костров, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов (зам. главного редактора), И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Технический редактор А. Гинзбург

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 29.04.92 г. Подписано к печати 13.07.92 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 241 700 экз. Зак. 2734. Цена 4 р. 70 к. (по подписке)

При участии издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография издательства «Известия» имени И. И. Скворцова-Степанова. 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**ДО КОНЦА 1992 ГОДА И В 1993 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- ДАНИИЛ АНДРЕЕВ. Из наследия;
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман). Книга первая.
 Чертова яма;
 ГЕНРИХ БЕЛЛЬ. Перемены в Штахе (эссе, перевод с немецкого);
 АНДРЕЙ БОРОДЫНЯ. Спички (повесть);
 ВЛАДИМИР ВОЛКОВ. Облава (роман, перевод с французского);
 ЭММА ГЕРШТЕЙН. Лишняя любовь (главы из воспоминаний);
 ЯКОВ ДРУСКИН. Из философского наследия;
 МИХАИЛ КУРАЕВ. Зеркало Монтачки (повесть);
 ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ. Древесный — осиновый — северный свет
 (стихи);
 ИВАН ОГАНОВ. Песнь виноградаря осенью (эпос);
 АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Ноев ковчег (комедия, из наследия);
 АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Апрель Семнадцатого (заключитель-
 ный «узел» исторической эпопеи «Красное колесо»);
 С. М. СОЛОВЬЕВ. Воспоминания;
 И. СУРАТ. Пушкин как религиозная проблема;
 БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;
 С. И. ФУДЕЛЬ. Письма из ссылки;
 МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Письма к П. Сувчинскому;
 ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. О музыкальной культуре XX века;
 РОЛЬФ ЭДБЕРГ. Капли воды — капли времени (фрагменты книги,
 перевод со шведского);
 АСАР ЭППЕЛЬ. Пока и поскольку (рассказы);
 М. В. ЮДИНА. Письма к друзьям;
 а также новые произведения Л: БЕЖИНА, А. БИТОВА, П. ВАЙЛЯ
 и А. ГЕНИСА, Г. ВЛАДИМОВА, З. ГАРЕЕВА, Н. ГОРБАНЕВСКОЙ,
 Д. ГРАНИНА, Ю. КАРАБЧИЕВСКОГО, А. КИМА, Н. КОРЖАВИ-
 НА, Ю. КУБЛАНОВСКОГО, А. КУШНЕРА, С. ЛИПКИНА, И. ЛИС-
 НЯНСКОЙ, В. МАКАНИНА, Б. МОЖАЕВА, А. НЕЖНОГО, М. ПА-
 ЛЕЙ, Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ, Е. ПОПОВА, В. ПЬЕЦУХА, М. РОЩИ-
 НА, А. ЧЕРЧЕСОВА, В. ЯНИЦКОГО и других авторов.

В 1993 году «НОВЫЙ МИР» открывает новые рубрики «ЭКОЛОГИЯ И МЫ», «ЗАРУБЕЖНЫЕ КНИГИ О РОССИИ», будут продолжены циклы публикаций «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ XX ВЕКА: ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, ГУМАНИТАРНАЯ МЫСЛЬ», «РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР».